

||
11
||

Н О В Ы Й М И Р

Н О В Ы Й М И Р

|| 1976 ||

11



1976



НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1976 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ИБРАГИМ КЭБИРЛИ — Исток моего света, стихи. Перевел с азербайджанского Владимир Цыбин	3
ИЛЬЯ ВЕРГАСОВ — Останется с тобою навсегда..., роман	8
ГР. ПОЖЕНЯН — Севастопольская хроника, стихи	64
ВЛАДИМИР КОМИССАРОВ — Старые долги, роман	71
АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ — И снова чистый лист бумаги..., стихи	145
ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ — Петру Гроза. Главы из книги. Окончание	149
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО — Размышляющая Америка	195
В МИРЕ НАУКИ	
ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ — Архитектор в мире, где яблоки не падают	212
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
В. ОСОКИН — Поиски либерей продолжаются	227
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
МИКОЛА БАЖАН — Высокая миссия	234
АНДРЕЙ НУЙКИН — Музы и интеллект	241
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Г. Трефилова. Правила игры. — Виктор Боков. «Во славу ее и в защиту». — Г. Соловьев. Пафос поэтического творчества. — Н. Абалкин. Книга актера.	256
<i>Политика и наука</i>	
Л. Виноградов. Что и как читал Ленин. — Ю. Амiantов. «Согласовать свою жизнь со своими убеждениями». — В. Кирсанов. Приглашение к размышлению.	270

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ: Игорь Шкляревский.— Станислав Куняев. В сентябре и в апреле... ♦ Эдуард Корпачев.— Геннадий Пациенко. Высокий день. Повесть и рассказы. ♦ М. Вашкевич.— Дм. Молдавский. Александр Прокофьев. Биография писателя. Дмитрий Молдавский. От Невы во все стороны света. ♦ Н. Томашевский.— Николай Атаров, Магдалина Дальцева. Опоясан мечом. Повесть о Джузеппе Гарибальди. ♦ Николай Сафонов.— Жорж Сименон. И все-таки орешник зеленеет. ♦ Григорий Бровман.— Самый необходимый человек на земле. Очерки писателей о профтехучилищах страны. ♦ М. Коротков.— Егор Яковлев. Встречи за горизонтом	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

ИБРАГИМ КЭБИРЛИ



ИСТОК МОЕГО СВЕТА

С азербайджанского

Как сердцу моему —
Земле родной
Навеки быть единственной, одной.
Травинка покачнется вдруг ее —
И покачнется сердце вслед мое.
А замутнеет лишь один родник —
И помутнеет вдохновенье вмиг.
И каждый добрый взгляд ее всегда
Мне прибавляет силы на года.
Нет для меня земли моей родней,
Не считаешь
Всех дорог на ней.
Ее ведь и за жизнь не обойдешь,
Ее рабочих рук не перечтешь.
А есть тепло
Пусть в очаге одном,
То, значит, потеплело и кругом.
А больно ветке средь ветвей густых —
И станет больно тысячам других.
На дереве лист задрожит едва —
И эту дрожь воспримет вся листва.
Земле родной конца и края нет,
Пройти ее не хватит тыщи лет.
Один конец ее — цветут сады,
Другой конец — арктические льды.
Прекрасная земля.
Переплелись
И даль степей и гор высоких близь.
На свете крепче нет ее корней,
Привязан север к западу на ней,
Юг с севером навек сопряжены,
Восток и север переплетены,
Юг с севером седым переплелись,
Слились, как с далью даль, как с близью близь.
Не сосчитать вовек ее щедрот
И разноцветья всех ее широт..
Слились в одно на ней и звень и сверк.
И всем один и тот же светит свет!..
Ему сверкать, ему зарей алеть,
И темноте его не одолеть!
В нем радости немеркнущий залог
И света сердца моего исток!..

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Испытывайте каждый день меня.
Ведь знаю я, спокойствие храня,
Что испытанья делают сильнее,
Ведь очищает сердце груз забот
И разбивает безразличья лед,
И жизнь тогда ясней
И даль синее.

Испытывайте каждый день меня.
Ведь в битвах закаляется броня.
И внемля совести как укоризне,
Сумей ты испытанья предпочесть,
Чтобы не дать
Даже пылинке сесть
На зеркало сверкающее жизни!

Испытывайте каждый день меня.
Ведет нас испытанье, вдаль маня,
Из мысли в мысль,
Из чувства в чувство.
Пусть испытаний путь суров и крут —
Нас возвышает каждодневный труд.
Испытанные горю не сдаются!

Испытывайте каждый день меня.
Я опалился в пламени огня,
Взяв от него и жар и озаренье.
На огненных дорогах тыщи раз
Испытанный —
Обрел я зоркость глаз
И яростный напор преодоления.

Испытывайте каждый день меня.
Без испытаний жизнь — лишь суетня,
Мгновений пыль, мгновений распыленье
При первом дуновенье ветерка.
Кто испытаний не прошел пока,
Чья жизнь легка —
Достоин сожаленья.

Испытывайте каждый день меня.
Из пламени я соткан, из огня.
И знал я:
Что б со мною ни случилось,
Я устою, я выдержу — не зря
Испытана огнем душа моя,
В распутицу она не замутилась!

Испытывайте каждый день меня.
Мне буря — друг,
Мне молния — родня.
Испытан на любые переплавы,
Храню в душе огня того тепло.
Оно меня всегда вперед влекло —
Во имя родины, ее нетленной славы!

ЗВАЛИ БЫ МЕНЯ...

Прорубает
Горы человек,
Изменяет
Смело русла рек.
Добывает тонны серебра,
Поднимает
Уголь на-гора.
Человек с подоблачных высот
Гроздья звезд рукою достает,
Расстиляет по земле сады,
Добывает пламя из воды,
Строит через пропасти мосты,
Строит мир чудесный —
Из мечты.
Видя чудеса их мастерства,
Слышу в сердце строгие слова:
— Почему средь этого огня
В гуле новых строек нет меня?..

Человек
С пылающей душой,
Перед ним распахнут мир большой,
Добывает уголь из земли,
В океанах водит корабли,
У него завидная судьба —
Лилии растить,
Растить хлеба.
Жнет колосья —
И горит впотьмах
Золото осеннее в снопах.
Хлеб беру — и белый и ржаной,
Напоенный силою земной.
В сердце жажда прежняя жива,
В сердце слышу строгие слова:
— Почему средь золотого дня
Поле убирают без меня?..

Все от трав до голубых высот,
Все меня без усталости зовет.
От души хочу, чтобы светла
К людям бы
Тропа меня вела.
Чтоб со всеми в каждом деле быть,
Уголь добывать,
Траву косить,
Чтобы домны, поле и стерня
Звали бы к себе
Всегда меня!..

НЕ ИССЯКНЕТ

Пустая праздность разъедает день,
Он исчезает быстро,
Словно тень,

Он держит радость — легкую росу,
А если слезы — легкую слезу...

Бушующая радость, как волна,
Смывает день из памяти сполна.
А завтра что? Уйдет она, уйдет.
И сердце вдруг печалью обожжет.
Ты захмелел, ты сыт все эти дни,
Но друг за другом промелькнули они.

А трудный день,
Наполненный трудом,
Чтоб вдалеке исчезнуть за хребтом,
Он медленно шагает по земле,
Как будто горы тащит в подоле.

Под медленный его спокойный ход
За каплей капля время потечет,
И ляжет след натруженного дня,
Как вбитый в землю быстрый след коня.

Рабочий день, он открывает даль
И побеждает тусклую печаль,
Как на огни нетленные огни,
Так он на дни нанизывает дни.

Рабочий день, он высекает свет,
Шагает по земле,
В лучи одет,
Пронзая синь небес и облака,
Проводит свет в грядущие века.

Разбужен день трудом. И потому
Ему соблазнов чаша ни к чему!
Ты в нем живешь, свеченьем окружен,—
Нет, не померкнет, не иссякнет он!

* * *

Я зависим от земли
Своей родной,
Я зависим
От листвы ее резной,
От листвы от молодой, от золотой,
Что летит как будто парус над землей.
Я зависим
От развесистых берез
И от кленов,
Полных песен,
Полных гнезд.
Я зависим от родной своей земли,
От дорог, что во все стороны легли.
Я зависим
От родного очага
Вплоть до искорки одной, до уголька.
Я зависим
От звенящих колосков,

От журчанья и сверканья родников.
Я зависим от алеющей зари
Над просторами моей родной земли.
Я зависим от ее весенних дней,
Тех, что облачка вершинного синей.
От прохладного сквозного ветерка,
Что остудит мое пламя, как река.
Я зависим от того, что жжет роса
И вливается в мои слова,
В глаза.
Я зависим, я зависим от всего,
И от слова, мать отчизна, твоего,
От родного, от святого языка
И от имени, что чище родника.
Я зависим от вершин и от морей,
Я зависим от земли родной своей.
Если песней ей своей не отзовусь,
От нее
Хоть на мгновенье оторвусь —
Ветры лютые меня сорвут
И, как малую пылинку, унесут!..

Перевел **ВЛАДИМИР ЦЫБИН**.



ИЛЬЯ ВЕРГАСОВ

★

ОСТАНЕТСЯ С ТОБОЮ НАВСЕГДА...

Роман

1

Облака низко плывут над Краснодаром. Накрапывает дождь. Сырой ветер с Кубани то в лицо бьет, то толкает в спину. В двух шагах от центра — город не город, а большущая станица: будто со всего края собрали сюда дома из красной цеглы под черепичными и оцинкованными крышами, расставили в садах с шелковицами, яблонями, с высокими тополями в вороньих гнездах, огородили заборами, на зеленых калитках приколотили таблички: «Во дворе злая собака».

Устало тащусь за квартирьером. Пожилой старшина в кубанке, покряхтывая, останавливается у очередной калитки, дубасит по ней кулаком:

— Гей, хозяйева!

Брежут собаки.

— Та никакой надежды, товарищ пидполковник! — Серdito сплюнул. — Кого тильки нэма у городи: и тоби штабы, и госпиталя, тылы усякие, а тут як повмыралы...

— Шагай, шагай, старшина!..

Пересекли улицу и на тротуарчике из красного кирпича дружно затопали, сбивая с сапог налипшую черную, как уголь, землю.

— Даже интересно: вы при таких званиях, а прыйшлы в военкомат. На гражданку чи шо?

— Калитка рядом, стучи...

Он серdito заколотил — мертвый проснется.

— От люди, чую, шо хатенка не пуста. — Стал лицом к мостовой и каблуком — бах! бах!..

С крыльца женский голос:

— А нельзя ли потише?

— Видчиняй!

Открылась калитка.

Молодая женщина, кутаясь в белую пуховую шаль, зябко сводя узенькие плечи, отчужденно смотрела на нас.

— Что вам нужно?

— Покажь хату, — потребовал квартирьер.

— У меня не топится.

— Поглядим! — Он решительно пошел к крыльцу.

Я задержался, стараясь уловить взгляд негостеприимной хозяйки и как-то сгладить очень уж решительные действия моего квартирьера.

— Так идите и вы... Вторгайтесь! — Она негодующе тряхнула головой, платок сполз на плечи, открыв гладкую прическу, светлые волосы уложены пучком над высокой белой шей.

Низенький под тополями домик, в нем комнатенка.

— Ну как? — Глаза старшины умоляли: соглашайся.

— Подойдет, — говорю устало.

— Подполковник не из царских палат, сугреется. — Старшина подморгнул хозяйке и поскорее убрался — боялся, что передумаю.

Я едва улавливал застоявшийся приторный дух немецких сигарет, которыми мы, партизаны, сами себя снабжали в крымском лесу.

— Здесь немцы жили?

Женщина не отвечая стояла у порога, пристально рассматривала меня. И откуда такая здесь взялась, кто и по стечению каких обстоятельств забыл ее в этой окраинной глухомани?

— Волосы перекисью жгли... Под немку, что ли?

Сердито повернулась, ушла.

Голые стены. У единственного окошка старомодная деревянная кровать с серым одеялом и большой подушкой в белой чистой наволочке.

Сыро, холодно, печки нет...

Вещевой мешок бросил в угол, скинул плащ-палатку, посидел на кровати, обалдевший от дальней дороги. Потом вышел к калитке, закурил.

— Здоров бувай, товарищ охфицер! — приветствовал меня дед со всклокоченной реденькой бородкой.

— Здравствуйте, отец. Сосед, да?

— Ага... Часом, подымить нэма чим?

Дед, прихрамывая, подходит, сверлит меня хитроватыми глазками. Заскорюзлыми пальцами берет из пачки папиросу, нюхает ее, прикуривает от зажигалки. Смачно затягивается, задержав дым, медленно выпускает его сквозь полуподжатые губы.

— Наш тютюн — под дыхом скворчить. Сами с каких краев?

У меня нет никакого желания вступать в разговор. Молчу, поеживаясь.

— Нэ топыть, вот шлюха... Та вона с германьскими охфицерами любовь крутыла; воны ей, гадюке, топку навезлы — на цельный год хватать...

Я ушел в домик. Сбросив сапоги, забрался под одеяло, пытаясь согреться. Устал. Чертовски устал. Уснуть бы. То так, то этак укладываю голову на большой и жесткой подушке.

Краснодар! Первый город моего босоногого детства. Мать привезла десятилетним мальчишкой, и меня оглушили трамвайные звонки и шум нарядной толпы, которой я тогда побаивался. Сто верст отсюда на восток — родная станица, где началась вдовья судьба и где так трагически оборвалась жизнь матери. От этой станицы пошла петлять и моя солдатская дорога — Дагестан, каменевская военная школа в Киеве, самом красивом городе на высоком берегу Днепра, уютный Симферополь, летом лагерная жизнь в горах, тактические занятия на Замане, Яман-Таше, походы к Басман-горе. Поблизости отсюда и моя партизанская жизнь. Два часа полета на «ПО-2» — и Бабуган-яйла, откуда увезли меня на Большую землю.

Теперь город встретил меня не так, как встречал в детстве. Он был другим — с кварталами разрушенных домов, вывороченными мостовыми, с зенитными установками и прожекторами, которые с вечера до рассвета ощупывали темное неласковое небо. Все здесь казалось чужим, неприветливым. Неужели стану белобилетником? Нет-нет, так запросто не позволю снять полевые погоны. А пока — спать, спать. Ну, по-солдатски!

...Я бегу по улице своей станицы, мелькают хаты с камышовыми

крышами... Вскрываю в сени, вижу, как мама закрывает ставни. Нас окружили немцы. Станичный атаман кричит: «Ульяна, а ну выходи!» Мама схватила ухват. Отвалилась от двери доска, другая; врываются немцы, за волосы волокут маму. «Мама!» — кричу что есть мочи и... просыпаюсь от яркого света.

Возле кровати стоит хозяйка в длинном шелковом халате, с керосиновой лампой в руке.

— Вам что? — Я сел.

— Вы кричали.— Она высоко подняла лампу, всматриваясь в меня.— Может, помощь нужна?

— Нет уж, увольте...

— Что я плохого сделала?

— Мне от вас ничего не нужно — ни плохого, ни хорошего.

— Вы, старший офицер...

— Вот как, в званиях разбираетесь! И в немецких тоже разбирались?

— Это бессовестно.— Она ушла.

Перебила сон, черт бы ее побрал. Во рту сухо, хочется пить. Но не пойдешь же к ней за водой. Ложусь, хочу уснуть, да куда там... Станный сон!.. Пытаюсь вспомнить лицо матери, каким оно было за год до войны, в нашу последнюю встречу. Но вижу ее молодую — вдову погибшего ревкомовца, чужую среди казаков, с серыми, глубоко сидящими глазами, слышу ее требовательный голос: «Костя, иди в пастухи, иди уж...» Помотался я в детстве по нашей кубанской степи!.. Была она пустая, рыжая, только вдали, у Белоусовских хуторов, темнела полоса казенной рощи, куда убежали овцы, которых я пас...

Маму мою убили... Весть об этом в наш партизанский лагерь пришла за два дня до моего ранения. Наш радист выскочил из землянки и побежал к комиссару, избегая моего взгляда. Почему не ко мне?

Комиссар что-то хотел мне сказать, но я жестом остановил его, смял радиogramму, сунул в карман, пошел к Барсучьей горке, прислонился к холодному камню. Ходил по тропам, ни на минуту не забывая о горе, которое делало чужим и враждебным все окружающее. Только к утру улегся между комиссаром и начальником штаба. Они придвинулись поближе, грея меня спинами...

Насколько помню, от Краснодара до нашего разъезда сто верст по железной дороге, а потом до станицы пехом около сорока. За окном рассветало. Тихо вышел из домика и по пустым улицам зашагал на вокзал.

Поезд шел медленно, часами простаивая на станциях и полустанках.

Степь, ни души... Столбовая дорога растолочена машинами, по ней ни проехать, ни пройти. Шагаю по стерне, то и дело стряхивая с сапог налипавшую грязь. Иду как заведенный.

Ночь настигла верстах в десяти от станицы. Забрался в скирду, завернулся в плащ-палатку. Спал, не спал — не знаю, скорее всего находился в туманном забытии, когда, как при мелком осеннем дожде, чего-то ждешь, а чего — и сам не знаешь.

Утром пересек межу, отделявшую станичную степь от совхозной. Азовский ветер дул в спину, надвигалась серая полоса станицы. Узнаю ее и не узнаю. На южной окраине был «гамазин», а сейчас его нет, в центре стояла скромная деревянная церквушка — и ее война смахнула. Меж голых кустов — слепые одинокие хатенки. Ни улиц, ни заборов... Я на майдане, здесь был памятник кочубеевцам, такой знакомый с детства. На каменной стеле было вырублено: «Над могилой этой нечего рыдать, что начато ими, будем продолжать»...

Чуть поодаль, под старым тополем, новенький птaketник, за ним фанерная пирамидка, на ней фотография матери, фамилия, инициалы, год рождения, год смерти. Стою, смотрю. Хлещет дождь, барабана по плащ-палатке...

Не знаю, сколько времени простоял. Зашагал к нашему тупичку. В отдалении виднелась розоватая коробка двухэтажной школы. С той стороны мама возвращалась с раннего станичного базара — в одной руке кошелка, а другая плавно поднимается и опускается, губы шепчут: «Нехай, та нехай»...

Стою у хатенки с остовом крыши, похожим на скелет, смотрю на чердак... Мамин чердак, куда нас она не пускала. Была странно неравнодушна ко всему, что сделано из железа. Ржавые гвозди, ухнали, болты, гайки — все это прятала здесь, под крышей. Натаскает и забудет... А вот колодец без журавля — из сруба пахнуло затхлостью. Вместо сарайчика — яма, залитая водой. За высоким будяком — развороченная скирда. Тут был мой мальчишеский тайник... Ходил я тогда в седьмой класс и бредил учебником физики Краевича. Нам он не по карману — заикнуться боялся. Чтобы как-нибудь свести концы с концами, мама потихонечку приторговывала фуксином, так казачки почему-то называли ультрамариновую краску. Они охотно покупали ее вместо синьки. В хатенке нашей — и на печи и на подоконниках — и на материнских пальцах оставались синие следы. Заветные гривенники прятались в сундучок, ключ от которого всегда висел на стене рядом с керосиновой лампой. Но — физика, физика!.. Во сне и наяву я видел ее страницы с картинками — машины, паровозы... Шесть гривен, всего шесть гривен!.. И однажды, когда никого не было дома, я — за ключ и к сундучку. Схватил несколько монет — и к скирде. Отдышался, пересчитал. Боже мой, не хватает гривенника. Спрятал монетки в тайничок и стал выжидать. Как-то пришла соседка, мать заболталась с ней, а я опять к сундучку. Взял денежку, да слишком торопливо опустил крышку — она хлопнула. Вбежала мать, схватила меня за плечо: «Ты что тут делаешь? Посмотри в глаза». Я разжал ладонь. «Ах вор! Ты и раньше лазил в сундук?» — «Я на физику... Под скирдой лежат...» Бросился к тайнику — он разворочен соседским хряком: Я перебирал землю, пересыпал ее в ладошках... «Ты еще и брехун!» — закричала мать. Била смертным боем — с трудом соседи вырвали меня из ее рук... Попадало мне часто — я терпел. Страшнее было, когда не била, когда глаза ее не отлучали от себя, требовали, ждали — и правда выхлестывалась из меня...

Прошли годы; военным курсантом приехал в станицу на побывку. Перекапывая огород, вывернул пласт земли и увидел серебряные монетки, слегка отдававшие в синеву. «Мама!» Она подержала их, потеряла о юбку: «А кто из нас не бит, сыночек»...

— Здорово, казак! — Тяжелая рука опустилась на мое плечо. Передо мной стоял пожилой мужчина в брезентовом чапане. — Не признав? Цэ же я, Тимофей Григоренко.

— Дядя Тимоха!

Это был старый буденовец, друг моего отца.

— Таки вот моменты, Костя... Ну, чога мовчишь? Айда до хаты.

Он шел впереди, скрипя протезом и сильно припадая на левую ногу.

— Бачишь, як саданулы? Цэ пид Кущевской... Та, слава богу, хлопци нэ покинулы в стэпу.

Сидим за длинным столом из неструганных досок. Дядя Тимоха разливает самогон по **стаканам**:

— Помянем Ульяну.

Отказавшись от моей папироски, он скрутил козью ножку, подымил.

— Дэ твоя голова була, казак? Немец на Дону, а ты письмо матери з партизанского краю шлешь. З цим письмом ее и взяли. Нема тут чоловіка, шоб розказав тобі, як знущались над Ульяной у подвали атамана. Но вси помнять, як волокы ей на майдан два дюжих казака-атаманца и пидняли на помист, за ночь сбытый. Вона стояла над усими з дощечкою, дэ кривыми буквами було нацарапано: «Мать бандита». Немец рванул з нее одежду: «Нэ срамите!» — кричала на весь майдан. Били ее шомполами... И вси тильки чулы: «Нэ срамите! Нэ срамите!» Забили, гады...

Утром простился с дядей Тимохой, зашагал к разъезду. Поезд на Краснодар пришел в три часа ночи.

2

Начальник Третьей части крайвоенкомата, полковник с Красной Звездой на выцветшем кителе, посмотрел на меня поверх очков:

— Константин Николаевич, я ведь не бог. Что я могу сделать, если медицинская комиссия вас забраковала?

— Но это было два месяца назад.

— Хоть и полгода. Никто вам новые легкие не вставит.

— А я настаиваю на перекомиссовке.

— Вот, господи! Ну идите, идите, комиссуйтесь, только меня оставьте в покое...

Истуканом стою перед пожилыми врачами. В отчаянии начинаю приседания — десять раз и по всем правилам. Протягиваю руку долговязому хирургу, который придирался больше всех:

— Вы пульс, пульс сосчитайте! Он даже не участился!

Председатель комиссии строго обрывает:

— Подполковник, цирковые номера в другом месте!

Хирург разводит руками:

— Куда уж вам, батенька. Грудь-то насквозь...

Когда шел сюда, внушал себе: «Не давай воли, сдерживайся от вспышек». Вспомнив об этом самовнушении, молча покидаю комнату.

Через день я снова в военкомате. Полковник, не ответив на мое приветствие, спросил:

— Ну, что еще вам?

— Отправьте меня в отдел кадров штаба фронта. Может, там что-нибудь...

Он закричал:

— Немедленно убирайтесь отсюда! Или прикажу силой!..

— Это меня — силой?.. Ты кого гонишь, тыловая крыса?.. Мою мать немцы шомполами... насмерть... А меня — силой?..

Полковник выскочил из кабинета. И тотчас появился капитан с красной повязкой на рукаве в сопровождении двух автоматчиков.

— Следуйте за мной, подполковник!

Меня ввели в приемную крайвоенкома. Майор с седоватыми висками, выслушав рапорт дежурного, распорядился:

— Капитан, вы свободны. А вас, товарищ подполковник, прошу подождать. Доложу.

...В кабинете я увидел генерала — крупного, широкоплечего, с прямой спиной и рыхлым болезненным лицом. Награды — три ордена Красного Знамени.

Принял стоя, ладонью опершись на край письменного стола под зеленым сукном.

— Подполковник Тимаков по вашему приказанию явился, товарищ генерал! — доложил по всем правилам.

— Явился — вижу... Редкостное явление. — Заплывшие генеральские глаза просверлили насквозь.

Я молчал.

— Шумишь, вояка? Такой срамоты здесь не видывали и не слыхивали. Война, мол, все спит? Ни черта она не списывает... Давно в кадровой армии?

— Около семи лет, товарищ генерал.

— Умешь наблюдать, к примеру?

— Учили.

— Значит, глазастый? А может, хвостун? Проверим. — Переступил с ноги на ногу. — Закрой глаза, да поплотнее. Скажи, что ты увидел в казенном кабинете?

— Разрешите начать с вас? — спросил, осмелев.

— Давай!

— Волосы редкие, седые, зачесаны справа налево. Брови густые, по краям отдают в рыжину. Верхняя губа тоньше нижней, зубы вставные. Китель стар, но выглажен сегодня, локти потерты, на правом штюпка...

— Ведь правда! — Генерал смеялся. — Открой глаза, подполковник!.. Ах какой солдат в тебе пропадает!

Я понял — конец!

— Да, — сказал он и кивнул на папку. — Подай.

Это было мое личное дело. Генерал взял его, перелистал.

— Медики дважды признали тебя негодным к военной службе; жди приказа о демобилизации.

— Несправедливо, товарищ генерал!

— Зря пороха не трать. Ты коммунист. Иди в отдел кадров крайкома партии — будут рады.

— Как же, товарищ генерал? — Я еще не сдавался.

— Калек на фронт не посылают. Ты думаешь, я не пережил?.. Впрочем, — глаза генерала стали лукавыми, — хоть ты и наблюдателен, но все же хвостун. Главного не заметил, вот так-то!..

Еще раз быстрым взглядом я окинул фигуру генерала, остановил глаза на его спине. Почему она такая прямая?

— Корсет, товарищ генерал?

— Сидеть не могу, так и стою манекеном...

— Позвоночник?

— Под Каховкой в сентябре сорок первого. Дорогу в твой Крым защищал... Осколком мины. Год провалялся.

— На вас же погоны!

— Думаешь, весело? Скажу по секрету: там было легче. Жизнь такие кренделя выкидывает — не соскучишься. Иди, фронтовик, извинись перед начальником Третьей части и жди приказа!

...Настроение — как у человека, которого вдруг высадили с парохода там, где он не собирался высаживаться.

Дни за днями — декабрьские, промозглые. Хожу по городу, вглядываюсь в лица — в женские, детские. Голодных тут нет — Кубань хлебная. Но и радостных нечасто встретишь.

Много военных. И лейтенантов, не испытанных часами окопной стужи, горечью отступлений. Их глаза так и светятся молодостью. И пожилых майоров с усталым взглядом — из тех, наверное, кадровиков, что обременены семьями, которые устроены как бог пошлет... И, конечно, госпитальная братва с походкой вольною, свободною...

В редкие солнечные дни я на берегу Кубани, под старым дубом с выжженной молнией сердцевиной. Бегут мутные воды к морю стре-

мительно, напористо, грызут берега — то там, то тут обваливается земля.

Тяжелее всего в дождливые дни. Томлюсь в своей комнатенке, кую до головокружения, и моя жизнь как бы прокручивается обратно...

...Тропы, тропы, ревущие горные реки, ледяная яйла, черные буковые леса. Порою все это так близко подходит ко мне, что кажется: переступи порог — и ты в горах, а на тропе ждет связной гядя Семен.

Идет цепочка партизан. Вокруг безлюдно, молчаливо. Горят леса, сосны вспыхивают от корней до макушки, будто их бензином облили. Огненные трассы прошивают сумрачное небо. Пули «дум-дум» мелькают синими огоньками, стаями звикают вокруг нас. Мы торопливо перешли с высоты на высоту, треск автоматных очередей рвал над нами отравленный угаром воздух.

Наш партизанский комбриг стоял у штабелей гров, вслушивался в хаос стрельбы и непрерывно курил.

Я командовал отрядом. Мое дело — получать и выполнять приказы... А их нет — скрываемся, бегаем. Нагоело сверкать пятками, хотелось рвануться, а там...

На тропе появился паренек, связной из поселка:

— Фрицы, товарищ командир, уходят из поселка, уводят мужиков наших.

— Нехай катятся к бисовой матери!..

Паренек примостился рядом со мной, заплакал:

— И моего батю...

Он смотрел на меня — сколько тоски и укора в мальчишеских глазах! Я вскочил:

— Разрешите немцам бока помять, товарищ комбриг!

— Ух, вояка... Там фрицев бисова уйма!

— Разрешите? — ору.

Комбриг вытянул шею, бросил холодно:

— Ну иги, только — в оба!..

Бегу за пареньком, за мной отряд. Над нами шальные снаряды со свистом режут плотный воздух. Дым от горящих лесных делянок наполняет легкие горечью, слезятся глаза. Переходим по бревну через глубокую, прыгающую по камням речушку. На том берегу ждет мой комиссар Федченко.

— Гей-гей, Степан Федосеич! — кричу ему. — За мной!

Комиссар спросил:

— Что надумали?

— В засаду! Десять гранатометчиков расположим на той стороне дороги, на скале, а сами заляжем на этой — подковой, метрах в двадцати от шоссе. Чтобы наверняка, Степан Федосеич!

— Тогда я с хлопцами — на ту сторону...

Залегли полукругом ниже полуразрушенной каменной ограды, всего в двадцати — тридцати метрах от дороги. По ней изредка проскакивают немецкие машины. Лежим, зуб на зуб не попадает — холодно. Снег под животом подтаял, сырость пробирает до костей. Поглядываю на скалу — притаились наши хлопцы, ждут.

Поселок за горкой — рукой подать. Пока ничего особенного, как обычно, полаивают собаки, постреливает патруль.

И сразу загудели десятки моторов. Дизели... Идут! Поглубже в снег вдавливаю сошки ручного пулемета.

Первыми показали танкетки, за ними два броневика. Из башен полоснули огнем, осыпали светящимися пулями кусты на повороте дороги. Надвигается главная колонна. Машина за машиной, под брезентом поют. Веселые, сволочи!

Во мне все умерло: перестал ощущать ноги, застыли живот, спина. А машина за машиной, машина за машиной. В прорези прицела что-то лохматое то наползает, то отползает.

— Дядька, стреляй! — Паренек толкнул меня в бок.

— Ты что?!

Ближнюю ко мне машину стало заносить — скользко. Кузов — поперек дороги. Высыпали веселые солдаты, дружно облепили семитонку. Подъехали еще, и из тех солдаты выскочили.

Пули всадили в самую середку толпы. Со скалы посыпались противотанковые гранаты. Мелькнула комиссарская папаха... Увидел, как взлетела от взрыва машина и с треском рухнула в кювет. Расстреливали в упор. Только после боя узнал, что разрядил три диска — когда только второй номер успевал заменять?

Крики, стоны, команды... Над нами огненный шквал. Кто-то толкнул меня в плечо:

— Время отходить товарищ командир!..

Бежали по сухому руслу, оно вывело нас за холм. Пули, снаряды, мины вспахивали высотку над табачной делянкой. На ней никого уже не было.

Через день узнали: разбили эсэсовский батальон и, главное, в суматохе боя удрали от немцев арестованные.

Было или не было?..

...Броситься сейчас в Сочи, в штаб партизанского движения, и оттуда — в крымские леса? Но трезвое понимание, что там-то я не сдюжу — могут подкачать простреленные легкие и я стану для всех обузой, — сдерживает меня.

Вот-вот придет из Москвы приказ о моей демобилизации. Надо опередить его. А как, как?..

Генерал Петров!

Когда армия под его командованием обороняла Севастополь, а наша партизанская бригада воевала всего в десяти километрах от переднего края, связные от нас часто появлялись в штабе Петрова, а он присылал к нам своих.

Сейчас генерал командует Северо-Кавказским фронтом. Его приказы обязательны и для крайвоенкомата. Ведь так? Но помнит ли он мое имя?

Мы часто связывались по радио с Севастополем, с Большой землей, посылали шифрованные радиogramмы, сами получали их от адмирала Октябрьского, чаще от Петрова. Поначалу они их адресовали «старшему лейтенанту Тимакову», затем «капитану». А потом, когда я командовал партизанской бригадой, из штаба Черноморской группы войск за подписью генерал-полковника Петрова шли на мое имя радиogramмы — «подполковнику Тимакову».

Во сне почувствовал присутствие постороннего человека в комнате.

— Цэ я, старшина. Сухой паек вам доставил. И курево.

— Положи на столик.

— Яке самочувствие? Начальство интерес проявляет.

— Как там, на улице?

— Подмораживает.

— Спасибо, старшина, иди..

Не успел начаться день — я у контрольно-пропускного пункта. Ни людей, ни машин. Регулировщица, молоденькая миловидная девушка в шинели, скроенной по фигуре, встретила приветливо:

— Доброго ранку, товарищ подполковник.— Улыбнулась, щегольнув ямочками на щеках.

— Здравствуйте. Ну как?

— Ой и насидитесь, товарищ подполковник!

— Мне недалеко, только до фронтового штаба...

— До Ахтанизовской машин раз-два — и обчелся!

Значит, Ахтанизовская!..

Из города шли машины, крытые брезентом. Девчурка согнала улыбку, повелительно подняла флажок. Машины остановились, она похозяйски обошла их, заглядывая под брезент.

День шел, шли машины, а я все стоял, поглядывая на добрую дивчину, которая уже в чем-то считала себя передо мной виноватой.

Показалась полуторка. Регулировщица побежала навстречу, заглянула в кузов и растерянно отступила — там стоял оцинкованный гроб. В кабине рядом с шофером сидела женщина в черном. Я ухватился за борт; высунулся водитель:

— Нельзя — побьетесь!

— Ничего, как-нибудь! — Перемахнул через борт, сказал дивчине, застывшей на обочине дороги: — Жениха тебе доброго!

Машина тронулась. Асфальт ровный. Я уселся поудобнее, вытянул ноги, накинуд капюшон плащ-палатки на голову. Чем дальше на запад, тем больше глубоких колдобин. Гроб то устрещающим юзом надвигался на меня, то скользил к заднему борту. Прижмет — не пикнешь...

За Крымской сразу же вступили в полосу недавних боев.

Наверное, это знаменитая «Голубая линия»! Немцы ее называли «Бляуштрих».

Боже мой, сколько вывороченных дотов, дзотов!.. Бетонные ободки, как гигантские колеса, сплюснутые взрывами. Разорванные танки и самоходки — наши и немецкие; искореженные орудия, лафеты от них, стволы — рваные, расплавленные. И — необозримое армейское барахло: пробитые каски, противогазы, ребристые, заржавленные ящики патронные, снарядные, вороха шин. Тут же клочья мышинового цвета шинелей, выгоревшие от солнца и дождя пилотки.

Глубина боев километров шесть будет.

Да, драка была такая — не захочешь расспрашивать. Это тебе не поле партизанского боя!

А машина шла, на меня кидался холодный западный ветер.

На развилке водитель затормозил:

— Вам налево, товарищ подполковник.

— Спасибо, дружок.

Вокруг ни души. Зашагал к поселку. У первой же хатенки остановил патруль. Два солдата с автоматами наизготовку застыли шагах в двадцати от меня, старший подошел ближе.

— Прошу документы.

Он внимательно и долго всматривался в госпитальную справку и временные удостоверения о наградах, вернул их.

— Предъявите удостоверение личности.

Я молчу.

— Паспорт, наконец... Кто вы такой? Следуйте за мной.

Ведут через поселок. Встречные офицеры недобрыми взглядами провожают меня.

Комната-каморочка, за столом старший лейтенант; верхняя пуговица ворота расстегнута, виден край тельняшки.

— Ну! — Смотрит на меня в упор.

— Прошу сопроводить к старшему начальнику, — говорю как можно увереннее.

— А в каталажку не хочешь?

И вот я в полутемном амбаре. Свернувшись на голом топчане калачиком, пытаюсь забыться. Не удается — мешает дождь. Большой тревоги не испытываю — сейчас не сорок первый, с бухты-барашты не решат. А все же...

Ночь тянулась медленно, тревожно, была полна звуками. С запада доносилось далекое татаканье крупнокалиберных пулеметов, уханье тяжелых орудий; зарокотали знакомые моторы — «кукурузники», или, как громко их теперь зовут, легкие ночные бомбардировщики. Летят — работают. Туда — боеприпасы, продовольствие; отсюда — раненых. Мешки с мукой, наверное, в крови, а раненые в мучной пыли. Так было и у нас в лесу, когда они садились на крохотные аэродромы.

И меня в темную мартовскую ночь такой «кукурузник» поднял в небо и бережно доставил на тихий сочинский аэродром.

...Тогда, утром, на наш лагерь обрушился огонь карателей. Задымился откос желтого известняка — густо шмякались мины. Мы с Семеном, осыпаемые сухим крошевом, бежали вдоль речушки по зыбкому гравью. На той стороне за дубняком застучали автоматы.

— Наши, скорей туда! — закричал я.

Продираясь сквозь орешник, мы выбрались на чаир. Здесь пылала немецкая семитонка.

— Лягай, командир! — Семен упал на землю.

С немцем я столкнулся лоб в лоб. В его белесых застывших глазах был страх. Дряблое бритое лицо в угрях; фонарик с лопнувшим попечерек стеклом болтался на пуговице шинели. И карабин в его руках вздрогнул...

...Море, залитое лунным светом, то надвигалось на меня, то куда-то пропадало. Держали меня цепкие руки Семена, голос его умолял: «Командир, не трэба так, бо зваліться з самолета...»

Из госпиталь в госпиталь, из одних рук в другие... И — все южнее, южнее. Со мной дядя Семен. И друг и нянька. Сипловатым голосом рассказывает о делах на фронте, иногда чуть слышно поет.

— Беруть усих выздоравливающих, потріба в солдатах, — как-то вздохнул он.

— И до тебя доберутся?

— А чого, воно же война...

Прошли душные дожди, я затемпературил. Не было сил шевельнуть распухшим языком, обожженным кислородом. Звал:

— Семен! Где ты, Семен?

Услышал женский немолодой голос:

— Твой Семен тамочки, где все мужики. Сама ему и рубаху и сподники постирала... Уехал, вот ему и дорога. А ты лежи, твое при тебе...

Снова дорога, дорога — на Каспий. Наш пароход качало. Через иллюминаторы виднелись то клочки облачков, то косяки пенившихся волн, над ними вихрилась радужная пыль. Силы, которые я все же накопил за месяц госпитальной жизни, уходили, как вода сквозь незримую трещину...

Снова санитарный поезд. На шестые сутки с грехом пополам добрались до Алма-Аты. На машине везли меня в горы, было тепло, в лицо навстречу — освежающая струя. Дорога вилась вдоль русла реки, повторяя ее изгибы. Переехав мост, остановились в тени под чинарой. Я лежал недвижно, еще не веря, что могу вобрать в себя живой воздух. Ко мне подошла женщина в белом халате, рослая, круглоглазая, с черными бровями — будто сажей наведены.

— С приездом, — она слегка картавила, — вам у нас будет хорошо!

Ее окликнули:

— Товарищ майор, Ксения Самойловна!

Меня понесли в хирургическое отделение. Пахло хлоркой. Санитары тащили носилки по глинному барачному коридору.

В палате пусто, а за окном чинара и высокое небо. Там солнце, синий воздух. И мне хочется туда.

Через день залихорадило. Дыхание пресеклось, воздух в легких гавил на бока — казалось, вот-вот разорвет меня. Струя кислорода на какой-то миг возвращала дыхание, но потом снова начиналось удушье. Руки, ноги, тело были чужими... И — провал сознания, темнота. Когда очнулся, ужасно болели кисти рук. Спросил у сестры:

— Что со мной?

— Оперировали тебя. Ты все рвался куда-то, кричал. Держали мы тебя, всем досталось...

На меня навалился сон. Смутно чувствовал время, когда кормили, поили, пичкали лекарствами. Не то наяву, не то во сне мелькали разные лица, чаще всего материнское. Я видел три абрикосовых дерева у нашей хаты, посаженных в день рождения каждого из нас, трех братьев. Они выросли такими же не похожими друг на друга, как не похожи были мы, трое ее сыновей. Трое. А теперь я один. Братья легли на границе в первые дни войны. Мое дерево росло кривым, узловатым, терпкие плоды сводили рот, корявые ветки богались — на них частенько оставались клочья моей латаной-перелатаной одежки. «Срублю!» — грозилась мать...

Поместили в просторную нежаркую комнату в два светлых окна, за которыми виднелись горы. И слышался зовущий шум реки. Сосед — одноногий капитан Кондрат Алехин. После завтрака врачебный обход. Ждем Ксению Самойловну. Вот-вот раздастся стук ее каблучков. Идет... К нам? Мимо. Секундная стрелка на моих трофейных часах совершает круг за кругом, а стук ее каблучков то приближается, то затихает. Минуты почему-то глинные-глинные.

— Здравствуйте, товарищи офицеры!

К кому первому пойдете? К Кондрату...

Меня учили ходить. Я сел на кровать, поддерживаемый нянькой и сестрой. Свесил худые ноги с острыми коленками — они казались пуговыми. Сестра решительно взяла под руку:

— А ну пошли, младенец!

Первый шаг, второй — закачались стены. Протащили от кровати до окна и обратно. Вспотел.

Через день маршрут мой удлинился: от постели до самого сестринского поста. Раненые чуть ли не по ранжиру выстроились вдоль стены:

— Топай, топай, доходяга!..

А вскоре я уже не нуждался в поводырях. Не спеша оголевал тропу от корпуса до старой чинары. Под ней лежал глинный обрубок дерева, отполированный солдатскими загами. Тут и перекур и «брехбюро».

Заскучал. Все чаще посиживал под чинарой с Кондратом Ивановичем.

С утра лил мелкий дождь, тоскливый. Потом из-за гребня горы ударило солнце. Высоко парили орлы. Они не такие, как у нас в Крыму, покрупнее.

— Курнешь, может? — Кондрат дал тонкую папироску.

Затянулся — слезы на глазах.

— Ничего, обвыкнешь. А все же немцев шуганут на смоленском направлении.

Молчу, не хочу спорить, надоело. Утром наспорились. Я ему доказывал:

— После Днепра нажмут на Крым, на Одессу.

А он:

— Брунда! Стратегия, стратегия! Ты ни черта в ней не разбираешься. Сталин не позволит жить Гитлеру в трехстах километрах от Москвы. Дошло?

— Необязательно. Наши как двинут на румынскую границу — сожметя Гитлер, уберет московский кулак, как курский убрал.

— Скажешь тоже — «убрал». Под корень резанули — за Днепром аукнулось.

— Резанули, верно. Но пойми — наши на Киев глядят!

Разворачиваем карту. Он в свое место тычет, а я в свое.

А если подумать, у нас и спора тогда не было. Я о Крыме тужу, а он о Смоленщине, о глухой деревушке за Днепром, где остались его старики...

Как-то он заскакивает в палату, костыль прочь:

— Ура! Фрица за Таганрог поперли!..

От таких вестей зуг нетерпения: скорей бы отсюда.

А если к финалу не попаду? Как же тогда? Тяжелые камни с поля со всеми таскал, в стужу пахали, а вот как зелены пойдут — не увижу?..

За мостом, у подножья горы — большая поляна. На ней я и набирался сил. Хожу, хожу. Считаю шаги, с каждым днем их больше и больше. Шесть раз обошел поляну, теперь надо семь, восемь... Пусть покой вокруг, тишина первозданная и твой мир ограничен: безоблачное небо, перевязочная, где радуются заживающим ранам, как удачной атаке, палата и друг по несчастью Кондрат. Ты кончил ужин? Шагай на свою поляну и чтобы десять кругов, не меньше.

Наши войска освободили Мелитополь! А потом как гром среди ясного неба: Тамань — наша! Коса Чушка — наша! Впереди Керчь. Все к черту!

Бегу к старику хирургу, теперь он лечит меня. Ксению Самойловну назначили начальником госпиталя. Доктор выслушал, остро глянул на меня сквозь толстые стекла очков:

— Решил? В драку?

— А я больше ничего не умею.

— Это точно, ваше поколение грачливое!..

Ошеломленно смотрю на него.

— Не тараци понапрасну глаза... герой!

— Я-то себя лучше знаю.

— Еще бы! Куда уж нам. Подумаешь — полвека лечим. — Доктор уткнулся в чью-то историю болезни.

Побежал к начальнику госпиталя:

— Ксения Самойловна, умоляю, пошлите меня на гарнизонную медицинскую комиссию.

— Да вы что — белены объелись?

— Не пошлете — удержу.

Она рассердилась:

— Ну и комиссуйтесь, только потом пеняйте на себя!..

Гарнизонная военно-медицинская комиссия меня забраковала. На продуктовой машине добрался до госпиталя. Сагами вышел на свою поляну — ни с кем не хотелось встречаться. Стою у подножья крутой горы, на вершину которой я часто смотрел из окна палаты, думая, одолею ли я ее когда-нибудь. А если сейчас?

Тропа крутая. Силы распределяю расчетливо. Дыхание зачестило, но высоту взял с ходу. Простор вокруг — в дымке видится город. От

земли со щедрым высокотравьем несет винным духом, как от чана с суслом, где варится церковное вино кагор.

Сомнения, сомнения... А если окружная забракует? Куда тогда?

...Стою у вагонного окна. Мелькают телеграфные столбы, медленно уплывают гали синегорья. Хлопок между арыками, кукуруза без початков, в лощинах малиновые отсветы каких-то незнакомых трав. И полустанки с бойкоглазыми мальчишками в тюбетейках — кривляются, машут руками.

Ташкент, Ташкент, как примешь меня?..

Иду по шумной солнечной улице, смотрю на дома, пересекаю бульвар с цветниками, пламенеющими багровыми каннами. И дома целы, и улицы вроде чисты. А все-таки... Люди! Их глаза — ввалившиеся, в которых и муки дорог и еще бог знает что. Эвакуированные...

В приемной отдела кагров штаба округа толпились капитаны, майоры, подполковники. Тут собрались, видно, из госпиталей всех среднеазиатских республик. Я так и не пробился к окошку дежурного. Куда же теперь?

Ко мне подходят трое кавалеристов при шпорах. Майор со шрамом через всю щеку спрашивает:

— Какой курс?

Я пожал плечами.

— Айда с нами, в накладе не будешь, — пригласил подполковник с пышными рыжими усами.

— Может, некрещеный? — подмаргивает капитан и, прищурившись, хитро спрашивает: — Каким пламенем спирт горит?

— Синим.

— А бросишь щепотку соли?

— Зеленым.

— Академик! — смеется подполковник.

Знакомство молниеносное. Биография у каждого на груди: боевые награды. Они лечились в Фергане, малость подгуляли в пути и гадают, какова будет расплата. А в общем, бог накажет, бог и простит.

— Так зашагали, братцы-фронтовики, — тянет меня за руку подполковник.

Я заколебался было, но на меня смотрели трое мужчин.

Солнце печет во всю ивановскую, душно. Переулки, по которым мы петляли, узки — двум ослам не разминуться, в них, наверное, застоялась еще летняя духота.

По сторонам гувалы, мазанки с глухими стенами наружу. Из-за гувалов выглядывают запыленные деревья с пожухлой листвой. Мы завернули за угол, в ноздри ударил аппетитный запах еды, чем-то напоминавший аромат степного тузлука. Шаги у всех стали шире.

Дружно ввалились во двор, похожий на пустой тюремный плац.

— Абдул-ага! — крикнул майор со шрамом.

— О, салам, салам! — Из темного зева конуры вышел громадный плечистый человек с заплывшим жирным лицом, с усами, свисавшими по-запорожски. Полосатый, далеко не первой свежести халат, перевязанный кушаком, на ногах мягкие ичиги. — Пожалста, командир! Гостя будешь! — Сложился вдвое и нырнул в черный проем.

Мы за ним гуськом.

Оказались в комнате с персидским ковром на полу, двумя большими медными тазами на глухих стенах, засаленными думками-пуховичками на облезлой тахте.

— Ходи, ходи! Гостя будешь! — хлопотал хозяин.

Подполковник, старший среди нас годами, тронул меня за плечо:

— У нас в кармане негусто. Добавишь?

— Само собой.— Я достал из полевой сумки несколько тридцаток и бросил в общий котел.

Круглый медный таз дымился, рис лоснился жиром, а куски баранины — как червонное золото.

Мы уселись на старый, потертый ковер по-турецки. Подполковник, с глазами, спрятанными под густыми бровями, засучив рукава гимнастерки по локоть, поднял бутылку и разлил водку по граненым стаканам — не надо аптечных весов. Вытер губы, поднял стакан:

— Ну, фронтовики, поехали!

Челюсти работали с упорством мельничных жерновов при большой воде. Разомлели, подобрели.

— Песню, нашу, казацкую! — Майор со шрамом откашлялся и чистым тихим тенором затянул:

*Ах, Кубань ты наша родина!
Вековой наш богатырь...*

В дальнюю галь летит его голос, ему вторит бас тамады, густой, сильный, а между ними наши баритоны. Мы всячески стараемся свести небо с землей, слить в единство душевные разности. На сердце легкость, а между нами лад. Четыре солдата, и каждый из них лежал на ратном поле в обнимку со смертью. Вышагали, выстрадали, пряча под военной гимнастеркой рубцы...

Дежурный офицер из отдела кадров взял мои документы, долго и внимательно вчитывался, наконец спросил:

— Что вы хотите?

— Хочу обжаловать решение гарнизонной военно-врачебной комиссии.

— Оно обжалованию не подлежит. Приходите завтра в три часа дня.

Назавтра он спросил:

— Где впервые призывались в Красную Армию?

— На Кубани.

— Сейчас вам выпишут проездные документы до Краснодара.

И вот, как говорится, приехал...

4

Утром меня привели в большую комнату. За столом комендант, хмурый подполковник с перевязанной рукой. Приказал солдату:

— Выйди и стой за дверью.— Посмотрел на меня.— Вы выдаете себя за человека, которого мы знаем. Вот справка от Крымского штаба партизанского движения: подполковник Константин Николаевич Тимаков скончался в городе Баку в госпитале.

— Было такое. Да тот свет оказался поганым...

— И явились оттуда с сомнительными справками?

— Разрешите сесть, у меня ломит спину от столь любезного приема. Я действительно Тимаков, комбриг, партизан. Мне нужна встреча с Иваном Ефимовичем Петровым.

— Может, с маршалом Жуковым? Тогда дозволейте доложить о вашей персоне в Ставку?

— Не в Ставку, а командующему фронтом генералу Петрову.

Терпение мое лопалось. Комендант резко крутнул ручку полевого телефона:

— Дай мне Девятого... Товарищ Девятый? Докладывает Сороковой. Нами задержан гражданин, выдает себя за Тимакова Константина

Николаевича, бывшего руководителя партизан в северокавказских лесах. Настаивает на встрече с хозяином!.. Какой из себя? Сейчас доложу.— Комендант пристально смотрит на меня.— Рост повыше среднего, худощав, глаза серые, брови черные и густые, правое плечо чуть выше левого — ранен, видать... Лет? Да, наверное, около сорока...

— Двадцать шесть,— подсказываю.

— Говорит — двадцать шесть... Когда задержали? Мне доложили час назад.— Явно соврал. Со вздохом: — Да что вы? Понимаю. Будем ждать...

Медленно положил трубку.

— Велел часок потерпеть.

— С кем говорили?

— С кем положено.— Сказано было примирительно; достал пачку папирос.— Задымим, что ли?

— «Казбек»! Еще до войны пробовал...

— Знаете сами — фронтовая полоса... Недавно под Холмской одного взяли. Инвалидом войны рядился, а кокнули малость — шпион чистой масти.— И вдруг спросил: — Может, чайку?

— Давайте, продрог в вашей мышеловке.

— Да, помощничек у меня!.. Старается, неистовый. Из морской пехоты, все в тельняшке красуется.

Наше чаепитие внезапно оборвалось — появился майор в мундире с иголки, подошел ко мне:

— Вы называете себя Тимаковым? Следуйте за мной.

Трое суток меня держали в темной хатенке среди солдат караульного взвода...

Одним словом, приехал, явился. И примета проклятая — гроб. Не доберусь я до Петрова...

Снова пришел тот самый чистенький майор, вежливо сказал:

— Все ясно. Вы есть вы, Константин Николаевич.

— И на том спасибо. Хочу встретиться с командующим фронтом генерал-полковником Петровым.

— Об этом известно кому положено. А пока отвезу вас за лиман.

— С глаз подальше?

— Зачем вы так? Там будет спокойнее.

И вот я за лиманом, в крохотном рыбацком поселке.

Хозяин хатенки, в которой меня поместили, старый рыбак. Принял молчаливо, колочу поглядывал на мои золотые погоны — я не снимал их, решив предстать перед командующим по всей форме. Старик бубнил что-то себе под нос.

— Ты чего там, дед?

— Як миколаевски охфицеры... Побачив бы батько Жлоба — шаблю наголо!

— Твой Жлоба носил бы сейчас генеральские погоны...

Дед крикнул:

— И самого Жлобы нема, и Ковтюха, и Приймака нема... Оце булы казаки! Та хибя воны пустылы бы аспида аж на Кубань? Та в жисть цего не было бы!

— Война другая, дед...

— Погана война! Трьох сынов побылы. Сам звидкиля будешь?

— С Кубани.— Я назвал станицу.— Слышал про такую?

— Та чув. Кажут, што глуха. Тамочки кочубеевцев богацко.

— Знал кое-кого.

— Про Лысенко чув?

— Видал, как хоронили. На маневрах погиб.

— Це мий эскадронный. Рубака! — Старик стал добрее, позвал к столу: — Вечерять будем. Рыбка свиженька...

Через неделю к нашей хатенке подкатил «виллис» с щеголеватым майором и незнакомым мне подполковником, который тут же подал руку:

— Адъютант командующего. Прошу — усаживайтесь.

Доехали за считанные минуты. Адъютант привел меня в свою комнатушку:

— Прошу обождать.

Волнуюсь, стараюсь вспомнить все, что знаю об Иване Ефимовиче Петрове. Первым делом вспомнились те деловые шифрограммы, которые шли в наш лес из Севастополя за его подписью. В них за скупыми строками стояло уважение к нам, к нашей борьбе. Но еще раньше...

Немцы шли на Ялту. Один из отрядов будущей нашей партизанской бригады был поднят по тревоге и на машинах заброшен на плато ай-петринской яйлы.

Впервые в жизни я занимал боевую позицию. На «ЗИСе» подкатил начальник оборонительного района, представился:

— Командир полка Чапаевской дивизии майор Белаш.— Он стал под низкорослую сосну, гнутую-перегнутую ветрами, оглянулся и резко сказал: — Рубеж не годится.

— Я все взвесил, товарищ майор...

— Плохо знаешь немцев. Оставь тут одну роту, всех остальных вон к тем домишкам. Там и окапывайся и огонь нацель на лесную просеку — оттуда поперет их пехтура.

На дороге показались немецкие танки. Моей пехоте с ними ничего бы не поделать, а вот противотанковые пушки, скрытые в зарослях держидерева, прямой наводкой разбили два танка, третий убрался в низину. Пехота пошла на нас оттуда, откуда и ждал ее Белаш. Веерный огонь станковых пулеметов прижал ее к скале Беденекыр и заставил отползти.

Майор пригласил меня на командный пункт. Прикрывшись буркой, устало прилег и, поглядывая на меня, сказал:

— Не смущайся, со временем набьешь руку. На ком и на чем держалась Одесса? Как нам удалось покинуть город, не оставив врагу даже раненой коняки?.. Наша боевая школа началась на румынской границе, мы держались бы там полгода, год... Только по приказу отступили. Нас вел Иван Ефимович Петров! В чем его сила? Нет, ни на Чапаева, ни на Пархоменко не похож — образован, интеллигентен, в пенсне с золотой оправой...

— Из учителей?

— Сын сапожника, солдат германской войны. Дослужился до прапора, а революцию встретил коммунистом. Через год комиссар рабоче-крестьянского полка. Из прапорщика в комиссары! Не часто бывало.

За полночь мы слышали далекий скрежещущий звук, рождавший тревогу. Белаш насторожился.

— Под Севастополем! Успел бы туда Иван Ефимович — фашисту города не видать!..

Так я впервые услышал о Петрове...

Вошел адъютант.

— Вас ждут.

Одернул китель, зашагал к кабинету. Адъютант открыл передо мной дверь.

— Разрешите? — сказал я громко.

Иван Ефимович удивленно смотрел на меня.

— Товарищ командующий! Бывший командир партизанской бригады подполковник Тимаков!

Он горячо пожал мне руку:

— Молод, очень молод.— Лицо Петрова как-то внезапно дернулось.— Что ж, война — дело молодых.— Снова тик, подергивание головы, старая контузия, должно быть.— Садитесь, гостем будете.— Он сел напротив.— Хорошо помогали Севастополю.

— Спасибо.

— Это вам, партизанам, спасибо.

Солдат в белом халате, с поварским колпаком на бритой голове поставил между нами поднос с чаем и бутербродами и удалился.

Петров угощал:

— Ешьте, отдайте должное стараниям военторга.

Торопливо вошел адъютант, склонившись к генеральскому уху, что-то шепнул. Иван Ефимович изменился в лице — посуровел, поднялся и подошел к столу с телефонами. Я встал, но он жестом велел сидеть. Взял трубку:

— Слушаю.

И — тишина.

Я не смотрел на генерала, но чувствовал его напряжение. Воздух в кабинете словно был наэлектризован. У дверей навытяжку замер адъютант. Командующий откашлялся:

— Мои соображения: город можно взять за трое суток, но будут большие потери.— Он помолчал.— Нет гарантии, что фронт немцы не остановят там, где остановили наш керченский десант в начале сорок второго года. Малой кровью можно освободить весь Крымский полуостров весной во взаимодействии с войсками Толбухина.

Каждое слово он произносил четко, но именно за этой четкостью я улавливал всю глубину его волнения. В кабинете стало еще тише.

— Ясно. До свидания, товарищ Иванов.

Легкий шорох — он положил трубку, но продолжал стоять у аппарата.

Адъютант исчез. Неприятный холодок пробежал по спине. Я неслышно сложил тарелочки на поднос, подобрал крошки.

Петров подошел к окну, стал смотреть на синюю полоску лимана. Широкая спина согнулась, округлилась. Наконец повернулся ко мне:

— Когда ранены?

— В марте сорок третьего года.

— Хочу уточнить. Сколько участников обороны Севастополя пробилось в партизанские отряды?

Генеральские глаза требовали правду. Но вместе с тем я понял: он знает ее. Ждал терпеливо, давая время обдумать ответ.

— Одиночки, товарищ генерал.

— Сколько?

— В нашу бригаду пришло до тридцати человек.

— Вас, партизан, трудно было найти?

— Искать было некому, Иван Ефимович. Фашисты опередили: блокировали подступы к лесам. Они расстреливали на месте женщин и стариков, стоило лишь тем выйти в подлесок за хворостом.

— Тяжела твоя правда, партизан.— Он медленно подошел к столу, по-стариковски нагнулся и достал из ящика толстый альбом.— Может, кого узнаете?

На фотографии в группе командиров я увидел знакомого майора.

— Белаш!

— И что с ним? — Глаза генерала с надеждой смотрели на меня.

— Убит на яйле, мы хоронили...

Он мне сейчас почему-то напомнил нашего станичного землемера, только что вернувшегося с поля, где отмерял горластым мужикам наделы. Причина, которая привела меня в кабинет, показалась до

того частной, что о ней неловко было и говорить. Я сделал движение, которое можно было понять как немую просьбу: разрешите удалить-ся? Однако Петров потребовал:

— Выкладывайте о себе все! Не просто же повидать меня явились...

Слишком много я думал об этой встрече, о тех словах, которые скажу.

Он выслушал с вниманием, подумав, сказал:

— Пишите рапорт и ждите вызова через военкомат.

Я снова в Краснодаре. Боясь пропустить вызов, отсиживаюсь в сырой комнатенке один на один с серыми стенами, с засохшей геранью на подоконнике. За стеной — женщина. Уходит куда-то утром, возвращается после полудня. Плеск воды; что-то готовит — запах жареного лука просачивается во все щели. У нее, должно быть, тепло, уютно. Иногда приходится с ней здороваться, при встречах уступать дорогу.

— Спасибо, — чуть слышно благодарит.

Как-то перехватил на себе ее пристальный взгляд. Впрочем, на-верное, показалось...

Почему нет вызова? Десятые сутки. Правду говорят: хуже всего ждать и догонять!

Я снова пробираюсь в Ахтанизовскую. Узнаю: командующий в войсках. Но разве у кого повернется язык сказать, в каких соедине-ниях или частях? Да и спрашивать не положено.

А комендант штаба? Я разыскал его на улице:

— Здравия желаю, товарищ подполковник!

— А, ваша милость. Зачем пожаловал?

— Командующий велел навестить через декаду, — соврал я.

— Через декаду, говоришь? — Он удивился.

Решил идти напролом:

— Где мне найти Ивана Ефимовича?

Подполковник чуть не поперхнулся:

— Может, хочешь узнать, что делается в шифровальном отделе?

— Мне нужна встреча с генералом, очень нужна! — умоляюще проговорил я.

Подполковник решился:

— За добро добром платят! Ты тогда мог накапать — я-то знаю, как мои помощники тебя встретили... Шагай на Гадючий Кут. Запом-ни: я тебя знать не знаю!

На попутных добрался до Керченского пролива. С моря дул ве-тер, пахнувший сивашской гнилью.

Хоть волком вой — ни души! Рыбацкие хатенки без крыш, с по-луразвалившимися стенами, сарай, сплюснутый взрывом. У берега на ржавых рельсах — причал, заставленный бочками. Недалеко от при-чала на якоре серый добротный катер с флагом Военно-Морских Сил.

Подумал: может, командующего поджидает? Тихо, по-партизан-ски, с оглядкой спустился к причалу, притаился за бочками.

Высокая фигура в дождевике с капюшоном стояла у самого конца настила, метрах в десяти от меня.

Вспомнил генеральскую спину у окна... Конечно он! Перевел взгляд на катер, заметил группу военных и среди них генеральского адъютанта, обеспокоенно поглядывающего на Ивана Ефимовича.

О борт судна хлестали азовские волны. На крымском берегу ды-шал фронт. Далеко на востоке — наверное, на косе Чушке — была тяжелая артиллерия. Меня окружали почерневшие от времени дубо-

вые бочки с ржавыми обручами, вкривь и вкось обнимающими рассохшиеся клепки.

Петров неотрывно смотрел на далекий берег, откинул капюшон, снял папаху — ветер с запада зашевелил редкие седые волосы. Нахлобучив папаху, генерал глухо крикнул:

— Подавай!

Катер пошел курсом на север...

Утром, простившись со стариком рыбаком, угостившим меня крутой ухой — я ночевал у него за лиманом, — вышел на развилку.

Ощущение непонятной тревоги не покидало меня.

Увидел машину коменданта.

— Куда? — спросил он под скрип тормозов.

— В Краснодар.

— До Крымской подброшу, садись.

«Виллис» споро подбирал под себя прифронтовую дорогу. Комендант долго молчал, потом повернулся ко мне:

— Видел?

— Да.

— Говорил?

Я рассказал о том, что было в Гадючем Куте.

— Иван Ефимович... Я с ним из самой Одессы. Это был настоящий командующий! — негромко сказал комендант.

— Почему «был»?

— Срочно отозвали в Ставку. Двести пятьдесят дней Севастополь защищал. Сколько тех защитников было? С гулькин нос, а держали. Петров всей битве той голова. А теперь вот ждем нового хозяина...

— Кого, не секрет?

— Секрет, известный самому Гитлеру... Наверное, генерала Еременко.

— Сталинградский?

— Он. Говорят, боевой; помалкивает, прихрамывает, а своего добьется — хоть тресни, — вздохнул штабной комендант.

5

Прошла еще неделя. В Крыму ожесточенные бои на плацдармах. Тревожно: в городе много санитарных машин.

На старом базаре столкнулся с командиром первого отряда нашей партизанской бригады:

— Сергей Павлович!

Он заморгал близорукими глазами:

— Простите, но я вас...

— До каких пор будете держать свой отряд у Железных ворот, товарищ Кальной? — спросил, как порой спрашивал его в лесу.

— Наш комбриг Константин Николаевич!.. Ну и омолодили вас — хоть в женихи. — Обнял меня. — Ты ж в сыновья мне годишься! Тридцать-то будет?

— Недобрал.

— Вот потеха! — Он потянул меня за рукав. — Пошли-ка, хлопец. — Повел мимо торговых рядов, за ларьки. Возле халупки с дымком, рвавшимся хлопьями из железной трубы, выведенной в окно, остановился. — Тут по старой дружбе нам кое-что сообразят.

Мы сидели в накуренной комнатеке. Сергей Павлович никак не мог оправиться от удивления:

— И кому я подчинялся?.. Почему-то мне думалось, что мы с тобой прошли одну и ту же жизнь. Я под Скадовском бил беляков, а ты

в это время, оказывается, пешком под стол ходил... Ну и дела. А может быть, ответственность за человека, когда рядом смерть, возвышала всех нас над прошедшими годами... Ну да ладно, ты лучше расскажи, как с того света в этот пришел. Мы же тебя похоронили.

Он слушал, впитывая в себя каждое мое слово.

— Что ты потерял в Краснодаре? Наши же в Сочи.

— Я кадровый офицер, и судьба моя в руках армейских богов.

— Веру ты нашел?

— Веру? Я ее не искал.

— Почему не искал? — Глубокие складки набежали на высокий лоб Сергея Павловича. — Она же родила.

— Как это — родила?

— Как все женщины рожают. Только в госпитале, раненная. Ребенок у тебя.

— Я совершенно ничего о ней не знаю с тех пор, как ее эвакуировали на Большую землю.

Сергей Павлович посмотрел на мои ордена.

— Когда их тебе вручали, неужели ничего о ней не сказали?

— Получал я их в бакинском госпитале.

— После твоего ранения месяца через два или три, уж не помню, пришла радиограмма из Центра. Сообщали, что Вера Куликова лежала в Армавире в госпитале в сорок втором году. О дальнейшей ее судьбе мы ничего не знаем...

Я находился в странном состоянии: ни боли, ни страдания, ни радости.

Вера в мою жизнь ворвалась так же внезапно, как и ушла из нее.

Встретились мы за два месяца до войны в санатории. Мне было двадцать три года, и был я, молодой лейтенант, беспричинно счастлив, влюблялся во всех красивых женщин. Ходил, выпячивая грудь, но в душе был до смешного робок и стеснителен. Она с мужем появилась в столовой; их усадили за мой стол. С трудом я оторвал от нее взгляд и уткнулся в тарелку с жарким.

Она заказала обед, переставила приборы, улыбнулась мне:

— А вы здорово загорели.

— Солнце крымское...

— Ух как я соскучилась по нему!

— А вы бывали здесь?

— Да, еще девчонкой.

Она с детским почмокиванием съела грожавшее желе, вытерла салфеткой пухлые губы, спросила у молчаливого мужа:

— А что будет дальше?

— Пойдем отдыхать,— сказал он.

— О, скущища! — Она смело взглянула на меня карими глазами, над которыми высоко были приподняты густые короткие брови. — А вы мне покажете море?

Муж скользнул по мне тяжелым взглядом.

— Ты не против? — спросила она его.

— Пожалуйста.— Он зевнул.

Мы относились друг к другу по-дружески, раза два ходили в парк, на Крестовую, хорошо сыгрались на волейбольной площадке. Она легко подбрасывала над сеткой мяч, а я, высоко подпрыгивая, лихо резал под одобрительные хлопки зевак. Как-то я стал свидетелем неприятной сцены: смущенно озираясь, Вера тащила перепившего мужа в палату, тихонько по-бабьи причитая: «О господи! За какие грехи на мою голову такая напасть!»... Мне стало жаль ее.

После этого случая Вера показывалась только в столовой. Время моего отъезда приближалось, и я торопил его, убивая часы в походах по горам.

Был хороший день — всю светило солнце, блики его играли на мелкой ряби моря. Я далеко заплыл. Вдруг услышал ее голос:

— Костя, сюда!

Выплыл на женский пляж.

— Здравствуй, что тебя не видно?

— Садись и не спрашивай ни о чем. Лучше скажи, какая у меня спина?

— Загорелая...

— Пойдем на Крестовую.

— Но мы были там.

— Пойдем, пожалуйста.

Тропа вилась над старыми виноградниками, пропекалась боковыми лучами заходящего солнца; из леса тянуло талым снегом. Вера была в легких туфельках, шагала впереди — я видел ее тугие икры. Шла быстро, ни разу не оглянувшись. За виноградниками начался сосновый бор; усыпанный прошлогодней хвоей. Развалины Генуэзской башни торчали на самом пике Крестовой. Мы остановились под ними. Вера уселась на старый пенек. Я собирал голыши, спянные неизвестным составом. Выбрал покрупней, нашел булыжник, положил голыш на скалу и стал колотить по нему. Он не поддавался.

— Смотри, Вера! Покрепче бетона. Вот так раствор! Говорят, на яичном белке...

— Поцелуй меня, Костя...

...Они уехали внезапно.

Началась война. Наша Крымская дивизия уже сражалась у Каховки, а меня вместе с группой командиров-коммунистов направили в распоряжение обкома партии: готовились к партизанской войне.

Бои шли у Перекопа, когда Вера как с неба свалилась: вошла в мою холостяцкую комнату и сказала:

— Константин, без тебя не могу...

В партизанском отряде нас считали мужем и женой. Вера тяжело перенесла зимний голод — исхудала, болела. Самолеты стали садиться на наши ночные аэродромы, и ее эвакуировали.

Когда горы, казалось, ходили ходуном от ураганного ветра, когда холодные дожди днем и ночью секли леса, а речушки так взбухали, что носили бревна-перекладыны, по которым мы перебирались с берега на берег, на наши землянки наваливалась тоска. Тогда пели, чаще всего «чапаевскую». «Ты не вейся, черный ворон, над моею головой», — запевала Вера, у нее это ладно получалось. И потом мы пели те же песни, но такого запевалы у нас уже не было. Голос ее хорошо помню, а облик — как в тумане. В лесу мы все были на одно лицо — мужчины и женщины, пожилые и молодые.

И вот снова Вера врывается в мою жизнь. Вера — мать моего ребенка...

Запросил Сочи — ничего нового: ее дорога оборвалась в Армавире, в госпитале 4148.

Тепло из предгорий отбросило зиму за Кубань. В городе грязь непролазная. На вокзале нашлась добрая душа: помощник коменданта устроил меня на поезд, следовавший до Армавира.

На разъездах пропускали фронтные эшелоны, санитарные поезда; прошел товарняк со скотом — второй путь еще не был восстановлен. За окнами тянулась серая степь, затихшая в ожидании запоздалого снега.

Армавир встретил солнцем — зимним, блеклым.

Город не город, станица не станица. Взорванный элеватор, обгоревшая коробка маслозавода. Пустынная площадь. Увидел развалины. Мне сказали — бывшая школа, в которой и располагался эвакогоспиталь.

Подошел — груда кирпичей, остаток стены, поросшей мхом, и тополя, выстроившиеся в ряд, оголенные, сиротливые. Тогда, в августе сорок второго, они шелестели серебристыми листьями и Вера, наоборот, смотрела на них из окна...

За руинами заметил хатенку с железной трубой над толевой крышей. Подхожу — пахнет дымом.

— Есть кто?

— Ну? — Из двери высунулась старушка.

— Доброе утро, мамаша. Здесь находился госпиталь сорок один сорок восемь?

— Какой — не знаю, а раненые лежали.

— Жена моя тут была.

— Какая такая жена? Тут девки были у пилотках, семечки лузгали...

— Она рожала тут, понимаете?

Старуха приумолкла, прикрыла глаза, встрепенулась:

— Верка, что ли?

— Вера, ну да! Вера — жена, партизанка, а я муж...

Она уставилась мне в глаза, да так, будто когда-то знала меня, а теперь никак признать не может. Перекрестилась.

— Царствие небесное ей и малютке ейной... Был слух, разбонбили поезд-то на Верблуде. Станция такая, слышал? Разбонбили, а потом танками давили. Ах, бедолаги! Не дай бог того лета. Попалили народушко — царствие небесное... А ты и вправду ейным мужем был?

— Вправду, мамаша.

— А рожала — не дай господь!.. Сама у гипсу, а дите идет себе на свет, идет. Крутая баба, дюжая... Народушко попалили — царствие небесное. — Перекрестилась и пошла к хатенке.

— Мамаша!

— Ты иди, иди себе, я уже все сказала...

Вот так война по ней проехала... За каким-то счастьем летела в Крым, а пришлось мерзнуть в засадах, наравне с мужиками шагать по ледяным откосам яйлы, часами простаивать в караулах и, прячась от нас, блюсти в чистоте свое молодое тело...

Мы старались выделить для нее кусок покрупнее из строго лимитированной вареной конины. Она таскала сушняк, топила железную печурку, стирала наше белье...

Шагаю по шпалам, вижу железнодорожные цистерны, ржавые, с пробоинами в кулак. За земляным валом — скелет вагона, пультмановского. Поднялся на вал — открылись мгlistые дали Пятигорья. Тишина, лишь в небе каркает воронье...

Когда наступила весна, Вера часто лежала, уставившись в темный потолок землянки, и беззвучно плакала. Что скрывала она за своим упорным молчанием — тайну беременности, открывшуюся ей, или свою, по существу, полную незащитность? За всю суровую зиму я ни разу не притронулся к ней. Лишь однажды, когда растаял снег, оставшись вдвоем в лесной тишине, мы отдались любви — молча, угрюмо, стесняясь друг друга. Казалось, все вокруг восставало против нашей близости — и ветер, что шумел в деревьях, и сойки, с криком вспорхнувшие над нами и обронившие несколько голубых перышек, и товарищи, во взглядах которых потом нам мерещилось беспощадное осуждение...

Где, на каком километре танки доби́ли санитарный эшелон? Молчит степь, лишь шелестят мертвые травы. Как мне неуютно и одиноко сейчас на земле!..

Переночевал в заброшенном хуторке. Утром добрался до вагончика с проводами — станция.

— Эй, начальник, тебе на Краснодар? Вот-вот поезд примем.

— Спасибо...

Добрался до города.

Полночь, вокзал переполнен, негде голову приткнуть. Духота — до дурноты. Вышел на площадь. Тут сыро, одиноко. Где и как провести ночь? Неужели снова в свою холодную, как погреб, комнатенку?.. А больше некуда...

Вскочил на заднюю площадку трамвая.

6

Улица темная, тихая-тихая. Дома — как гробы. Лишь где-то рядом журчит ручеек. Вошел в знакомый дворик, огляделся — ни огонька. Забарабанил пальцами по окошку.

— Кто там? — Голос испуганный.

— Ваш квартирант.

Сверкнул огонек, мягкий свет разлился за занавешенным окном.

— Сейчас...

Приоткрылась дверь.

— Входите. Только в вашей комнате страшная сырость.

— Как-нибудь...

Она подняла лампу.

— На вас лица нет. Зайдите, погрейтесь.

Стою у двери. Она поставила лампу на стол, выпустила фитиль, в комнате стало светлее.

— Снимите шинель, садитесь поближе к печурке — она теплая.

— Благодарю.

— Хотите чаю?

Открыла печную дверку, пошуровала железным прутом, подобрала аккуратно распиленные дровишки. Вспомнилось: «Они ей, гадюке, топку навезли — на целый год хватит!»

В комнате чисто, стены без фотографий. На окнах занавески, крашенный пол, кровать застелена дорогим шерстяным одеялом. Тикают с важностью старинные настенные часы. На туалетном столике небольшая фотография: капитан с орденом Красной Звезды.

— Муж?

— Брат.

— А муж?

Повернулась ко мне лицом:

— Не все ли вам равно?

— А как вам... при них-то?

Хлопнула дверцей печки, поднялась, взяла венский стул, села напротив меня:

— Вы из любопытства?

Подумалось: ее много раз спрашивали.

— Не эвакуировались? А почему?

— Так уж вышло... Мужа со мной не было, у сына малярия. Немцы за Ростовом, идут на Краснодар. Мечусь по городу, в военкомат, в райсовет: «Помогите, они же убьют моего мальчика!..» Но всем не до меня — эвакуируются...

— И все же вы не ответили на мой вопрос.

— На какой?

Сердито пнул ногой кучу сухих чурок.

— Откуда это? Задарма доставили?

— Не смейте! — Она часто задышала.

Во мне дрогнуло что-то тяжело-виноватое, я начинал себя чувствовать так, как, бывало, в лесу, когда бой, в исходе которого почти не сомневался, оказывался проигранным.

Она вдруг выпрямилась, рассмеялась.

— Простите... Вы так похожи сейчас на моего сына, честное слово... Нашкодит, а потом придет и станет — такой колючий, взъерошенный... И не такой уж вы страшный... Господи! -- по-детски всплеснула руками.— Почему всех на один аршин?.. И так горько, что даже вы, подполковник...— Вздохнула.— У нас чай готов...— Несуетливо собрала на стол.

Уйти подобру-поздорову? Но хочется тепла, хоть убей — не подняться.

— Прошу к столу.

Сидела ко мне боком, близко; я видел — на указательном пальце у нее свежая ссадина, ногти обломаны.

— На развалинах, кирпичи таскаю.— Убрала руку.

— Трудно?

— Еще бы!

Мы встретились взглядами. Ее верхняя губа с мальчишеским пушком подрагивала.

— Одну минутку.— Вскочила, шагнула было от стола, а потом неожиданно сказала: — Господи, мы так долго говорим, а как звать друг друга, даже не знаем.

— Константин.

— А я Галина. Галина Сергеевна Кравцова по паспорту.— Протянула руку. Ладонь у нее маленькая, теплая и сильная.

Она вышла, возилась в сенях, как мне показалось, очень уж долго. Я, сам не знаю почему, хотел, чтобы она сидела рядом, чтобы ее губа подрагивала. Никогда в жизни такого я еще не испытывал. И доверие к женщине, которую еще час назад совсем не знал и не хотел знать, крепло.

Она вошла в комнату.

— Вот, вино.— Поставила бутылку возле меня.

Взглянув на этикетку, я встал, посмотрел ей в глаза.

— Что с вами? — спросила потерянно.

Не отвечая круто повернулся — и к вешалке.

— Ключ на месте,— негромко сказала она.

Вошел в свою комнату — охватил холод, сырость. Лег, никак не мог согреться... Нехорошо на душе, глупо нехорошо... Перед бабенкой-стервой... Сразу же показала себя — вино выставила, не постеснялась!..

Спать, спать. Но так и стоит перед глазами бутылка «пиногри», ай-данильский. Сорт наш, крымский, редкостный, бывало, и за большие деньги не добудешь. Немцы с ходу разграбили старинное хранилище, и вон куда дошла бутылка... Дедок не врет: дровишки, винцо... В кутерьме военной такие не теряются.

К утру сон сморил накрепко. Слышу, стучат, но голову поднять не могу.

— Живой здесь кто, а? — Вошел старшина.— Цельный час гремлю, шумлю, а вы вроде намертво сваленный.

— Чего приперся в этакую рань?

Старшинские глаза обзыркали комнату.

— Не скажите, десятая година... Вызывают в военкомат.

— На что понадобился?

— Добрая весть поутру ходит.
 Схватил старшину за плечи:
 — Ну?
 — Ждут, а потом — прямехонько фрица дубасить!
 Собрался как по тревоге. У самой калитки оглянулся — домишко провожал меня молчаливыми окошками.

7

Большая станица, а в ней фронтовой офицерский резерв. Как многие кубанские станицы, и эта растянулась на версты. Улицы широки, дворы просторны, местами сливаются — ни заборов, ни плетней. Меж оголенных акаций дымят трубы хат-мазанок под камышовыми крышами.

Я знаю: полы в них земляные, с тонким слоем зеленого кизяка; окна с глухими ставнями и железными задвижками. Главная улица — Красная. Тут немало домов под оцинкованными крышами, стены из красного кирпича.

Тучи поливали перенасыщенный чернозем дождями, стояли лужи, грязь топкая, глубокая.

У каменного дома с высоким фундаментом, застекленной верандой, над которой тяжело склонился мокрый красный стяг, топтался дневальный. Я спросил:

— Здесь штаб офицерского фронтового резерва?

Из-под капюшона сверкнули строгие глаза:

— Вымойте сапоги, а то не пушу.

— Что такой приветливый?

— Вот придет ваша очередь, подневалите на этом собачьем холоде — еще не так запоете...

Я натаскал из колодца с журавлем воду в корыто, помыл сапоги, подошел к дневальному.

— Подойдет?

— Мне-то что, полковник Мотяшкин так требует...

— А кто он такой?

— Начальник фронтового резерва товарищ полковник Мотяшкин. Тыловик. Чего стоите? Идите и непременно загляните в каморочку. Там щетки, крем, иголки, ниточки... Теперь так заведено. И шинель снимите...

Чистил сапоги, прикидывал, соображал: надо быть в форме, взять верный тон... Кажется, все в порядке.

Остановился перед дверью, обитой черным дерматином, постучал:

— Разрешите, товарищ полковник?

— Войдите.

— Подполковник Тимаков прибыл в ваше распоряжение!

Полковник, с ежиком седых волос, лобастый, пристально посмотрел на меня.

— Молоды. Давно в звании подполковника?

— Приказ наркома обороны СССР от двадцать шестого ноября тысяча девятьсот сорок второго года за номером ноль двести сорок два!

— Похвальная память. А наблюдательность и хорошая память — наиболее важные качества воина. Надеюсь, в резерве буду иметь достойного старшего офицера.

— Рад стараться!

— К сожалению, не все это понимают.— Полковник вышел из-за стола, усадил меня на черный диван с высокой спинкой и сам уселся рядом.— Есть такие, что считают фронтовой резерв местом ничегоне-

делания, вроде приятной паузы между госпиталем и передним краем. Отсюда случается и вино, и карты, и прочее... У меня свой взгляд. Именно здесь, в недалекой от фронта, но достаточно спокойной обстановке, офицер обязан до конца проштудировать новый устав полевой службы, аккумулировать дисциплину...

Он говорил, а его дребезжащий, будто простуженный голос казался мне знакомым. Где же я его слышал? Постой!..

...Тогда меня внесли в вагон, уложили на нижнюю полку, дали снотворное. Уснул, но передо мной все время возникали картины лесной жизни, одна из них была такой реальной — хоть рукой трогай. Будто я в горах, на крутой скале. Разбегаюсь, чтобы прыгнуть, натыкаюсь на что-то твердое и... прихожу в себя от боли.

— Не надо биться головой об стенку, — слышу женский голос.

Вагон вздрогнул от толчка. Едем. Сознание мое снова раздваивается: соображаю, что нахожусь в санитарном эшелоне, что меня куда-то везут, но вместе с тем переживаю и другое, что надвигается, как падающая стена... Я в глухой пещере, коптят под ее сводами свечи — горит кабель, — на сталагмитовых наплывах лежат раненые. Заросшие лица, растрескавшиеся губы. Кто-то, расшвыривая носками сапог гремящие пустые банки, бежит ко мне. «Костя! Немцы минируют выход!» — это голос комиссара. «Автоматчики!» — ору что есть силы. Вижу вспышки, даже полет трассирующих пуль, а звука нет. Нет!.. «Стреляйте, какого черта! Стреляйте!..» Чья-то холодная рука притрагивается к моему разгоряченному лбу:

— Не кричи. Настрелялся — больше некуда...

— Кто ты? Где я?

— Едем, слышишь?.. Я при тебе, сестра. А ты лежи спокойненько. И тебе легче и другим, а то шибко орешь!

— Верно, сестра... — Голос надо мной дребезжащий, вроде простуженный. — Надо врача позвать. Сестра! Пусть замолчит...

— Он бредит, товарищ полковник.

— Успокойте, есть же средство... Ведь с ума сойдешь от одной вони... Почему не перевязываете его? Требую начальника эшелона!

— Нечего требовать, лежите спокойно со своим аппендицитом.

Как глина дорога... Болит кожа, болят все косточки. Наверное, солнце в зените — душит, нет мочи...

Перекаленный эшелон подкатил к Ташкенту, прилип к платформе. Пошло мужское разногосье: один требует костьль, другой с кем-то прощается, третий кого-то материт. Санитары снимают полковника с верхней полки. Он ими командует: «За правое плечо, ногу повыше». Должно быть, грузный — санитары тяжело дышат...

— Вы как думаете, товарищ подполковник?

Начальник резерва поднялся с дивана, я за ним.

— В резерв попадаю впервые, — отвечаю ему.

Он вызвал дежурного офицера:

— Подполковника Тимакова — на Ворошиловскую, пять! Дайте проводника.

На Ворошиловской, пять — казацкая хата, впритык к ней сарай, чуть в стороне колодец с воротом, закрытый от ненастья позеленевшей конусной дощатой крышей.

Счистил с сапог грязь, подошвы потер о рогожу, лежащую у входа, вошел.

— Кто тут, эй!

Мертвая тишина.

Зала — так на Кубани называют большую комнату — увешана

фотографиями: с выцветших карточек лупоглазо глядят казаки в черкесках с газырями, в узких поясах с набором из серебра, кинжалы, кубанки, Георгиевские кресты. В переднем углу иконы. На окнах цветы, земля в горшках черна, влажна — ухаживают.

Четыре солдатские койки, гладко затянутые серыми одеялами, выстроившиеся вдоль стен, кажутся лишними в этой просторной комнате с высоким потолком, лежащим на толстой матице.

Послышались шаги, я повернулся — у порога стояла пожилая женщина, повязанная черным платком. У рта и серых глаз сеть морщинок. Поклонился ей.

— Чи новый хвартирант? — спросила, разглядывая.

— Да.

— О та ваша койка.

— Спасибо.

— А дэ харчуваться будете?

— А они?

— Та таскают со складу муку, олию, трохи мяса. Маю сало, борщу та узвару наварю — все дило.

— Добро. Как разрешите вас называть?

— Мария, по-батьковски Стэпановной буду.

Вытянулся перед ней:

— Прошу, Мария Степановна, зачислить на котловое довольствие подполковника Тимакова Константина Николаевича.

— Та не смийтэсь.— Глаза ее улыбались.

Не успел расположиться — в комнату вошли два полковника, чем-то похожие друг на друга. Сняли шинели, у обоих на кителях никаких наград. Значит, пороха еще не нюхали.

— Ну, казаки, геть к борщу, — позвала хозяйка.

— Степановна, у нас новый жилец, такой случай, а? — сказал один из полковников.

— Нэма, хочь уси куточки обшукай.

— А у деда?

— Та у дида Яковченко сноха дома. Вин ей боиться як черт лада-на. Сидайте та йиште.

А борщ, борщ! Вареве исчезало с такой быстротой, что Степановна едва успевала подливать...

Прошла неделя. Наконец-то зима снова добрела и до предгорья, подморозила жидкую грязь, перекрутила ее немислимыми жгутами, запорошила снежком.

Северо-Кавказский фронт расформировали — резерв набит офицерами. Чем больше фронтовиков подбрасывали военные госпитали, тем энергичнее и деловитее становился полковник Мотяшкин.

Нас, полковников и подполковников, тридцать два человека — целый взвод. Служба идет, майдан истолочен начисто, звенит от мороза. Стараемся: ать-два! Носок вперед, плечи развернуты — ать-два! И так с рассвета до темна. Устаю, как уставал солдатом-первогодком, когда мой отделенный командир часами учил меня ставить ногу на полную ступню.

Вечерами мои соседи-полковники с курсантской сноровкой складывали обмундирование. Глядя на них, и я поступал так же. Как-то улегся и подумал: что может сделать человек сверх того, что уже сделал? Или всегда надо начинать сначала?

И сегодня с утра строевая. Полковник Мотяшкин долго выравнял наши колонны. Сам он был грузным, короткошеим, но шагал удивительно легко — корпус не дрогнет. Иван Аргамонович наблюдатель: будто всех сразу видит — нет сил избавиться от полковничьих глаз. Наша колонна поравнялась с ним.

— Хорошо шагаете, подполковник! — крикнул он мне.

— Рад стараться!

— Ко мне!

— Есть!

— Ать-два! Ать-два!.. Товарищи офицеры! — зычно, откуда только голос, кричит полковник. Майдан замирает. — Вот он, — кивает на меня, — строевик. Слушай мою команду: пр-рямо, шагом арш!

Чуток корпус внаклон, левую ногу вперед и на полную ступню, потом правую... левую... А Мотяшкин, слегка откинув крупную голову назад, упоенно:

— Кр-ру... гом!

Под его счет ать-два-три — через левое плечо на сто восемьдесят градусов, с выбросом левой ноги.

— Шире шаг!

Еще в курсантской роте в Киеве натренировали меня, что называется, до артистизма. Точно и четко исполняю мотяшкинские команды.

— Молодцом, подполковник! — Иван Артамонович вытирает со лба пот, будто он, а не я маршировал.

— Благодарю и прошу позволения на сутки отлучиться в город Краснодар по личному делу! — выпаливаю неожиданно для себя.

Полковник, думаю, по инерции восторга, который он испытывал во время моего показательного марша, сказал:

— Вполне заслужили.

Но увольнительную подписал со скрипом, строго предупредил:

— Не опаздывать!

8

В город добрался на попутной машине. Куда идти? Зачем? Впрочем, хитрю...

Дни мои в резерве были заполнены до отказа: строевые и тактические учения, стрельбы и политзанятия. Как все, дневалил у входа в мотяшкинский штаб и придирчиво следил за блеском сапог и пуговиц на мундирах офицеров. Но в другой, глубоко затаенной стороне моей жизни нет-нет да и возникнет щемящее чувство вины перед женщиной, что живет в крохотном домишке на окраине Краснодара. Почему так грубо я отнесся к ее душевной чуткости и доверчивости?..

Чем ближе к ее калитке, тем больше волнуюсь.

Вижу деда. Стоит там, где и стоял в первый раз, будто никуда и не уходил.

Поздоровались.

— Часом, подымить нэма чим?

— Найдем, старина. — Отвалил кучу папирос.

Взял, хитровато прищурился:

— Закоротыло, га?

Не отвечая стучу в калитку; дедок похихикивает.

Калитка приоткрылась, Галина скользнула по мне настороженным взглядом:

— Заходите... — Сутулясь, пошла впереди меня.

В комнате, как и тогда, тепло, уютно. Сняв шапку, сказал:

— Сяду, с вашего позволения. — И опустился на стул.

Чуть откинув голову, она выжидательно смотрела на меня.

— Хотите повинную? — Я облизнул пересохшие губы.

— Не хочу...

— Уйти? — спросил, вкладывая в одно это слово неловкость, чувство вины перед ней.

Она помолчала, села напротив меня, оперлась ладонью на край табуретки. Заговорила не спеша:

— В ту ночь хотелось плакать — разучилась! — Секунду поколебалась. — Мне казалось, что люди должны друг другу доверять, искать в человеке прежде всего хорошее...

— Что же с вами случилось?

— То же, что и со всеми... Ужас оккупации! Вы не можете себе представить — жизнь вне закона, «рабы» и «хозяева» с «новым порядком», а при них прихлебатели, да не с пустыми руками, с автоматами... А финал — «оккупированная». Хоть плачь, хоть вой, но ты уже меченая...

— Старик, ваш сосед, знаете, что о вас?..

— Он гадина, мародер!.. Ходил на поле боя и грабил — убитых грабил. А сейчас грабит живых — доносами.

— Простите. Но вы вообще какая-то... н-неподходящая, что ли!..

Она грустно улыбнулась:

— И обижаться на вас трудно...

— Я солдат, обыкновенный солдат, привык напрямик...

— Не знаю, какими бывают необыкновенные солдаты. Но иногда вместо «напрямик» получается «напролом». — Вдруг спохватилась: — Который час?

— Без четверти двенадцать.

— Ой, опаздываю...

Выбежала в сени. Вернулась в комнату в пальто, в стоптанных туфлях, в своем пуховом платке, перекрещенном на груди и узлом завязанном за спиной.

Я поднялся:

— Оставайтесь, Галина.

Отрицательно покачала головой.

Подшел к ней, торопливо прижал к себе... Сильным толчком отстранила меня:

— Не надо...

— Нет так нет! — Схватил ушанку.

— Не обижайтесь. Мне надо идти, а то попаду в неприятную историю...

До отхода поезда еще много времени. Как убить его?

Бродил по городу, сидел под своим дубом на берегу Кубани.

Медленно обходил базарные ряды — молочные, мясные, барахолку. Всего было много, но цены — моего месячного содержания хватило бы на три кило масла...

Вернулся на свою окраину, постоял у калитки, постучал — ни звука. Вспомнил, где Галина оставляет ключи. Перелез через забор, вошел в ее комнату, разулся и лег на кровать: напролом так напролом. Спал уютно, всласть...

Что-то заставило проснуться и насторожиться. Шаги, женские голоса. Скрипнула дверь.

— Кто здесь? — Голос испуганный, робкие шаги. — Ты, Виктор?.. Константин Николаевич? Боже мой, со мной золовка... — И с отчаянием: — Тут подполковник, мой квартирант... Такого еще не бывало!.. У него, правда, не топится...

Золовка ни слова. Угнетающая тишина, слышно, как за окном шумит зимний ветер.

Я готов провалиться сквозь землю.

— Извините, сейчас обуюсь...

Женщины вышли из комнаты.

Никак не могу засунуть правую ногу в сапог — подъем дьявольски узок. А тут хоть уши затыкай: за дверью приглушенные голоса.

Галина:

— Вот какая ты!.. Ну заболел, наверное, человек...

Золовка:

— Так бы и посмел забраться в чужую постель! Теперь понятно, почему на письма Виктора не отвечаешь. Он нас засыпал вопросами: где Галка, что с ней, почему не пишет?

Галина:

— Ты не смей. Ты мне не указ...

Первой вошла Галина:

— Как это понимать, Константин Николаевич?

— Прошу прощения — собачий холод загнал к вам.— Повернулся к золовке, щелкнул каблуками: — Тимаков Константин Николаевич...— Взялся за шинель.

Галина бросилась ко мне:

— Куда же вы на ночь глядя? Вот, возьмите хоть одеяло...

— Спасибо...

Посмотрела на золовку, потом на меня.

— Впрочем, ничего страшного не случилось. И мы будем рады видеть вас. Правда, Варя?.. Приходите завтра утром пить чай.

— Приду, спасибо...

Бродил под дождливым небом. Далеко перекликались сиплыми гудками паровозы.

Что делать? Поезд уже ушел. Все равно достанется от полковника Мотяшкина — опаздываю. Ладно: семь бед — один ответ!

Чертовски сырая комната, ворочаюсь и так и этак, а согреться не могу и под ее одеялом. Но усталость свое взяла: невольно прислушиваясь к голосам моих соседей за стеной — они, по всей вероятности, выясняли отношения,— уснул...

Стол был накрыт празднично. Галину не узнать: в строгого покроя синем костюме.

— Просим к столу, Константин Николаевич.

— Доброго вам дня.— Я посмотрел на Варю.

— Здравствуйте,— сказала с холодком в голосе. Шелковое платье с прямыми плечиками подчеркивало угловатость ее фигуры.

Галина спешит наполнить бокалы:

— Выпьем за солдат и офицеров, наших воинов!

Тост приняла и Варя — залпом осушила бокал. Лед, кажется, трогается.

— Вы учитесь? — спросил ее.

— В десятом, товарищ подполковник.— Вино придало ей смелости. Ткнула пальцем в награды: — Вам бы гордиться...

— Варя! — попробовала остановить ее Галина.

— Ничего худого не сказала. Товарищ, видать, человек решительный...

У Галины дрогнули губы:

— Зачем ты казнишь меня? Если уж ты судья, то почему не своему брату?

— Его не трогай, он фронтовик. Молчи!..

— Я больше не хочу молчать!.. Ты прекрасно знаешь, кто виноват в том, что меня бросили. Твой разлюбленный братец служил в Тимошевке, в часе езды отсюда...

— Перестань! — Варя топнула ногой.

— Он вам с матерью подбросил грузовичок продуктов и улизнул в Новороссийск, а оттуда в Сочи, а потом еще дальше — в Потю.

Фронтвик!.. Служит и не тужит... Бросил меня одну с сыном. Вы все меня бросили и все меня судите. Почему вы — меня?

— Ты с немцами жила... жила!..— Варя повернулась ко мне.— На той самой кровати, что и вы, вы...

Галина встала, упал стул. Выдвинула ящик стола, достала связку ключей и приказала:

— Бери и уходи в домик напротив, там дождешься поезда. И вот что скажу тебе и всему вашему куркульскому роду: не смейте, слышишь, не смейте переступить мой порог!

Я ждал от Вари новой резкой выходки, но, к удивлению, она молча взяла ключи, торопливо оделась и не простившись выскочила из комнаты. Хлопнула дверь.

Галина села, закурила, сигарета подрагивала в ее пальцах.

— Вы курите? — удивился я.— Выпьем?

— Не надо, Константин Николаевич.— Смяла в пепельнице окурок, откинула со лба прядь.— Скажите, зачем вы вернулись и... почему легли на мою постель?

— Так уж получилось... По-глупому, наверное, извините...

— Та ночь... Вы пришли ко мне насквозь промерзшим. С вас слетел напускной апломб, с которым вы впервые явились. Я была вам благодарна, так хотелось сделать приятное... И сперва ничего не поняла, почему вдруг ушли, а потом догадалась... *Разве можно так? В оккупации оставались миллионы. Так что, всех под одну гребенку?

Я накинул на плечи шинель и не знал, что делать.

— Оставайтесь,— сказала так тихо, что я скорее догадался, чем расслышал.

...Двое суток мы не выходили за стены домика. Ночью в окна заглядывала круглая луна.

Галина сидит, подобрал колени.

— Ты не спишь? — Нагнулась ко мне, подсунула руку под мою шею, другую запустила в волосы.— Ты никогда не полысеешь...

— Зато уже поседел...

— Вспомнилась мне та страшная ночь, когда ты кричал во сне. Я испугалась, побежала в твою комнату, у тебя было такое беспомощное лицо...

Я взял ее руку с ссадинами на пальцах, стал целовать, мысленно прося прощение.

— Ты что, милый?

— Не знаю, как мне уйти от тебя.

— И я не знаю, как расстанусь с тобой... Тебя всегда ждут. И я хочу так жить, чтобы меня тоже ждали.

— Кто?

— До встречи нашей мне думалось, что все главное мною уже прожито. «Как на древнем, выцветшем холсте, стынет небо тускло-голубое. Но не тесно в этой тесноте и не душно в сырости и зное»... Так я ощущала мир до войны. Но война... Оккупация...

— Что ты будешь делать? Я могу помочь тебе?

— Я должна сама... С двенадцати лет сама свою ношу тащу... Отец у меня — здешняя знаменитость, доктор-терапевт с частной практикой, большой барин. Женился рано, на казачке, учился, а она, моя мать, на него работала. Родилась я, потом брат появился, тогда отец и бросил семью. Я осталась при нем, а мать с братом в станицу подались. Там у нее сейчас и мой сын. Росла, ни радостей, ни горя особого не зная. Но помню день, когда отец сказал: «Ты большая, будешь хозяйкой дома». Приду из школы и скорей на себя передник: кухарка, уборщица, в воскресный день в отцовской приемной и толь-

ко поздней ночью с книгой. Мы тогда жили на Базарной, в большом каменном доме. Каким-то образом отца покорила студент-медик Витюшка, как он его называл. Юноша-паинька, послушный, начитанный. Играют в шахматы, стихи вслух читают, а я чищу и мою докторский кабинет. «Галка, кофе!» — на весь дом отцовский голос. И кофе подавала, и окурки убирала. «Витюшка, не зевай — золотые руки!» — подмаргивал отец. Два года проучилась в медицинском, а потом замуж за этого самого Витюшку. Родила сына, и все мы жили на Базарной. Их теперь у меня стало трое: отец, муж и сын. Мне бы учиться дальше, а отец свое: «Успеешь, молодая. Чужих в доме не потерплю». За месяц до оккупации я похоронила его. Меня немцы выгнали на окраину, в эту чужую халупу, а дом на Базарной перед своим уходом взорвали. Я и осталась здесь — всем на суд...

— Не ты одна, всем не сладко — война...

— Согласна... Но речь не об этом, не обо мне. Я хочу воспитать своего мальчика. Пусть будет мужчиной, настоящим, не как его родной отец, отбывающий войну под черноморскими пальмами. Но сына нет со мной. Не хочу, чтобы он был свидетелем того, как некоторые помыкают тут его матерью. — Ее глаза стали влажными.

— Что же ты надумала?

— Буду ходить в военкомат, пока не возьмут или не зашлют к черту на рога...

Рассвело. Галина хозяйничала, а я брился и думал. Впервые о том, о чем никогда по-настоящему не задумывался. Как накапливается опыт жизни? Как человек обретает высоту, с которой видит ширь и глубину жизни, тогда как другие видят только то, что торчит под их собственным носом?..

Мы позавтракали. Галина торопливо убрала посуду.

— Нам пора. — Горячо поцеловала в губы. — Жить тебе, солдату!

...Я в вагоне — старом, дребезжащем; за окном тополя, равнина, запорошенная снегом, хаты, голые сады.

Еще ощущаю теплоту ее губ.

9

Дежурный по резерву смотрел на меня как на человека, которого вот-вот поведут на эшафот.

— Вы еще не знаете Мотяшкина. Состряпает такую характеристику, что до конца войны будете подпиравать стены резервных команд! — Дежурный отскочил от окна — и к двери. Одернул китель, пилотку — на два пальца от бровей. — Идет! — Руку под козырек, хрипло: — Товарищи офицеры!

Полковник прошел мимо, не удостоив нас взглядом. Дежурный стоял как пригвожденный; бедняга, даже красные пятна на лице выступили.

— Подполковник Тимаков, прошу ко мне! — потребовал начальник резерва.

— Есть!

Доложил чин чином, мол, опоздал на поезд... Попутная машина не попалась... Полковник слушал, не глядя на меня. Я замолчал. А он взял со стола газету, уткнулся носом в сводку Информбюро.

— Наступаем, товарищ полковник? — спрашиваю от волнения, должно быть.

— Корсунь-шевченковскую группировку — в кольцо. Хорошо! Сделано грамотно.

— А мы застряли, товарищ полковник...

— Ошибаетесь, движемся.— Наконец-то посмотрел в глаза.— Вы меня поняли?

— Застряну?

Голосом задушевым, будто самому близкому:

— Сами не туда заехали, дорогу себе удлинити. Пока посидите под домашним арестом. Чтобы не скучали, проштудируете устав полевой службы от корки до корки — лично проэкзаменую. А там Военный совет и решит вашу судьбу, подполковник.— Он поднялся.— Извлекайте собственную занозу сами!

Украинские фронты. Первый, Второй, Третий... Армии на огромном пространстве — от Киева до Черного моря — двинулись на запад. Наш резерв таял, как снег под мартовским солнцем.

... Канун Большой весны, благодатные дожди стоняют последний снег в лесных чащобах. На солнечной стороне цветет мать-и-мачеха, набухают почки; щука вышла из мелководья метать икру. Мария Степановна ухаживает за мной с материнской жалостью. А я, как кулижка, что держится под столетним дубом даже в жару, застрял в четырех стенах. Движение, которое пошло с начала марта по всем станичным улицам и унесло моих соседей, не задело меня.

Мария Степановна спросила:

— Чи не захворалы? Клыкну я дида Яковченко — дужий знахарь.

— Не надо, хозяйюшка...

— Як знаете.

Каждый день на имя полковника по рапорту. Каюсь, умоляю: в любую часть на любое дело, хоть в штрафной батальон, только не безделье. Ни ответа, ни привета. И устав вызубрил, что называется, на зубок.

В старой казацкой хате время ползет тихо. На столе лежит устав, за дверью ходит Мария Степановна, поскрипывает колодезный ворот. В печке погуливает ветерок.

Жду, жду... Хочется махнуть туда, где над горами текут облака, а меж ними предвесенняя просинь.

Но вот на Ворошиловскую, пять пришел за мной дежурный по резерву:

— Срочно к полковнику.

Начальник резерва вежлив, предупредителен:

— Садитесь, Константин Николаевич.

«Константин Николаевич!» Каким ветром подуло?

Сижу словно на иголках, смотрю — он открывает сейф, достает из его чрева мое личное дело. Оно было в отделе кадров, а теперь почему-то здесь.

Мотяшкин садится рядом.

— Чтобы все было ясно: во-первых, на вас наложен двадцатисуточный домашний арест, о чем помечено в личном деле; во-вторых, кто вам разрешил через голову своих непосредственных начальников обращаться в Ставку?

— В Ставку?..

Не меньше меня удивлен и полковник.

— На вас прибыл персональный вызов.— Иван Артамонович вопросительно приподнял брови.

Я понял — Иван Ефимович! Это он, генерал Петров.

— Приказано откомандировать в распоряжение штаба Третьего Украинского фронта.

Любопытство не давало ему покоя, оно ощущалось в каждом его слове.

... Я богаче всех на свете! При мне проездные документы, куча денег, пакет с личным делом.

Ну, Галина, закатим на прощанье пир! На базаре закупил всякой всячины, иду на окраину, напеваю: «Нас побить, побить хотели. Нас побить пытались...»

Вот она, калитка, нажмем плечом — сама поддается. Почему-то заперта наружная дверь дома. Топчусь в нерешительности. Прямо на меня идет дедок с охалкой дров. Увидел меня — обалдел.

— Тащишь?

Дед, опасливо скосив глаза, шаг за шагом отступая, споткнулся, чуть не упал. Я поддержал его.

— Ну?

— Уси тящат, а мне и бог велит...

— Где Галина Сергеевна?

— Ге-ге, под ружьем увели.

— Как это «увели»?

— Шнель, шнель, як казали нимцы.

— Врешь, старый хрыч. Было б время, я бы показал тебе «шнель, шнель»!..

В горвоенкомате начальник первой части спросил:

— Кравцова — ваша жена?

— Нет.

— Может, сестра?

Я молчал. Он приказал дежурному офицеру выяснить все, что меня интересовало. Не успели обменяться с ним несколькими фразами, как вошел дежурный и доложил:

— Галина Сергеевна Кравцова добровольно мобилизовалась на фронтовые медицинские курсы.

...Стою на берегу Кубани. Глинистая вода валом валит в низовье. Напор — плотине не устоять. Слежу за потоком, его силой, неудержимостью. Шумит река, нещадно грызет свои берега. Вот-вот унесет она чернеющую здесь скамейку без спинки, стоящую под дубом, сердцевина которого спалена молнией...

Пассажирский миновал Тихорецкую. Впереди станция Сосыка. От нее сорок верст до моей станицы. За окнами лежит плодородная кубанская равнина — поле древних и недавних битв. Серые курганы перемежаются со свежими солдатскими могилами. На телеграфных столбах следы автоматных очередей — чужих и наших.

К вечеру проехали Батайск, поезд замедлил ход и шел по насыпи. Стемнело. Приближались к Дону.

В годы детства я, бывало, стоял у вагонного окна, затаив дыхание смотрел, как впереди на высоком берегу Дона вырастает большой город с сотнями тысяч огней. Сейчас там ночь, разве мелькнет где синенький огонек путевой стрелки.

Через Дон ползем по временному настилу. Внизу река, слышно, как бьется вода о бетонные быки.

Как ни темна ночь, все же удается разглядеть черные проемы окон, полуразрушенные стены, устрашающе нависшие над Доном.

До Лозовой состав шел довольно сносно. Были, конечно, стоянки, но терпимые. Однако начиная с Ясиноватой все пошло вкривь и вкось, стоянки удлинились, народишка всякого ранга и всякого звания набилось — не продохнуть.

Фронт находился в движении — шло весеннее наступление. Фронтной отдел кадров я нагнал в хуторке за высоким берегом Южного Буга.

— Вот и отлично! — сказал полковник, начальник отдела кадров, выслушав мой короткий рапорт и приняв от меня специальный, с сургучными печатями, пакет. — Приказ о назначении издавать пока не будем. Последнее слово за командующим Степной армией. Штаб ее между Бугом и Днестром, догоняйте.

...Фронтные дороги весны 1944 года — бездорожье. Редко на попутном транспорте, а в основном пешочком на запад, на запад.

На пашнях торчат «тигры», «фердинанды»; пушки от полковых до гаубиц резервных полков, задранные стволы к неуютному небу; шестиствольные минометы, «ванюши», как гигантские сигары, стянутые обручами на концах. И не счесть машин со всей Европы: «опели», «бенцы», «штееры», еще черт знает каких марок.

Здорово драпанули!

Дождевые тучи бегут над степью. В крутоярах гуляют сквозняки. За Воскресенском стал нащупывать тылы Степной армии.

Вот следы совсем свежих схваток. Ни одно дело на земле не оставляет столько грязи и хлама, как война. Пушки, расколошмаченные прямой наводкой, раздавленные танками, снаряды, ранцы с ободранными надспинниками, продавленные чемоданы с грязным солдатским бельем. Подсумки, патроны и каски, каски... Битое стекло и бумага. Черт возьми, сколько бумаги! Словно ошметки снега запятнали мертвое поле. Канцелярия войны! Будто все эти листы и листочки, прибитые к жирной украинской земле недавним дождем, были путевками на тот свет...

Штаб Степной армии нагнал в Цебрикове — старинной немецкой колонии с домами, навверное построенными еще во времена Екатерины II, когда много чужеземцев селилось на русской земле.

Отдел кадров. Его начальник полковник Поляк принимает меня, надо сказать, без восторга, пожимает плечами:

— Не понимаю! Мы не запрашивали, у нас своих хватает. — Погладил начисто выбритую голову. Помолчав, подумав о чем-то, спросил: — Нашего командарма генерал-полковника Александра Николаевича Гартнова знаете?

— Генерал-полковник много раз упоминался в передачах Совинформбюро!

— Еще бы! Под Харьковом, потом на Днестре гремел. Ну а члена Военного совета Леонида Прокофьевича Бочкарева?

— Бригадного комиссара Бочкарева, начальника политотдела Отдельной Приморской?

— Генерал-майор действительно был в Севастополе. Лично знакомы?

— Я под Севастополем партизанил — общались.

Полковник стал любезнее и наконец-то посмотрел на меня заинтересованно. Достал из ящика талон, протянул мне:

— Идите пообедайте, а я займусь вашим делом.

День апрельский, теплый, солнце временами выглядывает из-за пухлых белых облаков. Неожиданно захлопали зенитки. Высоко-высоко курчавились шапки разрывов.

В столовой чисто. Покормили сытно, дали пачку папирос «Беломор». Богато живут! Покурил на воле и пошел к полковнику. Встретил хлопотливо:

— Ждать заставляете, Константин Николаевич! Пошли к хозяйну.

Я машинально осмотрел себя. Все на мне более или менее в аккurate, только вот шинель солдатская.

Часовой пропускает без задержки.

Вхожу в просторную комнату. Моложавый майор приветствует меня, открывает дверь в кабинет командарма.

Навстречу — высокий пожилой генерал:

— Заходи, подполковник.

Он не дает доложить, как положено по уставу, а сразу усаживает напротив себя и, рассматривая меня, подвигает к себе мое личное дело.

— В резерве за что арест наложен?

— За дело, товарищ генерал-полковник.

— Ну-ну.— Он решительно отодвинул папку, поднял голову и с выражением, в котором ничего, кроме жесткости, не было, спросил: — Какую главную трудность испытывал в партизанском лесу?

— Не было точки опоры, товарищ командующий.

— Объясни.

— Не всегда знал, где свои, где чужие. Ни тыла, ни флангов.

Он свел седоватые брови, ребром сильной ладони рубанул по столу.

— Зато у нас все ясно! Впереди — враг, на флангах — соседи, а в тылу — военный трибунал.

— Понял, товарищ генерал-полковник.

— Не спеши. Боевой полк не дам. Назначая командиром армейского запасного полка. Сложный организм, сразу в руки не дается. Подробности — у начальника штаба генерала Валовича. То, что сейчас скажу, запомни: боевые дивизии должны получать от тебя маршевые роты в точно назначенный час. Чтобы все были обучены, одеты и обуты, как положено по уставу. Не забудь и другую задачу: дам приказ — и через пять часов обязан выделить из запасного полка боевой и повести его лично туда, куда прикажу. Справишься?

— Постараюсь, товарищ командующий.

— Встретимся — приеду солдатские песни слушать.

Он проводил меня до порога.

Всего ожидал, только не этого. Запасный полк в десяти километрах от переднего края? А я думал, они, запасные полки, в глубине страны готовят спокойно маршевые роты, а потом пополняют ими боевые части.

— Вас ждет член Военного совета! — доложил майор.

В приемной — скромной комнатенке с географической картой, столиком, на котором два телефонных аппарата, — я остановился. В нос ударил аромат кофе. Предстоящая встреча с бывшим начальником политотдела армии, оборонявшей Севастополь, не просто встреча с членом Военного совета. На меня как бы надвигалось все, что было связано с севастопольскими боями, переживаниями, страданиями — всем-всем тем, что выпало на нашу долю.

Из кабинета вышел Бочкарев — полный, с улыбкой, которая, однако, не скрывала волнения.

— Неужто Тимаков? В Степной армии ты двадцать первый севастополец!

— Так мало, товарищ генерал?

— Полегли у Инкермана, в Херсонесе, в Карантинной бухте и в походе к вам в горы. Вот так-то, партизан-севастополец. Как узнаю про участника тех боев, ищу встречи. Правдами-неправдами тащу в нашу Степную армию. Вот и про тебя мне Иван Ефимович позвонил... Кофе пьешь? — Разлил по чашечкам, положил в каждую по ломтику лимона.— Пей глоточками.

Пил, но удовольствия не испытывал.

— Ну как? — улыбнулся.

— Не дошло,— признался откровенно.

— Вкус на уровне питекантропа!

Он с непонятным мне наслаждением крохотными глоточками опорожнил чашечку, которая в его больших руках казалась детской игрушкой. Поставил ее на столик.

— Доволен назначением?

— Да вот думаю... Все как снег на голову. Запасный полк — темный лес. Соображаю — как быть?

— Видите ли, соображает.— Генеральский взгляд стал строг.— Ему приказано командовать полком, а он «соображает».

— Есть принять полк! — сказал я, вставая.

— Сиди, не стой смычком — на другой случай сгодится. В Севастополе твои связные докладывали: в партизанском штабе был порядок — что всем, то и командиру, комиссару. Верно?

— Обстановка требовала.

— Вот это и вспомнилось, когда генерал Петров рекомендовал нам тебя. Здесь другие нормы жизни — много будет дано, но о тех днях не забывай.— Генерал поднялся, подошел к окну.— Снова туча с Днестра ползет.— Зашторил окно, щелкнул выключателем; вспыхнул свет. Сел на подоконник.— Ты представляешь, что ждет тебя в запасном?..

...Дождь при сильном ветре шел до вечера. На ночевку напросился в комнату связных. Любезно предложили свободную койку. Не спится, пережевываю все, чем «напичкал» меня член Военного совета. Четыре часа слушал его и чем больше узнавал, тем острее чувствовал себя в положении человека, оказавшегося в неизвестном поле с дорогой, уходящей в туман.

Мой путь — в районный центр Просулово, куда на днях прибыл штаб запасного полка.

Дорога раскисшая, ветер попутный. Шагаю, земля под ногами — чвак, чвак, чвак... Нечто похожее было в отрочестве: по непролазной кубанской грязи шел в далекий от родной хаты совхоз наниматься в ученики слесаря...

Запасный полк — машина! Оказывается, в каждой боевой армии есть свой запасный полк. И каких только обязанностей на него не возложено!

Солдаты и сержанты из полевых госпиталей идут не куда-нибудь, а только в запасный полк. Здесь с них снимают накипь госпитальной вольницы и готовят по самой строгой программе к новым сражениям. Но это, может быть, десятая часть того, что требуется от запасных полков. Вместе со своими армиями они обороняются, отступают, наступают. Особенно трудно в наступлении: оно без потерь не бывает. Боевые дивизии требуют пополнения. Откуда его взять? Из тех резервов, которые выискиваются в освобожденных районах. Именно запасные полки занимаются срочной мобилизацией военнообязанных. И тут-то и начинается страда: тех, кто не нюхал еще пороха, обучить солдатскому делу, а тем, кто позабыл, что такое ратное поле, напомнить о нем. И всех надо обусть, одеть, от каждого принять военную присягу, в точно назначенное время комплектовать маршевые роты и доставить их туда, куда прикажут. А армия наступает, наступает, входит в глубокий прорыв, далеко отрываясь от своих тылов. Тут-то и держит экзамен запасный полк на оперативность, на умение выходить из положений, из которых, казалось бы, выхода никакого нет.

Раннее весеннее наступление на юге Украины в 1944 году. Рывок Степной армии от Криворожья до Днестра... Размытые и растолоченные дороги, взорванные мосты. В иных крутоярах машина по кузов

увязала в топях. Вся фашистская боевая техника осталась в степях Украины — пушки, танки, машины всех марок оккупированной Европы. «А вот наши пушки, танки — с нами, на Днестре, — говорил мне генерал Бочкарев. — А они ведь тоже из металла и не по воздуху летели через всю Украину. Там, где не могли пройти «челябинцы», двухосные «студебеккеры», там все решали солдатские руки. Люди тащили на себе снаряды и пушки даже самых крупных калибров... А как справлялся со своей задачей наш запасный полк? Положим, маршевые роты приходили в точно назначенное время. Но были случаи, когда солдат одевали как попало... Командир полка — твой предшественник полковник Стрижак — докомандовался до того, что пополнял боевые дивизии плохо обученными и необмундированными солдатами. Для него, видите ли, солдатские штаны оказались тяжелее пушек... Батальоны растянулись на десятки километров, штаб, по существу, потерял управление. И каждый батальонный командир, а то и ротный, был бог-отец, бог-сын и бог — дух святой... Стрижак отстранен от командования и наказан...» На прощание генерал, пожимая мне руку, сказал: «Иди, Тимаков, команду. Не руби плеча, не удивляй лихостью. Немалое предстоит тебе, партизан. Наломает дров — найдутся добренькие, простят: мол, что с него возьмешь, напартизанил. А другие пустячную ошибку твою раздуют, раскричатся: «У него партизанские замашки!» Иди, припрет — звони, но не по пустякам»...

Вот и иду, шагаю по вязкому тракту. За обочиной — обглоданные осколками акации. Ветерок жмет к земле, баламутит лужи. Темнеет. Вхожу в хуторок из трех хатенок, стучусь в первую — в окне женщина, разглядывает.

— Свои, тетенька.

— Та куда же вас, господи! И пустого уголочка нет.

— В тесноте, да не в обиде, хозяйюшка.

Вхожу — тяжелый, спертый воздух. В темноте раздвигаю сонные тела, втискиваюсь между ними.

А утром — солнце, много солнца; дорога понемногу подсыхает, но кое-где колеи так глубоки, что бывалые «ЗИСы» кузовами лежат на размокшей земле. Тягачи не в силах стронуть их с места... Ребята в серых шинелях, подоткнутых выше колен, как муравьи, облепили кузов со снарядами: «Раз-два, взяли!» Задний мост поднимается, машина выкатывается на проходимый участок. Молодцы! Гуртом и батька можно бить.

Идут танки-«тридцатьчетверки», прямо по пахоте. Дуют себе на полной скорости, грязь из-под гусениц — до самого неба. В открытых башнях — черномазые танкисты, и море им по колено.

Солдаты успели протоптать тропу от столба к столбу. Догоняю группу без оружия, с тощими вещевыми мешками за плечами. Замыкающий, ефрейтор, чернявый, шустрый, увидев на мне погоны старшего офицера, звонко крикнул:

— Братъ нога, едренка вошь!

— Пусть идут как шли.

Подошел к нему.

— Иди как шла!

— Кто будешь? Кого и куда ведешь?

— Товарищ подполковник! Докладывает ефрейтор Касим Байкеев. — Тычет пальцем себе в грудь, потом указывает на молчаливых солдат: — Я — госпиталь, он — госпиталь. Запасный полк идем.

— Значит, попутчики..

Шагаем. Спрашиваю ефрейтора:

— Ранен?

— Никакой рана! Бомба контузий дал.

— Отделением командовал?
 — Какой отделений? Командиру полка сапоги чистим-блистим, обед варим, записка носим!
 — Где семья?
 — Шентала... Хороший баба, мальчик один, мальчик другой... Я повар: салма, беляш, перемечь, катлама. Хорошо делаю... А война плохо — баба нет!
 Солдат, что шел рядом, засмеялся:
 — Заливаешь, ефрейтор! Кто вчера к хозяйке подсыпался?
 Касим гневно:
 — Зачем так говоришь? Я ходил скаварода просить, масла просить, тебя, шайтан, кармить! — У ефрейтора раздулись ноздри.
 — Он пошутил, — успокаиваю я.
 — Дурной шутка!
 Мужиковато согнув спины, солдаты удалялись, а я остался на горочке. Мне надо, как прыгну перед разбегом, набрать полные легкие воздуха.

10

Сверху смотрю на уютный, уютившийся в долине поселок. Посредине высокая кирпичная труба, а под ней обшарпанное здание буквой «п», окруженное бочками.

Чем ближе к поселку, тем острее дух перебродившей виноградной выжимки.

Вышел на прямую улицу и увидел невооруженных мужчин, одетых кто во что горазд. Они кругом сидели на ярко-зеленой травке. В середине старший лейтенант, жестикулируя, что-то рассказывал. Потом зычно скомандовал:

— Во взводные колонны становись!.. Сержанты, строевая!

Четыре взвода: в одном безусые ребята, в других народ постарше. Есть и такие, что в отцы мне сгодятся. Кто они? Ребята, положим, понятно: подросли за годы оккупации. А кто постарше, у кого шаг строевой? Где они были, когда дрались под Москвой, отстаивали Сталинград, разбили врага под Курском, форсировали Днепр?

Слыша за спиной громогласные команды, я вышел на площадь, за которой виднелось кирпичное здание с коновязью у высокого крыльца. Штаб полка? Подтянул ремень на гимнастерке, шинель — на все пуговицы и пошел напрямик.

Пожилой солдат держал на коротких поводках дончаков чалой масти. Глаза его уставились на входную дверь, у которой стоял часовой с полуавтоматом. Из здания вышел майор лет сорока, в новеньком кителе, с орденом Красной Звезды. Скользнув по мне серыми глазами, приказал коноводу:

— Степан, лошадей!

Не слишком умело вдев ногу в стремя, он грузно бросил тело в седло. Часовой остановил меня у дверей:

— Вам в резерв, товарищ подполковник? Так он за трубой.

— Мне в штаб запасного полка.

Солдат крикнул:

— Товарищ дежурный!

Вместо дежурного появился подполковник, толстогубый, с отечными мешочками под глазами.

— Чего расшумелся? — спросил у часового.

— Они в штаб просят, — тот кивнул на меня.

Сизые, гладко выбритые щеки подполковника — на расстоянии ощущался запах трофейного эрзац-одеколона — дрогнули. Четко сдви-

нув каблуки сапог довоенного образца, приложив руку к козырьку, не столько растерянно, сколько удивленно спросил:

— Вы?.. Мы же за вами машину послали.

— Разминулись, значит.

— Разрешите представиться: начальник штаба армейского стрелкового запасного полка подполковник Сапрыгин Александр Дементьевич.

Пожатие у него короткое, сильное. Приглашая меня в штаб, на ходу заметил:

— Только что отбыл наш замполит товарищ Рыбаков Леонид Сергеевич.

— Встретимся.

— Это конечно...

Часовой отдал мне честь, положенную командиру части,— отбросил полуавтомат вправо.

Кабинет начальника штаба скромный: стол с картой-километровой, три венских стула, два полевых телефона. Я протянул Сапрыгину пакет с приказом о моем назначении. Наступила пауза, казалось, начштаба полка хотел вычитать в приказе то, чего там не было. Я предложил ему папиросу:

— Подымим?

— Это можно.

Сапрыгин плечист, складен, лицом бледен.

— Александр Дементьевич, доложите, пожалуйста, о личном составе полка, его вооружении и о том, о чем найдете необходимым.

Он докладывал не спеша, обдумывая каждую фразу. Чем больше я узнавал, тем больше становилось не по себе. Десять тысяч солдат! Мобилизованных по ходу наступления от Днепра к Днестру, прибывших из фронтовых госпиталей. Это же дивизия!.. Начштаба докладывать докладывал, но, как я успел заметить, пристально следил за тем, какое впечатление произвели на меня его слова. Они потрясали, фразы доносились, как прерывистые выстрелы полуавтоматов: бах! бах! бах!.. Что он, хочет удивить или запугивает? Я прервал его:

— Вы давно в полку?

— Со дня основания. Вы пятый комполка.

Странно... Война застоя не любит ни позиционного, ни служебного. На ней от лейтенанта до полковника порою шаг короче, чем в мирную службу от одного звания к другому. Но на той же войне бывает и так: этот шаг еще короче от полковника до рядового штрафного подразделения...

— На улицах маршируют взводы полка?

— Так точно.

— Они кое-как обмундированы.

— Тыл отстал. Впрочем, за него отвечает ваш помощник по хозяйственной части майор Вишняковский. Прикажете вызвать?

— Потом разберемся. — Я откровенно потянулся, зевнул.— А сейчас бы баньку, да погорячее. Как насчет этого?

— Сообразим.— Посмотрел на ручные часы.— О, в нашем распоряжении минут сорок — пятьдесят.

Предбанник встретил нас... музыкой. Белобрысый солдат, склонив голову на трофейный аккордеон, шустрыми пальцами перебирая клавиши, наигрывал бравурный марш. Александр Дементьевич улыбался, обнажая зубы до самых десен:

— А ну рвани-ка нашу!

Мы раздевались под штраусовский вальс. Вошли в чистую просторную мойку. Начштаба уселся подальше от меня — жаль, спину друг другу не придется потерять... Я залез на верхнюю полку, подста-

вил бок под черное отверстие, из которого шел горячий пар. Хорошо! Рубцы на ране смягчаются, по всему телу расплывается приятная теплота...

В предбанник вышли вместе. Сапрыгин острым взглядом скользнул по моей ране:

— Здорово полоснули..

Я посмотрел на белобрысого баяниста.

— Хорошо играешь, парень. Спасибо, иди отдыхай.

Солдат ушел.

— Откомандируйте его в распоряжение замполита, подполковник,— сказал я.

— Будет исполнено!

Мне приготовили комнату недалеко от штаба, в три окошечка, на которые успели повесить казенные занавески. На столе, крытом клеенкой, полевой телефон и зачем-то школьный звонок.

Только отдышался, как услышал тихий стук.

— Войдите.

— Здравия желаю, товарищ подполковник!

Солдат, поразительно похожий на Урию Гипа, стоял у порога с подносом.

— Обед?

— Так точно-с.

Чинно положил на стол ложечки, вилочки, салфеточку. Из ресторанный супника налил тарелку бульона, пододвинул поближе слоенный пирожок. И бульон' и беф-строганов — объедение. Да я такого обеда в жизни не едал!

— Специалист!

— Москва. Ресторан «Иртыш». Оттуда-с взят. Что изволите на ужин?

— Что принесете.

Солдат аккуратно собрал посуду и тихо вышел. Власть покурив, пошел к кровати — устал чертовски. Уснул. Долго ли, коротко ли спал, проснулся и увидел: у порога щерил клыкастый рот пожилой ефрейтор. Глаза его выжидающе глядели на меня.

— Кто вы?

— Ефрейтор Клименко, ездовой при вас, значит!

— Здорово, товарищ ефрейтор.— Я протянул ему руку. У него широкая ладонь, шершавая, мозолистая.— Кто под седлом?

— Конь Нарзан.

— Какой из себя?

— Сами побачите.

Нарзан — рослый, белой масти, с полноватым крупом. Сильные подплечья, венчики стянуты марлей, но копыта чуть раздавленные. А в общем, ничего.

— Стой! — крикнул я.

От холки до крупа пробежала дрожь. Лиловые глаза Нарзана уставились на меня.

Подогнал стремяна по себе, слегка укоротил поводок, удобно уселся в армейское седло.

— Пошел! — дал шенкеля.

Нарзан с места взял рысью. Отлично шел, стакан воды на вытянутой руке держи — капли не выплеснется. Выскочили на толоку, и тут Нарзан словно хотел выложиться — чуть фуражку ветром не сдуло. Резко рванул поводья на себя — конь застыл. Молодцом, сукин сын!

Оглянулся — Клименко на три коня от меня, улыбается: доволен. Спрашиваю:

- Сами-то из каких краев будете?
- Воронежский хохол. В бригадирах ходыв. А вы?
- На Кубани проживал.
- Богата у вас земля. Мий браток старший у тридцать втором, в голодуху, подався у ваши края. То помер уже — старый.
- А вам-то сколько годков?
- За пивсотни, а може, и бильше.
- Домой хотите?
- А кто не хоче...

Первый день на новом месте — как первая борозда на непаханом поле.

Провел ли я ее? Разве узнаешь. Встречи, впечатления. Подполковник Сапрыгин, холящий телеса под штраусовский вальс. И... полк. Какой он? Как охватить его одним взглядом? А как охватывал твой командир полка там, на юге? Из отпуска, бывало, возвратится в самое неожиданное время — и полк по тревоге...

По тревоге?

Еще первый год солдатской службы научил меня подниматься без побудчиков. Приказываю себе: подъем в пять, а сейчас на боковую.

11

Ровно в шесть ноль-ноль с коноводом прискакал в штаб — на встречу дежурный. Он пытается отдать рапорт, я останавливаю его:

— Из какого батальона? Фамилия?

— Учебного. Лейтенант Платонов.

Я посмотрел на часы.

— Полк поднять по тревоге!

Лейтенант обалдело смотрит на меня.

— Повторить приказ?

— Никак нет, товарищ подполковник!

— Подразделения построить на толоке, поближе к леску. Действуйте, лейтенант.

Платонов срывается с места и бежит в противоположную сторону от штаба. Догадываюсь: в муззвод за трубачом.

Минут через пять в кальсонах с болтающимися штрипками, с трубой в руке чапал длинноногий солдат, а за ним дежурный по полку с его обмундированием. Слышу голос Платонова:

— Да сигнал же!

И вот над спящим поселком раздается тревожный зов: та-та, ти-та-та! та-та! та-та! ти-та-та!

И — ни звука в ответ.

Только минуты через три недалеко от штаба, в домике под камышовой крышей, с хрипотцой голос:

— Та чуеете же, сопляки, тревога!

В него вплетаются второй, третий голоса. Весь поселок приходит в движение, а сигналист, войдя в раж: та-та, ти-та-та, та-та, ти-та-та...

Бежит секундная стрелка, за ней ползет минутная, а еще ни одного офицера в штабе, ни одного подразделения на улице. Только на двенадцатой минуте увидел подполковника Сапрыгина. Набросив на плечи шинель, крупно шагает ко мне, а за его широкой спиной, едва поспевая, с увесистым вещевым мешком за плечами тот самый повар, которого взяли на военную службу из ресторана «Иртыш».

Начштаба, отдышавшись — от него несло винным перегаром, — встревоженно спросил:

— Фронт прорвали?

— Доброе утро, товарищ подполковник. Тревогу объявил я.

Сапрыгин заморгал белесыми ресницами:

— По какому же поводу?

Взглянув на него, тихо приказал:

— Выполняйте свои обязанности.

Уже через минуту начальник штаба кого-то раздраженно распекал в телефонную трубку.

К штабу шел майор с Красной Звездой на груди. Глядя на меня, приложив к козырьку полусогнутую ладонь, представился:

— Заместитель по политической части майор Рыбаков Леонид Сергеевич.

Я протянул руку. Он, улыбаясь — губы вытянулись трубочкой, — запросто сказал:

— Вчера как-то неловко получилось... Приехал поздно, будить не стал.

— Хорошо поспал, спасибо.

Рыбаков засмеялся:

— Да, что там с начштабом стряслось? Понимаете, неделю выпрашивал аккордеониста, а тут на тебе — сам прислал. Вы, говорят, вместе парились.

— Спину друг другу не потеряли. А что прислал — это хорошо.

Мы разговаривали, а наши глаза неотрывно наблюдали за тем, что делается в поселке. Кое-какой порядок уже намечался, но к положенному времени еще ни один батальон не был готов к маршу на толоку.

Рыбаков переживал и, как бы извиняясь, сказал:

— Полный ералаш, а минуты бегут...

— Пойдемте в штаб.

Замполит первым шагнул к крыльцу.

У полевого телефона бушевал Сапрыгин. Мы прошли дальше. Я спросил замполита:

— Что, начштаба пьет?

— К сожалению, случается. Но много тащит на своих плечах.

За окнами не утихали крики, команды. Левая щека замполита слегка подергивалась. Глухо начал оправдываться:

— Сорок дней марша по непролазной грязи... И чтобы всегда быть под руками штаба армии. Офицеры полка по три часа в сутки спали, иные просились на передовую...

— Я уже слышан, Леонид Сергеевич. Бог с тем, что было. Важно, что есть, а еще важнее, что будет. Идет?

Одно дело самому стоять в строю, уставясь глазами на того, кто встречает батальоны, роты, взводы. Даже и тогда у тебя, затерявше-гося где-то в глубине колонны, пробегают по спине мурашки. И совсем другое, когда на тебя глядят тысячи и тысячи глаз.

Землю под собой не чую, леденеет сердце, но шаг чеканю. Оркестр грянул встречный марш. Шаги сливаются со стуком сердца. Великолепным строевым, прижав пальцы ко швам брюк, приближается начальник штаба. Музыка обрывается под его голос:

— Товарищ подполковник! Вверенный вам отдельный стрелковый армейский запасный полк поднят по тревоге и по вашему приказу построен! — Сапрыгин лицом поворачивается к полку.

Здороваюсь, команду:

— Вольно!

Команда подхватывается офицерами и, как откатывающаяся волна, тонет в пространстве.

На правом фланге — колонна штаба полка.

— Товарищи офицеры! — зычно выкрикивает незнакомый капитан.

Не задерживаясь, одним взглядом охватив строй — успел заметить многих с нашивками о ранениях, — иду к ротам застывшего правофлангового батальона.

Капитан, с чубом, торчащим из-под фуражки, с шальными глазами, лихо вскинув руку к козырьку, рапортует:

— Товарищ подполковник! Учебный батальон в полном составе при боевом вооружении выстроен. Командир батальона капитан Шагинов!

— Здравствуйте, капитан.

Смотрю в глаза. Взгляд выдерживает.

Солдаты, сержанты и офицеры... Они наблюдают за мною с тем пристальным вниманием, с каким смотрит человек под ружьем на того, от кого всецело зависит его судьба, примеряясь: кто ты; с чем пришел?

Впереди второй роты вытянулся в струнку старший лейтенант-богатырь, глаза голубые, будто слегка выцветшие, брови — как пучки пересушенного сена, губы сочные, по-детски приподнятые в уголках. На широкой груди алеет орден Красного Знамени. Представляется:

— Командир второй роты старший лейтенант Петуханов!

Небольшая припухлость под глазами. Болен или и этот пьет?

— Здравствуйте, старший лейтенант. Как ваши орлы?

— На все сто, товарищ подполковник!

В строю солдаты — рослые, как на подбор.

Приглянулась и рота автоматчиков. Здесь все поскромнее — ни роста, ни ширины плеч, взгляды пострже. Солдаты напоминали мне партизан-подрывников, умевших подбираться к железнодорожному полотну на самых опасных участках. Их командир, лейтенант Платонов, с нашивками за ранения. Награды ни единой.

— Представлялись?

— Не могу знать, товарищ подполковник. Ранят — в госпиталь. Подлечат — на передовую. А там не успеешь оглянуться — опять шан-дарахнут. Так до запасного полка...

Батальон порадовал. Начштаба, улавливая это, заметил:

— Штаб полка непосредственно занимается подбором личного состава учебного подразделения.

Было ощущение, что шел не я, а на меня надвигалась темная масса колонн, уходящих до самого подлеска. Выстроены? Нет. Сколочены. На флангах колонн — офицеры в кирзовых сапогах, в солдатских гимнастерках. Ко мне шагнул майор, худощавый, с выпуклыми глазами и желтоватым лицом. Вид не бравый, но не придерешься.

— Майор Астахов, командир первого стрелкового батальона! — Отрапортовал негромким голосом, он широко шагнул в сторону, как бы открывая поле обзора: смотри, перед тобой все и всё.

Я смотрел: первая рота, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая...

— Да сколько же их у вас?

— Одиннадцать.

— Формируете маршевые?

— У нас главное — списки вовремя в штаб представить. — Острый взгляд на Сапрыгина.

— А учеба?

— Тяп-ляп, два прыжка, два скачка, три выстрела боевыми — и, как говорят моряки, товсь!

Сапрыгин с выдержкой:

— Майор Астахов любит в жилетку поплакаться. — Повернувшись

ко мне, уточняет: — Для подготовки впервые призванных дается двадцать суток.

— Только формально,— дерзко перебивает Астахов.— Да и какая это, к чертовой матери, учеба! Ни тактического поля, ни стрельбища.

— Но марш закончился,— бросает Сапрыгин.— У вас шанцевый инструмент и сотни солдатских рук. Вот и действуйте, или нуждаетесь в няньке?

Обменялись любезностями, пора прекращать. Спрашиваю у Астахова:

— Сколько в батальоне необмундированных?

Он неторопливо расстегнул планшет, достал записную книжку, надел очки и сразу стал похож на сельского учителя.

— Требуется одна тысяча двести шесть комплектов. Заявка дана своевременно.

Астахов вытянул длинную шею, и взгляд его остановился на майоре с пухлыми красными щеками, в новеньком кителе, хромовых сапогах, с орденом Отечественной войны второй степени. Он шагнул ко мне, откашлялся и неожиданно высоким голосом доложил:

— Заместитель по тылу майор Вишняковский!

— Внесите ясность.

— Армейские вещевые склады за Ингульцом, товарищ подполковник.

— А наши?

— В Цебрикове, но в них...

— А вы?

— При штабе.

— Считаете, что здесь, именно здесь ваше самое нужное место?

Щеки хозяйственника еще сильнее покраснели.

За ротой рота, за батальоном батальон. Подразделения, подразделения... Многие хорошо чеканят шаг. Восемнадцатилетние сбивают строй. Они еще не обмундированы. Вспомнился июнь сорок второго. К нам в партизанский лес однажды сбросили тысячу комплектов солдатской одежды. И боже мой, как поднялся дух в отрядах! С какой хваткой проникали через заставы и секреты, как здорово лупили фашистов, идущих на штурм Севастополя. А тут — сорок четвертый и...

Рассеивался апрельский дымок, день светлел. Высоко в небе зарокотал мотор. Я посмотрел на Сапрыгина.

— Посты наблюдения за воздухом выставлены,— опередил он мой вопрос.

В начальнике штаба я стал замечать то, что в первую встречу не бросалось в глаза: внутреннюю собранность.

Замполит шел со мной рядом, молчал, но говорили его глаза: а не пора ли кончать?

Я встал лицом к полку.

— Батальоны, по местам!

Комбат учебного, встряхнув чубатой головой, звонко скомандовал:

— Первая р-рота пр-рямо, остальные... нале-оп!

Поротно, чеканя шаг, идет взвод за взводом, старательно бьет ступнями о землю, вот-вот толока затрясется. Сам комбат высоко вскидывает ногу, вытягивает носок, словно солист танцевального ансамбля. Рота Платонова шагает несколько грузновато, но по-солдатски слаженно. Батальоны, батальоны...

День прошел в тревожных хлопотах. Слушал доклад начальника штаба, читал бумаги — целые вороха, будто командир полка для того только существует, чтобы с утра до ночи штудировать приказы, распоряжения и прочая, прочая... Принимал начальников служб, подписыв-

вал похоронки на убитых на воскресенской переправе — попали под удар немецких пикировщиков... Не покидало беспокойное ожидание того, что вот-вот получу приказ о переброске маршевых рот на передний край.

Не спалось. Я пятый командир полка. Почему? Ведь здесь не убивают... В семнадцать лет я впервые попал в механический цех. Грохот, визг, скрежет, вращающиеся колеса, гигантские стальные руки то к тебе, то от тебя, сноп искр, люди, люди в защитных очках и засаленных комбинезонах. «Эй, ворон не лови!» — задорный крик белозубой девчонки, пронесшейся мимо меня на механической тележке с чугунными болванками. Оглушен, ослеплен, ошеломлен...

Сходное состояние испытывал я и сейчас.

Одним словом, попал как кур в ощип... Бежать? Куда? К кому? К командующему: мол, так и так, не сдюжу... Один, не на кого опереться... Стоп! Ты еще ровным счетом ничего не знаешь об офицерах полка. Рыбаков, Сапрыгин, Астахов, Платонов, Шалагинов, Петуханов... Они вели эту громоздкую махину по весенней распутице, пополняли рвущуюся вперед армию маршевыми ротами, недоедали, недосыпали. Ты им пока еще не судья!..

Правильно, не судья. Но командир. Так думай, наблюдай. У тебя свой опыт; у них свой. Объедини все это. Ты здесь новый человек, может, увидишь то, что они перестали замечать в силу привычки, в силу той обстановки, в которой оказались...

12

Разбудил телефон. Сапрыгин докладывал:

— Приказано в двенадцать ноль-ноль отправить три «ящика».

— Готовы?

После небольшой паузы:

— Будут готовы.

— В назначенное время «ящики» на толоку! Туда же офицерский и старшинский состав всего полка.

Петуханов сегодня на коне. Дежурит по полку, подтянут, а посадка — хоть на пьедестал. Нет-нет да и поглядываю на него. Красив мужик.

Нарзан идет рысью по утоптанной дороге. Маршевые роты и офицеры полка выстроены друг против друга. Нас заметили, и сизый табачный дымок над поляной стал рассеиваться, ряды смыкались под негромкие команды.

Клименко увел лошадей в укрытие. Петуханов докладывает:

— Мишени, лопатки, два чучела для штыкового боя. Все приготовлено, товарищ подполковник.

Этот большой, сильный мужчина сейчас напоминал ребенка, который собрал свои игрушки и теперь радуется не на радуется. Спрашиваю:

— Начштаба приказал?

— Личная инициатива!

Стоят роты, напротив офицеры, а между ними я и мои помощники. Сапрыгин, замполит Рыбаков, внешне спокойный, но в глазах тревожная настороженность; майор Вишняковский в поношенной гимнастерке, в синем галифе, без ордена, с животом, туго стянутым широким армейским ремнем.

С первого взгляда на три плотные колонны заметил: часть солдат в приличных гимнастерках, хотя и в той же обувке, в какой выходили по тревоге. Ровнее, чем вчера, держат строй.

Сапрыгин, показывая на часы, настойчиво шепчет:

— Отправка задерживается.

Рука Рыбакова скользит по портупее вверх-вниз, вверх-вниз. Не может скрыть нетерпения.

Не торопясь обхожу роты, становлюсь так, чтобы все меня видели.

— Кто из госпиталей? Построиться на левом фланге!

Суматоха — и более восьмидесяти солдат образовали отдельную колонну. Подошел к ним:

— Недолеченные есть?

— У меня грыжа...

— Я подхрамываю...

Пятерых солдат увел на осмотр полковой врач.

Нажимаю на голос так, чтобы всем было слышно:

— У кого трое и больше детей?

— Пятерых рошу! — ответ издалека.

Легкий смешок вспорхнул над строем.

— Выходи, отец.

Щупленький солдат выскочил из строя:

— Тамбовский я... Бабы нашенские рожалые. Младшему годок будет.

— А чего такой веселый?

— Живинка у середке,— ответил шустро и подморгнул.

— Встань в сторонку, отец..

Многодетные отцы выходили из строя. Набралось до отделения.

— Танкисты, командиры зенитных орудий, стрелки-радисты — в отдельный строй!

Голос из редющей колонны:

— Почему запрещают возвращаться в часть, в которой служил до ранения?

— Кто запрещает? Выйти всем, кто хочет вернуться в свои части! «Возвращенцев» набралось больше взвода.

Роты таяли на глазах. В сомкнувшемся строю остались одни парнишки. Им по восемнадцать—девятнадцать. Что они умеют? Стрелять, перебегать боевое поле, ползать по нему, встречать танки, скрываться от минометного шквала? Приказываю дежурному по полку Петуханову:

— Левифланговое отделение строя на линию огня!

— Есть!.. Слушай мою команду: отделение, на стрельбище шагом марш!

Солнце выползло из-за леса, краешком глядя на только что поставленные мишени. Застыли ребячьи глаза, винтовки прижаты к плечам. Петуханов зычно:

— Лежа, прицел четыре, заряжай!

Полуобороты — и на землю. Острые локотки выдавливают на сырой пашне луночки. Петуханов докладывает:

— Товарищ подполковник, отделение к выполнению первой стрелковой задачи готово!

— Трубач, сигнал!

Над затихшим полигоном рвется звонко: внимание!

— Огонь!

Нестройные выстрелы, отдававшие в хрупкие ключицы юнцов.

— Отбой!

Еще раз прозвучал сигнал «внимание!». И снова пули летели за молоком.

— Может, не пристреляны?

Беру у правифлангового винтовку, целюсь. Почему-то дрожит мушка. Палец не дотягивается до спускового крючка...

И тихо-тихо — все ждут.

После выстрела поднимаюсь, как водолаз, который пробыл на дне десятки минут, так и не обнаружив предмет, видный невооруженным глазом с палубы корабля. Моя первая ошибка — винтовка в еще неокрепших руках.

Сапрыгин, взяв ее, прищурившись, осмотрел мушку. Прицелился стоя и все три пули всадил в девятку.

Оступился, из-под ног полетел камень — еще не обвал. Надо остановиться, оглядеться. А я пошел, пошел закусив удила. Услышал шепот замполита:

— Так у него же тяжелое ранение.

— Отделение, ко мне! — Я входил в раж. Теперь уж никакого внутреннего торможения — как говорят, пошел-поехал...

Солдаты окапываются.

— Танки справа.

Тот уткнул голову в рыхлую землю, другой распластался, почему-то раскинув ноги, а этот подхватился и побежал. Ему вслед: «Ты убит!» — а он бежит, бежит...

Дальше тридцати метров никто не бросил гранату-болванку.

— Дежурный, боевую гранату!.. Внимание! Ложись! — командую, выдергивая чеку. — Раз, два, три, четыре! — Бросаю.

Граната взрывается в сорока метрах. Подбегает замполит:

— Вы с ума сошли!

— Отойдите. Встать!.. На Халхин-Голе, как известно, из ста гранат, брошенных японцами, шестьдесят вышвыривали обратно. Шестьдесят! Граната взрывается через шесть секунд. Запомните: через шесть секунд!

Сапрыгин негромко, но настойчиво:

— Роты не выйдут через час, приказ будет сорван.

— Роты скомплектуем новые. Срок — сутки. Всех по подразделениям. — Посмотрел на коновода: — Лошадей, ефрейтор!..

Лежу на кровати в сапогах, уставившись в потолок. Вошел Клименко, невесело потоптался у порога.

— Ты чего?

— Поисты треба.

— Тащи.

Хлеб домашний, с хрустящей корочкой, а молоко пахнет свежей травой. Клименко не спускает с меня глаз.

— Жалеешь?

— Зякались, та бог миловал...

Ожил телефон. Сапрыгин упорствует:

— Приказано «ящики» отправить немедленно. Разрешите?

Иду в штаб. Вся тройка здесь: начштаба за столом, замполит у окна, а хозяйственник Вишняковский у самой двери. Сапрыгин, уступая мне место, докладывает:

— Больные, многодетные, специалисты заменены другими.

— А парнишки?

— Время... — Он разводит руками.

Замполит примирительно:

— Офицерский состав полка достойный урок получил. Но роты должны уйти. Они у нас всегда уходили вовремя.

— Да, надо вовремя. Только роты маршевые не готовы к бою. Так или нет?

— Не понимаю, чего вы добиваетесь? — с раздражением спросил Рыбаков.

— Того, чего от нас ждут... Леонид Сергеевич, и вы, майор Вишняковский, останьтесь.

Сапрыгин сердито вышел.

— Садитесь, товарищ майор,— пригласил я Вишняковского.

Тот примостился на краешке табуретки.

— Прежде чем снимут меня с полка, я успею отправить вас на передовую. Вы меня поняли?

Краска схлынула с лица майора.

— Или...

Вишняковский вскочил — усаживать не стал.

— Или немедленно выполните приказ: из тыла доставите триста комплектов обмундирования — раз! Выпросите у армейских транспортников десять трехтонных машин, крытых брезентом, — два! Ясно? Срок — сутки! Идите!

Вишняковский не вышел, а выплыл, как рыба, оглушенная взрывом.

Замполит недоумевал:

— На что надеетесь?

— На то, что будем точно выполнять требования Военного совета армии. На опыт офицеров полка, наконец...

— Мне нравится такая уверенность. Получается: одним махом семерых побивахом.

— Не каждый же день гранаты швырять...

— Дай-то бог!..

— Срочно формируем новые роты! За мной первый батальон, за вами второй. Начальника штаба пошлем в третий. Срок — двенадцать часов.

Маршевые роты, одетые по форме, из бывалых солдат, прибыли на машинах к месту назначения с опозданием на восемь часов.

13

Меня и замполита вызвали в штаб армии.

Идем стремя в стремя. Леонид Сергеевич спрашивает:

— А вы знаете, что машины Вишняковский достал со стороны и за это отдал бочонок спирта?

— Это по вашей части. Привлекайте.

— Так всю партийную организацию разгонишь!

Коснулись друг друга коленями. Вино, спирт... Значит, без них не обошлось... В хорошее дело опрокинули бочку дегтя.

— Ну и сволота! — вырвалось у меня.

— О ком это вы?

Молчу.

— Разрешите дать вам совет — сдерживайтесь, пожалуйста.

— Учите?

— Делюсь опытом. Как-никак я старше вас лет на десять.

— Разве числом прожитых лет определяется опыт?

— Но и годы со счета не сбросишь. С ними приходят удачи и неудачи. Если хочешь, и ошибки, но пережитые и, главное, понятые.

— Как говорят, намек вдомек.

Дорога сузилась, замполит поотстал. Скоро кончилась лесная полоса, и мы вышли на проселок, снова поравнялись.

— Я хотел сказать, что в запасном полку как-никак не первый год.— Рыбаков натянул повод.

— Значит, привыкли отправлять людей чохом?

— Пришел, увидел, победил! — На щеках замполита выступил румянец.

— А я одного хочу — послать в бой настоящих солдат.

Рыбаков промолчал, достал кисет, вышитый шелком, протянул мне:

— Давай покурим...

Табак у него душистый, с первой же затяжки напомнивший мне дюбек, что растет на южных склонах Крымских гор.

— Хорош, — сказал я.

— Земляки прислали.

— Издалека?

— Урал-батюшка. Прадед мой, дед, батя — металлурги. Сталь варили. И я с батей подручным. Потом учился, в инженеры выскочил. Вызвали в обком — и на партийную работу. Ни опыта, ни особых знаний... И сам дров наломал, и меня ломали... Всю жизнь жалею, что не в цеху остался!

— Тебе повезло: батя, цех. А я вот безотцовщина; чужая станция, нас презрительно чужаками звали... Появишься один на улице — ребра пересчитают. Мы ходили ватагой, сдачи давали — кровь из носу. А кто такие шибай, знаешь?

— Торгаши?

— Похуже. То ли турки, то ли персы приходили в нашу станицу, купали овец. Мать отдавала меня в пастухи к ним. Как наберется голов пятьсот — белый свет померкнет. Овцы из разных куреней и все норовят в свой баз. Гоняешься, гоняешься за ними по степи, а потом плюнешь на все, залезешь на скирду и орешь во все горло: а-а-а-аа! Баранта моя на посевах. А мне порка.

— Обозлился?

— Нет, но и в добреньких не хожу... Леонид Сергеевич, только откровенно: почему часть осталась без командира? За что сняли моего предшественника полковника Стрижака?

— Он офицер кадровый... Стал на полк — порядок навел, без рывков действовал. И какой командный состав подобрал! Астахов, Шалагинов, Платонов, Петуханов, Чернов... Да разве всех перечислишь. Дела шли неплохо, маршевые роты сдавали в срок, нам троим — Стрижаку, Сапрыгину и мне — по ордену дали. Но когда все идет ладно, частенько срываются те, у кого слабинка... Стрижак и выпить не дурак, да и на женский пол падкий. Начались у него срывы, но такие, что в глаза не бросаются... Я лишь догадывался о них, хотел было пресечь... А тут началось наступление, фронт наш пошел, да так разогнался... Когда с рассвета до темна на марше, когда на тебе тысяча обязанностей... За два месяца ни разу не выспался. Такие были дела... — Рыбаков помолчал, а потом как бы про себя: — С ходу на строгий выговор и наскочил...

— А зачем вам нужен варяг? Сапрыгин чем не комполка?

— Высоты в нем нет, — с сожалением сказал замполит.

— Есть или нет — не знаю, а то, что всех вас под себя подмял — заметно.

— Ерунда! Это ты начинаешь с того, что с первого шага всех с ног валишь!

Остановили коней.

— Правильно я тебя понял: едешь в штаб армии с готовым мнением обо мне?

— Запасный полк нуждается в другом командире. Ноша не по тебе.

— Десятую часть той ноши, которую мы несли там, под Севастополем, на тебя бы и на твоего Стрижака... Ночи, говоришь, не спал, а брюшко-то откуда?

Рыбаков побледнел, рванул повод, но я успел ухватиться за уздечку и потянул коня и седока к себе.

— Извини, пожалуйста, это я сдуру.

— И заносит же тебя...

— Ну прости! Давай эту глупость раскурим. Ну! — Вытащил портсигар.

Рыбаков молча выкурил папироску до мундштука, потом повернулся ко мне:

— Трудно будет мне. С тобой... мне.

— А ты дави на все тормоза — не обижусь.

— Разве сразу затормозишь машину на полном ходу?

Едем молча. Я отпустил поводок — Нарзан тряхнул головой и пошел с дончаком шаг в шаг.

Мне влево, замполиту вправо — разъехались.

Начальчик штаба армии генерал Валович занимал небольшую молдавскую хатенку в четыре окна, с крылечком и палисадником, в котором споро шли в рост мальвы.

— Заходи, герой.— Генерал поднял голову, бросил на меня молниеносный взгляд и снова уткнулся в бумаги.

Стоя навытяжку, жду, что скажет дальше мое непосредственное начальство. Оно немолодое, бритоголовое, молчит, будто меня здесь нет. Пишет, гладит голову, хмыкает, тянется к телефонной трубке:

— Ты, Иван Иванович?.. Источник информации? Из опроса жителей, значит? А где твои глаза? Через сутки перепроверенные данные ко мне на стол! — Трубка кладется с силой.— Стоишь?

— Стою.

— Ну и стой.

По комнате ровно льется теплый свет, на спинке безукоризненно заправленной никелированной кровати играют два солнечных зайчика. Стены пересинены, кажутся декоративными. На подоконниках герань — цветет. Два стола. Еще тумба с телефонами.

Генеральская рука водит карандашом по полукругу, легшему красной извивающейся линией на оперативную карту. Догадываюсь — плацдарм за Днестром. Генерал перехватывает мой взгляд.

— Чего глаза пялишь? Ты что это из-под носа автобазы машины уводишь? Партизанщина! Тревога, понимаешь, и всякие фокусы с гранатой. Сядь.

Сел, а генерал поднялся. Я за ним.

— Да сиди же... Докладывай. Я похожу — спина болит.

Выручил солдатский опыт: не исповедуйся, говори по существу и жди, что прикажут. Генерал остановился возле меня.

— Порассуждаем, подполковник. Положим, тебя назначают на боевой полк. Ты пришел, не успел пожать руку помощникам, как приказ: взять высоту, что торчит над позицией. Не знаешь ни людей, ни обстановки. Что будешь делать?

— Атаковать.

— Атакуешь, теряешь людей, а высота не твоя — приказ не выполнен. Как изволишь поступить с тобой?

— Снять с полка и отдать под суд.

— Верно. Так почему же ты, не успев показаться в запасном полку, нарушаешь мой приказ: маршевые роты доставляешь с опозданием? И как! На чужих машинах. Как с тобой поступить?

— Наказать.

— А почему не под суд?

— Жертв не было.

Генерал, поджимая бледноватые губы, шагал из угла в угол. Резко повернулся:

— Сам себе придумай наказание.

— Строгий выговор.

— А в полку оставить?

— Завелся, товарищ генерал...

Валович ухмыльнулся:

— Не было печали — заводного обрели. Так вот: за несвоевременное выполнение приказа, за автопарк и прочее получай строгаца. Теперь подойди к карте. — Генерал карандашом обвел выступ за Днестром. — Кицканский плацдарм. Тут наши, дивизия на правом фланге, за болотом. А тут, — палец генерала приблизился к синему кружку, — противник скапливает силы. Короче: требуется двенадцать маршевых рот. И таких...

— Ясно, товарищ генерал!

— Не перебивай! Срок — неделя. И чтобы без фокусов. Экзамен на командование полком. Заруби на носу.

Зазвонил телефон.

— Ты, Георгий Карпович? Здоров... У меня, собственной персоной... Хорошо, хорошо! — Положил трубку. — Иди в политотдел, получишь по партийной линии, герой...

Начальник политотдела полковник Георгий Карпович Линеv встретил меня у порога:

— Ну, здоров, здоров! — Его пухлые руки ощупали мои бока. Обернулся к замполиту: — Рыбаков, одни косяшки у человека. Подкорми!

— Постараемся, Георгий Карпович.

— Только смотри, не перекачай, как своего Стрижака. А то ведь человек в седло забраться не мог. Впрочем, речь не о нем. — Смешинки из полковничьих глаз будто ученической резинкой стерли. Он уселся за письменный стол. — Сколько в полку коммунистов? — спросил меня.

— Не успел узнать, товарищ полковник.

— Обязан был с этого начинать, а не с гранатой в руке красоваться. Ты единоначальник. — Посмотрел на Рыбакова. — Вы коммунисты. А что у вас делается? Да знаете ли вы свой полк? Ты, товарищ Рыбаков, — погрозил пальцем, — с тебя мало взыскали, но за этим дело не станет. Случаи пьянства искоренить, чтобы духу не было. Армия становится на плотную оборону. Теперь у вас есть время. Так сделайте же полк полком! Вдвоем перетрясите комполитсостав. Кто засиделся, забыл, где находится, — в резерв. Там разберутся кого куда. С полка глаз спускать не будем. И ты, партизан, не теряйся и номера всякие там не выкидывай. На молодость ничего не спишем. Все, друзья. Наведаюсь к вам.

14

У подполковника Сапрыгина длинные уши. Мы не успели появиться в штабе полка, а он уже развил бурную деятельность: взвод писарей срочно составлял списки маршевых рот. Встречает докладом:

— Товарищ подполковник, мой предварительный расчет: с каждого батальона по две роты, а с учебного три...

— Учебный не трогайте, Александр Дементьевич.

— Я понял вас!

Мы расположились в комнатенке начштаба. Я закурил, за мной задымил Рыбаков. Сапрыгин, кашлянув, спросил:

— Разрешите освободить шею, жарко.

— Что вы, Александр Дементьевич, мы же ваши гости!

Он расстегнул два верхних крючка на кителе, по-хозяйски уместился на венском стуле, улыбнулся:

— Беда, вашего заместителя по хозяйству Вишняковского найти не можем. Словно сквозь землю провалился.

— А склады?

— На месте, да что толку? От силы роту оденем, а одиннадцать маршевых...

— Поступим так,— сказал я.— У вас, Александр Дементьевич, и у тебя, Леонид Сергеевич, опыт. Вам и формировать роты. И напоминаю: шестые сутки — день нашей инспекции по стрельбе и тактике.

— И тут же присяга,— подсказывает Рыбаков.

— Само собой разумеется. А я на этот раз возьму на себя обязанности интенданта. Александр Дементьевич, во что бы то ни стало разыщите Вишняковского и пришлите ко мне...

Ординарец Сапрыгина, что из ресторана «Иртыш», беф-строганов больше мне не носит. Клименко — и коновод, и повар, и связной. Повар, правда, из него, как из меня псаломщик. В меню галушки размером с кулак. Клейкие, скользкие; зажмешь меж пальцев — со свистом летят. Десяток проглотить — в глазах потемнеет. Глотаю, а Клименко переминается с ноги на ногу.

— Вот что, старина, пойдешь в приемно-распределительный батальон и разыщи ефрейтора Касима Байкеева.

— Ась?

— Запиши: ефрейтор Касим Байкеев.

— Та запишу.— Из кармана достает огрызок карандаша, слюнит его — на губах остаются две лиловые полоски,— пишет на листке из ученической тетради: «Касим Байкий».

Я прилег, задремал. Сквозь дрему услышал робкий стук.

— Заходите.

Вишняковский, вид убитый.

— Прошу отправить меня в армейский резерв...

— В отставку?

— Так точно...

— Не выйдет, майор.

— Двенадцать рот не одену.

— Через пять дней доложите о том, что полторы тысячи комплектов солдатского обмундирования лежат на полковом складе. Не делаете — резервом не обойдетесь. Работали в Одессе?

— Заведующим обувным магазином.

— Как торговали?

— На Доске почета бывал...

— Почетную Доску не обещаю. У вас сын, Валерий Осипович?

— Шестнадцать годков, товарищ подполковник. В Самарканде сейчас.

— Вы отец. Вы должны понять, все понять!

Вишняковский как-то по-домашнему спросил:

— Мне присесть?

— Садитесь, Валерий Осипович.

Сидел он на краешке стула, пальцы по-стариковски лежали на округлых коленях.

— Так почему не оденете? Тылы же армейские подтянулись.

— Идут эшелонами, но расхватывают все доставленное в момент.

— А вы ждете, пока вам на блюдечке преподнесут?

— Нахальства не хватает, да и запасному полку в последнюю очередь...

— Запомните, товарищ майор, тот бочонок спирта и бут вина я прощаю, но если повторится нечто подобное — под суд. Идите к армейским интендантам, кровь из носа, но все, что положено солдату,

дайте. Отправили бы вы своего сына на смертный бой разутым и раздетым? Между прочим, китель на вас, брюки, сапожки — картинку рисуй!.. Вы меня поняли?

— Понял,— убитым голосом сказал Вишняковский и тихо прикрыл за собой дверь.

Не справится. Надо подключать тяжелую артиллерию. Иду в штаб, связываюсь с членом Военного совета армии.

— Ты, Тимаков? — голос генерала Бочкарева.— Как там еще у тебя? Гранаты перестал кидать?.. Слава богу!.. Замполит — помощник?

— Сработаемся, товарищ генерал.

— Уже легче. Так что тебе нужно?

— Полк раздет и разут. Армейские интенданты снабжают нас в последнюю очередь. Я не выпущу ни одного солдата без положенного обмундирования.

— Меня в интенданты просишь, что ли?

— Помощи прошу, товарищ генерал.

— Ладно.— Он положил трубку.

На другой же день к нам прибыл начальник вещевого довольствия полковник Роненсон, рыжий, длинный, как коломенская верста. Глаза косят.

— Ты знаешь, кто такой майор Вишняковский? — спросил меня.— Нет, ты не знаешь!

Исподлобья смотрю на тыловое начальство.

— Да, да, Вишняковского любой комполка... Ты знаешь, за что он получил орден? Думаешь?

— Я думаю о гимнастерках и солдатских кальсонах со штрипками. Гарантируете?

— На войне гарантируют одно — подчинение младшего старшему.

— Только потому и имею честь лицезреть вас у себя в полку!.. Благодарю за это генерала Бочкарева.

— Э, а мне говорили, что в Крыму веселый народ.— Шея полковника побагровела, рыжие ресницы часто заморгали. Однако нервы у него крепкие. Улыбнулся: — В германскую войну я делил селедки. И, понимаешь, никто не хотел хвосты. Так они оставались у меня. И кормил господ офицеров свежим мясом, поил смирновской водкой. Ты же кумекаешь: мужик любил селедочные хвосты.

— Это что, притча о спирте и вине?

Роненсон тяжело вздохнул.

— На этот раз обойдемся без селедочных хвостов. И заметь, у полковника Роненсона пять тысяч дел и еще одно. Роненсон у тебя — значит, будут кальсоны со штрипками!

Полк одевался и обувался.

Весна поднимает небо. Оно голубеет, голубеет, и солнце медленно плывет над кудрявыми холмами. От Просулова во все стороны разбегаются молодёющие лесные полоски, оберегая черные дороги от палящих лучей.

На западе темнеет туча, четко отделенная от неба, никакой опасности пока не предвещая.

Маршевые роты получают сухой паек. Солдаты сбились кучами, курят. Парнишки в новеньких гимнастерках, в обмотках, которые то и дело разматываются. Младшие командиры, незлобно поругиваясь, учат солдатской азбуке.

С Леонидом Сергеевичем лежим на травке. Я держу на вытянутой ладони божью коровку и все хочу, чтобы она добралась до кончика пальца. Так нет, проклятущая, ползет в противоположную сторону.

— Дай-ка мне.— Замполит протянул руку. Он сел, подобрав под себя ноги по-турецки, стал причитать: — Божья коровка, полети на небо. Там твои детки кушают котлетки.

Полетела.

— Счастливый!

Он доволен.

— А ведь польет.— Смотрю на запад.

— Не думаю.

— Я знаю такие тучи. Стоят-стоят, а потом захватят все небо — и как сыпанет! Эх, нет плащ-палаток...

— Тебе все мало, мало!..

...Двенадцать колонн по сто солдат в каждой, по одному офицеру меж ними; а я и замполит впереди.

Туча надвигается, уже охватила полнеба, ветер, налетевший сбоку, бросил в лицо тугие пригоршни дождя.

— Раскатать шинели!

Шаг не сбавляю. Дождь разыгрывается, ноги вязнут в земле.

— Привал! Пали махру!

Иду вдоль колонн, слышу тяжелое дыхание. Устали, но больше пяти минут отдыха не дам. Надо на рассвете быть у переправы.

— Шагом арш!

Замполит пыхтит, как перегретый самовар. Видать, не ходок, да и жирка многовато.

— Запорем ребят,— умоляет он.

— Злее будут.

Мне, горному ходоку, шагать по равнине все одно что телеге с хорошо смазанными колесами катить по наезженной дороге.

Вышли на асфальт. Дождь перестал. Повеселели.

Замполит прихрамывает.

— Ногу натер, что ли? Давай назад и садись на коня. Проследи за отстающими, подгони...

Скоро рассвет.

— Шире шаг! — И у меня перехватывает дыхание. Но как учили в горном полку: два шага — вдох, четыре — выдох.

Стремительной лентой блеснул Днестр. За ним в светлеющее небо взлетели ракеты и медленно-медленно падали. С фланга татакал пулемет. Я застыл — фронт. Вот он!

Увидел темную полосу переправы. За ней купол монастырской церкви. Гудели в отдалении машины, медленно втягиваясь в лесную чащобу. Вдруг затрясся воздух: со свистом пролетели снаряды, а через секунду-другую за рекой поднялись столбы черной земли.

Вдоль реки тянулась лесная полоска.

— Сопровождающие, ко мне!

Колонну разделил на три части и приказал рассредоточиться.

С Рыбаковым — он догнал нас — спустились к переправе; нашел коменданта — подполковника, оглядывавшего небо.

— Пропустишь нас? Двенадцать рот.

И вдруг крик:

— Воздух!

Бежим к ротам. Часто захлопали зенитки. Заметил девятку пикировщиков. Они шли на солнце.

— Ложись, Леня!

Рыбаков плюхнулся в лужу.

— Давай ко мне! — кричу ему.

Он поднялся. Лицо блеее полотна. Я подбежал, с силой потянул за собой. Мы легли на межу, отделявшую виноградник от прошло-

годнего чернобыльщика. Самолеты были над нами, из них вываливались бомбы. От бомбового удара сотрясался берег, но зенитные орудия участили стрельбу. В промежутках между взрывами я услышал «ура». Горящий самолет рухнул в Днестр. Стрельба оборвалась, только приторный запахок тола напоминал о коротком воздушном налете.

Я поднял колонны и бегом бросил к переправе. Солдаты бежали мимо матерившегося коменданта, просачиваясь между машинами, скапливаясь на том берегу. В лесу выстраивались роты. Не доставало девяти человек. Но посланный офицер привел всех живыми и целыми.

Леонид Сергеевич молчал. Губы его заметно подрагивали.

— Впервые, что ли?

— Нехорошо как-то получилось...

— Не кайся, не такое бывает. — Я понимал: ему тяжело. — Леня, ты посмотри вправо.

Целая полоса леса была выбита немецкими бомбами.

Я не стал задерживать Рыбакова, отпустил в полк. Уехал он с поникшей головой. Напрасно.

Пополнение принимал рослый генерал Епифанов. Он вглядывался чуть ли не в каждого солдата.

— Ты, Гаврилюк? Ба, кого вижу! Здоров, Тахтамышев! — Генерал повернулся ко мне: — Откуда моих хлопцев набрали?

— Сами напросились.

— Уважили. А то обкатаешь солдата, обстреляешь, а как попадет в госпиталь — пиши пропало. А вы уважили — хлопцы на подбор!

В генеральской землянке уютно: ковры, кровать с периной, электричество. Генерал рассмеялся:

— Натаскали, сукины сыны. Как у солдата? Хоть день, да мой...

Вошел молоденький лейтенант:

— На проводе генерал Валович.

Епифанов взял трубку:

— Седьмой слушает... Получил. И, скажу тебе, порадовал... Не учи, не учи — сберегу. Передаю. — Он протянул мне трубку: — Требуют вашу милость.

Голос Валовича был деловым:

— Загляни ко мне. Жду в двенадцать ноль-ноль.

Штаб армии находился в старинном молдавском селе. Белые хаты, крыши под камышом, местами под дранкой, окна с наличниками, стены снаружи, как и внутри, пересиненные.

Генерал пожал руку и без церемоний заявил:

— Остаешься в полку. А теперь слушай повнимательнее. Простым в обороне долго, сколько — не знаю, но долго. Армии нужны грамотные младшие командиры. Много нужно. Когда сможете дать?

— Через два месяца, товарищ генерал.

— За три месяца лейтенантов готовят. Полтора, не больше. Учти, сам командарм будет принимать!..

(Окончание следует)



ГР. ПОЖЕНЯН



СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ХРОНИКА

18 НОЯБРЯ 1853 ГОДА

От каких щедрот,
от какой чумы
нагулял народ
белые чубы?
То ли нрав такой
искушать судьбу.
То ли род людской —
из пальбы в пальбу.
То ли спесь держав,
то ли гнет страстей.
Прав или не прав —
не желей снастей.
Из морей в моря.
Из огней в огни.
Зря или не зря,
мы или они.
Погребальный звон,
славы ли глоток...
Бой — всему закон.
И всему итог.
Как царю царить,
как орлу парить,
нам свою тропу
в страдный час торить.
Вот с каких щедрот,
от какой чумы
нагулял народ
белые чубы.
Паруса вязать,
паруса рубить.
Не зады лизать,
не поклоны бить.

30 АВГУСТА 1854 ГОДА

В дворянском собрании бал,
как флаги на гордых высотах,
румянец на щечках красоток
горит, вызываяще ал.
Незнобко стучат каблучки,
их гонят в кадрильные сети,

чтоб дрогнуло на эполете
 притворство лукавой руки.
 О вечный пророк и слепец —
 союз кавалера и дамы...
 Канун севастопольской драмы,
 но танцу еще не конец.
 Еще зазвучит котильон,
 и бал завершится мазуркой,
 и Меншиков будет смущен
 вопросами Сусловой юркой.
 А в люстрах и бронзовых бра
 свечей чуть колышется пламя.
 Все как в позолоченной раме:
 то мрамор притеплен коврами,
 то лживые скрипы пера
 утоньшат порыв топорами.
 Мазурка! Она ль не стара!
 Ее ль охладить веерами!
 Но море чревато ветрами,
 а полночь — полетом ядра.
 И жесткие «да» или «нет»
 предстанут пред всеми нами.
 Павел Степаныч Нахимов
 И Павел Степаныч Нахимов
 взойдет на Камчатский люнет ¹.

5 ОКТЯБРЯ 1854 ГОДА

В дворянском собрании стон.
 Здесь не закрываются двери,
 здесь властвуют только потери
 и слышится глухо:
 — На стол!
 В «Дом Гущина»! —
 Или: скорей
 священника, чтоб причаститься,
 чтоб телу с душою проститься
 у непостижимых дверей.
 Баталий неправедный суд,
 где храбрые вечно судимы.
 А их все несут и несут,
 а бомбы — не мимо, не мимо.
 И кажется, нет им конца.
 Носилки, носилки, носилки.
 Будь прокляты смерти косилки,
 тщеславные руки косца.
 Живого живой не оставь,
 покуда свеча не задута.
 Верхами ли, пеши ли, вплавь,
 со «шкун», с бастиона, с редута
 живого живой дотащи
 сюда, в танцевальную залу,
 где тень Пирогова витала.
 А сам упадешь — не взыщи.
 Наш выбор и прост и суров:

¹ Часть укрепления на бастионе.

долг чести. Но я не про это.
Почти на вершок от паркета
в дворянском собрании кровь.

24 ОКТЯБРЯ 1854 ГОДА

(Инкерман)

Кровь, как ни странно,
бывает любая:
красная, белая и голубая.
Красная — это рабочая кляча,
азбука боли,
вестница плача,
всех озабоченных
лбов напряженье.
Сладость презренья,
муки прозренья,
теплых ответных
ладоней касанье.
Свет озаренья,
лед угасанья.
Глины редутов,
ставшие ржавы.
Скаты рудые,
бурые травы.
Лежбище белых телец —
ледяная,
белая кровь —
это просто больная.
Горькая, стихшая
кровь огорченья.
Белых озябших
халатов свеченье.
Белые угли
остывших кочевий.
Взмахи идущих на убыль
качелей.
Белые вздохи,
белые стоны.
Над изголовьем —
нездешние склоны.
Кровь голубую
держите в секрете,
баловни века —
«теткины» дети.
Вы и румяны,
вы и усаты,
зебры рождались
для вас полосаты.
А на плато
и холмах Инкермана
лишь десять тысяч —
ни много ни мало,
только за сутки,
от боя до боя,
красным платили за голубое.

1855 — 1945

Май — май

Нам — в строку,
а им — с руки.
Нам — в снега,
а им — награды.
Отсосались пауки,
насосались казнокрады.
Знобки ссыльные снега.
Конь устал,
угрюмы песни.
Ни на шаг
от пирога.
Ни на миг
от псалмопевства.
Бродит в сумерках «табу»,
окрыленно свищут розги.
И от сотрясения мозга
дятлы падают в траву.
Лгут депеши,
лгут гонцы,
разъедает душу талость.
Ах, на месте протоптались
на Сенатской храбрецы.
Уж такой России рок.
Кто тому виновник главный,
что Дантес легко и плавно
взвел на Пушкина курок?
Что Мартынов не в бою,
не разорванный громами,
не раздавленный домами
в душу выстрелил мою?
А кремневое ружье,
нессельроды, мандты, мундты.
Горе горькое мое,
сладость роковой минуты,
ясь в пороховом дыму,
возвышающая бездна..
В дни, когда не властна бездарь
в неповерженном Крыму,
здесь, перстом судьбы влеком,
не сходил с коня Корнилов.
В доме, где Екатерина
груди мыла молоком,
где потом, потом, потом,
погасив огарок тлевший,
спал князь Меншиков светлейший —
осенили морг крестом.
Не найти теперь конца.
Кто осмелился, как мог он
морг воздвигнуть из дворца!
Я б воздвиг дворцы
из моргов
всем, кто головы сложил
на холмах и на курганах,
на равнинах и полянах.

Тем, кто жить-то и не жил.
 Всем, кто шел
 и вел полки,
 ретирад не признавая.
 ...Век спустя я тоже
 в мае,
 не во сне, а наяву,
 здесь, шагнуть назад
 не смея,
 кровью юною своею
 обагрил свою траву.

2 ИЮНЯ 1855 ГОДА

Я тоже был бы в Оленьку влюблен,
 за ней по Малой Офицерской следуя.
 Но муж ее, противника преследуя,
 отстаивал четвертый бастион.
 Я тоже был бы в Оленьку влюблен,
 мол, что за грех, враги и те братаются.
 Но как мы знали б, от кого рождаются
 наследники великих оборон.
 У флотских свой устав и свой закон:
 не смей к чужому прикасаться ты.
 Не то не будет никакой кассации,
 пока гремят раскаты оборон.
 Но, полковою музыкой казнен,
 он так хотел бы с нею посумерничать.
 Но контрабасу с флейтой не соперничать.
 И не простившись удалился он.
 А ночью, отбивая Южный склон,
 слова прощанья и прощенья комкая,
 он умер на руках у Перекомского,
 в жену которого он утром был влюблен.

17 ИЮНЯ 1855 ГОДА

Все смешалось:
 гул и гром,
 вой и стон.
 Перепаханы ядром
 явь и сон.
 Все сгустилось:
 день и ночь,
 тень и свет.
 И не может
 превозмочь
 мглу рассвет.
 Все сместилось:
 низ и верх,
 вал и ров.
 Все скрестилось:
 плачь и смех,
 кровь и кровь.
 И в который раз полки

слышат зов:
— Благодетели, в штыки! —
звал Хрулев.
Значит, так тому и быть:
бой так бой.
— Барабанщикам — забыть
бить отбой.
Приказавших отойти —
заколоть.—
Сух и горек был в пути
тот ломоть.
Нет отхода у судьбы,
крут порог.
Только вверх нарез резьбы,
только рож.
А в изножии холма:
конь, и краб,
гурок, феска, и чалма,
и араб,
египтянин, и улан,
и зуав.
Однорукий лорд Раглан
приказал
с адмиралом Пелесье:
— Взять курган.—
...И у нас готовы все
на таран.
Если так тому и быть —
бой так бой.
— Барабанщикам — забыть
бить отбой.—
Сам Нахимов
в штыковой
впереди.
Суд всеправый,
суд людской,
погоди!
Жаркой памяти огонь
пригаси,
не спеша, в одну ладонь
все снеси.
Все по крохам собери,
свет и тьму.
Ничего не раздари
никому.
Горечь правды отличи
ото лжи.
Ни о ком не умолчи,
все скажи.
Чтобы в стынь
из-под пера
крик души.
Про Степана и Петра
напиши.
Полегло их бел-бела,
несть числа.
Плыть, лететь им

без крыла,
 без весла.
 ...По Калугам
 стон да лай,
 плач да стон.
 Двухметровый Николай,
 знал ли он,
 по-гольштински
 выгнув бровь,
 брови-кант,
 знал, почем
 в России кровь
 и талант?!
 Цену эшафотных свай
 знал ли, нет
 со своим «futurum zwei»²
 в чем секрет?
 Видно, так тому и быть:
 бой так бой...
 — Барабанщикам — забыть
 бить отбой!

18 ИЮНЯ 1855 ГОДА

Малахов курган

С каких бы ни падать коней,
 ниже земли не упасть.
 Дальше войны не пошлют.
 Над нами особую власть
 имеет не трон и не страсть —
 достоинство, храбрость и честь.
 Потом разберемся во всем
 и раздвоимся потом:
 битого хватит стекла.
 А нынче — долой из дула.
 А нынче — была не была.
 Достоинство, храбрость и честь.
 Не мы выбираем царя.
 Не за свободу свою
 нам повеление — в бой,
 но мы заслоняем собой
 своих адмиралов в бою
 и шепчем остывшей губой:
 — Достоинство, храбрость и честь.
 А жатва?!
 Солдаты не жнут.
 Слава?!
 Ее бубенцы
 снега оживляют других.
 Но в детях воскреснут отцы.
 А детские руки сомкнут:
 достоинство, храбрость и честь.

² Будущее время (нем.).



ВЛАДИМИР КОМИССАРОВ

★

СТАРЫЕ ДОЛГИ

Роман

I

Цветы оборвали ночью. Из земли торчали толстые, сизые, как лежалое мясо, обрывки стеблей. Иннокентий Павлович выругался простыми словами. Пора бы, кажется, и привыкнуть, не первый раз, но он очень расстроился; в одних голубых замшевых шортах топтался вокруг клумбы, дергал себя за бороду и громко возмущался. Не столько ему было жалко цветы, сколько обидно.

Он привез их из Мексики — в прошлом году ездил на конференцию. Старик мулат, у которого Иннокентий Павлович увидел в саду цветы, наверное, принял его за янки — заломил невыслимую цену, пришлось уйти. Но за день до отъезда тайком от коллег, покупавших на остатки валюты дамские туфли и плащи, он снова появился у садовника и стал обладателем десяти невзрачных клубеньков, которым предстояло превратиться в странные цветы, похожие на мохнатых ласковых зверьков.

Иннокентий порой разговаривал с ними: садился у клумбы на корточки, спрашивал:

— Ну что? Скучно? Кругом бегают, суетятся.. Все в мире относительно. Я бы с удовольствием вот этак-то, на солнышке. И чтобы не думать ни о чем. Самое большое удовольствие — не думать.

Он протягивал к пушистым, длинным, нервным лепесткам руку, осторожно дотрагивался, и они тотчас откликались: потихоньку загибались, касаясь кожи теплым бархатом. Точно ребенок забирал в кулачок протянутый ему палец. Густо-багровые, они становились вдруг фиолетовыми, алыми, бледно-розовыми. По настроению. В сумерки все вокруг затоплял дурманный, горький запах, оставляющий на губах привкус весенних проклюнувшихся почек.

Прошлым летом цветы обрывали дважды, этим — трижды, но каждый раз по-божески, не подчистую, и они снова разрастались, то польхая, то нежно розовея среди травы.

Вчера под вечер возле дома остановились два «ЗИЛа», пыльных и новых. На бортах надпись: «Уборочная». Четверо шоферов выпрыгнули из кабин, покрутились у ограды и вошли. Трое сразу направились к беседке поодаль, где Иннокентий обычно работал, если не ходил в институт, четвертый — к дому.

— Папаш! — прищелкнув пальцами, сказал он. — Стаканчик!

В беседке между тем уже хозяйничали. На столе ребята соорудили славный натюрморт: огурцы, помидоры, батоны — все крупное, яркое, кус колбасы — поленом и бутылка.

Стакан он вынес, только предупредил строго, поглаживая для солидности бороду:

— Чтоб не мусорить там, ясно?

В дом Иннокентий не вернулся: очень ему интересно стало, что там эти захватчики творят, благо и повод нашелся — сеттер Динни, увидев гостей, зашелся в счастливой сумасшедшей пляске. Иннокентий Павлович прогнал собаку и остался в беседке: шоферы не отпустили. Потеснились, налили на три пальца, пододвинули на газете огурец и кусок колбасы:

— Выпей, папаш, не стесняйся!

Иннокентий недолго отказывался. Он был по-сорочьи любопытен.

Сначала неожиданные гости показались ему все на одно лицо — худощавые, пропыленные, ошалевшие от долгой езды. Потом из них выделился один, постарше. Этот все помалкивал, присматривался к хозяину. Зато молодые не умолкали. В две минуты выяснилось, что шоферы решили тут заночевать, а на рассвете тронутся дальше, что сами они из города Степногорска, едут на уборку и что здешние места им очень понравились.

— Крым! Чистый Крым! — вскрикивал курчавый сухой парень, похожий на Христа, если бы у того вдруг улыбка раздвинула рот от уха до уха.

— А ты в Крыму был? — спросил Иннокентий Павлович.

— Не-е! — восторженно кричал парень. — Я знаю, там точно так. Красота! А ты был?

В Крыму Иннокентий не был. Друзья, пожалуй, его на смех подняли бы, если бы поехал. После Мадагаскара, Новой Зеландии?

— Не был? — сиял парень. — Я тебе, отец, точно говорю: тоже все сенатории, парки, как у вас. Это что? Сенаторий? — Он ткнул смуглым пальцем в коттедж, где жил Иннокентий Павлович. — И там сенатории. Это что? Парк? — торжествующе обвел ладонью вокруг себя. — И там тоже парки.

— Н-да-а, — протянул Иннокентий, окидывая оценивающим взглядом нарядные коттеджи из розового, с искоркой камня, стены которых едва проступали в ветвях сирени и жасмина, подстриженных по приказу ретивых институтских хозяйственников и впрямь на манер южного вечнозеленого кустарника. — Не санатории это, друг. Ученые здесь живут. Там профессор, дальше академик...

— Одни?

— С семьей.

— Во скука им небось! Одни в целом сенатории, — сказал курчавый. — Козла забить и то не с кем.

— Дачники, что ли? — мрачно спросил другой.

В институте тех, кто жил в коттеджах, тоже обзывали дачниками. Из самых низменных побуждений, попросту говоря — завидовали. Коттеджи достались, само собой, первопоселенцам, поскольку строились вместе с институтом. Теперь вокруг него стояло несколько современных домов-башен улучшенного типа: стекло и бетон, из лоджий верхних этажей уже двадцать первый век виден — если раздвинуть пеленки, которые там на веревках сушились. В прошлом году ребята из группы Иннокентия Павловича выдвинули на обсуждение гипотезу: «Акселерация как результат парниковых условий в современном крупноблочном здании».

— В газетах пишут: спекулянты, жулье дачи имеют, — не унился мрачный.

— Бывает, — согласился Иннокентий.

Потом с ученых разговор перекинулся на неученых: коммунизм

скоро, хочешь не хочешь — учиться надо, стыдно с семьёю классами оставаться; шоферскую вольную судьбу обсудили — мол, если жизнь правильно понимать да не зевать, так грех жаловаться: на бутылку хватит и на закуску останется...

Иннокентий усмехался в бороду, когда его называли «папашей». Впрочем, усмехался вместе с ним едва заметно и молчаливый. Непонятный был человек. Вроде бы и трех слов не произнес, а вроде бы на нем весь разговор держался, ребята то и дело восклицали: «Петрович не даст соврать!», «Так, Петрович?», «Петрович, подтверди!» Он, пряча усмешку, только ронял коротко: «Возможно». Иннокентий Павлович в конце концов тоже стал вопрошать: «Верно, Петрович?»

Уходя к машинам спать, курчавый сказал строго:

— Которые профессор, академик — пусть живут, эти ничего, пусть. А спекулянтов гоните! Понял? Верно, Петрович?

— Понял, — ответил Иннокентий. — Обещаем.

Утром машин возле ограды уже не было. Не было и цветов.

Иннокентия даже передернуло от досады: конечно, надо было не водку с ними распивать, а сразу от ворот поворот!

Да, но почему, собственно, они? Ну, ночевали и уехали. Не первый раз цветы обрывают... И вообще — хватит!

Через полчаса нужно было отправляться в институт. День намечался трудный. В лаборатории что-то не ладилось с вакуумом, раз за разом срывался опыт, экспериментаторы спихивали все на группу Иннокентия Павловича, представившую расчеты, и сегодня он сам решил подежурить у вакуумной установки, сунуть носом этих варваров в их собственный грех.

...Вчера часов в восемь — шоферы уже спали в машинах — какая-то компания у ограды гитарила:

— А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты...

Намекали, что ли? Потом один все пытался теорию относительности объяснить. Другой сказал:

— Если об этом много думать, запросто офигеть можно. Вроде шизика становишься... Талант — аномальность мозга, да здравствуют шизики!.. Я — шизик! Р-р-гав!

— Он меня укусил, дурак! — Это уже девица, притворно-жалобно.

А потом, выходя, махнули через ограду и: «От шизика цветы — необычайной красоты?»

Если бы Иннокентий Павлович не знал, что дочь отправилась к бабушке, то непременно решил бы: девица с притворно-жалобным голосом — Светка. Но вчера она заявила с негодованием, что от яиц, съеденных на завтрак за последний месяц, скоро станет кудяхтать, что ей надоело убирать, подметать и мыть и она берет краткосрочный отпуск — уходит к бабушке на три дня отъедаться и отдыхать.

Иннокентий Павлович обнаружил, что улыбается, и дернул себя за бороду.

Через несколько минут должен был заехать Соловьев. Следовало поторопиться, иначе Василий Васильевич, развалившись в шезлонге, станет отпускать сомнительные шуточки вроде: «Иннокентий Павлович, не забудьте надеть носки», «Товарищ Билибин, ваша папка с материалами лежит в верхнем ящике кухонного буфета...»

Ехать на работу вместе с Соловьевым у Иннокентия Павловича не было никакого желания, не было и необходимости — минут за пятнадцать он мог не торопясь добраться до института. Столько же занимал путь на машине: научный городок продолжал расти, дорога в двух местах была разрыта, приходилось делать порядочный крюк через старый город Ярцевск. Тем не менее Василий Васильевич, вы-

казывая свое особое расположение, неизменно подкатывал с утра к коттеджу Билибина в те дни, когда тот работал в институте.

Они знали друг друга с детства. Теперь Соловьев был начальником Билибина по службе. Начальником он считался неплохим. Фамилия его порой мелькала в газетах, и это тоже было во благо, помогало делу — их лаборатории всегда обеспечивались в первую очередь.

Наскоро перекусив, Иннокентий Павлович успел выскочить за ограду как раз в ту минуту, когда черная, вся в солнечных бликах «Волга» подъехала к дому.

Соловьев, как всегда, сидел сзади; лица значительные обычно размещаются на заднем сиденье, но не всякий это понимает, стремясь непременно занять место рядом с шофером. Василий Васильевич раньше тоже начальственно садился вперед, но затем понял и теперь начальственно садился позади.

Собираясь в институт, Иннокентий Павлович дал себе слово никому не говорить о пропавших цветах, но едва машина тронулась, тотчас пожаловался:

— Опять, мерзавцы, цветы оборвали...

И, конечно, пожалел об этом. Соловьев с живостью повернулся к нему:

— Какие? Знаменитые, мексиканские? Ах безобразие!

Черты лица Василия Васильевича имели некоторое несоответствие по отношению друг к другу. Профиль у него был какой-то неопределенный, неоформленный. Самый ординарный, уточкой, нос виднелся из-за полной добродушной щеки, сглаженный подбородок съезжал к горлу. Совсем иначе смотрелся Соловьев спереди. Цепкие, светлые, чуть навывкате глаза, от скул к углам энергичного рта — мужественные складки, широкий упрямый подбородок... Приятное лицо. Сейчас оно каждой своей линией выражало неподдельное сочувствие.

— Обидно. Я помню, сколько тебе крови таможенники испортили из-за них. Но ведь цветочки увели, не жену... Ах да, жену тоже увели, извини! Где она, кстати, ты хоть знаешь?

— В Париже. Или в Риме,— ответил Иннокентий Павлович миролюбиво.

— А может, давно в Москве?

— Может быть...

— Женился бы ты, Иннокентий...

— Кому я нужен?

— Найдется какая-нибудь заваливающая...

Василий Васильевич продолжал посмеиваться, Билибину лень было отвечать.

С женой он развелся давно. Впрочем, ничего в их жизни не изменилось: как и раньше, она колесила со своим ансамблем по всему свету, изредка появляясь в доме,— собственно, это и послужило причиной разрыва. Они остались добрыми друзьями: иначе не могло и быть, интеллигентные люди... Возвращаясь с гастролей, она выслушивала отчет Иннокентия Павловича, отвечавшего вместе со свекровью за воспитание дочки, и вновь улетала. Порой присылала письма, даже звонила — почему-то всегда ночью. «Вас вызывает Токио!», «Вас вызывает Париж»,— спросонья слышал Иннокентий Павлович в трубке. Он называл эти звонки «алиментами».

— Спишь, что ли? — спросил Соловьев.— Я у тебя спрашиваю: как ты относишься к моей новой концепции?

Как, черт возьми, Билибин относится к его новой концепции?! Самое время было элегантно врезать Василию Васильевичу и за цветы и за жену, напросился. Но Иннокентию Павловичу всегда претил этот

уровень разговора, дешевая пикировочка, за которой скрывалось, несомненно, желание — осознанное или неосознанное — показать свое превосходство.

— Расчеты небось брал по Флетчеру? — произнес он невинно.

Этого оказалось достаточно, Соловьев заволновался:

— Да, но у Флетчера эклектика. Тут важны выводы...

— Конечно... Да... Разумеется, — отвечал рассеянно Иннокентий Павлович, пропуская слова своего начальника мимо ушей.

Они ехали теперь по Ярцевску, машину трясло на разбитом асфальте. Билибин с нетерпением ждал, когда наконец под колеса ляжет накапанная гладь институтского шоссе.

Город, через который они проезжали, был знаком им до последнего закоулка: они родились и выросли здесь. Многим их возвращение казалось непостижимой случайностью. Случайностью, однако, можно считать лишь то, что институт, где они работали ныне, строился в их родных местах. Василий Васильевич, едва строительство началось, приложил немало усилий, чтобы перебраться сюда и перетянуть к себе Билибина.

Город Ярцевск был неведом историкам. Памятных сражений здесь не происходило, знаменитые люди тут не жили. Ходила легенда, что проезжал некогда городом великий государь Петр, но он бранно отозвался о местных жителях, обозвав их толстопузыми во-рюгами, прохиндеями и еще по-всякому. Поэтому легенда популярностью не пользовалась, хотя оценка Петра относилась не ко всему населению, а лишь к отдельным представителям его — купцам, поставившим царской армии партию сукна, не отвечавшего требованиям мирового стандарта.

Зато теперь городок брал свое за давнее к нему невнимание — о том, что происходило в Ярцевске, человечество ныне читало в газетах. Правда, имелся в виду не сам Ярцевск, который не так уж сильно изменился с тех пор, как Васька Соловьев и Кешка Билибин гоняли собак на его пыльных улицах, а пригород — монументальное здание института в окружении тех самых домов-башен, при взгляде на которые невольно возникала мысль о счастливом будущем и бесправном прошлом. Но эти тонкости привлекали внимание лишь прижимистых институтских хозяйственников, которые всячески отмежевывались от старого Ярцевска — бедного родственника, с коим приходилось делиться благами, предназначенными исключительно для нужд нового городка.

Спираль общественного развития прошла невидимо через город Ярцевск и через судьбы его жителей, как проходят через города и судьбы земные параллели и меридианы. Впрочем, почему невидимо? Те, кто знал Соловьева и Билибина с детства, прекрасно видели, на какую высоту вознесло их по этой спирали...

Машина наконец перестала трястись по выбоинам, остался позади старый город с его горсоветскими грязно-белыми домами, с рынком, обнесенным глухим, но неустойчиво-волнистым забором, с безымянной чайной и столь же безымянной гостиницей на двадцать шесть мест — по тринадцати в каждой из двух ее комнат... Через несколько минут шофер, заложив вираж на просторной площади с молодыми елочками по краям и в центре, затормозил у институтского входа.

Начинался рабочий день, сотрудники расходились по своим местам: зеркальные двери и окна здания вспыхивали солнцем в какой-то сложной синхронности. Словно бы весь этот гигантский сверкающий стеклянный куб с абстрактной мозаикой по фронтому был диковинным счетно-решающим устройством, включенным на полную мощность.

В вестибюле Соловьев вспомнил о пропавших цветах.

— Надо бы навести порядок. Шутки шутками: сегодня цветы, а завтра...

Иннокентий Павлович промолчал, о цветах больше говорить не хотелось.

День и в самом деле выдался трудный. Билибин не вылезал из лаборатории, доказывал верность расчетов, бегал к соседям по этажу, просил отключиться на время, не мешать наводкой, трижды заставлял проверять приборы. Но на экранах вместо желанной светленькой змейки по-прежнему раскачивалась идиотская сетка вроде дачного гамака.

Эксперимент был важным, в коридоре возле лаборатории, обычно пустынном, топтались болельщики из других отделов. Они держались поодаль, изучали изящные формулировки приказов на стенде, знакомились с передовой статьей в полинявшей стенгазете. В лабораторию они, конечно, не заглядывали, но дружно бросались к каждому, кто выходил из нее, исключая самого Билибина, поскольку хорошо знали о его невоспитанности и дурном характере.

А нелепая сетка все раскачивалась на экранах, и Иннокентий Павлович уже видеть ее не мог и не мог видеть скорбно-торжествующие лица экспериментаторов. Выскочив из лаборатории, он зашагал взад-вперед по коридору, наталкиваясь на болельщиков и, похоже, не замечая их. Все, однако, стали потихоньку расходиться — от греха подальше.

Вскоре у доски с приказами остался один только длинный, худой рыжеватый парень, одетый несколько необычно для жаркого летнего полдня: в черный костюм и жесткую белую рубашку. И так наглажен был костюм, и так белоснежна рубашка, и так туго узел галстука подпирал шею парня, что с первого взгляда являлась мысль о некоем торжестве, которое привело его сюда. Иннокентий Павлович едва кивнул в ответ на приветствие, но парень загородил ему дорогу.

— Чего тебе, Юрчиков? — нетерпеливо спросил Билибин.

— Прощаться пришел.

— А-а, ну валяй прощайся. В отпуск, что ли?

Он говорил совершенно механически, и взгляд его скользил мимо собеседника.

— Совсем ухожу, — сказал Юрчиков, с завистью оглядывая Билибина, его растрепанные волосы, вставшую дыбом бороду и непристойно голую грудь в распахнутой рубашке.

— Ну, давай-давай, — пробормотал Иннокентий. — Уходишь, значит. Куда?

Юрчиков ответил.

— Ого! — равнодушно удивился Билибин. — Значит, в начальники... Хорошо. Начальником быть хорошо...

Только издали мог показаться Юрчиков парнем, таким молодым, принарядившимся баскетболистом: уже и морщинки обозначились в углах его губ, и лоб въехал зальсынами в рыжий зачес.

Юрчиков был, пожалуй, самый толковый работник у Соловьева. Значился он в младших научных, на подхвате, но, случалось, и старшие бегали к нему советоваться. Для Иннокентия Павловича, несмотря на разницу в их положении, Гена Юрчиков был свой мужик.

Билибин двинулся было дальше, но Геннадий вновь остановил его, с трудом выговорил:

— Возьмите меня к себе!

— Да разве тебя Соловьев отпустит?

— Все равно ведь ухожу.

— Ах да, уходишь, верно! В начальники... Это хорошо.

— Иннокентий Павлович! — закричал Юрчиков. — При чем тут начальники? — И уже не сдерживаясь, в злой досаде выпалил: — Как хотите, так и считайте! Все-таки лучше, чем у вас, великих, на побегах!

Билибин с недоумением проводил взглядом сутулую, с выпирающими сквозь пиджак лопатками спину Геннадия. Сбесился, что ли? Хотя бы и сбесился — какое это имеет значение? Ошибка, ошибка где, черт бы вас всех побрал?

Иннокентий Павлович злился и недоумевал особенно потому, что разработка, по его мнению, была простенькой: некоторое уточнение решенной, в общем-то, проблемы, точка над «и». Значение самого «и» он рассчитал еще двенадцать лет назад, чем и восславил свое имя если не во всем подлунном мире, то, во всяком случае, в мире физики. Болезненно-беспомощное состояние, которое он испытывал ныне, бегая по коридору, можно было объяснить лишь полным творческим бессилием. Иннокентий Павлович понимал это, и все, кто находился рядом, тоже понимали. И даже не пытались скрыть свои чувства. Иные отводили взгляды, словно бы не желая наблюдать за его агонией; иные, наоборот, смотрели с откровенной жалостью; а были и такие, что злорадно перешептывались, ехидно улыбались. Так, по крайней мере, казалось Билибину. Действительно, картина была разительная.

...Было бы сильным преувеличением утверждать, что молодой Иннокентий Билибин пришел однажды в лабораторию, увидел тоску на лицах своих старших ученых коллег и победил все сомнения, дав новое плодотворное направление их работе, хотя сам он иногда в запальчивости уверял, что дело обстояло именно так. Однако заслуги его были очевидны, и с ним не спорили.

Если представить себе вечно ускользающую истину в виде некоего неуловимого экзотического зверя, то Иннокентий Билибин выступал все эти годы даже не в роли охотника, а скорее охотничьей собаки.

И вот теперь он, в течение двадцати лет легко разгадывавший и предугадывавший уловки коварного зверя, вдруг явно потерял чутье, закружился на месте, хотя, казалось бы, след был совсем свежий, тепленький: новичок, щенок ненаатасканный и то взял бы его с легкостью...

В лаборатории он провел весь день, впрочем безрезультатно, наутро снова был здесь, но лишь на третьи сутки что-то наконец забрезжило, стало проясняться. Иннокентий Павлович менял и менял условия эксперимента, пока на экранах приборов не засветилась долгожданная змейка. Теперь оставалось внести поправку в расчеты, но это было уже делом нехитрым. Билибина поздравляли, он принимал поздравления без радости. Не хватало привычного блеска, когда решение выдавалось на блюдечке и простым смертным оставалось лишь включить свои установки, поставить их на режим и, покуривая, ждать результата, восхищенно чертыхаясь при упоминании его, Билибина, имени.

Проблема, которой занимался Иннокентий Павлович — сверхвысокие давления, — долгое время совершенно меркла в блеске иных. Журналы и газеты писали о поисках новых частиц материи, о космических лучах и квазарах... Однако все переменялось в одно мгновение. Свергнув с престола бога, наука, как и положено в таких случаях, тотчас заняла его место. Если раньше толковали о неисповедимости путей господних, то ныне говорят не менее красиво: пути науки неисповедимы. Когда вездесущий луч лазера проник в лаборато-

рии, увеличив в миллионы раз возможности исследований, золушка оказалась если и не принцессой, то наверняка дамой, приятной во всех отношениях. Еще никто толком не знал, что принесет человечеству маленький шарик — мишень для луча лазера, сжатый им с чудовищной силой, еще и сам этот шарик существовал пока лишь в жадном воображении ученых, но вокруг него уже расходились кругами великолепные замыслы в самых разных областях человеческой деятельности.

Больше всех новые возможности воодушевили исследователей термоядерной энергии. Двадцать лет маленькими шажками, порой отчаиваясь, вспоминая великого Резерфорда, назвавшего вздором их деятельность задолго до того, как она началась, они приближались к великой цели — созданию мощных источников энергии, без которых цивилизация уже в недалеком будущем могла бы оказаться в тупике. Теперь великая, совсем недавно еще фантастическая цель становилась реальностью.

Результат, полученный сегодня Билибиным в лаборатории, был всего лишь узким мостиком, перекинутым между старыми и новыми представлениями и возможностями, открывшимися перед ярцевскими энтузиастами, да и то мостиком весьма шатким.

Иннокентий Павлович не обольщался. Однако он сделал вид, что разделяет общий энтузиазм, и всем, кто подвернулся под руку — подвернулось человек двенадцать, — предложил отметить успех, устроить небольшой сабантуйчик. Предложение было с радостью принято; тотчас кто-то побежал в кулинарию за шашлыком, кто-то в гастроном за вином — часа не прошло, как все было доставлено, расставлено по карманам и портфелям.

Иннокентий Павлович задерживался. Спустившись по лестнице, он увидел в вестибюле Гену Юрчикова, подскочил к нему обрадованно:

— Ты с нами?

— Нет, — ответил Геннадий, глядя вверх Билибина.

— Постой, — спохватился Иннокентий Павлович. — Я слышал, ты уходишь?

Геннадий еще выше вскинул голову, словно пересчитывал ступеньки лестницы и теперь добрался до самых верхних.

— Мы с вами, по-моему, уже все обсудили.

— Да, припоминаю... действительно, — несколько растерялся Иннокентий. — В самом деле уходишь? Куда?

— Так, в одно место. Самостоятельная работа. Новая... В общем, интересно.

— Ну, рад за тебя. Очень. Давно пора. И как только тебя Соловьев отпустил?

— У нас с ним особые отношения. — Геннадий теперь улыбался откровенно насмешливо. — Он меня и устроил.

— Полна чудес неведомых природа, — вздохнул Иннокентий, не замечая отчужденности Юрчикова.

— О-а, а-а, а-а! — под окном заорали дружно, натренированными альпинистскими глотками, прихлопывая по губам ладонями. Здорово получалось. — Ин-но-кен-тий Пав-ло-вич!

— Побегу. Счастливо тебе, милый. Мы еще встретимся, конечно. Я в тебя, старик, очень верю. — Билибин обнял Геннадия, тот стоял столбом, не шевельнулся. — А может, махнем с нами, а? Вроде проводов получится.

Юрчиков обмяк, заморгал беззащитно:

— Не могу. Честно.

Иннокентий Павлович еще раз обнял его и поспешил к друзьям.

В институтских воротах его обогнала черная «Волга», рядом с Василием Васильевичем сидел Геннадий. Билибин не обратил на них внимания: он в этот момент соображал, куда еще надо забежать по дороге, потому что, по его мнению, купленное ребятами больше подходило для шоферского ужина в беседке, участником которого он недавно был, чем для победного пиршества исследователей и покорителей тайн материи.

Полчаса спустя компания подошла к коттеджу Билибина. Навстречу из беседки, одергивая китель и поправляя форменную милицмейскую фуражку, вышел рослый человек с лицом суровым и даже мрачным, застенчиво откашлявшись, представился:

— Участковый уполномоченный Калинушкин!

II

Лейтенант милиции Калинушкин имел философический склад ума, отчего частенько страдал он сам и, что гораздо хуже, страдало дело, которое он выполнял.

Заботам Александра Ивановича был препоручен институтский городок, возникший на окраине Ярцевска. В райотделе недолго решали, кому доверить столь важный участок, когда появилась в том необходимость; едва зашел разговор, как тотчас все подумали о лейтенанте Калинушкине, который один из всех имел уже некоторый опыт общения с учеными. Сначала подумали не всерьез и даже посмеялись, а потом вернулись к этой мысли со всей ответственностью. В самом деле, почему бы и не лейтенанту?

Лет пять назад Калинушкину досталась «горячая» путевка в южный санаторий. В санатории ему не понравилось потому, что была зима, море штормило. Александр Иванович подолгу стоял у взбесившегося моря в облаке соленых брызг, укоризненно качал головой, разглядывая бетонные глыбы с торчащими жилами арматуры — разбитую волнами набережную. Странное чувство рождалось у него: и вроде бы здорово — силища какая, не хочет смириться! И вроде бы оскорбительно — люди старались, строили. Потом узнал — писали в газетах — через сколько-то лет вовсе море должно тут все слизнуть, не выдерживает бетон.

Ходил Александр Иванович по берегу, качал головой. Однажды ковырнул бетонный обломок и видит: крошится бетон, течет из него струйкой песок.

Тут между отдыхающими спор начался. Один спорит — морская вода разъедает, другой — ветер разрушает, третий сказал:

— Бросьте, ребята, сюда академики из Москвы приезжали, ничего не решили. Пойдем лучше по стаканчику пропустим, пока ларек не закрылся.

А четвертый стоял и ухмылялся. Четвертый был местный. Александр Иванович заметил его ухмылку, отправился с ним к ларьку, а оттуда по курортному городу, и старожил показывал новенькие бетонные домики с яркими крышами, объяснял:

— Вот этот строился, когда набережную клали. Вот этот. И этот тоже. Разве на все цементу хватит?

Вернувшись с юга домой, Калинушкин взял да и написал в Академию наук: мол, люди вот что говорят, а бетон и впрямь один песок, это я лично проверил.

Из академии ему ответили, что проблема, к сожалению, не решается так просто, и привели доказательство: явление это наблюдается не только на Черном, но в еще больших масштабах и на других морях планеты. Такое разъяснение не отвергало, а подтверждало мысль

Александра Ивановича: на других морях возможности другие, там из казенного бетона небось целые дворцы строят. Об этом Калинушкин вновь написал в академию: раз начатое он привык доводить до конца. Полгода переписывался, даже как-то в отпуск ездил лично объясняться. И ученые с ним согласились, только сказали, что ему следует обратиться в свое ведомство — в ОБХСС. Александр Иванович и обратился бы, да некстати проговорился на службе о своих отношениях с Академией наук. Его тотчас на смех подняли: давай, пока не поздно, в профессора иди, будешь Ярцевск от моря защищать. И начальник при случае упрекнул:

— Вы, Александр Иванович, прежде у себя на участке порядок наведите, а потом уже на морях-океанах...

Новому назначению Александр Иванович обрадовался, хотя никаких преимуществ оно не давало, если не считать возможности общаться с неведомым и, судя по всему, прекрасным миром, каким представлялся Калинушкину городок, возникший у него на глазах: величественные здания с тенистыми сквериками подле них, улицы-газоны, вдоль которых стояли сверкающие легковые автомобили. На первых порах лейтенант, вступая в определенные службой отношения с обитателями этого нового для него мира, несколько терялся: с ними легко было попасть в неловкое положение. Александр Иванович надолго запомнил, как оконфузился однажды. Зашел он тогда в дом к гражданину Соловьеву. Хозяина не оказалось, говорил с женой. Женщина культурная, уже в возрасте. Объяснил: так и так, пора бы прописаться, полгода живете без прописки. Недели через две снова наведалься — проверить. Застал самого. Калинушкин ему ска- зал:

— На прошлой неделе был у вас насчет прописки...

— Ничего не знаю...

Наверное, важной птицей был хозяин — держался солидно, лейтенанту трудно было перед ним подчиненным не выглядеть.

— Ну как же! Я еще тут с женщиной разговаривал. Такая чернявая, пожилая... Женой вашей назвалась.

Дверь распахнулась, и Калинушкин прямо обомлел: вышла к ним женщина вроде та же, а вроде совсем не та — молодая, румяная, рыжая. Вышла, сунула под нос паспорта и давай отчитывать:

— Я вам не чернявая и не пожилая! Выбирайте выражения, уважаемый! Или не научен?

А то, бывало, уже за полночь наткнется лейтенант на компанию в скверике. Сидят на скамейках стилиаги, каких в старом Ярцевске в милиции на примете держали, — волосатые, бородатые, песни, как блатные, под гитару поют или спорят:

— Брешет твоя Марта! Удобно — ни стыда, ни совести. Развесил уши.

— Ты с ней дело имел или понаслышке?

Калинушкин наблюдал в сторонке. Долгий опыт подсказывал: надо пресечь, не дай бог порежутся, всегда было так — о бабах заспорят, значит, драки не миновать.

— Ха! Я ей такую программку задал! Реле в дым, мне выговор, и еще отремонтировать заставили...

Александр Иванович переводил дух: похоже, не о бабах речь.

Несмотря на некоторые странности в поведении, люди здесь жили культурные, по улицам пьяными не шатались, не дрались, не сквернословили в общественных местах. И все же работы у лейтенанта не убавилось.

Дело в том, что земляки Александра Ивановича очень скоро поняли, какие блага несет им институтский городок. Здесь был гастро-

ном, где на прилавках-холодильниках из светлого металла лежала всяческая снедь в прозрачных пакетиках, иная даже разрезанная на ломтики — только в рот положить. В универмаге стоял и висел сплошной дефицит: лакированные сапожки, импортные куртки и пальто до пяток самой последней моды. По душе пришлось ярцевским старожилам и новое кафе, которое, не в пример чайной, в шесть вечера выставлявшей кукиш всячего замка, работало до поздна. В интимном полумраке кафе удобно оказалось доводить до кондиции деликатные напитки с помощью бутылки «экстры», прихваченной в магазине. Но более всего привлекал сердца горожан новый клуб ученых. Дважды в неделю там шли фильмы — не такие, какие им показывали в старом, облупленном кинотеатре, а все больше заграничные, с пальбой, драками, полураздетыми красотками.

Магазинами ярцевцы стали пользоваться тотчас, тут им никто не мог слова сказать, хотя порой и пытались: горожане постоянно делали некоторые запасы. Ярцевцы в таких случаях держались стойко, заступались друг за дружку в очередях и отражали натиск новоселов, пытавшихся пробиться к кассе с пакетом колбасы или пачкой масла. Кафе они тоже обжили скоро, тем более что, одевшись в дефицит, внешне совершенно перестали отличаться от обитателей институтского городка и выдавали себя, лишь только когда начинала сказываться кондиция. С клубом было сложнее: вход туда сразу же определили по пропускам. Ярцевская молодежь брала клуб ученых с бою, просачивалась тайными путями. Если же своего не достигала, то выражала обиду в словах и поступках: недавно угнала от клуба бочку-цистерну с квасом и угощала по дороге желающих.

И начальник отделения, конечно, вызывал Калинушкина, спрашивал строго:

— До каких же пор безобразие терпеть будем? Развел, понимаешь, у себя на участке бандитов!

Александр Иванович задумчиво разглядывал серебряный герб своей фуражки, которую вертел в руках. Он соглашался с начальником — безобразий кругом немало, но в отличие от него философски считал, что так было, есть и будет, если не всегда, то еще долго. Поэтому возражал:

— Какие же это бандиты? Ребятишки озоруют. Меры приняты.

— Какие меры? Конкретно!

— Которых с бочкой задержали, родителей ихних оштрафовали. Три беседы провел в школе...

Александр Иванович перечислял принятые меры, и постепенно на его румянном, но суровом от резких солдатских складок лице проступало выражение мечтательное и счастливое. Начальник с неодобрением смотрел на Калинушкина, подозревая — и не без оснований — философическое настроение у своего подчиненного. У лейтенанта действительно совсем некстати возникала перед глазами давняя, из его детства, картина: озеро, что под Ярцевском, большая лодка, на дне которой трепещут лещи и окуни, на дальнем берегу — разинутые в яростном крике волосатые рты рыбаков, и он, Сашка, с дружками, изо всех сил выгребаящие чужую лодку против волны...

Бочек-цистерн с квасом тогда не было!

Какие еще меры? Ну какие против них меры? Пашка Фетисов в школе на беседе в первом ряду сидел, а на другой день залез в чужой сад, нарвал, сукин сын, клубники полкастрюли. И такое зло разобрано Калинушкина, не сдержался, выхватил кастрюлю да Пашке на голову! Озорник на месте вертится, с головы кастрюлю рвет, а та словно прикипела. Клубника давленная из-под кастрюли течет, Пашка орет благим матом... Александр Иванович до того перепугался — руки

задрожали; кое-как кастрюлю стянул с головы, Пашку к колодцу потащил, стал пятна с рубахи отмывать. Вот тебе и меры!

В понедельник вечером Калинушкин шел по своему участку. Все было в порядке, все как обычно. Бормотали со всех сторон телевизоры; возле дома шесть по улице Лесной из-под ярко-красного «Москвича» торчали ноги хозяина; к подъезду десятого молодой бородач галопом тащил зарезанного пацана, испуганно поглядывая на верхние окна — через пять минут там должен был разгореться небольшой скандал: опять этот бородатый недотепа забыл вовремя забрать сына из детского сада; возле четырнадцатого дробь один у крохотного столика, сойдясь, как бараны лоб в лоб, за шахматной доской, уже сидели два очкарика; поодаль, у коттеджей, компания пела под гитару, пела культурно, про пограничников. Калинушкин завернул за угол — и встрепенулся. Приткнувшись к ограде, стояли два пыльных грузовика. На бортах надпись: «Уборочная». Александр Иванович заглянул в кузова — пусто, в кабины — шоферы спали, закутав головы пиджаками. Участковый растолкал их.

— Чего вас сюда занесло? — спросил он, проверяя документы. — Дорога-то ваша во-о-он где!

Шоферы подтвердили: верно, свернули не там, возвращаться не стали, решили заночевать. Попахивало от шоферов спиртным, хотя и не сильно, граммов на сто пятьдесят, к тому же один нездоров оказался — живот схватило... Совсем не место им тут было для ночлега, совсем не место! Александр Иванович так и сказал, только с дипломатией: у человека, может, болезнь серьезная внутри, может, даже и холера, — соображать надо не только на четверых; в городе больница, лекарство дадут, и гостиница есть, можно культурно отдохнуть.

Шоферы почесались, повздыхали, потом решили, что лейтенант правильно рассудил, и стали собираться. Уехали они или нет, Александр Иванович так и не узнал, потому что, глянув на часы, спохватился: кино начиналось, пора на дежурство в клуб.

Больше в тот вечер ничего особенного не произошло, и Калинушкин, вернувшись домой, лег спать со спокойной совестью и легким сердцем. Никаких происшествий не было ни на другой день, ни на третий. Поэтому когда в четверг утром его позвали к начальнику, шел он все с тем же легким сердцем и спокойной совестью.

Начальник усадил Калинушкина, помолчал, поиграл пальцами по столу, спросил деловито:

— Сколько вам до пенсии-то?

— Пять лет мне до пенсии, — ответил Александр Иванович, насторожившись.

Начальник еще помолчал и еще сыграл на крышке стола некий этюд, чтобы собеседник вполне созрел для разговора.

— Пять лет... Ну вот что, лейтенант! Я вас не раз предупреждал насчет озорства на участке, верно? Вы мне в ответ философию разводили. И что получилось?

Калинушкин не знал, что получилось, но понял, всем телом почувствовал: беда!

— Не знаете, значит? — продолжал начальник, с какой-то жалостью поглядывая на участкового, словно тот был неизлечимо болен, но не догадывался об этом. — Даже не знаете, как у вас на участке дела обстоят. Плохо!

Александр Ивановичу стало жарко и душно. Он вовсе не был из робкого десятка, но очень уж непривычно вел себя начальник. Обычно шумел — не остановишь; Калинушкин в ответ чуток придуривался, потихоньку отшучивался, тем все и кончалось.

— На Лесной, двадцать четыре кто у вас живет?

— Билибин! — без запинки ответил Александр Иванович.

— Так вот... налет был на Билибиных. В понедельник ночью.

Калинушкин даже охнул, растерявшись. Три дня прошло, а он не в курсе. Тут шуточками не отделаешься, виноват...

— Крепко, товарищ капитан?

— Крепко не крепко, а факт налицо. Налет. Забрались хулиганы, натворили дел... Цветы редкие украли...

— Цветы-ы,— протянул Александр Иванович облегченно и разочарованно.— Какой же это налет?

И тут наконец знакомые рокошующие ноты прорезались в голосе начальника. Он говорил, что ему надоело повторять лейтенанту одно и то же много лет подряд; что Калинушкину доверили самый ответственный участок в городе, а он доверия не оправдывает, работа на участке запущена, участокный сквозь пальцы смотрит на хулиганство; что и раньше, на прежнем участке, немало у лейтенанта было озорства и настало время спросить прямо: хочет он работать в милиции или нет?

Капитан прорабатывал Александра Ивановича по всем правилам, вдоль и поперек, и похлопывал при этом ладонью по двум папкам, положенным на самом виду, перед глазами: по старой, пухлой, вытасенной из архива, с клязами насчет помоманных яблонь и выбитых стекол, и новой, тоненькой, еще не успевшей разбухнуть. И это тоже была совершенно незнакомая деталь в проработке. Правда, отчитывая Калинушкина, капитан почему-то глядел при этом куда-то в сторону, словно бы разговаривал с другим человеком, сидевшим поодаль, метрах в трех от Александра Ивановича. Если бы посторонний в самом деле находился в кабинете, он наверняка решил бы, что лейтенант вообще никакого отношения к происшествию не имеет. Может быть, поэтому и Калинушкин, несмотря на обидные слова, по-немногу успокаивался.

— Неделю вам на расследование! — произнес капитан, безуспешно пытаясь сохранить в своем голосе строгость.— Не справитесь — на меня не обижайтесь. Поняли?

— Понял!

Ничего Калинушкин не понял. Что за штука, отчего капитан раскипятился? Ну, сорвали цветы, нехорошо, конечно, озорство, поймал бы с цветами — привлек. Но ведь не налет, не кража! Одно слово — цветы... Может, неприятности какие у начальника? Или приказ новый насчет озорства? Видно, так. Теперь месяца два жизни не будет, пока еще свежий.

В общем, Александр Иванович поволновался, но не очень. По-настоящему заволновался он на другой день, когда его опять вызвал начальник и приказал доложить, как идет расследование. За день Калинушкин только успел забежать к Билибиным, но никого там не застал. Обрывки стеблей на цветочной клумбе совсем засохли. Лейтенант подивился на уцелевшие: верно, редкие, таких он сроду не видел. Надо было сорвать один для опознания. Их, правда, на клумбе оставалось не так уже много, но что поделаешь — не водить же сюда каждого!

Александр Иванович протянул руку к крайнему, аккуратно тронул за стебель, примеряясь, и отшатнулся: лепестки явственно тянулись к его пальцам.

— Тьфу ты, гадость какая,— сморщился он, брезгливо вытирая ладонь о брюки. Некоторое время он провел возле клумбы на корточках, притрагиваясь к лепесткам сучком, а затем, осмелев, пальцем, строя различные предположения о внутреннем устройстве странных цветов и совершенно забыв о деле, которое привело его сюда.

Наконец, вспомнив, решительно обломил один из них, выбрав поплотнее, сунул в планшетку. Потом огляделся вокруг — искал следы. Ничего. Сходил на вокзал, возле которого старухи шеренгой продавали букеты, заглянул в их корзины. Все не то: георгины, пионы да гладиолусы. Поинтересовался: не торговал ли кто позавчера необычными цветами? Нет. А вчера? Нет.

Вот и все, что успел сделать он. Об этом и доложил капитану. Тот хмуро напомнил:

— Шесть дней вам осталось. Давайте опять к Билибину, составьте протокол. Походите по своим бандитам, может, нащупаете. Шесть дней осталось.

И словно бы ненароком подвинул локтем все те же папки с материалами по участкам. Тут Александр Иванович заволновался всерьез.

— Да что случилось-то, хоть объясните. Никогда такого не было!

— А то случилось, товарищ лейтенант, что отделение наше позорить не позволим! В управлении уже знают, интересовались: что за участковый, если вам приходится из управления о нарушениях сообщать? Ясно теперь?

Вот теперь Калинушкин все понял. «Накляузничали! — с горечью думал он, выходя от начальника и вытирая ладонью мокрую шею. — Конечно, раз в область сообщили... Насчет пенсии капитан, конечно, хватил. Не могут за такое уволить. А образование? Восемь классов. Вот и скажут: сколько образованных вокруг, что вы его держите с восемью классами? Опять же, капитан много раз предупреждал об озорстве, это верно. Значит, могут сказать, не справляюсь... Сторож я, что ли, цветы караулить? Мое дело расследовать, нарушителя найти».

А как его найти? Если б не цветы, другое — тогда ясно: он направился бы к Петьке, или к Павлову, или еще к кому-нибудь из забулдыг, которые у него на особом учете состояли на прежнем участке и про которых он даже особый график составил, чтобы предупреждать нарушения. Правда, графиком пользоваться Калинушкину не пришлось. Сослуживцы, которым он принес расчерченную тетрадь, сначала ничего не поняли. Александр Иванович объяснил:

— Здесь по годам — какие нарушения были у меня на участке, здесь — кто нарушители. Причины. Место. Год рождения. Сведения: родители, дружки... Тут — что с ними дальше стало; которые уехали — у соседей справки навел, точности, конечно, нет. Теперь так: у каждого своя линия выходит. Вот. Тут они пересекаются. Что же получается?

Товарищи сказали решительно:

— Помнишь фильм индийский «Бродяга»? Сын вора будет вором, сын честного человека будет честным человеком. Вот что у тебя получается, Саша!

Калинушкин стал спорить, что совсем не тот вывод получается, но его слушать не стали, а посоветовали спрятать тетрадку подальше, не то капитан увидит, влепит ему как следует.

Сейчас, пожалуй, и график не помог бы...

Тут Александр Иванович как бы услышал укоризненный голос своего начальника: «Опять философствуешь!» — рывком надвинул фуражку на самые брови и выскочил из отделения. Направляясь к институтскому городку, он испытывал такое чувство, словно вышел на всесоюзный розыск: так же сверлил взглядом прохожих и ловил обостренным слухом обрывки разговоров и столь же напряженно ощущал каждый мускул тела. Разница была лишь в том, что думал он при этом: «Поймаю — морду набыю! Ей-богу, набыю!»

Билибиных опять не оказалось дома. Чтобы не терять времени, Калинушкин пошел по соседям. Он представлялся, если не был знаком, говорил, что, мол, скоро комиссия должна навестись санитарная: чтобы не опозориться, надо бы немного чистоту навести вокруг. Походив по дворам, как бы между прочим заглядывал в мусорные баки — цветы небось уже завяли, на помойке лежат. Потом заводил разговор о деле: хорошо, когда цветы, надо бы побольше разводить и своими силами, не ждать, пока в жэке соберутся, теперь новые сорта есть, красивые и запах особенный, у Билибиных, например, не видели? Под конец просил водой напоить, вслед за хозяином шел в дом, быстренько окидывал взглядом комнаты... Нет, никаких результатов. Еще больше расстроил его разговор у Соловьевых. Александр Иванович сначала хотел этот дом миновать, вспомнив инцидент с хозяйкой, однако Соловьев сам его окликнул, пришлось лейтенанту не спрашивать, а отвечать:

— Вы, наверное, насчет цветов пропавших?

— Так точно.

— Есть новости?

— Следствие идет.

— Ищите, ищите. Дело принципиальное. Билибин — крупный ученый, мы не позволим, чтобы хулиганы ему настроение портили. Плохое настроение ученого может стоить миллионы рублей. И не только рублей...

Тут Соловьев значительно вздернул подбородок, намекая на что-то совсем уж важное, государственное. С тем Калинушкин и ушел.

Теперь оставалась последняя надежда — Николай Фетисов. Собственно, обход следовало начинать именно с него. Дом Фетисовых стоял на отшибе, на самой окраине Ярцевска, ближе других к институтским коттеджам. Николая знали здесь многие, и он многих знал потому, что работал в институтских мастерских, а по совместительству в жэке. Числился он там слесарем-сантехником, но был мастером на все руки, и редко кто из жителей нового городка не прибегал к его услугам, когда возникала необходимость в дополнительном благоустройстве квартиры. Дверь ли обить, антресоли навесить в коридоре или даже камин сложить — все шли на поклон к Фетисову. Он являлся, окидывая взглядом фронт предстоящей работы, называл цену.

— Да ты что! — охал заказчик. — Тебе работы на полдня!

Николай, нахалюга, невозмутимо поворачивал к двери. Заказчик вприпрыжку догонял его. Фетисов лениво объяснял:

— Тебе квартиру дали без антресоля, верно? Вон у соседа антресоль, а у тебя — шиш. Значит, ему по закону полагается, а тебе не полагается, понял? Теперь тебе только большое начальство эту антресоль может разрешить. А может и отказать. Давай добивайся, тогда я к тебе от жэка приду и задарма ее в лучшем виде пришкодблю.

Заказчик, ошарашенный неотразимой фетисовской логикой, обычно махал рукой:

— Начинай!

Лет пятнадцать назад о Фетисове ходили разные слухи, прежний участковый насчет него особо предупреждал. Но это было давно, и давно уже Николай работал в солидной организации, так что Калинушкин, сначала взявший его на особую заметку, в конце концов поверил в моральную устойчивость Фетисова и порой даже заворачивал к нему зимой в мороз после обхода участка обогреться.

Николая участковый невольно оставил напоследок, чтобы не исчезла надежда.

Служба у Фетисова была непыльная: сутки дежурил, двое работал по квартирам. Калинушкину повезло — Николай сидел дома навеселе по случаю троицы и встретил участкового как родного брата.

— А-а,— заорал он, причесывая пятерней всклокоченные волосы,— милиция! Заходи, заходи, милиция, садись!

Александр Иванович присел к столу под старую, шатром, яблоню.

— Пьешь все?

— А что мне не пить? Во-первых — праздник, во-вторых — честно заработал, в-пятых — не во зло употребляю, в-шестых — скучно, а так, глядишь, хоть голова поболит...

Непослушный фетисовский язык продолжал нести что-то пьяное, но глаза его, нахальные, круглые, оставались совершенно трезвыми.

Хотя Калинушкин знал, что Николай давно не занимается глупостями — честных денег у него всегда полон карман,— притворство Фетисова озадачило участкового, и он, как и всем, завернул насчет санитарной комиссии, осмотрел мусорный ящик и попросил водички. В животе у него булькало и переливалось уже литра два воды, сырой и кипяченой, водопроводной и колодезной, просьбу свою он произнес поэтому с некоторым замешательством.

Но вместо того чтобы пойти за водой или предложить самому лейтенанту напиться в доме, Фетисов, наклонившись, запустил лапу в траву и выхватил оттуда бутылку боржома.

— От этой газировки живот пучит,— скривился Александр Иванович, взял стакан и шагнул к крыльцу.

— Пашка! — крикнул Фетисов.— Ну-ка вынеси воды дяде Саше!

Над подоконником осторожно, как над бруствером окопа, поднялась белобрысая Пашкина макушка; несколько мгновений Пашка и Калинушкин с опаской смотрели друг на друга, поскольку у обоих в памяти еще свежа была история с ворованной клубникой и кастрюлей, надетой на Пашкину голову. Теперь мальчишка пытался определить, не по этой ли причине явился к ним участковый, а Александр Иванович, в свою очередь,— не пожаловался ли тот родителям. Обменявшись взглядами, оба поняли, что опасаться им нечего, и тогда Пашка одним прыжком перемахнул через подоконник во двор.

Был Пашка тощ и бледен, точно после болезни. Нельзя было не улыбнуться в ответ на его доверчивую улыбку, и те, кто не знал младшего Фетисова, улыбались ему... Лейтенант знал Пашку преолично. Такого артиста свет еще не видывал. То прикинется в автобусе глухонемым, чтобы билета не брать, то встанет у шоссе на обочине, за живот схватится и такую рожу скорчит: бывало, даже пожарники останавливались. Калинушкин не раз ворчал на Пашку за фокусы, но больше для порядка — больно потешный рос паренек!

— Я к тебе по делу,— сказал Александр Иванович, отпив глоток из стакана, принесенного Пашкой, и выплеснув с отворачиванием остальное.— Билибина знаешь?

— Билибина? Кешку? — удивился Николай.— А ты его не помнишь, что ли?

— Откуда? — в свою очередь удивился лейтенант.

— Да наш он, местный, ярцевский, Кешка-то! Ну? У вокзала они жили с Васькой Соловьевым. Потом уехали, а теперь опять здесь. Ваську помнишь? В каменке они жили...

Калинушкин попытался представить себе нынешнего важного, начальственного вида гражданина Соловьева в образе парнишки во дворе низкого и длинного, как казарма, каменного дома у вокзала, но у него ничего не получилось.

— Нет, позабыл,— признался он.

Калинушкин и самого-то Николая помнил по тем годам смутно. У матери на руках четверо, он самый старший, отец с войны на костылях вернулся — не до игр было. Так что они с Фетисовым познакомились по-настоящему, когда Калинушкин в милицию пришел...

— Это мне все равно, местные они или какие,— сказал участковый.— Цветы у Билибина оборвали третьего дня. Ничего не слышал?

— Цветы-ы? — протянул Николай удивленно и недоверчиво.— Делать вам, я гляжу, нечего в милиции. Цветы!

— Ну, это нам лучше знать, что делать! — обиделся Калинушкин.— Я спрашиваю: ничего не слышал?

— Да откуда же, Иваныч! Вон, поди, Пашка нарвал да продал. На кино.

Фетисов ухмыльнулся. Пашка, потупившись, светился нежной, застенчивой улыбкой.

— Какие цветы, дядя Саша? — спросил он вкрадчиво.

— Дорогие,— хмуро ответил Калинушкин.— Мохнатые такие... Нездешние.

— Я у пацанов наших спрошу.

— Он — спросит! — закричал Фетисов радостно.— Ох, артист! Не верь ты ему. А может, не в цветах дело? — добавил Николай, понизив голос и опять трезво и хитро глянув на участкового.

— Больше ничего. Цветы.

Последняя надежда исчезла. Александр Иванович помрачнел, отяжелел лицом.

— Брось,— сочувственно произнес Фетисов.— Да я тебе каких хочешь достану. Вернешь Кешке, чтобы не гавкал, и конец! Или хочешь, я с ним столкнусь?

«Дело! — подумал лейтенант.— Найти бы такие же!..» Он немного приободрился, но виду не показал. Не попрощавшись, сказав, что зайдет еще, отправился к Билибину. Вслед ему Фетисов заорал:

— Иваныч! Готовь к вечеру бутылку — будут тебе цветы!

III

Иннокентий Павлович сначала не мог понять, чего хочет от него милиционер.

— Какое хищение? — переспросил он.— Пойдемте посмотрим. Ах, цветы? Черт, действительно! — Он подошел к клумбе, пожаловался: — Не хамство, а? Они, знаете, какие — только что не разговаривают, а все понимают! — говорил Иннокентий Павлович, снимая с кителя Калинушкина прицепившийся сухой листок.— Идите, идите, хозяйничайте! — махнул он рукой гостям.— Я сейчас! А вы откуда узнали?

— В управление был сигнал,— вздохнул участковый.— Приказано найти. Протокол надо составить.

— А нельзя как-нибудь в другой раз? — сморщился Иннокентий Павлович.— Денька через два?

— Денька через два мне о результатах приказано доложить.

Они сели в беседке составлять протокол, но это оказалось делом нелегким, потому что Иннокентий поминутно вскакивал, бегал к гостям, чтобы распорядиться по хозяйству. Калинушкин гулко кашлял, напоминая о себе, и тот спешил в беседку, извинялся, но вскоре опять исчезал. Наконец лейтенант не выдержал.

— Нехорошо получается у нас, гражданин Билибин! — сказал он с обидой.— Я, конечно, понимаю: вы ученый, большой человек. Только у каждого своя служба. У вас своя и у меня своя. Вот вы шум

какой подняли насчет своих цветов, в управление сообщили. Меня за них уволить грозятся... А вы — бегаєте!

Иннокентий Павлович растерялся. Нужно было бы рассердиться, с ним в таком тоне уже давно никто не разговаривал, если не считать продавцов в магазинах, пассажиров в переполненном автобусе — вообще людей, которые не знали, что перед ними Иннокентий Билибин. Он все-таки рассердился:

— Во-первых, уважаемый, я никуда и ничего не сообщал. Не имею такой привычки! Во-вторых, никакого шума, как вы изволили выразиться, не поднимал. И потом... — Тут он собирался сделать замечание насчет недопустимого тона лейтенанта, но вместо этого воскликнул: — Что за чушь! За что уволить?

Калинушкин, едва Иннокентий Павлович заговорил, тоже весь ошетинился. Еще бы! Здесь веселились, хохотали, неподалеку раскладывали костерок, нанизывали куски мяса на железные прутья, звенели бутылками, а его, Калинушкина, грозятся снять с должности за пять лет до пенсии из-за цветов, про которые тут и думать забыли! Но и он, как только что Билибин, смешался от последних слов собеседника, от их недоуменной участливости.

— На кого подозрение имеете? — спросил он тем не менее сурово, как будто Иннокентий был не потерпевшим, а виноватым. — Может, кто заходил, интересовался?

Иннокентий Павлович заерзал на скамейке. Что он мог ответить? Никто не заходил, не интересовался? Шоферы? Компания у ограды пела про цветы? Тогда уж лучше шоферы — они не местные, колесят теперь невесть где, ищи ветра в поле. Тем более что именно о них подумал Иннокентий в первую очередь, увидев разоренную клумбу.

— Шофера заходили под вечер... Ночевали тут. Проездом. Но вряд ли. Симпатичные, знаете ли, ребята.

— Верно. Ночевали, — вспомнил Калинушкин, оживившись. — Когда обнаружили хищение? Утром? А когда эти уехали?

— Слушайте, товарищ милиционер, — сказал Иннокентий. — Давайте так сделаем: вы составьте бумагу, а я напишу — претензий не имею. И разойдемся полюбовно. Можно так?

Александр Иванович не сразу оценил это предложение и даже воспринял его как еще одну попытку терпевшего улизнуть поскорей к гостям, но, по счастью, не поддался чувству негодования, вновь поднявшемуся в нем, и тогда предложение Билибина открылось перед ним во всей своей естественности и глубине.

— Если претензий не имеете, тогда конечно. Это можно, — важно произнес он. — Протокол я потом оформлю, вы только черканите внизу: мол, так и так.

Пока Иннокентий Павлович писал на протоколе свой отказ от претензий, участковый присматривался к нему, пытаясь узнать в нем земляка. Ему хотелось заговорить с Билибиным совсем по-другому. Сначала спросить: верно ли, что тот местный, ярцевский? И если Фетисов не соврал или не напутал, вспомнить детство, городишко, каким он был раньше, общие знакомые, может, найдутся... Словом, поговорить по-людски, не злобиться, не бросаться друг на дружку, как сейчас. А потом уже перейти и к главному: узнать, какая у Билибина специальность; если подходящая, предложить ему научную мысль, которая с некоторых пор, а именно с тех пор, как он посмотрел в прошлом году по телевизору передачу про космические полеты, не давала Александру Ивановичу покоя. Но теперь, конечно, не время было. И лейтенант, взяв со стола бумагу, бережно уложив ее в планшетку, откозырял Билибину.

— Пойдите! — воскликнул Иннокентий Павлович, уцепившись вдруг за планшетку, откуда высовывалась растрепанная и увядшая головка цветка, сорванного Калинушкиным третьего дня. — Значит, вы нашли?

Участковый смущенно заправил цветок в планшетку, сказал сурово:

— Пришлось у вас изъять в ходе следствия... На время. Для опознания.

И не дав Билибину опомниться, еще раз откозыряв, решительно направился к выходу.

Бросив жалостливый взгляд на клумбу, Иннокентий Павлович поспешил к гостям, весело голодным, шумным и счастливым оттого, что работа им удалась, что сегодня можно ни о чем не думать, дурачиться, и пить хорошее вино, и есть шашлык, дымящийся сизым острым запахом, а завтра снова заняться настоящим делом. Они ели, и пили, и дурачились, вино не брало их, а только веселило — верный признак того, что людям весело и без вина. Стемнело уже, но в дом они не ушли — сидели вокруг костра, разложенного на жаровне, подкидывали щепки и дразнили Билибина, представляя его таким, каким он был в последние дни. Устроили даже, хулиганы, конкурс. В прыгающем свете костра одна за другой появлялись расхристанные фигуры: рубахи расстегнуты до пупа, брюки приспущены, волосы падают на безумные глаза, искривленные губы сыплют беззвучно ругательства...

— Врете вы все! — хохотал Иннокентий, заваливаясь на спину. — Подонки несчастные! Что бы вы делали без меня, гениального? По миру бы пошли!

Как раз в таком положении и застал его испуганный возглас:

— Ахтунг, ахтунг! На горизонте — Светка!

— Ну и что? — небрежно спросил Иннокентий Павлович, поспешно принимая, однако, более достойную позу. Следуя его примеру, все принялись торопливо приводить себя в порядок.

Дочку Билибина любили, но стеснялись и даже несколько побаивались: Светка была существом необыкновенным.

Дело в том, что за четыре года она не пропустила ни одной лекции в новом, построенном в институтском городке клубе и обладала по этой причине совершенно феноменальным уровнем знаний в самых различных сферах интеллектуальной деятельности, особенно в психологии, социологии, биологии и поэзии. Ничего не понимала Светка лишь в той области, в которой работала, но поскольку числилась она в институте лаборанткой, этот пробел в знаниях не сказывался на ее репутации.

Лекции, которые она посещала, были записаны в ее голове как бы на магнитофонную ленту; они аккуратно, на разных полочках хранились до тех пор, пока не наступала необходимость прокрутить их в обратном порядке. Процесс этот производил на окружающих тем большее впечатление, что внешность у Светки была очаровательной: круглое, свежее и розовое, в едва заметных веснушках лицо; вишнево-сочные губы, не теряющие форму сердечка, даже когда с них слетали самые сложные, труднопроизносимые термины; большие голубые глаза, всегда мечтательные и томные, как бы ни был серьезен предмет разговора. Каждый, кто хотя бы раз общался со Светкой, явственно ощущал, глядя на ее ясное, как погожее утро, лицо, что все замечательно умные мысли, которые высказывает она без запинки, не стоят ей ни малейшего умственного напряжения, и невольно ахал про себя: что же будет, если к тому же Светка начнет думать!

Поклонников у нее в городке было множество: практически все

младшие научные сотрудники. На своих ухажеров Светка взирала равнодушно, с доброй улыбкой и пренебрежительным жестом объясняя любопытствующим: «Меня сексуально волнует лишь мыслительно-интуитивный тип личности. А эти...»

— Итак,— сказала Светка, подходя к отцу и с жадностью принохиваясь.— Едва я ушла, вы тотчас устраиваете роскошный пир. Как это понять?

— Символически! — ответил Иннокентий Павлович.— В смысле возвращения блудного сына. Вот вернулась ты нищая и босая...

— Нищая, босая и голодная...

— И, как всегда, голодная. И я не только не упрекаю, я говорю: мы все уже слопали.

— Люди! — закричала Светка, бросаясь к кастрюле, где лежали остатки шашлыка.— Не дайте погибнуть ребенку! Не подходите! — приговаривала она, прижимая к себе кастрюлю и запуская в нее вилку.— Смотреть противно, какие вы сытые и самодовольные.

Постанывая от удовольствия, Светка принялась обсасывать бананью косточку, а все вокруг суетились, предлагая ей кусочек покуснее и подливая кислого винца в бокал. И раньше им было хорошо, но лишь теперь они поняли, сколь далеко находились от истинного блаженства. Истинное блаженство состояло в том, чтобы сидеть возле прелестной девушки, прислуживать ей, смущенно отводя взгляд от ее полных, обтянутых брючками, совсем не девичьих коленок, и, помня о Светкином абсолютном интеллектуальном превосходстве, пытаться щегольнуть особенно глубокомысленным изречением.

Иннокентий Павлович тоже откровенно любовался дочкой, только морщился иногда, если кто-либо из гостей, забывшись, придвигался к Светке слишком близко. Он не верил в Светкину сексуальную неуязвимость, застав ее недавно в объятьях лохматого парня на крыльце своего дома, причем непохоже было, что парень относится к мыслительно-интуитивному типу личности. Что-то, кажется, началось у них с Генкой Юрчиковым; одно время Светка то и дело цитировала его: «Генка вчера сказал... Генка сегодня выдал...» Василий Васильевич Соловьев даже подтрунивал. «Быть тебе, Ирина,— говорил он жене, подмигивая при этом Билибину,— посаженной матерью у Светки!» «С удовольствием. Отличная пара!» — отвечала Ирина Георгиевна. За Светкино будущее Иннокентий Павлович был спокоен. Юрчиков или другой, но скоро, судя по всему, она выйдет замуж и, выбросив за ненужностью весь свой интеллектуальный багаж, проживет с мужем счастливо год или два. Разочаровавшись, оставит его и возьмется всерьез за учебу уже не баловства ради, а с определенной практической целью. Память у нее великолепная, если не подурнеет — глядишь, годам к тридцати сделает карьеру... Иннокентий Павлович не относился к числу людей, внимательных к тем переменам, которые постоянно происходят вокруг. Но даже и он не мог не заметить удивительную закономерность: раньше карьеру делал, как правило, дурнушки, не имеющие личной жизни и поэтому отдающиеся работе, теперь, наоборот, процветали хорошенькие. Возможно, это обстоятельство говорило о возросшей эстетической культуре производства...

Кто-то вынес из дома гитару, грустно вознеся над притихшим лесом старый романс. Иннокентий молчал.

Год назад под старыми стенами литовского замка пришло к нему странное чувство: вся прошлая история человечества представилась вдруг собственной биографией и вся будущая, а он — крохотное звено в этой необозримой цепи.

По литовскому замку они лазали вместе с Юрчиковым, Иннокентий тогда брал его с собой на конференцию.

— Ну? — спросил его Билибин. — Что чувствуешь?

— Чувствую, опоздаем мы на заседание, — застенчиво ответил Гена Юрчиков.

На древней кирпичной кладке, греясь на солнце, шевеля усиками, застыл серый кузнечик-кобылка. Тысячу лет, наверное, сидел, шевелил от удовольствия усиками. Крохотный кусочек неразумной плоти — насколько он сложнее всех формул и графиков... Иннокентий Павлович неосторожно вздохнул, и кузнечик спрыгнул со стены, поскакал по зеленым былинкам. Что кузнечик! Люди складывали эти стены тысячу лет назад, страдали и радовались, мечтали и отчаивались. Братья по разуму...

Бог ты мой, какая-то безнадежная конференция, надутые умники, разжевывающие всем известное, а тут ощущение вечности. Иннокентий Павлович не стал ничего объяснять Юрчикову. До этого надо было дойти самому, в какой-то миг понять.

У костра между тем совсем разыгрались: вздумали исполнять ритуальный индийский танец на горящих углях босиком.

— Разложенцы, маразматика, — ворчал Иннокентий Павлович, с интересом наблюдая, как решительно принялись гости разгребать жар. — Останетесь без бюллетеня, не надейтесь, это не производственная травма!

Но его не слушали; в красной полумгле уже замелькали чьи-то босые ноги, и Иннокентий Павлович заорал, вскочив:

— Неужды! Я же десять лет назад обсчитал этот танец! Девять переменных, включая социальное происхождение! Пятки должны быть толстыми!

— Брунда! — уверенно отвечали из темноты. — Юрчиков твои расчеты проверил. Липа! И сам ты ходил в позапрошлом году. Давай, ребята, разувайся...

— Ну давайте, — согласился Иннокентий Павлович. — Только учтите: девять переменных, а сегодня десять. Дровишки с гвоздями. От старого сарая доски, — злобно добавил он.

— С того бы и начал!

— А Юрчиков, значит, проверял? Не доверяет авторитетам? — сказал Иннокентий Павлович. — Это мы зафиксируем. Между прочим, уходит от нас Юрчиков.

Ему никто не ответил. Молчание затянулось, стало неловким, потом неодобрительным и даже осуждающим. Наконец кто-то не выдержал:

— Да, жалко Юрчика...

— Кто мог ожидать, а? — ничего не замечая, жизнерадостно воскликнул Иннокентий Павлович.

— А чего ты ожидал? — ехидно спросили сзади.

— А он ожидал, что Юрчик всю жизнь на них, бессмертных, будет спину гнуть, — еще более ехидно подсказали сбоку.

— Вы что, очумели? — рассердился Билибин.

Но тут все зашумели разом. Вспомнили, как Юрчиков предсказал в прошлом году поведение «Марты» в магнитном поле — блеск! — никто не верил, сам Иннокентий что-то мычал, а Гена точно выдал, до десяти тысячных... И такого железного парня четыре года на побегушках — сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что! Хреновина: прекрасно знают куда и что! Идеи не продаются! Зато покупаются! За сто двадцать ре в месяц плюс тридцатка премиальных в год. Ему бы условия создать... А теперь что? В канцелярию, на теле-

фоне работать? Примитивный приборчик! И еще некоторые с наивными глазками удивляются: не ожидали от Юрчикова!

— Да я-то здесь при чем? — вскипел Иннокентий Павлович. Вскочив, он провел ладонью по лицу, словно опасаясь, что останется на нем хотя бы тень прежнего беззаботного выражения. — У меня Юрчиков — на побегушках? Перепились, что ли?

— Ну, это уже того! Это уже, извиняюсь, хамство!

— В давние времена нашего славного предводителя Иннокентия Мудрого, да святится имя его, — загнусавил чей-то тенорок, — спросили, что сотворить с человеком, который на дружеском застолье почнет хамить. И изрек тогда Иннокентий Мудрый: такого человека надо взять и отнести на десять сажен, дабы не портил своими зловонными речами благоуханье дружеской беседы...

— Не трудитесь, я сознательный! — со злостью проговорил Иннокентий Павлович и шагнул в сторону.

Он слышал встревоженные голоса: «Иннокентий! Иннокентий Павлович!» — и еще голоса, упрекавшие друг друга, ему стало стыдно, он вернулся.

— Шуток не понимаете, — проворчал он, пряча глаза, хотя было уже совсем темно. — Пойду пройдуся...

Институтский городок остался далеко позади, прошумел и замолк лес, потянулась дорога через поле, впереди замелькали огни совхоза — Билибин все шел, то успокаиваясь, то снова негодуяще фыркая. Наконец он остыл настолько, что смог подумать здраво: чего они, собственно, пузыри пускали с этим Юрчиковым и чего он, собственно, взорвался? Конечно, ребята хамят, пора кончать с фамильярностью, не соображают... С Юрчиковым же он всегда находился в наилучших отношениях: талантливый парень — и вообще!.. Несколько раз Билибин просил его оформить данные, Соловьев не возражал. Так Гена же с радостью, за честь посчитал. И любой другой на его месте. Уходит Юрчиков. Ну и что? На самостоятельную работу. Интересную. Сам же говорит.

Словно припоминая смутный сон, Иннокентий Павлович увидел институтский коридор, долговязую фигуру Геннадия перед собой: «Возьмите меня к себе!» Ах вот что! В канцелярию уходит, к бумагам, к телефону! Он присвистнул: дела-а!

Все суета сует, каждый день решается чья-то судьба, так было, так будет, но — мимо, мимо, иначе не сумеешь заметить главное, то, что определяет судьбу не одного человека, а целых поколений. Дорога каждая минута! И бесценно, когда ты принадлежишь не себе, а будущему.

Пока они с Юрчиковым бродили по древнему литовскому замку, ощущая вечность и свою причастность к ней, конференция началась. Иннокентия выбрали в президиум и тотчас, едва он объявился, попросили занять свое законное место. Конференция проводилась в городском театре; высмотрев из-за кулис крайний, единственно свободный стул, Билибин застенчиво прошмыгнул по сцене, уселся и стал добросовестно вникать в суть происходящего. Однако мыслями он был все еще там, у стен замка, и мысли у него поэтому шли глобальные, никак не меньше. Например, он думал о том, что история человечества — понятие совершенно условное, а есть история людей, миллиарды историй, которые время выпаривает в своем котле, пока не останется на самом доньшке эссенция, густой сироп, годный для учебников. Интересно, что останется потомкам от нашей эпохи? Огого! Котла не хватит!

Он тотчас же представил себе неведомого потомка, который будет судить о нашей эпохе,— парня в легкой куртке и шортах, с нахальным и умным прищуром глаз. Парень сидел на стене древнего литовского замка, болтал ногами и смотрел на Билибина вопреки ожиданиям неодобрительно. «Ну и даете!» — сказал потомок. «А что?» — спросил Иннокентий Павлович. «На хрена ты сюда припер? Зачем время теряешь? Послушай, какую бодягу докладчик развез». «Все сидят», — вяло отозвался Иннокентий. «Сидят! — развязно продолжал потомок. — Вон тот, лысый, который справа, — этого я понимаю. Ему во как надо выступить. Чтобы фамилия в отчете мелькнула. И этот, который рожи рисует... Этого хлебом не корми — дай в президиуме покрасоваться. Но они уже давно того... кончились. А ты?» «Не трепись! — возразил Иннокентий. — Вон Иващенко и Стецкий. Сидят ведь!» «Маются! — отрезал потомок. — Стецкий, кстати, с женой недавно посорился, сбежал; отдыхает». «Ладно! Не учи, молод ещє!» — «Во-во! Неотразимый аргумент!»

Иннокентий Павлович, рассердившись, прогнал прочь своего наглого потомка, а вместе с ним глобальные мысли и вновь попытался слушать докладчика. К сожалению, потомок оказался прав. Вскоре Билибин понял, что опять отвлекся; теперь он следил за Иващенко и Стецким, пытаясь понять по их лицам: мучаются они или нет? В зале было темно, горели лишь нижние боковые светильники, задача перед Иннокентием стояла нелегкая. Помнится, он еще подумал: почему бы и верхний свет не включить?

Подумав так, Иннокентий Павлович машинально посмотрел за кулисы, и тотчас ему на глаза попался небольшой ящик с распахнутой дверцей. Ящик висел на стене совсем рядом, из него торчали две кнопки — белая и красная. Иннокентий Павлович сразу понял назначение ящика с кнопками — точно такой висел за кулисами в концертном зале, где обычно выступала жена со своим ансамблем.

Конференция шла своим чередом, ученые мужи сменяли друг друга на трибуне, совершенно чудесным образом исчезли из зала Иващенко и Стецкий — только что были, а вот уже одни пустые кресла. Наивный Юрчиков в своем заднем ряду и тот сидел теперь, задрав голову к потолку, наверняка, мерзавец, подсчитывал количество лампочек в одной люстре, а также общее их число во всех светильниках...

Иннокентий Павлович был в совершенном отчаянии. О чем бы ни думал он в эти минуты, как бы ни пытался отвлечься, мысли его неминуемо возвращались к ящику на стене с ярко торчащими кнопками. Ящик как живой придвинулся к нему по стене вплотную, кнопки подмигивали лукаво.

— Это ужасно! — сказал наконец Иннокентий Павлович, изнемогая в борьбе с соблазном.

— Ну-ну, потерпите, дорогой, скоро перерыв,— зашептали ему коллеги, успокаивая.

Ах, ничего-то они не поняли! Ведь стоило ему привстать, ткнуть пальцем в белую кнопку — и зал наполнился бы негромким протяжным гулом, сцена вздрогнула бы и величаво струнулась с места, унося за кулисы в медленном своем вращении людей, которые напрасно теряют время, и самого Билибина в том числе.

Едва дождавшись перерыва, Иннокентий Павлович сбежал с конференции и больше не показывался там. Но мысль о том, что он, уважаемый, серьезный человек, известный ученый, едва не совершил столь безрассудный и безнравственный поступок, еще долго приводила его в замешательство. Это не помешало ему, правда, уже на другой день рассказать в тесном кругу забавную историю с кнопками.

несколько изменив ее: в последний-де момент был объявлен перерыв и только этот факт спас организаторов конференции от грандиозного скандала. Гена Юрчиков тотчас безотказно подыграл, изобразив на лице восторженный ужас: «Тянетса, вижу, к кнопкам. Ну, думаю, все! Даже глаза закрыл...»

С Юрчиковым надо было что-то решать. А надо ли? Впору самому уходить.

Иннокентий Павлович с отвращением вспомнил, как бегал все эти дни по институтскому коридору в отчаянии, в полном творческом бессилии; такого с ним никогда еще не случалось. Ни разу он не подгонял результат, как ученик задачку под ответ. Друзья не заметили его состояния — ни тогда, когда он принимал поздравления, ни тогда, когда хохотал и дурачился вместе с ними возле костра. Даже когда сорвался, нахамил им, они тоже, кажется, не сообразили, в чем дело...

Двадцать лет Иннокентий Павлович работал, ничуть не думая о человечестве. Он копался в тайнах природы, как мальчишка в отцовских часах, подталкиваемый лишь neodолимым любопытством. Стоило Билибину задуматься всерьез о своем месте в мире, как тотчас наступила расплата. Выходит, за мудрость надо расплачиваться? Он, правда, не был уверен, что эти события в его жизни располагались именно в такой последовательности: сначала гордое ощущение своей причастности к истории человечества, потом бессилие. Скорее наоборот: весь последний год ему неважно работалось.

Тогда, в Прибалтике, чувство вечности он воспринял с тайной гордостью, как некий знак отличия за верную службу человечеству. Мудрость, обернувшаяся бессилием? Или случайное совпадение?

Неужели стала меркнуть счастливая звезда Иннокентия Билибина?

Задумавшись, Иннокентий Павлович не заметил, как вошел в Ярцевск, спохватился лишь тогда, когда увидел, что сидит во дворе родного дома на качелях — толстом стальном тросе, перекинутом через развилку старой липы еще его отцом на радость ребятишкам. Качели, как видно, все эти годы зря не висели; ржавый трос глубоко врезался в дерево, но был по-прежнему отполирован понизу ребячьими ладошками.

Однако и спохватившись, Иннокентий не слез с качелей, только косился на окно, откуда некогда суровый материнский голос провозглашал: «Кеша! Домой!» А что? Пожалуй, и сейчас могла бы, если бы увидела. Характер у нее и в старости остался жестким, прямолинейным. Отец, бывало, приставал: «Ты, Варвара, по всему видать, не русская. Ну признайся». «Не ярцевская»,— сухо уточняла мать. «Я говорю: не русская. Все у тебя на полках разложено. Делай так, не делай этак! Ходи вправо, не ходи влево!» «Для тебя русское значит ярцевское»,— говорила мать отчетливо и безстрастно, словно на уроке в школе, когда проводила трудный диктант.

Мать была сибирячкой, Ярцевск она не любила. Впрочем, мало кто даже из коренных жителей испытывал к нему патриотические чувства. Горячими патриотами родных мест они становились вдали; в больших городах, в уютных квартирах они вспоминали Ярцевск со слезами умиления, что невольно настораживало тех, кто был знаком с легендой о посещении этого городка великим государем. Но как бы ни относилась мать к Ярцевску, она не уехала. Даже когда умер отец Иннокентия. В большом городе жили ее дети, звали ее к себе: бабушки нынче в цене; она отказалась переехать, не захотела жить даже у Иннокентия, когда он вновь обосновался в Ярцевске. На все угово-

ры отвечала твердо: «Нет, дорогие! Издали на вашу безалаберную жизнь гляжу — и то плакать хочется...»

Первое время она не оставляла заботами сына и внучку. Но едва Светке исполнилось пятнадцать, отрезала: «Все! Не маленькие, я в твои годы уже работала!» По правде говоря, Иннокентий Павлович не очень-то огорчился: вместе они не ужились бы.

— Так и знала: сюда придешь! — раздался сбоку торжествующий возглас. — Комплекс... — Светка возникла из темноты с приподнятой нацеленной рукой; Иннокентию даже показалось, что в ее пальцах вилка, которой она намеревается подцепить один из многочисленных комплексов, выбрав посочнее. — Да! Комплекс неполноценности, конечно. При неблагоприятных обстоятельствах ощущаешь себя ребенком, отсюда стремление вернуться в мир детства...

Потеснив отца, Светка присела на качели.

— Вообще-то ты прав, — сказала она. — Гена Юрчиков отвратителен.

— Я этого не говорил, — запротестовал Иннокентий Павлович. — И совсем так не считаю.

— Самоуверен, как сиамский кот, — настаивала Светка. — Хотя выраженный двенадцатый тип личности... Все признаки.

— Это, извиняюсь, кто же двенадцатый? — робко спросил Иннокентий Павлович.

— Ох, Кеша, я тебе объясняю, объясняю... Ничего ты не помнишь! Двенадцатый тип — обслуживающий персонал.

— Бедняга! — пожалел Юрчикова Иннокентий Павлович. — Ну а тебе-то чего? Не хочет обслуживать?

Светка в негодовании вскочила с качелей, и Иннокентий едва не шлепнулся наземь.

— Если хочешь знать, твой Гена Юрчиков в мою честь забрался по лоджиям на четвертый этаж и хотел спрыгнуть со второго. Только я еще не знала, что он отвратителен, и, к сожалению, не разрешила.

— Чем же он отвратителен?

— Само дыханье его ядовито, — речитативом затынула Светка.

— Ну ясно, — поспешил перебить ее Иннокентий. — И несет от него, паразита... Больше компрометирующих материалов нет?

— Есть! Только я промолчу. Не хочу уподобляться вашему Юрчикову.

— И правильно. Никому не подражай, дочка. В крайнем случае, если очень захочется, бери пример с меня.

Светка хмыкнула.

Три года назад — она училась тогда в восьмом — Светка поделилась с Геннадием важной тайной. Началось все с того, что с ней на улице заговорили польские туристы: «Пшепрашам, паненка», ну и прочее. Светка развела руками: мол, увы, панове, не понимаю. Извинились еще раз, уже по-русски, и объяснили: были уверены, что встретили землячку, чисто польский тип лица. Она зарделась, как от изысканного комплимента. Увы, панове, увы...

В наивном детстве все стараются походить друг на друга — одинаковые курточки или шапки вызывают у их обладателей радостные, родственные чувства. Зато миновав отроческий возраст, люди прилагают немало усилий, чтобы как-то отличаться друг от друга. Но отличаться в наше время трудно. Образованием нынче не удивишь, квартирой, машиной или мебелью тоже. Отличались друг перед дружкой собаками — у кого породистей, но столько их поразвели, что дворняжка стала редкостью. Некоторые искали выход из положения не

в реализации возможностей, а в их отрицании, но выход этот оказался ложным: лишенный телевизора, автомашины, полированной или старинной мебели индивидуалист вскоре начинал задумчиво приглядываться к комфортабельной жизни соседей и с удвоенной энергией принимался наверстывать утраченное.

По молодости лет Светка еще не познала трудностей, которые ожидали ее в этом плане, но уже предчувствовала их, приняв даже некоторое участие в бесконечной битве за индивидуальность. Стены ее комнаты были украшены шеренгами пестро разрисованных ритуальных масок — этаких воинов, которых она вела в бой за свою самобытность. Туалетный столик заставлен фигурками деревянных, нарочито грубо вырезанных идолов — бездарными европейскими копиями африканских шедевров; их привозили по Светкиному заказу родители из заграничных поездок. Одно время Светка, глядя на свою страшноатую армию, чувствовала себя победительницей, но вскоре обнаружила такие же коллекции в квартирах двух школьных друзей и заскучала.

Встреча с польскими туристами как нельзя пришлась кстати. Родителям она учинила допрос: не было ли в их роду поляков? Ей очень хотелось, чтобы были. Лучше всего из старинного знатного рода, владельцы какого-нибудь замка. Прыгающий багровый свет факелов, прекрасные панны в длинных платьях, с ниткой жемчуга на длинных гордых шеях и стройные страстные паны-шляхтичи с саблями, которые они готовы обнажить в любой миг за честь и любовь... Ах, это было бы потрясающе! Оказаться представительницей знатного польского рода, прекрасной, гордой панной — это, извините, не новый мебельный гарнитур и даже не коллекция ритуальных масок. Знатьность — товар редкостный, штучный...

На отцовскую родню Светка не надеялась: знатный шляхетский род не мог водиться в Ярцевске, как не могла водиться в местном мутном ручье благородная форель. Но Светка ошиблась. Иннокентий Павлович не моргнув глазом тотчас воодушевленно поведал ей захватывающую историю о своем далеком предке — молодом красивом шляхтиче, который в Смутное время оказался в России, был взят в плен и вскоре умер от ностальгии, успев, однако, в короткий срок народить одиннадцать детей, самый младший из которых и обосновал город Ярцевск.

— Он был знатный, этот шляхтич? — спросила Светка, замирая.

— Да! Он был знатный. Но бедный! — ответил Иннокентий строго. — Хотя приходился племянником самому пану Мнишеку. По материнской линии, — добавил он, подумав. — Бедняга рано осиротел, и пан Мнишек, тип пренеприятный, воспользовавшись моментом, обобрал сироту до нитки.

Светка не сразу поняла, что отец дурачится... Но ей так хотелось верить!

Огорчало ее лишь то, что ни своей внешностью, ни характером она не соответствовала принятым представлениям об аристократизме: полновата, розовощека, жизнерадостна и никакой гордости. Но, возможно, это раньше аристократы были бледны и надменны? Возможно, они сильно изменились в наши дни?

И как раз в это время Светка услышала потрясающую новость. Говорили, будто в определенный день съезжаются из разных мест в один старинный русский городок, знаменитый своей историей, далекие отпрыски князей и графов, общаются, а главное — присматривают женихов и невест, дабы не утратилась окончательно порода. Светка с нетерпением ждала этого дня. Она слыла в школе большой общественницей, ей не стоило труда уговорить класс на экскурсию по

историческим местам, благо до них было рукой подать — на автобусе четыре часа.

Поехали всем классом. С первых же минут Светка убедилась, что ее надежда увидеть цвет аристократии и сравнить себя с отпрысками бывших князей и графов весьма призрачна. Народу там оказалось, как возле московского ГУМа в летний день. Светка попыталась найти в толпе аристократические лица, но тщетно. То ли аристократы несколько опоздали со своей затеей и благородная кровь разбавилась так сильно, что определить ее обладателей по внешнему виду оказалось уже невозможным, то ли собирались они втайне, то ли скорее всего их здесь вовсе не было, слух не подтвердился. Светка сначала огорчилась, но потом подумала: это даже к лучшему, по крайней мере она не разочаруется в себе. Домой она вернулась, совершенно позабыв, ради чего предприняла поездку.

И дернуло же ее рассказать о своем знатном происхождении Гене Юрчикову! Хотела поразить Геннадия, поскольку он ей очень нравился. Юрчиков и впрямь ахнул:

— Графиня?!

— Ну, так получается, — потупилась Светка.

— Выходит, Иннокентий Павлович — граф?

— Наверное, — прошептала Светка смущенно.

— Сила! — восторженно выдохнул Юрчиков.

И, конечно же, на другой день к Иннокентию Павловичу в институте обращались не иначе как «ваша светлость», «ваше сиятельство», уточняли подробности его высокородного происхождения. Хотя Иннокентий совершенно не понимал, откуда взялись такие странные сведения о его родословной, тем не менее сознавал, что рождается еще один забавный миф о его персоне, и охотно помогал создавать этот миф. Через несколько дней в стенгазете появилась гнусная басня, в которой некий петух, одержимый графоманией, взялся доказывать курам, что он граф, в результате чего произошла неприятность: куры перестали нестись и петух угодил в суп. Басня была на редкость бездарной, по уровню логики — творение девочек из бухгалтерии, библиотеки, но никак не коллег-ученых. Иннокентий мог бы не обращать на нее внимания. Однако он обиделся, узрев в ней желание очернить его как мужчину, и пообещал выдернуть ноги не только у анонимного сочинителя, но и у того, кто распустил слух о его графском происхождении.

Как бы ни сердилась Светка на Гену Юрчикова, она не хотела, чтобы он остался без ног. Иннокентий Павлович оказался прав; сердилась она потому, что Гена в последнее время по неизвестным причинам избегал ее. Светка не сомневалась, что она нравится Юрчикову, хотя вел он себя с ней очень странно. Подвиг, который Геннадий совершил ради нее, взобравшись по лоджиям на четвертый этаж, Светка описала весьма приблизительно. В действительности дело обстояло несколько иначе. Взобраться-то он взобрался — Светка восхищенно захлопала в ладоши, — но затем повел себя странно: вместо того чтобы спуститься, влез в окно и исчез. Больше в тот вечер Светка его не увидела. Она ждала минут двадцать, пыталась звать, обеспокоенная и недоумевающая... На другой день он извинился: «Понимаешь, там Суздалев и Трофимов из первой лаборатории оказались. Вот, говорят, кстати, сегодня такой взбрык установка дала — ничего понять не можем...»

Это как расценивать? А тот случай, когда он ей голову морочил насчет особенностей поведения личности в обычном и стрессовом состоянии с точки зрения физики? Нарисовал схему, все честь по чести, сказал небрежно: «Я этой проблемой не занимаюсь, а тебе может

пригодиться, пользуйся, если хочешь». На очередной лекции в клубе ученых Светка разлетелась: мол, как смотрит товарищ профессор на такую концепцию? Тут и выяснилось, что Юрчиков ей схему телефонного аппарата подсунул. Светка неделю с Геннадием не разговаривала.

В общем, относился он к ней несерьезно, хотя Светка не раз ловила на себе его взгляды, которые, казалось бы, говорили обратное.

— А не пора тебе, дочка, домой? — спросил Иннокентий Павлович.

— Женился бы ты, что ли, — сказала Светка.

— Мачехи тебе только не хватает!

— Не хватает...

Светка уткнулась лбом в грудь отцу; у Иннокентия от внезапной жалости давило дыхание. Бедная девочка. Так и выросла без матери... Он виновато принялся перебирать пряди Светкиных волос, вдыхая их свежий лесной запах. Она прерывисто вздохнула:

— Я бы ей подружкой стала бы... Чем тебе Оленька плоха? Умная, красивая... Или Людмила...

— Не нужен нам с тобой никто, — растроганно произнес Иннокентий Павлович.

— Конечно, жила бы с нами мама...

— Поздно об этом говорить.

— Или хотя бы бабушка... По секрету скажу, — зашептала Светка, оглянувшись на освещенные окна. — Веду настойчивую психологическую обработку. Может, сжалится твоя родительница, сил больше нет хозяйством заниматься!

— Ну-ну, — усмехнулся Иннокентий Павлович, разом освобождаясь от нежных чувств, — сильно сомневаюсь.

...Возвращался он в научный городок несколько иным путем. Иннокентий шагал теперь напрямик к дому Соловьевых.

Хотя Иннокентий Павлович заходил к Соловьеву редко, тот вроде бы и не удивился позднему визиту.

— Веселитесь? — скучно спросил он, подвигая кресло. — Поздравляю. Успех, успех... Но не торопись. У Клаузнера противоположный результат!

Иннокентий Павлович, не обращая внимания на подвинутое кресло, присел на край стола, небрежно сдвинув в сторону рукопись Василия Васильевича.

— Я как раз хотел поторопиться. Спасибо, что напомнил.

— За мной пришел? — спросил Соловьев, торопливо и неодобрительно перехватывая у Иннокентия свою рукопись. — Не пойду. Надо еще поработать. Просьба к тебе: Геннадию не давайте много пить. На радостях наберется парень, ему завтра к начальству.

— Слушаюсь, — ответил Иннокентий, беззаботно болтая ногами; письменный стол у Василия Васильевича был массивный, высокий, удобно оказалось ногами болтать. — У меня тоже просьба. Объясни, пожалуйста, зачем ты Юрчикова сплавил?

— Я? — удивился Соловьев. — Он у меня тут весь вечер ерзал и не выдержал, побежал к вам.

— А может, пойдем? — предложил Билибин, вдохновенно представив себе Василия Васильевича у костра; кинуть бы его коллегам на съедение, они сейчас злые, а заодно испортить бы им настроение — отомстить за хамство! — Ладно, работай, — милостиво разрешил он своему начальнику. — Только скажи: зачем ты Юрчикова сплавил из института?

— Об этом мы завтра поговорим, — мягко ответил Василий Васильевич. — Иди спать.

— Слушаюсь,— покорно повторил Иннокентий.— Значит, Геннадий тебе больше не нужен? Можно его забрать?

— Юрчиков у нас уже не работает,— нетерпеливо произнес Соловьев.

— А как же ты без него обойдешься?

— Обойдусь! — сухо ответил Василий Васильевич.— Может быть, прекратим этот странный разговор?

— Это я у тебя интервью беру.— Иннокентий Павлович помахал с важностью у себя перед носом указательным пальцем.— Последний вопрос. Только придумай, чтобы я поверил. Что мы будем с этого иметь?

Соловьев встал, обняв Билибина за плечи, улыбаясь добродушно, потянул со стола:

— Спать... спать. Завтра все проблемы решим.

— Ага,— подтвердил Иннокентий Павлович, зевая и потягиваясь.— Ты завтра его оформи приказом ко мне...

— Хорошо, хорошо.

— А если ты его не оформишь завтра приказом, я к Старику пойду-у-у,— весело сказал Иннокентий Павлович.— И скандал устрою-ю-ю... Я один раз в год скандаляю, и как раз срок подошел. Спокойной ночи!

— Погоди! — Соловьев схватил его за руку.— Садись!

— Не-а! — совсем развеселился Билибин.— Я спать хочу.

Впрочем, он не сопротивлялся, когда Василий Васильевич втолкнул его в кресло. Надø было получить удовольствие сполна.

— Не ценишь ты себя,— сказал Соловьев с обидой, которую пытался скрыть за кроткой улыбкой.— Талант свой не ценишь. Я тебя всячески оберегаю от мелочей, от житейских дрязг... Цветы вон оборвали — и то сам лично в управление милиции звоню, требую огр-а-д-и-ть...

— А! Это ты, значит, на меня милицию напустил,— меланхолично заметил Иннокентий Павлович.

Соловьев отмахнулся, продолжал с той же кроткой и грустной улыбкой:

— Работаем на будущее, на все человечество! Не мелочись, не растрачивай силы на глупости, на ребячество!

Иннокентий Павлович с интересом разглядывал взволнованного Соловьева и с уважением думал: «Вот дает! Моими мыслями. Как подслушал насчет человечества!»

Странные сложились у них отношения. Многие считали их приятелями. Если кто-либо поинтересовался бы мнением Василия Васильевича о его приятеле Билибине, то в ответ услышал бы наверняка самые лестные слова. Если бы, наоборот, захотели узнать мнение Билибина о его приятеле Соловьеве, то Иннокентий Павлович скорее всего ответил бы, что для него слишком высокая честь считаться таковым. Они несколько не удивились бы, узнав взаимное мнение друг о друге. Это было тем более непонятно, что они вместе росли, ходили в тот же класс, поступали в университет и теперь встречались часто если не на работе, то в домашней обстановке. Даже их коттеджи стояли неподалеку благодаря заботам Василия Васильевича и его добром отношению к другу детства. Иннокентий же Павлович был не только неблагодарен, но всегда держался с Соловьевым настороже. Кое-какие основания у него, пожалуй, имелись. Но с тех пор много лет прошло и все травой поросло.

Со второго курса университета Билибин вылетел с грохотом. Летел — думал, костей не соберет. За публичное восхваление идеалисти-

ческой науки кибернетики, а вернее — за недостойное студента поведение. Правильная оказалась формулировочка, точная, поскольку он ректора старым ослом обозвал. Ректору тогда едва за сорок перева-лило, он обиделся вдвойне.

Но публичного восхваления кибернетики не было. Иннокентий эти гнилые теории только перед Васькой Соловьевым развивал. Ну да ладно, тогда на многих затмение нашло. Не то его поразило, что друг, можно сказать, с детства ректору доложил, а то, что именно Васька, которого он с детства же на своих плечах тащил.

Соловьев долго казался не то робким, не то сонным. Поздно сформировался, что ли? Как Илья Муромец: сидел сиднем тридцать три года, а потом силу в себе почувствовал необычную. Васька силу накопил тоже приличную, судя по тому, с какой энергией он теперь действовал. Его мать была женщиной хотя и малообразованной, но на редкость дальновидной. Обогнав свое время на много лет, она следила за воспитанием учительского сына Кешки Билибина с гораздо большим рвением, чем за воспитанием собственного. Стоило, например, Кешке показаться во дворе в новом пальто, перешитом из старого отцовского пиджака, можно было не сомневаться, что в тот же вечер Соловьев-старший лишится своего пиджака. Стоило Кешке выйти в коридор с древней дедовской балалайкой — на другой день Васька появлялся там же, брэнча на облезлой, замызганной до черноты мандолине; вместе они составляли ужасный оркестр. Если Билибин записывался в какой-нибудь школьный кружок, все знали: завтра в тот же кружок с тоской в глазах приплетется Соловьев. Лупили его дома не за плохие отметки вообще — Васька, кстати, учился прилично, — а лишь в тех случаях, когда одновременно за стенкой Кешка похвалялся отметкой хорошей.

По всем законам Васька должен был возненавидеть Кешку, но он довольно быстро познал эти законы, а следовательно, из их жертвы стал их властелином. Сообразил все-таки: с Билибиным нужно дружить и направлять события в желательную сторону. Иннокентий был парень добрый, ради дружбы честно подыгрывал Ваське в его отношениях с родителями, заранее получая информацию о том, что нужно Соловьеву-младшему, а что, наоборот, нежелательно.

Однажды они поднялись на высокий обрыв за городом, смотрели на Ярцевск, как некогда Герцен с Огаревым на Москву с Воробьевых гор. И так же размышляли о неведомом будущем и даже, следуя прекрасному примеру, решили поклясться в вечной дружбе. Правда, клятва у них не получилась, потому что Иннокентий, уже тогда склонный к научному анализу, потребовал уточнить формулировку.

— Чего ж тут непонятного! — восторженно воскликнул Васька. — Вечная дружба всегда и во всем! Ты — за меня, я — за тебя!

— Голова! Они зачем клялись? Вместе бороться за освобождение человечества! — укоризненно сказал Иннокентий.

— Это когда было! — закричал Васька. — В прошлом веке! При крепостном праве!

— Ну давай, — неуверенно сказал Иннокентий, не найдясь, что возразить другу. — Повторяй за мной. Клянусь!

— Клянусь! — откликнулся Васька торжественно.

— Ради друга утоплюсь!

— Ради друга утоплюсь! — повторил Васька с разгона.

— Ну и дурак! — злорадно сказал Иннокентий, очень довольный, что последнее слово осталось все-таки за ним.

Лишь один раз Васька взбунтовался — когда поступали в университет. Он вопил и хныкал, что надо идти наверняка, в какой-нибудь институт, где вовсе нет конкурса, что в университет они не попадут,

а если и попадут, то с первого же курса вылетят... Иннокентий плюнул и ответил ему в том смысле, что пусть поступает куда хочет и что Васька, может, и вылетит, а он лично не собирается. Соловьев поплелся вслед за ним сдавать экзамены, и оба успешно сдали их. Вскоре они были уже на хорошем счету. Оба менялись прямо на глазах; Иннокентия одолевали гениальные идеи, он рвался в лабораторию проверить их, его не пускали — лабораторные начинались у студентов лишь с третьего курса, — он растерял свою детскую положительность и добродушие, стал самоуверенным и нервным. А у Васьки начала к тому времени проступать великая сила, накопленная им за два десятка лет полусонного существования. И опять Иннокентий сыграл важную, на этот раз, пожалуй, даже решающую роль в его жизни. Как-то на втором курсе Василия вызвал к себе ректор, тот самый, которого вскорости Билибин обозвал старым ослом, похвалил за хорошую учебу, но попенял: «Активности, активности не вижу, товарищ Соловьев. Сидишь, отмалчиваешься, вроде тебя ничего не касается. Жизнь — борьба! Скажу прямо: стоял вопрос о повышенной стипендии. Но ответили... Пассивен...» Вот тогда в Соловьеве внезапно и пробудилась та сила, которая впоследствии сделала его человеком значительным. Разговоры с Иннокентием о кибернетике стали своего рода трамплином.

Но это было давно. Василий Васильевич многое сделал, чтобы искупить свой грех перед другом, и Билибин в конце концов забыл о неприятном инциденте. Недоверие, которое испытывал ныне Иннокентий Павлович к своему начальнику, было связано с другим — с положением его в ученом мире.

Василий Васильевич еще долго говорил насчет ответственности перед человечеством. Иннокентий, как всегда, слушал его невнимательно. Ответственность перед человечеством! Интересно, он сам-то ее чувствует? Спрашивать было бесполезно — кроме общих фраз, ничего не услышишь. Да и не ждал ничего Иннокентий Павлович, никто не сумел бы ответить определенно на вопрос, который в последнее время неотступно преследовал его: куда приведет наука человечество — к сияющим вершинам или...

— Кончай, Вась, мы же одни, — перебил он наконец Соловьева.

Василий Васильевич тотчас умолк; подумав, сказал, прикрыв глаза:

— Имей в виду: ты поставишь меня в нелепое положение...

— Ну да? — обрадовался Иннокентий. — Это бы здорово!

Тогда Василий Васильевич, исчерпав, видимо, свои возможности, крикнул:

— Ирина! Ты не спишь?

Ирина Георгиевна еще не спала, хотя и вышла к ним на веранду в вечернем розовом простеганном халатике. Под халатиком легко угадывалась вся дневная амуниция, строго охватывавшая ее фигуру, несколько располневшую, но все еще приятную взгляду, а лицо носило свежие следы помады и розовой пудры.

— Объясни ему, — в изнеможении произнес Василий Васильевич. — Он испортит Геннадью жизнь...

— Какая женщина! — подпрыгнув, восторженно закричал Иннокентий. — Какая роскошь! Кто это? Кто это? — спрашивал он, подбегая к Соловьевой и целуя ей руку. — Кто ты, престелница? — взволнованно продолжал вопрошать он, пытаясь обнять Ирину Георгиевну.

— Что случилось? — спросила она, отталкивая Билибина.

— Но это нечестно! — волновался он. — Я не в силах... я сдаюсь... Такая...

Тут он предпринял еще одну попытку обнять Ирину Георгиевну,

эта попытка удалась, и Иннокентий принялся трясти возле ее лица своей лохматой бороденкой, приговаривая:

— Забодая! Забодая! Забодая!

Повернувшись так, что полы халатика взметнулись в воздух, Ирина Георгиевна ушла в комнаты и даже дверью хлопнула от возмущения.

— Преле-е-естница! — вслед ей проблеял Билибин.

— Это уж слишком,— сухо произнес Василий Васильевич.— До свидания.

Возвращался Иннокентий Павлович в отличном настроении, на-свистывая потихоньку и едва удерживаясь, чтобы не припустить, пританцовывая, по сонной, пахнущей пылью дороге.

Его встретил пустой темный дом. Кострище было аккуратно, по всем правилам закидано землей и заделано пластом дерна; он с трудом нашел место, где недавно веселился с друзьями. На дверях был приколот вилкой листок. Чиркнув спичкой, он прочитал: «Уважаемый сэр! Ваше долгое отсутствие можно воспринять как вызов, если не знать о Вашей любви к прекрасному полу, которая по всем параметрам укладывается в логическую систему наших рассуждений о Вашем внезапном исчезновении. По произведенным нами расчетам, Вы должны объявиться приблизительно в 6 часов 13 минут утра — факт для нас бессмысленный. Приветствуем...» Хулиганы! Натравили на Соловьева, смыслись и еще оклеветали. А это что? «Оставляем Вам Г. Н. Юрчикова. Он не хотел оставаться и отвратительно ругался, но мы его заперли, считая, что Вам бесполезно будет поговорить с ним. Если он не выломал дверь, значит, он еще здесь. Осторожно! Он очень зол!»

Билибин открыл дверь.

— Юрчиков, ты здесь?

В ответ раздалось недовольное:

— Тут я...

Юрчиков и впрямь оказался на редкость зол. Поздоровавшись сквозь зубы, он стал протискиваться в коридоре мимо Билибина к выходу.

— Идиотские шуточки! — бормотал Геннадий раздраженно.— Морду бьют за такие хохмы!

— Как же это тебя? — посочувствовал Иннокентий Павлович.

— Элементарно. Позвали и захлопнули. Окна ставнями закрыли.

Не слушая, что говорит ему вслед неожиданный гость, Билибин отправился спать. Объясняться с Юрчиковым у него не было ни малейшего желания — хватит на сегодняшний вечер слюней. На днях он отправится к Старикю. Не потому что жаждет справедливости, как эта гоп-компания, и хочет помочь Юрчикову. Пусть занимаются благотворительностью те, кому делать нечего. Но было в этой истории нечто оскорбительное для него самого, а в таких случаях он не привык давать себя в обиду.

Так думал Иннокентий Павлович, не пытаясь даже понять в своей гордыне, чем же, собственно, оскорбителен для него уход из института Гены Юрчикова. Однако у него хватило все же сообразительности, чтобы крикнуть через стенку:

— Юрчиков! Ты в нашей группе не раздумал работать?

Геннадий возник на пороге, точно все время стоял за дверью.

— Иннокентий Павлович! Вы — серьезно?

— Шутю,— ответил Билибин, стягивая с себя рубашку и швыряя ее в кресло через всю комнату.— Нам теоретик нужен, царь природы, а ты этот... механизатор. От «Марты» не отходишь.

Он удобно расположился на широкой мягкой постели, прикрыв

волосатые ноги легкой японской накидкой с вышитыми драконами, сонно щурился на Геннадия. С удовольствием вспоминая, как вытянулось у Соловьева лицо, едва в разговоре было упомянуто имя Старика. Да, хорошо... А что нехорошо? Было что-то...

— Иди спать,— сказал он Геннадию.— А то новое начальство завтра скажет: «Не нужен нам такой заморенный...»

— Значит, шутите? — криво усмехнулся Юрчиков.

— А ты серьезного разговора ждешь?

Наконец-то Иннокентий Павлович вспомнил, что было нехорошо: ссора с друзьями. Даже не сама ссора, это пустое, завтра никто слова не скажет. Неприятно, что они оказались вроде бы правы, а он виноват. Сейчас он высказался бы куда логичнее.

— Давай серьезно,— сказал Иннокентий Павлович, впрочем, не столько Юрчикову, сколько отсутствующим друзьям.— Собрался уходить, так? От науки в аппарат, верно?

Юрчиков молчал.

— Если можешь уйти, уходи немедленно, Гена! Пока не поздно. Не сердись: нет в тебе, значит, призвания. Способности есть, не отрицаю. А призвания... Это разные понятия, дорогой. Да если бы мне в твои годы... На коленях бы полз, зубами цеплялся — только оставьте. Кем угодно! Хоть ящики грузить, хоть полы мыть в лаборатории!

Иннокентий Павлович так живо представил себе эту благородно-трогательную картину, так явственно увидел себя с мокрой грязной тряпкой в руках между лабораторными установками, вдохновенно устремившим взгляд в неизвестность, что и про сон забыл, спустив ноги с кровати, смотрел на Геннадия с непримиримым сожалением.

— Мыли? — поинтересовался Юрчиков.

— Что?

— Полы?

— Я к примеру говорю,— недовольно произнес Билибин.

— А, к примеру! Это называется имидж.

— При чем здесь имидж?

— Внушенный образ,— вздохнул Геннадий.— Полы моет в лаборатории, зубами за двери цепляется — только не гоните.

Иннокентий Павлович мог бы и рассердиться за дерзость.

— Амикус плято, сэд магис амика веритас! Не обижайся, Гена.

Разговор, судя по всему, завершился. Иннокентий Павлович вновь откинулся на подушку и закрыл глаза. Но Геннадий не ушел — ждал решающих слов.

— Иди в садовники,— вдруг произнес Билибин.— Пока не поздно!

— Воды дать или кофе? — деловито поинтересовался Юрчиков.

— Человечество начинает бояться нас. Наука из доброй волшебницы становится злой... Ты не думал об этом, Гена? Самое время уходить. Уйдем вместе, а? В садовники. Травка зеленеет, солнышко блестит...

Юрчиков слушал Билибина с нарастающим раздражением. Если бы Геннадий знал о причине, вызвавшей откровения Иннокентия Павловича, возможно, он не судил бы так строго. Впрочем, в этом случае он должен был бы не только знать, но и понять. Вряд ли Юрчиков сумел бы понять Иннокентия Павловича, если тот и сам не мог разобраться, что произошло с ним. Возможно, он поднимался на новую ступень познания, а возможно, наоборот: все его рассуждения о науке, которая стала угрозой человечеству, не более чем попытка оправдать свое бессилие, чтобы выйти из игры красиво.

Он отправился за водой, а когда вернулся, Билибин уже спал, во всяком случае, не откликнулся, когда Юрчиков позвал его.

IV

Николай Фетисов полез в потайную дырку на подкладке пиджака и обмер: пальцы провалились в дыру, не нащупав упругого угла десяти, которую он постоянно хранил в заначке.

— А-а, зараза! — заорал он и бросился в дом.

Жена, Клавдия, стирала. На кухне трудно жужжала машина, не справляясь с фетисовскими грязными рубашками; Клавдия с хрустом терла их после машины на стиральной доске.

— Клашка! — гаркнул Николай, врываясь на кухню и потрясая пиджаком. — Ну-к давай сюда деньги!

Клавдия разогнула спину, стряхнула в корыто пену с рук, вытерла их о передник и только тогда показала мужу кукиш.

— Клашка! — нехорошим голосом предупредил Фетисов. — Не доводи меня. Я тебе что сказал!

— Это на кого ты, пьяница, кричишь? — равнодушно и даже как бы сонно спросила Клавдия, обводя взглядом кухню в поисках подходящего предмета, который пришелся бы ей по руке.

Клавдия казалась невидной, щуплой — маленькая собачка до старости щенок, — но рука у нее была железная, ненормально тяжелая. Николай отступил к двери, чтобы в случае чего прикрыться, и стал бесноваться. Он кричал то, что в таких случаях кричит всякий уважающий себя мужчина: что он хозяин в доме, зарабатывает деньги на семью и все, все-е-е отдает ей; кормит, одевает и обувает всех; и оставил полностью дом, а ей, жадной заразе, все мало, и она захпала последнюю, «подкожную» десятку... И так как Клавдия молчала, Николай перешел на ее биографию и сообщил жене все, что думает по поводу ее родословной. Потом он начал громко жалеть себя, идиота, за то, что женился на такой хабалке, и перешел к отзывам соседей о Клавкином характере... Но тут в воздухе что-то мелькнуло, и Фетисов, едва успев загородиться дверью от тяжелого удара, выбежал из дому.

Да, это была катастрофа! Только что Николай предвкушал наслаждение от жгучей, хватающей горло струйки, которая проникает в желудок и отдает свой бодрый жар всему телу, вялому и болезненному после вчерашней крепкой выпивки. Превозмогаясь, морщась от головной боли, лазил в подпол, долго копался в кадке, выбирая из груды осклизших, прошлогодних огурцов парочку поядреней. Сладкая слюни подступившей тошноты, отрезал от бруса сала добрый кусок. И вот она стоит тарелка под яблоней с этими огурцами и этим салом, а он, трудяга, отдавший все силы семье, сидит на крылечке, подперев тяжелую голову кулаками.

Десятка, конечно, тьфу, ерунда! Николай знал двадцать способов раздобыть ее буквально из ничего, из воздуха. Можно было пойти к знакомым, взять аванс в счет будущей работы. Можно пообещать достать дефицитные цветные кафельные плитки и под это дело опять-таки взять денег. Возможностей существовало немало. За Николаем долг не заржавеет — это знали все. Не сразу, но отдаст; не отдаст, так отработает; не отработает — тоже невелика беда, найдет способ возместить. И не десятка была нужна Фетисову, а всего разнесчастный трояк. Но ни одна из этих возможностей сейчас не годилась, потому что Николай был сильно с похмелья, и любой, даже самый легковверный заказчик понял бы, что дело тут нечисто. К тому же Николая заело: никогда раньше жена не трогала его заначку и надо было как-то отучить ее, иначе потом жизни не жди.

Вернувшись, Николай подкрался к кухне: там по-прежнему жуж-

жала машина и всплескивала вода в корыте. Он тронул дверь. На задвижке!

— Клаш! — ласково проговорил Фетисов. — Открой. Давай по-хорошему. Дай трояк — и все, а? Что ж ты, не понимаешь? Надо же мне опохмелиться. Голова — чугунок. Неужто у тебя жалости никакой нет?

— Была у меня жалость — вся вышла! — хлестко откликнулась Клавдия из-за двери. — Ничего не получишь, не канючь понапрасну!

— Ладно! — опять взревел Фетисов. — Ты у меня поплачешь, только поздно будет!

Клавдия молчала. Он постоял, подумал.

— Ухожу я, Клаша. Не сердчай, если что не так...

Ни звука.

— Пашку... Пашку человеком сделай, не балуй его, — скорбно попросил Николай.

Клавдия словно бы притаилась. Это он расценил как хороший признак. Сейчас жена завоет, может, и обзовет всячески, но трояк выкинет. Однако из-за двери снова раздался яростный шум стирки. Фетисов застонал, заскрежетал зубами пострашнее и пошел прочь.

На тарелке с салом сидели две синички, жадно отклеивали от куска.

— Кыш, проклятые! — бросился к ним Фетисов. — Вас еще не хватало!

Огурцы он с размаху шмякнул о дальнюю яблоню, а сало понес в кладовую. Здесь было прохладно и тихо. Свет едва пробивался в маленькое оконце, косо и пыльно ложась на пол, заваленный рухлядью. Потолок терялся в полумгле, отчего казался высоким, как в церкви. И, как в церкви, торжественно и грустно стало вдруг у Николая на душе. Он присел на старый ящик, схваченный по углам железом, и стал думать о жизни: какая она подлая штука, пройдет — и не заметишь; сколько он настрадался в ней, а теперь, когда жизнь пошла хорошая, сытая и веселая, Клавка не дает развернуться...

Николай сильно преувеличивал, когда рассуждал о пережитых страданиях. Нет, жизнь была ему всегда не в тягость, а в радость. Поголодать пришлось только в войну, но тогда почти все голодали, ничего удивительного. А вот после войны, когда многие продолжали бедовать, он уже правильно жил. Его дружки еще в лапту играли — Колька к делу приучался, вместе с отцом работал по домам, копейка в их кармане всегда водилась. В последнее время жизнь совсем наладилась. Обнимал теперь Фетисов любимую жену на мягкой полированной кровати, словно какой султан турецкий; Клавдия летом, когда спать ложились засветло, этих зеркальных спинок кровати даже стеснялась — занавешивала. Из самой Москвы, а то даже из Лондона или Парижа им на дом футбол передавали — телевизор он недавно сменил, старый сдал, новый привез, экран — шестьдесят девять по диагонали, морды у футболистов порой на экране побольше фетисовской, с Пашкой недавно сантиметром измеряли на спор. Да что говорить! У Клавдии туфель одних теперь было четыре пары. Недавно квартиру чуть стгоряча не дали, но в последний момент спохватились: дом у него свой, не положено. Как ни спорил Николай, что дом Клавадин, а своего у него сроду не имелось, если не считать барака, в котором он родился и вырос и от которого давно уже следа не осталось, не дали. Одно из двух, говорят: или свой дом, или квартира. А если одно из двух, то катитесь вы подальше с этой квартирой! Сравнили хрен с морковкой: у Фетисова при доме сад с огородом да мастерская на три станка, не считая пыли-циркулярки. Конечно, жизнь пошла совсем другая, даже если ее с прежней, тоже не-

плохой, сравнивать. Вот это и было сейчас главным для Николая. Такая жизнь хороша, а Клавка, зараза, не дает развернуться!

Он думал так, а сам чутко прислушивался к звукам, доносившимся из дома в кладовую. Вот наконец хлопнула дверь; Николай вскопчил, заметался по кладовой. Если войдет, что делать? Пусть войдет, пусть увидит, до чего довела... Где-то тут, в углу, валялась веревка, которой он обычно обвязывал сухие деревья, чтобы повалить их в точном направлении — приходилось ему и этим заниматься. Ага, вот она, верный друг! Фетисов, привычно затянув узел, наладил петлю, обшарил взглядом потолок: так, порядок в танковых частях, вот она, балочка! Ловким, наметанным движением он перехлестнул веревку через балку, вскинул ящик на попа, забрался на него и закрепил веревку. В окошко он видел, как Клавдия неторопливо развешивала между яблонь белье.

— Я тебя отучу заначки трогать! — злоратно пробормотал Николай.

Клавдия не торопилась, на ящике стоять было неловко, а переступать он боялся — загремишь, ноги, пожалуй, поломаешь; ящик торчал высокий и узкий, как гроб, Фетисов едва вскарабкался на него. Немного подумав, он пошире раздвинул петлю и пролез в нее головой и руками. Теперь петля оказалась у него под мышками. Он еще немного подумал, и восторг охватил все его существо.

— Ты у меня запомнишь! — вдохновенно произнес он, оттолкнул ногами ящик, тот с грохотом упал, и Фетисов закачался под потолком весело и удобно, как в люльке. Немного, правда, давило под мышками, но это ничего, он готов был потерпеть. К тому же если раскататься посильней, можно дотянуться до полки, на которой лежал мешок с крупой и брус сала, передохнуть на ней.

Николай покачивался в петле и нетерпеливо поглядывал в оконце. Наконец Клавдия повесила белье; он подождал, пока в сенях не послышались ее шаги, и тогда закричал таким голосом, что и сам испугался, вытянулся в петле, безжизненно расслабив руки и ноги.

Когда Клавдия вбежала в кладовку, Фетисов сваял дурака: прижмурился для полной убедительности, а делать этого не следовало, в полумраке все равно не видать, какие у него глаза, открытые или закрытые. А вот какое у нее было лицо, когда она разглядела бездыханное тело мужа, медленно и страшно раскручивающееся под потолком, этого Николай не рассматривал. Он открыл глаза от грохота таза, выроненного женой, от ее отчаянного вопля. Схватившись за голову, Клавдия выскочила из кладовой. В окошко Фетисов увидел, как она, пошатываясь, идет по двору.

— То-то! — радостно сказал он. — А ты думаешь как?

Тут Николай немного заволновался: к жене подскочила соседка, бабка Селиваниха, заметалась, запрыгала вокруг. Клавдия, видно, что-то сказала ей, махнув рукой в сторону крыльца, и бабка исчезла. Фетисов собрался уже раскататься, чтобы встать на полку и скинуть петлю, но не успел: дверь распахнулась, на пороге появилась Селиваниха. Она долго подслеповато всматривалась в полумрак кладовой, шаря глазами по углам, и, ничего не разглядев, шагнула вперед. Николаю сверху бабка казалась кулем тряпья, из которого торчали взлохмаченные серые волосы. «У-у, карга старая! — подумал он со злостью. — Чего прилезла? Теперь пойдет язык чесать! Дать бы тебе пинка — во как удобно!» Однако он притаился и даже дышать перестал, надеясь, что бабка уйдет, так ничего и не заметив. Но Селиваниха, освоившись с темнотой, подняла глаза повыше и наконец-то увидела Колькины ноги, висающие в воздухе. Вскрикнув, она шарахнулась в сторону, приговаривая: «Свят, свят, свят!..» — но потом при-

молкла и принялась торопливо креститься. «Да пошла ты отсюда!» — чуть не крикнул Фетисов, но сдержался: бабка уже пробиралась к двери, придерживаясь руками за полку. И тут он отчетливо увидел, как Селиваниха, остановившись, воровато оглянувшись на дверь, сняла с полки брус сала и принялась запикивать его под кофту. Этого уже Николай никак не мог стерпеть, да и кто на его месте стерпел бы? Он с ненавистью плюнул сверху на бабкину голову и гаркнул что есть мочи:

— А ну положь, поганка, сало на место!

— А-а-а! — завизжала Селиваниха, раскинув руки и топая ногами, как маленькая. Она, видно, хотела бежать, но ноги не слушались ее, бабка, словно буксующая машина, не трогалась с места.

— Мотай отсюда, покуда цела! — снова гаркнул Фетисов.

И будто найдя наконец в этих словах точку опоры, Селиваниха перестала буксовать, рванулась к двери и с грохотом скатилась с крыльца.

Еще не придя в себя от бабкиного нахальства, Николай затанцевал в петле, стараясь поскорей дотянуться ногами до полки. Ему не терпелось освободиться от веревки, броситься вдогонку за Селиванихой, окончательно обличить ее и поставить точку в долголетних соседских междоусобицах. И опять он не успел: в коридоре раздались чьи-то быстрые, четкие шаги, в распахнутой двери возникла рослая фигура с блестящими белыми плечами. В дверях стоял лейтенант Калинушкин.

Фетисов струсил. До сих пор все, что проделывал он, было забавой, внутренним, семейным делом. Похоже, теперь игра кончалась.

Как бы по-приятельски ни обращался Николай к Калинушкину, а все равно в душе он всегда робел перед участковым. Робость эта шла из того теперь уже полузабытого времени, когда Фетисов не больно строго соблюдал закон и нередко посматривал, где чего бесхозяйственно лежит. И хотя теперь он был совершенно честным человеком, если не считать невинных проказ с доверчивыми заказчиками, когда ему позарез нужна была десятка, все же он предпочитал не иметь дела с милицией.

Надо бы Фетисову окликнуть бодро участкового или спросить: мол, что там бабы орут, не случилось ли чего на дворе, пока он тут занимается делами? А он растерялся. Да и времени у него уже не было: Калинушкин не раздумывая вбежал в кладовку, с ходу рванул ящик, с которого устранился в петле Николай, вскарабкался и вытащил из кармана складной нож. Над своей головой Фетисов услышал сосредоточенное сопение участкового и бормотание сквозь зубы нелестное в его адрес; веревка вздрогнула, и раздался звук, неприятно поразивший ухо Фетисова. Пряди веревки явственно потрескивали, поддаваясь усилиям лейтенанта. «Едрена вошь! — в страхе подумал Николай. — Ведь это я сейчас навернусь — будь здоров! У ящика-то края железом обиты!» Сопение над ухом усилилось, веревка была просмоленная, прочная, а нож, видно, тупой, но Калинушкин спешил, и пряди трещали все сильнее и чаще. «Вот, сейчас...» — обреченно подумал Фетисов и не в силах противиться страху, совершенно инстинктивно, крепко обнял участкового за плечи, чтобы удержаться в этот последний миг.

Калинушкин рванулся из Колькиных объятий молча, не вскрикнув, как подобает человеку, привыкшему по службе к неожиданностям и опасностям, но рванулся с такой силой, что тотчас полетел вместе с ящиком на пол и только здесь позволил себе охнуть. В ту же секунду рухнул на пол и Николай. Калинушкин сразу вскочил, размеренным шагом направился прямо к окошку, уткнулся в него, и

Фетисов, приоткрыв один глаз, увидел, что участковый пытается вылезти из окна, через которое могла проскочить, пожалуй, лишь кошка. Потом лейтенант повернулся, таким же размеренным шагом направился к двери; тут его сильно качнуло, и он уткнулся в стенку. Лишь третья попытка получилась удачной.

Фетисов живо поднялся с пола, скинул с себя проклятую петлю; охотнее всего он сейчас рванул бы куда-нибудь подальше, но этого никак нельзя было сделать. И страдальчески охая, прикрыв шею руками и перекосив физиономию, он поплелся на крыльцо.

Калинушкин сидел на ступеньках, тупо глядя перед собой, и курил, держа сигарету в прыгающих пальцах. Клавдия в беспмятстве лежала на скамейке. Возле забора, грязная и растрепанная, стояла Селиваниха, грозила кулаками и поносила Фетисова страшными словами.

Участковый, хмуро глянув на Николая, отшвырнул сигарету.

— Не уходи, сейчас протокол будем составлять.

— Протокол! — трагически произнес Николай. — Тебе бы только протоколы составлять. Тут смерть моя была, в глаза мне глядела, а ты — протокол! Валяй, составляй. Для чего ж ты мне жизнь-то спас? Чтобы, значит, протокол написать? Ну, погорячился я, Клашка вон довела. Разве от хорошей жизни полезешь в петлю?

— Хватит, Фетисов! — крикнул Калинушкин, вставая со ступенек. — Ты мне дурочку не строй!

Он подскочил к Николаю, развел его руки, с брезгливостью глянул на шею. Потом перевел взгляд ниже и ткнул пальцем в пиджак.

— Это что?

Николай покосился на палец участкового. Под пальцем поперек груди уходила под мышцы коричневая полоса — след просмоленной веревки.

— Так что? — удивился Фетисов. — Что я такого сделал? Выходит, лучше, если бы я голову в петлю сунул? И так жути натерпелся — ноги не держат. Это я со страху, Иваныч, петлю-то пониже сдвинул, а когда — и не помню, без памяти, значит, был...

— Ой, Коленька, живо-о-ой!

Клавдия, очнувшись, всхлипывая, повисла на мужниной шее.

— Живой, живой, — похлопал ее по спине Фетисов. — Не заводи больше. Знаешь небось, какой я бешеный, видишь, что получилось.

— Арестуйте его, товарищ участковый! Вот он что со мной сделал! — закричала от забора Селиваниха, яростно встряхивая оторванным рукавом платья.

— А ты помалкивай! — цыкнул на нее Николай. — Я на тебя еще заявление подам! Человек в петле висит, жена без памяти валяется, а она, вместо того чтобы помочь, сало норовит утащить. Хорошо, я очнулся вовремя, попросил не трогать, а то бы унесла.

Селиваниха плюнула и, охая, заковыляла к себе домой.

Калинушкин, присев у стола под яблоней, строчил протокол. Протоколы составлять он не любил не только потому, что вообще не уважал писанину, но главным образом потому, что протокол фиксировал очередное происшествие на его участке, которое он не сумел предупредить, а в последнее время только и разговору было о предупреждении нарушений. На этот раз Калинушкин писал протокол с чувством; другой рукой он держался за бок — падая с ящика, больно ушибся, мог, пожалуй, и ребро сломать.

— Прочитай и подпиши, — подозвал он Фетисова, когда закончил свою работу.

Николай долго, водя пальцем по строчкам, читал бумагу, но подписывать ее наотрез отказался.

— Что ж я, себе враг — такую клевету подписывать? — укоризненно сказал он.

— Все равно пятнадцать суток отсидишь! — ответил Калинушкин, погрозив Николаю пальцем.

Он пометил: «От подписи нарушитель отказался» — и не прощаясь пошел к калитке. Фетисов рванулся за ним.

— Иваныч! Погоди! Что я тебе скажу-то! — кричал он, лихорадочно соображая, как бы умиловить участкового. — Иваныч! — уже радостно завопил он, найдя наконец то, что было ему нужно. — Насчет цветов ты вчера спрашивал. Так порядок! Узнал!

Участковый обернулся.

— Кто? — выдохнул он.

— Это я тебе завтра скажу! — таинственно произнес Фетисов. — Есть слушок. Подтвердится — тогда, значит, все!

Лейтенант с сомнением поглядел на багровую физиономию нарушителя.

— Врешь? — небрежно спросил он.

— Ну, вру так вру, — уже совсем спокойно ответил Николай, который в долголетнем общении с заказчиками стал знатоком тончайших движений человеческой души, когда эта душа пытается за равнодушной небрежностью скрыть свою кровную заинтересованность.

— Так. Завтра. Ладно, посмотрим. А если опять врешь — гляди!

И Калинушкин, опять погрозив Николаю не то пальцем, не то кулаком, вышел со двора, сердито хлопнув калиткой.

— У-у, милиция! — перевел дух Николай. — Носит тут тебя не-легкая. Что я ему завтра-то скажу? А-а, придумаю... — И Фетисов, порядком уставший от всех волнений, которые выпали на его долю за последние полчаса, заспешил домой. — Клаш! — крикнул он весело. — Клашка, любочка моя, сбегай за бутылкой, а?

V

Гена Юрчиков всегда был человеком решительным. Прошлой осенью, когда он плыл с туристами по таежной реке, их плот завертело на пороге меж валунами, и вся шарага попрыгала со страху в воду, он один остался, изловчился, причалил к берегу. А на плоту, между прочим, было все их продовольствие и вся одежонка. И пробирались они глухоманью, и уже подмораживало по ночам.

Однако сейчас Геннадий чувствовал себя в высшей степени неуверенно и неуютно. Хуже нет, когда ставится под сомнение важное решение, принятое, обдуманное со всех сторон. Он уже смирился с мыслью, что придется уйти из института, начать новую жизнь. И вдруг странный вопрос Иннокентия Павловича: не раздумал ли работать вместе с ним? От нечего делать такие вопросы не задают. Ребята, перед тем как заперли его в пустом доме, внушали: поговори с Билибиным, поговори, не дави фасон! Иннокентий играет честно: от каждого по способностям и так далее; если он возьмет, считай — все! Такую разработочку подкинет — ни спать, ни есть не захочешь...

Хватит! Уже говорил...

Четыре года назад он пришел в институт, отказавшись от аспирантуры. На этот счет у него было свое мнение.

— Аспирантура для бездарей! — самоуверенно рубил он друзьям. — Покажи, чего стоишь на деле. А кандидатская? Замерят напряжение на вводе, замерят на выходе... История вопроса... Современный взгляд на проблему... Выводы... Словом, кандидатский минимум. Минимум!

Первое время он был в восторге от того, что работает вместе с

людьми, чьи имена знал еще первокурсником. Все ладилось у него, и все его хвалили и прочили большое будущее. А потом его заметил Соловьев.

Четыре года Василий Васильевич был ему как отец родной. Юрчиков даже стыдился друзей, когда Соловьев, отозвав его в сторонку, спрашивал строго: обедал ли? Геннадий отвечал, конечно, утвердительно, но Василий Васильевич всегда точно по каким-то признакам узнавал истинное положение дел и говорил:

— Ты обедал, а я нет, ну-ка пойдем, составь компанию!

И тащил Юрчикова с собой в институтскую столовую, как бы тот ни упирался. Случалось это довольно часто, поскольку он вечно сидел на мели: зарплату получал небольшую и часть отсылал матери. Нужно было помогать, отец ушел давно, дома осталась сестренка-школьница, мать работала медсестрой, тянулась из последних. И еще за комнату приходилось выкладывать, которую Гена снимал в старом Ярцевске. Хозяйка, правда, требовала со своего жильца деньги не каждый месяц, а лишь тогда, когда у Геннадия возникал роман; обнаружив любовное увлечение своего постояльца, она становилась мрачной, ворчливой и тогда уже безжалостно взымала с Геннадия старые долги, оставляя его без копейки. С жильем в научном городке пока было туго, комната Юрчикову нравилась хотя бы потому, что у хозяйки стоял телефон — редкость, по ярцевским понятиям, необычайная. Приходилось терпеть чудачества хозяйки, тем более что причина их для Геннадия не была секретом. Прямо над его кроватью висела фотография хозяйкиной дочери — славной смуглой беловолосой девчушки с куклой в руках; в натуральном виде эта девчушка, ныне вполне взрослая, жила где-то в Заполярье с паразитом и пьяницей мужем, вот уже третий год разводилась с ним и третий год со дня на день должна была вернуться под родительский кров, где ее уже ждал жених — человек молодой, непьющий, уважительный, с хорошей специальностью и недурной собой. Под женихом подразумевался Гена Юрчиков — хозяйка намекала на это обстоятельство весьма прозрачно. Так что все увлечения своего постояльца она пыталась пресечь, контролируя рублем.

Выручал Соловьев. Как-то, сунув в руки Юрчикова папку, небрежно проронил:

— Посмотри вечерком, будь любезен. Набросай свои соображения. Это оплатят.

В папке лежала рукопись, присланная на отзыв Соловьеву издательством. Геннадий добросовестно изучил ее, написал пространный отзыв. Василий Васильевич прочитал, восхитился:

— Прекрасно!

Перечеркнул почти все написанное, оставив страниц пять, подписался. Через неделю он протянул Гене несколько красных бумажек. Юрчиков стал краснее этих бумажек, но деньги взял.

Соловьев был в издательстве своим человеком, Геннадий скоро наловчился писать отзывы коротко, а главное — быстро, и жить стал немного посвободней.

Но больше всего подкупала Юрчикова серьезность, с которой Василий Васильевич отнесся к его работе. Другие хвалили Гену, но все с шуточкой: мол, давай, а то просто неудобно перед потомками, ни одного живого классика, экие, скажут, недотепы жили. На том все и кончалось. Соловьев никогда не хвалил Геннадия, сомневался почти во всем, что было сделано им, указывал то на случайность результатов, то на противоречие их основам теории, иногда ронял иронически:

— Лихо, но, увы, было!

— Страшное слово «было»!

— Когда? Кто? — злился Геннадий.

— Штирмлер. В одна тысяча девятьсот пятьдесят шестом году. Нашей эры.

Юрчиков бросался проверять, мчался к Соловьеву в институт или домой:

— Да у Штирмлера другое!

— То же самое, только с другого конца!

И как дважды два доказывал: то же самое.

Иногда Геннадий просиживал ночи напролет, обложившись книгами, уже не ради истины, только ради того, чтобы прижать к стенке своего учителя. Ни разу ему этого не удалось сделать. Ребята порой говорили: плюнь, тебя нарочно заводят! Он отмахивался. Ему было интереснее спорить с Василием Васильевичем, чем выслушивать несходительные похвалы друзей.

Несколько раз Юрчиков наткнулся в журналах на статьи Соловьева, в которых он одобрительно писал о работах Геннадия, точнее о работах, которые ведутся в стенах института.

— Это же для прессы, милый, не обольщайся! — предупреждал Василий Васильевич.

Через два года стало ясно: друзья не зря предостерегали его. Сделано было немало, но все по мелочам — ни одной самостоятельной разработки. Он сказал об этом Василию Васильевичу прямо, без обиняков, тот ласково положил ему руку на плечо:

— Ты прав! Время пришло: дерзай! Вот твоя тема...

Получив тему, Юрчиков, благодарный и счастливый, работал над ней год самозабвенно, без отдыха, пока не убедился в бесполезности поиска. В отчаянье он опять бросился к Соловьеву; тот рассердился:

— Стыдно! В науке, милый, все ценно. Ты сделал многое — доказал, что этот метод неэффективен, следует идти по другому пути...

Юрчикова премировали месячным окладом. Сгоряча он решил было отказаться от премии, однако не выдержал, взял — в кармане и рубля в то время не нашлось бы.

В новой книге Соловьева целая глава посвящалась исследованиям Юрчикова. Тот не знал, радоваться ему или возмущаться. Радоваться вроде бы нечему, результат оказался нулевой, возмущаться тоже не было оснований: Соловьев писал об исследованиях своего ученика с уважением, даже в двух местах дал к ним прилагательное «важные». Тогда-то Геннадий и подумал впервые: «Уйду! Надо уходить, пропаду здесь!»

Через год, в общем-то, случайная мысль стала решением. Василий Васильевич, узнав о нем, очень разволновался. Он упрекал Юрчикова в малодушии, обещал дать интереснейшие темы. Потом сказал твердо:

— Брось даже думать об этом, никуда не уйдешь! Ты хочешь сразу слишком много, так не бывает!

А через неделю неожиданно сообщил:

— Нашел я тебе место — лучше не придумаешь. Руководящая работа, оклад в два раза больше твоего, положение... Через два-три года замечать нас, грешных, не захочешь...

Юрчиков согласился не раздумывая. Заколебался он лишь там, в институтском коридоре, встретив Билибина, и вновь утвердился в своей решимости, когда тот равнодушно прошел мимо. Может, и прав Иннокентий: способности — это еще не призвание? Призвание — раз и навсегда, что бы ни случилось, как бы ни повернулась жизнь. Подвиг духа! Одержимость! Аутодафе на костре вдохновения! Выходит, он, Юрчиков, не готов к аутодафе... Во славу Соловьева? Верно. Не готов!

Но разве в этом дело? Раньше он жил в мире формул, координат,

констант и переменных — их призрачный мир казался куда более вещественным, чем сама реальность. Теперь Геннадий лишь вспоминал о нем, как вспоминают о прошлом, безвозвратном. Значит, и впрямь не призвание!

...За стеной похрапывал Иннокентий Павлович; Геннадий лежал на диване, вздыхал и прислушивался к тихим ночным шорохам за окном. Интересно, где шляется по ночам Светка? Вчера ее провожал из института новичок из второй лаборатории — здоровенный лоб с медной цепкой на бычьей шее, в клешах с пуговицами понизу, с походочкой штангиста: брюхо вправо, брюхо влево, ноги лень переставлять. С утра Юрчиков побежал наводить справки у ребят об этом типе; ничего особенного, даже не штангист, сечет слабо, хиппует... Что могла найти в таком Светка? Впрочем, теперь это не должно было его касаться.

Наконец ему надоело ворочаться с боку на бок, он нащупал в темноте сигареты, вышел на крыльцо.

Глухая ночь скрыла окрестности. Только верхушки сосен едва прочерчивались высоко в небе да еще выше изредка рокотали разноцветные светляки-самолеты. И все вокруг затоплял дурманый запах странных мексиканских цветов, похожий на аромат клейких молодых листьев, настоящий до горечи на губах.словно весна, собрав здесь все свои запахи, задержалась, осталась островком среди лета, бросала вызов подступающей осени...

— Гена? Ты?

Юрчиков от неожиданной радости слетел с крыльца не разбирая ступенек.

— Ты один? А где все? Иннокентий? — спрашивала Ирина Георгиевна, подходя.

— Ух, какая молодчина! — бросился к ней Геннадий. — Уехали все, Иннокентий спит.

— Ну во-от, — протянула Ирина Георгиевна очень довольная. — Я думала, тут веселье, а все уехали, и хозяин спит... С ума сошел, простудишься! Пойди оденься. Нет, не надо, Иннокентия разбудишь.

Она прижалась к Геннадию, скользнула ладонями по его голой спине; потянув со своих плеч пушистый платок, окутала им Юрчикова вместе с собой. Так они постояли несколько минут; вдруг Ирина Георгиевна поспешно оттолкнула его.

— Когда-нибудь я этому Билибину последние цветы оборву! — сказала она. — Голова кружится... Ты почему не спал?

— Ждал. Думал, не сообразишь.

— Недооцениваешь ты меня. Заявила категорически: мне скучно, пойду веселиться.

— Черт ты в юбке!

— У-у, — протянула Ирина Георгиевна, смеясь. — Я без юбки — черт!.. Ну молчу, все забываю: мой милочек — ханжа. И долго мы будем стоять?

Она потащила Юрчикова за руку напрямик через кусты, пока они не наткнулись на ограду.

— Куда я в таком виде-то? — засмутился Геннадий.

— Слишком много вопросов задаешь. Да помоги же, тюлень, — шепнула Ирина Георгиевна, становясь на перекладину и вглядываясь в темноту улицы. — Ну?

Геннадий помог ей перелезть через ограду, а затем и сам перемахнул на улицу.

— Садись! — приказала Ирина Георгиевна.

Возле забора стояла черная соловьевская «Волга».

Так уж повелось в их отношениях: она командовала, он подчинялся. С того самого дня, когда Юрчиков зашел к ним как-то прошлым летом. Василия Васильевича он не застал, собрался уходить, но Ирина Георгиевна остановила:

— Подождите, скоро вернется.

Они ждали допоздна: в разговорах время пролетело незаметно. Ей нездоровилось — все куталась в пушистый платок, несмотря на летнюю теплынь. Глянув на часы, Геннадий спохватился. Она сказала рассудительно:

— Куда вы на ночь глядя, ваша хозяйка давно закрылась на все засовы. Ложитесь вон на веранде...

Ночью она пришла к нему. Геннадий спал как убитый; когда проснулся и увидел ее рядом — испугался. В этот миг он подумал не о Василии Васильевиче — отношении его к Соловьеву уже определилось; он растерянно подумал о Светке. Все это было так неожиданно... «Сердце чуть не выскочило со страху», — признался он Ирине Георгиевне, вспомнив как-то об этой ночи. Она улыбнулась снисходительно: «Ну и что? Поймала бы и обратно поставила». Ирина Георгиевна была хирургом, и порой ее шуточки вызывали у Геннадия легкую тошноту. Наверное, решительность, которая отличала все ее действия, была профессиональной, а может, наоборот — профессию она выбрала по характеру.

Машина вырвалась из городка и полетела пустынным шоссе, расстилая перед собой белое полотнище света. Ирина вела «Волгу» по-мужски, не жалась из-за темноты к осевой, гнала впритык к обочине, едва придерживала баранку. Оба молчали. Геннадий сердился на нее, а еще больше на себя за то, что позволяет ей командовать, говорить пошлости, прыгать через ограду, у которой есть калитка, бешено гнать машину в ночь. Возможно, она хотела замаскировать разницу в их возрасте? Но зачем? Его тянуло к ней, и она это знала.

— Тебе Билибин что-нибудь говорил? — нарушила наконец молчание Ирина Георгиевна.

— Говорил. Как, мол, ты можешь эту нахальную бабу терпеть?

— Очень остроумно, — улыбнулась она. — Наверное, в своем Уральске ты был неотразим... Между прочим, приходил Иннокентий к Василию Васильевичу. Хочет тебя забрать...

— Давай не будем об этом, — попросил Юрчиков.

— Не имею права?

— Как-нибудь сами разберемся.

— Дурачок, — грустно произнесла Ирина. — Твоя судьба решается. Василий очень обеспокоен. Ты знаешь, как он к тебе относится.

Юрчиков промолчал. Он не знал, как к нему относится Василий Васильевич. Слишком много было исходных данных. Опекал, помогал, возился. Любимый ученик. А в результате...

— Думаешь, у Иннокентия будет лучше? — осторожно спросила Ирина.

Ничего он не думал. Лучше, хуже. Не те категории. Было бы настоящее дело. А если и у Билибина его не будет? Ребята говорят: Иннокентий играет честно. Три года Юрчиков был уверен, что и Соловьев играет честно.

— Вот так же и Василий когда-то метался, как ты.

Можно было бы и обойтись без семейных воспоминаний. Уж во всяком случае не мчаться из-за них ночью бог весть куда. Очень, очень интересно: Василий Васильевич метался... И они решали...

— Решили?

— Решили, — спокойно ответила она, не замечая или не желая замечать иронию в его голосе. — Я рано все поняла.

— Что — все?

— Жизнь. Людей. Сильный командует. Знаешь, почему женщины любят знаменитых? Инстинкт. Неосознанная надежда на продолжение сильного рода.

— Было,— поморщился Геннадий.— Волки и овцы. Заранее извиняюсь, вы кто по этой системе будете?

Ирина лишь погладила ласково Геннадия по плечу, как бы молчаливо напомнив о его неотразимости в родном Уральске, упрямо продолжала:

— Есть степень таланта, правда? Способности, талантливость, гениальность. Перевернуть все вверх дном, осветить неведомое, повести всех за собой — это я понимаю.

— Хочешь сказать — я не гений?

— Нет, просто взвешиваю. На одной чаше — работа. Интересная, нужная, творческая, конечно. В итоге получишь степень, что-то там рассчитаешь, в лучшем случае... ну, не знаю... откроешь чего-нибудь. Если очень повезет. Это уже потолок. А на другой чаше — власть! — Она постаралась, чтобы голос прозвучал буднично.— О ней считается неприличным говорить, а почему, собственно? Это тоже творчество, только здесь ты проявляешь себя целиком, становишься словно бы в сто, в тысячу раз сильнее и умнее потому, что умножаешь свои усилия на усилия многих. Конечно, сам решай, но если бы я...

— Кто же тебе мешает? — пробормотал Юрчиков в смятении.

— Я баба,— ответила она, и глаза ее блеснули мягко и влажно.— Для меня это важнее всего...

Двадцать с лишним лет назад они шли с Соловьевым ночным городом, влюбленные и бесприютные, забрели в какой-то скверик, целовались на скамейке. Василий оказался совсем простачком, даже целоваться не умел. Он учился тогда в университете, она работала в большой клинике секретарем у главного врача — знаменитого хирурга. Хирург, властный, сильный и умный человек, казался Ирине богом. Все трепетали перед ним и были отменно любезны и почтительны с ней, потому что она была его секретаршей и, как думали все, его любовницей. Ирина стала бы его любовницей, если бы он захотел. Однажды главврач сказал, что задержится после работы, она может идти домой. Но Ирина тоже осталась и весь вечер просидела в приемной в сладком страхе, ожидая, когда он позовет ее. Он не позвал. А вскоре главврача сняли. Он пришел как-то, улыбнулся ей, как улыбались все, говорил избитые комплименты, глупо шутил. Когда он ушел, Ирина заплакала от разочарования.

Нового главврача Ирина хорошо знала. Раньше он, так же как все, говорил ей пошлости в приемной, улыбался, иногда дарил конфеты. Теперь — откуда взялось? — в кабинете сидел сильный, властный, умный человек. В него, правда, Ирина не влюбилась, поскольку богом он стал уже на ее глазах. Она сделала вывод: власть делает человека интересным, умным, значительным...

А Василий был совсем логух. Она познакомилась с ним в очереди за билетами в кинотеатр, с ним и Иннокентием Билибиным. Оба ей сначала не понравились: молокососы — студентики, мальчишки. Однако Иннокентий вскоре заинтересовал ее. Она привыкла к людям самостоятельным, серьезным, но люди эти жили сегодняшним днем, целиком поглощенные им. Иннокентий весь рвался в прекрасное будущее. Все, что до тех пор произошло в науке, произошло до него и поэтому страдало ошутимыми дефектами, которые именно он, и больше никто, должен был устранить, открыв перед наукой новые блистательные перспективы. Роман их протекал бурно: ссорились и мирились. Пока

дело ограничивалось вздохами под луной в скверике, долгими прощаниями в темном подъезде и чаем с вареньем в комнатке, за стеной которой, у соседей, осторожно покашливали Ирины родители, все шло хорошо. Но когда она из самых лучших побуждений попыталась объяснить Иннокентию устройство мира, тайные пружины, которые приводят в движение людей, определяют их отношения и поступки, тот стал нервничать.

А потом Иннокентия исключили из университета, он уехал учиться в другой город. Если бы Иннокентий проявил настойчивость, она бы поехала к нему. Но писал он редко и все о каких-то посторонних предметах. А потом и совсем перестал.

Василий Васильевич в то время казался ей мальчишкой, тоже мечтал о новых горизонтах, но Ирина Георгиевна очень быстро поняла, что в нем она не разочаруется.

Ну что ж, Ирина Георгиевна рассчитала точно. Так оно и случилось.

— Ирина, ну остановись же, — еще раз попросил Юрчиков.

— Глупый, — ответила она, очнувшись от воспоминаний. И, притормозив, свернула с шоссе на глухой, убегающий в рощу проселок.

VI

День у Соловьева, как всегда, был расписан по часам. Сначала к Старику, затем на службу, потом в издательство и наконец на прием в Дом культуры. На прием Василию Васильевичу очень не хотелось ехать. Делегация, которую принимали там сегодня, была не ахти какого уровня, соответствовал ему и уровень приглашенных. Поэтому рассчитывать на полезную встречу с людьми, занимающими в обществе известное положение, с людьми, с которыми Соловьев старался поддерживать постоянный контакт, не приходилось. Однако сегодня он был дежурным членом правления Дома культуры, ехать надо было, хотел он этого или нет. Что поделаешь: раз на раз не приходится, сегодня так, а завтра иначе. На прошлом приеме он сидел рядом с Олегом Ксенофонтовичем, и тот остался очень доволен, когда Соловьев парировал пару каверзных вопросов, подкинутых зарубежным корреспондентом.

Он не стал будить жену. По всем признакам, она вернулась только под утро. Мотор еще не остыл, в машине не выветрился запах духов и табачного дыма. Василий Васильевич во избежание осложнений никогда не думал о жене плохо. На длинной дистанции их супружеской жизни она сумела сохранить преимущество, которое имела на старте. Соловьев давно уже считался уважаемым и даже заслуженным членом общества, перспективы у него открывались еще более радужные, а для жены, похоже, он оставался все тем же Васенькой, которого она учила некогда по обширной программе — от поцелуев до жизненных принципов. Василий Васильевич подозревал, что она сознательно поддерживает их отношения на таком выгодном ей уровне; порой жена бывала совершенно безжалостна в утверждении своей власти, поводы она находила легко. Так или иначе, вопреки или благодаря стремлению Ирины Георгиевны командовать, авторитет ее в глазах мужа стоял неизменно высоко. Василий Васильевич просто проветрил машину, опустил боковые стекла, и тотчас мысли его переключились на другой предмет.

В Дом культуры не хотелось ему ехать еще по одной причине. Там работала Люся — женщина миловидная, с ярко нарисованными «под Нефертити» глазами, но вместе с тем столь наивными, что у лю-

бого тотчас возникало сомнение в этой наивности, а у некоторых — желание разрешить свои сомнения. Василий Васильевич был в числе последних, и с некоторых пор его поездки в Дом культуры значительно участились. Люся оказалась действительно наивной. В первый же вечер он узнал, что все люди — хорошие, кроме тех, конечно, которых ругают в газетах и по телевизору, и что самое большое счастье — приносить пользу обществу. На другой день Василий Васильевич спросил:

— Ну, Люсенька, куда пойдем?

Она, не раздумывая ни минуты, ответила:

— В картинную галерею.

— Куда-куда? — поразился Соловьев.

— Я там уже тысячу лет не была, месяца два, — пояснила Люся.

И она тут же стала доказывать, что не ходить в сокровищницу русского искусства хотя бы раз в месяц — преступление.

К своему поклоннику Люся относилась с величайшим почтением, считая его Человеком с большой буквы: она видела, сколько сил и времени Василий Васильевич отдает людям. Судя по всему, она должна была всерьез принять их отношения; наверное, втайне не раз мечтала о будущем, в котором они вместе приносили бы пользу обществу и вместе хотя бы раз в месяц ходили в картинную галерею: молодая, красивая жена и уже не первой молодости, но элегантный, с седыми висками муж-ученый. Но ни разу ни единым словом она не обмолвилась о своей мечте. Девушка забавляла и умиляла Соловьева, но недолго: встречи их почти совсем прекратились. Однако он по-прежнему испытывал к ней самые добрые чувства. Встречая теперь Люсю в Доме культуры, Василий Васильевич ощущал неловкость, когда она ласково здоровалась с ним: в ее наивных подрисованных глазках он замечал немой, но настойчивый вопрос.

...Поездки на машине за рулем бодрили Соловьева лучше утренней гимнастики. Шоссе казалось ему символом жизни. Здесь все торопились, обгоняли друг друга, нетерпеливо сигналили и ругались, если какой-нибудь бедолага, задрвав капот посреди дороги, лез в заглохший мотор, с трудом притормаживали у светофоров, чтобы рвануться вперед не на зеленый — на желтый свет, опередить других. Соловьев вел машину легко, уверенно, не рискуя слишком, но и не давая оттереть себя, пропуская вперед лишь самых оголтелых.

И часа не прошло, как Василий Васильевич уже входил в невысокое старинное здание в центре города, отделенное от шумных улиц стеной пыльных лип. Для Соловьева этот старинный особнячок был как дом родной, все знали его здесь, и он всех знал. Как бильярдный шар от борта к борту, двигался он по коридорам особняка от одного знакомого к другому, потом очень ловко проскочил, словно в лузу, в кабинет шефа мимо других посетителей, ожидавших приема.

Шеф не жаловал Василия Васильевича, и тот знал об этом. Больше того: Старик очень благоволил к Иннокентию, о чем Соловьеву тоже было известно. Но он прекрасно понимал, что не идти к Старика в такой ситуации значило бы отдать инициативу Билибину: тот наговорит с три короба и тогда придется обороняться. Инициатива решает все — Василий Васильевич давно усвоил эту истину. Ум, талантливость, порядочность — все не шло ни в какое сравнение с инициативой. Пока умные думали, пока талантливые создавали и порядочные демонстрировали свои высокие качества, Соловьев действовал, уступая лишь тем, кто действовал талантливее, умнее и активнее его. Но не так уж часто встречаются люди, которые обладали бы всеми этими качествами сразу.

Шефа Василий Васильевич побаивался. Старик находился уже в

том возрасте, когда любой самый мелкий промах, который прежде не обратил бы на себя внимания, воспринимается многими как явственный признак наступившей старости. Мысленно Василий Васильевич не называл его иначе как «старая перечница», но всякий раз переступал порог шефа с трепетом душевным.

Старик был Основоположителем. Но, конечно, не это определяло отношение к нему Соловьева, для которого прошлое всегда было только прошлым. Старик имел громадные связи, к его мнению уже лет тридцать прислушивались «на самом верху». Это было поважнее. Но даже не это столь серьезное обстоятельство вызывало у Василия Васильевича чувство почтения в беседе с шефом. Старик, несмотря на то, что отец и дед его были известными столичными профессорами, а его жизнь прошла в общении с лучшими умами века, не стал интеллигентом. Во всяком случае, в том смысле, который придавал этому понятию Соловьев. Истинно интеллигентных людей Василий Васильевич ценил высоко: они отличались деликатностью и скромностью, с ними было приятно общаться и легко вести дела. Старик же обладал характером разбойника. Коварный, не знающий жалости, готовый прибегнуть к любым, даже самым низким средствам, чтобы выиграть бой, он восхищал одних, внушал почтение и страх другим. По счастью, вся его деятельность, в том числе и разбойная, велась во имя науки, и жертвами его становились люди, которые мешали ей. Василий Васильевич имел все основания восхищаться им, как восхищались другие, но ничего не мог поделать с собой: боялся старого изверга. Хотя страх этот не выказывал и держался, как всегда, с достоинством.

Чем менее жаловал хитрый Старик человека, тем обходительнее был с ним. Соловьева он принял очень любезно. Даже, подчеркнуто побряхтывая, вылез из-за стола, просеменил по паркету, чтобы сесть рядом в одно из старинных кресел, уютно расставленных в углу кабинета. Изможденное лицо Старика (он никогда не болел и по сей день был крепок, как бетонный столб) источало в эту минуту любезность каждой своей морщинкой, и человек неопытный мог влипнуть в эту сладость, как муха. Но Василий Васильевич знал, с кем имел дело. Он по-деловому — коротко и толково — информировал шефа об институтских делах, и тот перестал сочиться медом, придирчиво поглядывая на Соловьева из-под приспущенных старческих век, время от времени фыркая в носовой платок, словно бы недовольный Василием Васильевичем, а возможно, действительно недовольный тем, что собеседник не давал сегодня ни малейшего повода быть с ним любезным. Соловьев знал, что в таком настроении шеф не опасен: самое большее — может выдать изречение насчет нынешних умников, которые в твисте вывихнули себе мозги, да и то в абстрактной форме, не указывая высушенным пальцем. Но Соловьев все равно не сменил делового тона, спросил сухохато, будто продолжал прежний разговор:

— Что вы скажете, если нам увеличат штаты?

Старик встрепенулся и опять стал опасно приветливым.

— О-о! Кто? Олег Ксенофонович, конечно?

— Их еще надо получить, — уклонился Соловьев.

— Получите! — сказал шеф необыкновенно приветливо, почти пропев это слово дребезжащим тенорком, и Василий Васильевич внутренне содрогнулся. — Вы маг и кудесник. Сколько вам дают?

Василий Васильевич чувствовал на себе иронический взгляд светленьких безгрешных глаз шефа и понимал, что Старик уже прикидывает, сколько новых сотрудников он отберет и отдаст туда, где, по его мнению, они будут нужнее. Приходилось идти на это, чтобы обеспечить свои интересы; он продолжал уверенно вести разговор к цели:

— Боюсь, совсем не дадут.

И он сдержанно, в нескольких словах рассказал о вчерашнем визите Иннокентия, добавив, что Олег Ксенофонович, который очень просил подыскать ему молодого толкового работника, будет, естественно, огорчен, да и о судьбе парня следовало бы подумать.

Шеф ласково накрыл ладшкой руку гостя:

— А мы вот что сделаем: дадите Билибину трех-четырёх новых сотрудников, он и успокоится.

«Бандит старый! — взвыл про себя Василий Васильевич. — Трёх-четырёх! Что мне-то останется?» Он промолчал, пытаясь хотя бы таким образом выразить несогласие, но Старику наплевать было на протесты, тем более молчаливые.

— Как Олег Ксенофонович? — спросил он, давая понять, что прежний разговор окончен и решение, принятое им, обсуждению не подлежит. — Давненько его не видел? Ещё не защитился?

— Не знаю, — скучно ответил Василий Васильевич и тотчас приободрился, повеселел, а затем и вовсе заликовал, простив шефу все за этот невинный, казалось бы, вопрос. Олег Ксенофонович должен защищать ученую степень! Приятная новость. Весьма! — Вряд ли, — произнес он, пряча глаза от коварного старикашки.

— Ах, ну да, вы бы знали, — добродушно усмехнулся шеф.

— В нашем издательстве его рукописи не было... А с бумагой нынче плохо. Сегодня, кстати, план утверждаем. У вас пожеланий нет?

Старик оставил без ответа заманчивый для многих, но совершенно никчемный в его положении намек. Шеф считался лицом неприкосновенным, персоной грата, его книги проходили в издательстве без всяких осложнений. Задумавшись, забыв свою любезную роль, он отрешенно, пусто смотрел перед собой, собрав морщины в неприятную гримасу: он размышлял о самом Соловьеве. Шеф давно стал любезным с Василием Васильевичем; и не раз карьера этого энергичного и толкового, в общем-то, человека готова была рухнуть, едва оформившись. Но каждый раз, когда Старик собирался учинить такое злодейство, он заставлял себя в последний момент давать отбой, поскольку оказывалось, что без ущерба для дела расправиться с Соловьевым было никак нельзя. В свое время он долго не утверждал назначение Василия Васильевича на должность, которую тот ныне занимал. В разбойничьей душе шефа жила святая юношеская вера в возможности Человека, не всякого, разумеется, а такого, у которого они, эти возможности, имелись. Так, например, Иннокентий Билибин, по его мнению, вполне мог, если бы захотел, стать солиднее, сдержаннее, респектабельнее, что ли... Старик, для которого Иннокентий, как и все прочие, был человеком еще совсем молодым и, следовательно, окончательно не сформировавшимся, много раз проводил с ним воспитательные беседы, надеясь, что тот осознает свои недостатки и станет совершенствоваться. Старику очень хотелось видеть Иннокентия на той должности, которую временно занимал Василий Васильевич, и поскольку Билибин с готовностью соглашался отнестись к себе ответственно и признавался, что сам нередко страдает от вздорного характера и легкомыслия, шеф все больше верил в реальность своих планов. Но как раз в это время пошли настойчивые разговоры о том, что Иннокентий Павлович в Прибалтике сорвал научную конференцию. Кстати, эта история, став фольклорной, получила концовку новую и куда более яркую. Когда Иннокентия спрашивали, верно ли, что он нажал кнопку, вызвав тем самым переполох в президиуме, хохот и аплодисменты всего зала, Билибин небрежно отвечал: «Что-то было... Не помню». Вызванный к Старику, он не отпирался и лишь к концу неприятного разговора вспомнил, что сумел побороть соблазн,

добавив ворчливо, что весьма сожалеет об этом. Выпроводив непутевого Билибина, шеф тотчас же подписал приказ об утверждении Василия Васильевича. Что там говорить: организатор он был прекрасный!

Вот и сейчас, когда кругом стонут от сокращения штатов и шеф не далее как третьего дня самолично составлял ехидную бумагу в соответствующие инстанции, разъясняя разницу между служащими, занятыми входящими и исходящими, и научными работниками — производителями, создателями... приходит Соловьев и так, между прочим роняет: «Что вы скажете, если нам увеличат штаты?» Чудеса! Разумеется, Старик отлично знал технологию этих чудес. Но что поделаешь.

Соловьев ждал, что шеф все же выскажет пожелание, попросит не за себя, конечно,— за кого-нибудь. Но тот, очнувшись, резво вскочил с кресла, склонился перед Василием Васильевичем в поясном поклоне, даже ногой пришаркнул:

— Не смею задерживать, любезный Василий Васильевич!

Соловьев был доволен визитом. Старик мудр: Иннокентий непременно успокоится, если подкинуть ему нового сотрудника. Одного, от силы двух, но, конечно, не четырех, как предлагал шеф. Нет уж, дульки! Или еще лучше так: пообещать четырех, а дать одного. Впрочем, теперь, когда он узнал, что Олег Ксенофонович собирается защищаться, еще следовало решить, отпускать ли Юрчикова. Теперь Соловьев был уверен, что новых сотрудников он получит обязательно. Тогда и осуществится заветная мечта — капитальный научный труд, который поставит его имя вровень с именами великих. В конце концов, не боги горшки обжигают; он считал, что великие умы — это прежде всего великие организаторы.

От шефа Василий Васильевич направился в издательство, пробыл там до обеда и лишь во второй половине дня появился в институте.

Говорят, что на людей удача действует подобно катализатору: хороший человек становится лучше, дурной еще хуже. Глядя на Соловьева, который первым, едва завидев, раскланивался с сотрудниками направо-налево и даже останавливался, чтобы спросить о здоровье, успехах на работе и в личной жизни, можно было прийти сразу к двум выводам: что Василий Васильевич удачно провел день, что он несомненно хороший человек.

А день и впрямь оказался удачным: заседание в издательстве прошло на высоком уровне. С бумагой, как всегда; было туго, и ученые — представители различных институтов, отстаивая свои интересы, вели борьбу не на жизнь, а на смерть: пожилые — излишне горячась, сбивчиво, обижаясь, если им возражали, молодые — с усмешечкой, демонстрируя интеллект и неотразимую логику. Василий Васильевич, едва заседание началось, тотчас произвел визуальную разведку. Она дала благоприятные результаты: главное, не присутствовал давний недруг, некий профессор, единственный человек в издательстве, при котором Соловьев сознавал свое бессилие, и не потому, что профессор обладал недюжинным умом и знаниями, а просто потому, что презирал условности, излагая свое мнение в такой форме, что иные закрывали уши ладонями. Спорить с ним никто не решался: все силы уходило на то, чтобы сохранить свое достоинство.

Рядом с Василием Васильевичем, как всегда, сидел славный паренек из какого-то малоизвестного института, этот все понимал правильно, всегда поддерживал своего солидного соседа и, в свою очередь, пользовался его поддержкой. Современный оказался паренек, Соловьеву он очень нравился. И директор издательства, милейший Петр Данилович, пришел сегодня; скромно примостившись в углу комнаты, помалкивал, редко поднимал глаза от пола; всем своим видом подчер-

кивая: вам принимать решения, мне исполнять. Но Василий Васильевич знал, что дело обстоит как раз наоборот, и давно уже решал все вопросы непосредственно с Петром Даниловичем, с которым находился в наилучших отношениях, еще более укрепившихся после того, как Соловьев организовал ему в прошлом году интересную командировку за рубеж.

Заседание шло своим чередом, пепельницы заполнялись окурками, и пустели бутылки с минеральной водой, и уже молодые члены совета не улыбались скептически, сидели вялые, незаметно доставая из карманов пенальчики с валидолом, в то время как пожилые все больше горячились, оживлялись и лица их, помолодевшие от потного румянца, выражали явное удовольствие.

Василий Васильевич не возражал, когда речь шла об издании работ беспорных, признанных, но если мнения разделялись...

— Товарищи, не забывайте! — говорил он напористо. — С бумагой плохо, давайте отбирать лучшие работы, действительно достойные!

Заметив возле Петра Даниловича свободный стул, он переместился и, выждав, пока взгляды ученых коллег, устремившиеся вслед за ним, обретут прежнее направление, шепнул:

— Петр Данилович, дорогой, Олег Ксенофонович диссертацию заканчивает...

— Когда?

— Скоро. Вы же знаете — он человек скромный, непрacticalный, в наших делах новичок.

— Н-да-а!.. А план-то сегодня утвердим.

— Вон сколько работ отвергли! Объявим дополнительно Олега Ксенофоновича — вот и все. Не ждать же ему целый год.

Директор скосил на Соловьева желтые, словно прокуренные глаза, чуть заметно кивнул.

— Придумаем. Супруге поклон. Мы с женой недавно ее вспоминали.

— Что-нибудь нужно? — встрепенулся Василий Васильевич.

— Если не затруднит...

Петр Данилович излагал свою просьбу, словно чрево вещатель, почти не шевеля губами и не поворачиваясь к Соловьеву — весь внимание к происходящему; он никогда не позволял себе выказывать неуважение к собеседнику. Просьба-то была чепуховой: помочь родственнику, опять стал хворать, бедняга. Когда-то, лет пять назад, Ирина Георгиевна его вылечила. Никто не мог, она вылечила. Теперь снова приступ за приступом. Да, он знает: Ирина Георгиевна не в клинике, как раньше, а в простой районной больнице. Да, знает: далеко... Нет, никуда больше не хочет, верит только Ирине Георгиевне. Очень милый человек, работник телевидения, если нужна бумага с работы...

Соловьев заверил, что никакой бумаги не нужно, жена все оформит сама. Пусть на днях этот родственник и подъедет не откладывая...

Василий Васильевич не любил оставаться в долгу, тем более что просьба оказалась незначительной и даже приятной в некотором отношении.

Словом, он вернулся в институт очень довольным. Поднимаясь к себе в кабинет, Василий Васильевич услышал в коридоре знакомые голоса и остановился.

— Значит, предлагаешь изменить режим?

— Поставить на дельту.

— И?

— И!

— Фью-фью.

— Тогда не знаю.

— Это уже нечто!

У окна в коридоре, поставив ботинок на подоконник так, что штанина, задравшись, обнажила худую волосатую икру, пристроился Иннокентий Павлович. Рядом с ним на подоконнике, обхватив ноги руками и упершись подбородком в колени, сидел Гена Юрчиков.

— Эй вы! — сказал Василий Васильевич, подходя. — Хватит учеными прикидываться, все равно не обманете!

И так это он весело и добродушно сказал, что Билибин с Юрчиковым даже улыбнулись в ответ.

— Да, — сказал Иннокентий Павлович, — тебя не проведешь...

— Эй вы! — повторил Василий Васильевич, обнимая обоих за плечи. — Чего здесь сидите, пошли ко мне, дело есть!

— Срочное? — спросил Билибин с подозрением.

— Очень. Нас один симпатичный француз ждет.

— Вот такой, что ли? — Иннокентий Павлович обозначил ладонями в воздухе очертания пузатого сосуда; видел он этого «француза» недели две назад в кабинете Соловьева, когда приезжали в институт чешские коллеги.

— Одно у тебя на уме, — недовольно ответил Василий Васильевич. — Совсем не такой. Вот какой.

Рассмеявшись, он нарисовал в воздухе узкий сосуд.

— Не ходи, Гена, — лениво произнес Иннокентий Павлович. — Начальство задарма французским коньяком угощать не станет.

— Вот зануда! — скривился Василий Васильевич. — Сиди себе бубни. Пойдем, Гена.

Юрчиков, извиняясь перед Билибиным, развел руками: мол, приказы не обсуждают.

— Ну, был? — спросил Соловьев, едва за ними закрылась дверь кабинета. — Какие впечатления?

Геннадий потупился.

— Не был...

— Как не был?

— Не пошел.

— И когда пойдешь, если не секрет?

— А я вообще не пойду! — бойко ответил Геннадий.

— Прекрасно! — воскликнул Василий Васильевич, с неодобрением покачивая головой. — А дальше что?

— В каком смысле? — опять бойко и даже весело спросил Юрчиков.

С ним бывало такое: в трудные минуты находило на него странное состояние, охватывало необыкновенное веселое спокойствие. Все трин-трава, только интересно, чем кончится. Он ждал, что Соловьев рассердится не на шутку; конечно, нехорошо получилось, несерьезно. Но, к его удивлению, тот не выказал никаких признаков гнева, наоборот, был, кажется, доволен.

— Может, оно и к лучшему, — добродушно произнес он. — Значит, еще поработаем?

Геннадий промолчал. Что он мог ответить? Иннокентий Павлович ничего определенного не сказал, но так разговор повернул, будто уже в курс дела вводил...

Потянувшись через стол, Соловьев лаского потрепал Геннадия по плечу.

— Не могу! Все знаю, все понимаю... Одного не пойму: зачем Билибин тебе голову морочит? Нет у него свободной должности, не может он тебя взять.

Юрчиков поднялся.

— Что решил? — полюбопытствовал Василий Васильевич.

— Не пропаду. Не только света, что в окошке!

— Ну разумеется,— засмеялся Василий Васильевич.— Парень ты способный, тебя в любом месте с радостью... Будешь устраиваться, позвони, такую характеристику дам — в рай и то примут.

Все трын-трава, и даже интересно, что дальше будет. Жаль! Иннокентий только что такого ежа в череп сунул — блеск! Теперь бы сидеть да рассчитывать!

— Жалеть не будешь? Погоди-погоди,— заторопился Василий Васильевич, увидев, что Юрчиков повернулся уходить.— Я же тебя с французом не познакомил. Давай за твой успех на новом месте!

Он открыл дверцы небольшого бара, встроенного в стол — скорее дань моде, чем необходимость, не так уж часто посещали институт гости,— достал бутылку с яркой этикеткой. Но Юрчиков уже был возле двери.

Нет, напрасно Геннадий сомневался в добром отношении Василия Васильевича. Все нравилось тому в молодом ученом: и ум пытливый, и способность работать сутки напролет, и скромность, а больше всего детская, иначе не назовешь, нерасчетливость в житейских делах. Василию Васильевичу казалось, что Гена Юрчиков этими качествами очень похож на него (здесь он был неоригинален, люди обычно считают самыми точными фотографиями те, где они лучше всего выглядят). И не было ничего удивительного, что он старался всеми силами и способами удержать Юрчикова при себе, как нет ничего удивительного в желании иных из любви удержать при себе детей до седых волос. Может, кто и скажет, что Василий Васильевич заболел скорее о своих интересах: Геннадий был отличным помощником. Может быть. Но это совсем не исключало того чувства, которое испытывал он к своему ученику даже тогда, когда сватал Юрчикова Олегу Ксенофонтовичу. Слишком уж соблазнительной показалась ситуация: и парню небывалая удача, и новые работники, значит, новые возможности для самого Соловьева... Он был уверен, что Геннадий останется. Без званий, без своих работ, без связей куда он пойдет? Начинать все с нуля? Здесь, по крайней мере, его знают и ценят, и он об этом знает, хотя и не ценит. Василий Васильевич даже был рад, что все так обернулось: жизнь даст урок молодцу, успокоится, блудный сын, поймет урок и не станет требовать слишком многого.

...Удача сопутствовала Соловьеву до самого вечера: в Доме культуры вместо Люси дежурила другая девица, и Василий Васильевич, не травмированный немymi вопросами в Люсиных глазах, провел прием делегации в хорошем темпе, не тратя драгоценного времени гостей.

VII

Иннокентий Павлович с трудом верил, что старушка с лицом сухим и морщинистым и есть тетя Даша Селиванова. Он помнил ее краснощекой крикливой молодой, наводившей страх на замужних соседок своей красотой и любовью к мужскому полу и вызывавшей по этой причине у ярцевских мальчишек вполне понятный нездоровый интерес. Иннокентий не раз сидел в засаде вместе с друзьями, дожидаясь момента, когда можно разом, ломая кусты в ее палисаднике, вскочить, заулюлюкать, замаякать на разные голоса... Не участвовал в засадах на Дашу Селиванову лишь Васья Соловьев по той простой причине, что она приходилась ему родной теткой.

С невольной игривой усмешкой припомнив жестокие мальчишеские забавы, Иннокентий Павлович испытал даже нечто похожее на запоздалый стыд: бедная, бедная тетя Даша! Это обстоятельство и

определило тон разговора между ними. Иннокентий Павлович принял гостью ласково, не подумав при этом: «Черти тебя, старую, носят!» — что было бы вполне естественно, учитывая его дурной нрав и постоянную занятость.

Первую четверть часа тетя Даша, устроившись в кресле, рассказывала о ярцевских общих знакомых, вторую — жаловалась на здоровье. И лишь тогда приступила к делу, ради которого пришла. Переход от жалоб был решителен и неожидан и выражался в одной короткой фразе:

— А все — Колька!

— Какой Колька? — спросил Иннокентий Павлович.

— Фетисов! Сосед мой. Ты его знаешь... Вот он что со мной, Кеша, сделал...

И тетя Даша принялась рассказывать о Колькином хулиганстве в кладовке, о том смертном страхе, который она испытала, когда Николай крикнул на нее из петли.

— Гляди, как он, проклятый, все повернул! Будто я из кладовки сало хотела унести! Что я, темная какая — на сало кинуться? От него, от сала-то, один вред в пожилом возрасте. Если надо, Кеша, я тебе журнал принесу «Здоровье», там все написано.

По слуху Иннокентия Павловича как-то неприятно чиркнуло это «если надо», но особого значения он словам тети Даши не придавал, торопливо подтвердив, что действительно факт этот общеизвестен и тетя Даша правильно поступает, не употребляя сала.

— С той поры, — продолжала тетя Даша, явно недовольная тем, что Иннокентий Павлович не захотел ознакомиться со статьей в журнале, — нет у меня никакого здоровья. Убил он меня. И свидетели есть, Кеша! Участковый наш, Калинушкин. Если надо, так он тебе подтвердит, не откажется.

И вновь слух Иннокентия Павловича царапнуло это «если надо», но он опять-таки не понял, зачем ему надо, чтобы Калинушкин подтвердил слова тети Даши, и он успокоил ее, сказав, что полностью ей доверяет.

— Что же это, Кеша? — спросила тетя Даша. — Колька, идол толстомордый, ходит-посвистывает, а я из-за него помирать должна раньше времени?

Иннокентий Павлович уже несколько утомился продолжительной беседой на таком низком уровне и начал по привычке отключаться, поддакивая и не особенно вникая в смысл ее. Однако тетя Даша направляла разговор, как опытный капитан свой парусник; резко изменив курс, она завела речь о том, что родственники должны быть всегда заодно; у других наций родственникам во всем способствуют, поэтому и живут хорошо, а у русских все шиворот-навыворот, они родственников только по праздникам привечают. Разговор тотчас вновь обрел значительность; Иннокентий Павлович, заинтересовавшись, спросил:

— Ты про племянника своего, про Василия?

— Жене он, Ирке своей, племянник! — горестно воскликнула тетя Даша. — Все он ей: и муж, и племянник, и дух святой. Живет за ним, как Христос за пазухой, а все мало, чего ему скажет, то он и вяжет!

По тому, с каким живейшим чувством выразила тетя Даша свое отношение к Соловьевым, можно было предположить, что этому предшествовали события для нее неприятные. Такие действительно имели место. Делились они очень четко на два периода. Первый — когда Ирина Георгиевна наивно полагала, что сумеет приспособить тетю

Дашу к своему домашнему хозяйству, второй — когда убедилась в полной несбыточности этих надежд.

Недоразумения начались с самого начала. Тетя Даша заговорила на любимую тему — о родственниках, обязанных держаться друг за дружку, особенно в нынешнее время, прикидывая при этом материальные выгоды, которые она могла бы иметь от родственной близости к Соловьевым, людям очень влиятельным в Ярцевске. Ирина Георгиевна с охотой подхватила и развила эту тему, мечтая о возможности свалить на родственницу неприятную работу по кухне и уборке дома. Они долго, довольные взаимным согласием, обсуждали волнующую их проблему. Наконец Ирина Георгиевна намекнула: мол, не найдется ли у тети Даши знакомая пожилая женщина, которая согласилась бы помогать в доме?

— Что ты, миленькая! — сказала тетя Даша. — Кто теперь пойдет? У какой старик жив, с ним заботы хватает, а какая похоронила, так и вовсе отдохнуть в самый раз.

— Ну а вы? — спросила Ирина Георгиевна напрямик. — Все-таки не чужие. Мы с Васей весь день на работе. Останетесь полной хозяйкой.

Тетя Даша возмутилась в душе чрезвычайно. Если не чужая, значит, вкальвай? Пусть небогато живет она, но не голодает. А если бы даже и голодала, не пошла бы. Сроду в прислугах не работала, не испытала сраму! В чем заключался этот срам, тетя Даша точно не знала, но знала точно, что — срам! Сколько ярцевских в большие города перебрались, а никто в прислуги не устраивался даже в стародавние трудные годы, потому что каждый ярцевский житель себе цену знал.

Всего этого тетя Даша не высказала, ответила уклончиво, не желая портить отношений с влиятельной и богатой родней. Целый месяц она была желанной гостьей у Соловьевых, угощалась севрюжкой и семгой, чаем из сервизных китайских чашек, конфетами «Белочка» — так Ирина Георгиевна демонстрировала сладкую жизнь, которая ожидает тетю Дашу, если она согласится работать у них. За чаем они рассматривали семейные фотографии, много лет пролежавшие за ненадобностью в секретере под грудой старых документов — оплаченных счетов, справок, копий когда-то важных деловых писем, которые Василий Васильевич тщательно хранил. На фотографиях в разных комбинациях красовалась семья Соловьевых; была здесь и тетя Даша — молодая, простоволосая, с косынкой в опущенной руке, очень похожая на Василия Васильевича, каким он выглядел лет десять назад; те же светлые, цепкие, чуть навыкате глаза, тот же широкий подбородок... Ирина Георгиевна, стараясь подчеркнуть это сходство, клала рядом три фотографии — Василия Васильевича, его матери и тети Даши.

— Смотрите, Вася больше на вас похож, чем на родную мать...

— В деда мы нашего! — отвечала Селиваниха растроганно. — Дед у нас знаменитый был, мельницу держал на три постава, всю округу кормил.

Василий Васильевич действительно во многом походил на свою тетку, значит, и Селиваниха во многом походила на Соловьева. Навивно было думать, что тетя Даша станет работать на других. Скорее наоборот. Только через месяц Ирина Георгиевна сообразила, что ее интересы и интересы тети Даши прямо противоположны. На этом и кончилась их любовь: Ирина Георгиевна, рассердившись, ясно дала понять, что дорогая родственница отнимает у нее слишком много времени...

— Ты мне про них не вспоминай, Кеша! — сказала тетя Даша. — Я сюда как к сродственникам пришла!

— Какие же мы родственники? — удивился Иннокентий Павлович. — Соседи были, это верно.

— Отказываешься? — разочарованно спросила Селиваниха.

— Ну что ты! Правда, не знал. И кто же я тебе?

Родство оказалось не столь уж близким, где-то в четвертом колене, но несомненное.

— Выходит, я и Василию родич! — воскликнул Иннокентий Павлович озадаченно.

— Вот я и пришла к тебе, — тактично не ответив на вопрос Иннокентия Павловича, продолжала тетя Даша. — Помоги мне с Колькой Фетисовым справиться... Мне теперь, чтобы обратно в себя прийти, надо условия. Вот пусть мне Колька эти условия даст, возместит убытки. Так я считаю.

— Тетя Даша, дорогая! — возопил Билибин, поняв наконец, что она намерена подключить его к своему делу, и ужаснувшись мысли, что ей это удастся. — Ты в милицию иди. Участковый, говоришь, свидетель? К нему и иди.

— Дружки они, Кеша! — скорбно произнесла тетя Даша. — Я бы к тебе не стала лезть. Только пьют они вместе. Меня же и обваляют.

— Просто не знаю, что тебе посоветовать, — сказал Иннокентий Павлович, описывая нервную восьмерку по веранде вокруг Селиванихи и думая при этом не о том, как помочь старухе, а о том, как бы поскорее избавиться от нее.

Судьба помогла ему, открыв взгляду возмутительную картину: в кустах поодаль сеттер Динни, вытянувшись кверху столбиком, высунув язык, часто махал передними лапами, умильно кивая в такт горбоносой и длинноухой башкой. Из кустов вылетел кусочек сахара и исчез в розовой пасти.

— Пошел! — заорал Иннокентий Павлович, бросаясь к окну и швыряя в собаку подвернувшейся под руку книгой. — Светка, преркрати сейчас же! Какая пакость!

Не показываясь, Светка хихикнула:

— Кеша! Ты сорвал мне эксперимент. Людей создал не труд, как уверяют классики, а возможность получить задарма кусок сахара. Я это докажу...

— Не смей портить собаку! — еще громче рявкнул Иннокентий Павлович.

Светка появилась из-за кустов; будто ясное солнышко выкатилось из-за тучки — все вокруг осветилось и засияло от ее круглолицей веснушчатой счастливой улыбки, от ее пухло-розовых коленок и плечиков. Селиваниха даже пригорюнилась, увидев девушку.

— Неужто дочка? Ой, Кеша, что-то больно красива. Пропадет девка. Затискают.

«Ты небось не пропала!» — грубо подумал Иннокентий Павлович.

— Ап! — воскликнула Светка, и собака взвилась в воздух. — Пропадут! Динни, ап!

Очень это было красиво: красная шелково-волнистая шкура сеттера, белокурая шелково-волнистая гривка Светкиных волос на фоне зелени, два молодых радостных прекрасных тела и звенящий колокольчиком голос: «Динни! Динни! Динни!» У Иннокентия Павловича вся злость прошла, и про Селиваниху он забыл. Напомнила ему о ней Светка.

— У нас аборигены! — радостно воскликнула она, взбегая на веранду.

— Это наша... э-э... родственница,— произнес Иннокентий не совсем уверенно, но строго.

— Какая прелесть! — всплеснула руками девушка.— Кеша, ты свободен. Оставь ее мне.

Иннокентий Павлович, обрадованный, поспешил в дом, на ходу объясняя Светке:

— Да, ты разберись, пожалуйста, тетю Дашу обидели, у тебя, наверное, юрист есть знакомый...

— У меня все есть! — ответила Светка, с вожделием оглядывая старушку в кресле, как баранью косточку в кастрюле с шашлыком.

Три года, минувшие с тех пор, как Светка, представительница древнего польского рода, ездила общаться с русской аристократией, не прошли для нее даром. Она вспоминала теперь о своих аристократических притязаниях с небрежной усмешкой: обычный комплекс, типичный для переходного возраста, стремление во что бы то ни стало утвердиться, попытка сыграть роль лидера в своей среде. Теперь она все понимала.

Законы природы в отличие от установленных людьми едины для всего сущего. Так, например, количество, если уж оно накопилось, хочешь не хочешь, непременно должно перейти в качество. И не удивительно, что колоссальная информация, скопившаяся в Светкиной голове за четыре года (три лекции в неделю по два часа!), в конце концов оформилась в замечательную идею.

В противоположность коренным ярцевским жителям, не ценившим патриархальных прелестей родного города и даже относившимся к ним с неприязнью, Светка вдруг осознала, как близок ей этот славный уголок. Все ей теперь казалось исполненным особого смысла. И радующие глаз ветхие разномастные домишки, и заросшие кудрявой травкой обочины улиц, пыль которых была не чем иным, как прахом истории. И даже мутный ручей, бегущий наподобие аркады вдоль шоссе через город. Раньше его голодное урчанье рождало у Светки желание как следует подкрепиться, теперь оно неизменно направляло на возвышенный образ мыслей, напоминая чаще всего о том, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, или о чем-нибудь иным, тоже благородном и глубоком. Вместе с тем по-иному раскрылись перед ней обитатели этих славных мест, ни в чем не похожие на ее постоянное и приевшееся окружение в новом Ярцевске.

Светкина блестящая идея состояла в том, чтобы сделать Ярцевск городом-музеем, заповедником. Правда, в Ярцевске не было никаких ценных архитектурных памятников; из пяти церквей уцелела лишь одна, и та стояла развалиной, так что, глядя на нее, верующий человек если и крестился, то неизменно приговаривал: «Свят, свят, свят!» Городской архитектурный ансамбль составляли дощатые невыразительные дома, когда-то крепкие, на высоком фундаменте, просторные, с большим подворьем, а ныне бессильно осевшие наземь. От былого благолепия остались у них лишь железные кружевные наличники, которые неукоснительно каждый год покрывались ядовитозеленой краской: иной в ярцевский хозторг не завозили.

Но все это не смущало Светку. Пусть себе живут-поживают в своих живописных домишках славные старички и их немногочисленные дети и внуки, собираются по вечерам на лавочках под окнами, перемывая косточки знакомым. Пусть останется здесь уголок, не тронутый цивилизацией, где можно отдохнуть душой, побродить вдоль пыльных, не схваченных асфальтом улиц, слушая ленивый собачий перебрех во дворах, подставляя ладони под ледяную струю из уличной колонки, чтобы утолить жажду.

Светкина идея являлась по своей сути естественным завершением лирических вздохов тех ярцевских жителей, которые уехали отсюда раньше и теперь издали вспоминали о своем городе растроганно и патетично. Но так прямо вопроса еще никто не ставил. И надо было поспешать, поскольку в последнее время в старом Ярцевске наместились неприятные глазу перемены: над крышей каждого дома торчала антенна телевизора, городскому ручью угрожали толстые бетонные трубы, раскиданные по его берегам, а на базарной площади громоздился штабель серых плит — не иначе как детали многоэтажного дома. Этой весной Светка даже начала собирать подписи среди своих знакомых, преимущественно поклонников, готовых вместе с ней обратиться к общественности с предложением оставить Ярцевск в первозданном виде. Высоко оценив Светкину идею на словах, единомышленники свои подписи ставить не спешили, каждый раз находя для этого какие-либо причины, что лишний раз подтверждало их принадлежность к двенадцатому типу личности...

Тетя Даша была для Светки желанной добычей. После того как Селиваниха повторила свой рассказ о происшествии в кладовке и претензиях к Фетисову, Светка остро ощутила свой долг по отношению к этим бесхитростным людям, которые запутались в такой простой житейской ситуации. Именно она, Светка, и должна была помочь им, рассудить их, пользуясь всей мощью своего интеллекта. Правда, она с огорчением отметила, что действия обеих сторон не укладываются ни в один из известных ей комплексов. Сюда не подходил ни комплекс неполноценности, ни комплекс превосходства, ни, тем более, эдипов комплекс, а без них Светка чувствовала себя, как солдат на войне без оружия. Однако она не теряла надежды подыскать к данному случаю если не комплекс, то хотя бы какой-нибудь синдром, а пока принялась дотошно расспрашивать Селиваниху о жизни в старинное время. По ее мнению, лучше всего было бы не оставлять Ярцевск в его нынешнем виде, а придать ему древний, изначальный колорит.

Для Светки, как, впрочем, и для многих ее сверстников, старинное время продолжалось до самого ее рождения. Она могла бы без запинки рассказать о любом мало-мальски заметном событии в истории человечества — от царствования фараона Тутанхамона до первых космических полетов — и назвала бы точные их даты. Тем не менее все, что случилось до ее рождения, было историей, давным-давно минувшим и как бы стоящим в одном ряду: Тутанхамон в пятом классе, а космические полеты в седьмом, вот и вся разница.

Так и выяснилось, что самой распространенной в старину одеждой можно считать ватники, жакетки и ситцевые платья, обувь — сапоги и парусиновые туфли, песнями — «Я вся горю — не пойму отчего» и «Без луны на небе мутно», из обрядов, достойных внимания, — похороны с самодеятельным духовым оркестром, в которых участвовал весь город: хорошая громкая музыка в старинном Ярцевске была большой редкостью. Словом, ничего интересного в рассказе Селиванихи не оказалось. Светка попыталась выяснить, не носила ли тетя Даша цветастых полушалков, сарафанов до пят и кокошника. Не пела ли подблюдных песен. Не водила ли хороводы по заре.

И тут Селиваниха заплакала. Она плакала оттого, что вдруг поняла, какая у нее оказалась неинтересная, нескладная жизнь по сравнению с нынешней и даже прежней, когда носили кокошники, пели подблюдные песни и водили хороводы. Она вспомнила, что ветхий бабушкин кокошник лежал в сундуке и она долго не знала о нем потому, что сундук был огромный, забит старыми пахучими полушалками с бахромой, суконными салопами, тяжелыми платьями со стек-

лярусом. Сундук постепенно пустел: кое-что перешли, кое-что обменяли; кокошник был извлечен со дна, его нацепил на себя для смеха вместе с длинной бабкиной юбкой Тимошка, сосед, ходил по дому, вихляясь, Даша закатывалась. Веселый был парень, она его любила и долго помнила, когда он уехал. Звал ее — не решилась, побоялась большого города: говорили, там трамваями сто человек на куски режет каждый день. В позапрошлом году Тимошка на своей машине приезжал в Ярцевск с семьей. Сказал: перед смертью решил навестить родимые края. На нем воду возить в самый раз, бычок здоровый, жена размалеванная, словно замуж собралась. Перед смертью! Тетя Даша, поглядеть, им в матери годится... Не побоялась бы, поехала — тоже сейчас жила бы барыней, на машине раскатывала, как Тимошка или как племянники ее, Соловьевы. Может, еще и лучше жила бы, у них в роду все цопкие. А теперь ей только и остается по бедности с Фетисовым воевать, на ремонт цыганить!

Ну, что вспоминать...

Не успела еще Светка удивиться неожиданным слезам Селиванихи, а та уже пришла в себя, уже утерлась, заулыбалась, объяснила застенчиво:

— Это я так, доченька, молодость вспомнила. О чем мы?

— О кокошниках, — напомнила Светка. — Носили вы их?

Селиваниха обиженно поджала губы.

— Что я тебе — кощей бессмертный? Их сто лет назад надевали!

— Ну а свободное время как проводили?

— Это насчет амуров, что ли? По закону у нас все было. Не то что нынче: сегодня с одним, завтра с другим.

— Я не об этом, но если уж зашел разговор... А если — любовь?

— Каждый раз любовь, что ли? — подозрительно спросила Селиваниха. — Ты лучше скажи: бумагу будем писать? Ты мне напиши бумагу, чтобы складно получилось. Мы ее отправим куда надо, тогда Колька не отвертится. Про любовь мы после потолкуем.

— А куда надо? — спросила Светка.

— На самый верх, — скорбно произнесла Селиваниха. — Потому что дело срочное, я помереть могу, не успею на Кольку управу сыскать!

— Тетя Даша! — воскликнула Светка. — Хотите, я поговорю с Николаем и он извинится?

— Поговори, дочка, поговори, — согласилась Селиваниха. — Мне с него немного надо. Чтобы он кой-какой ремонт в доме сделал. Крылечко прогнило, и крышу перекрыть на моей половине... Со своим материалом, — поспешила добавить Селиваниха.

— Он, может, и не виноват совсем, — сказала Светка. — Состояние аффекта, сильного потрясения. В таком состоянии люди за себя не отвечают. Понимаете?

— За себя пускай не отвечают, а за других отвечать должны! Я вот что понимаю: у тебя в голове хорогоды да любовь. А я к тебе, старая, с чем лезу?

Тетя Даша уже отчетливо видела ошибку, которую она допустила, разговаривая с Библиными, и теперь ругала себя. Дура старая, будто вчера родилась, не знала, что ли: нынче задарма никто ничего не делает! Но ошибку еще не поздно было поправить.

— Ты не сомневайся, дочка, я тебя отблагодарю...

— Да что вы какие глупости говорите! — воскликнула Светка, заливаясь нежным румянцем. — Стыдно слушать! Я же сказала: все что могу — сделаю! Хотите писать — давайте писать!

«Так-то оно лучше», — подумала тетя Даша, с удовлетворением глядя, как бросилась Светка за бумагой и ручкой в комнату.

— Кеша! — сказала Светка, вытаскивая листок бумаги из отцовского стола.— Я, кажется, разбогатею. Родственница меня отблагодарить собирается за помощь.

— Ну да! — встрепенулся Иннокентий Павлович.— Деньгами или как?

— Не уточняла.

— Врет! — уверенно сказал Иннокентий Павлович.— Ну ладно, ты, главное, ее ко мне не допускай.

— Отблагодаришь? — прищурилась Светка.

— Веником пониже спины... Иди скорей, не дай бог, пришлепает!

Последующие полтора часа прошли у Светки в творческих муках: Селиваниха оказалась очень требовательной к содержанию заявления, которое они составляли на Николая Фетисова.

— Ты пиши как было! — требовала она у Светки.— Что ты пишешь — «попытка самоубийства, хотел покончить с собой...». Ты пиши — «попытка убийства»! Со мной он хотел покончить, а не с собой.

— Тетя Даша! — пыталась спорить Светка.— Зачем ему вас убивать-то?

— А это разберутся. Ты пиши!

Помучавшись с час, Светка поняла, что пора перехватывать инициативу, иначе тетя Даша заведет ее в дремучие юридические дебри, откуда они обе не найдут обратной дороги. И вообще пора было все ставить на свое место: с абorigенами следует — это давно известно — обращаться как с детьми, где лаской, а где строгостью, иначе они сядут на голову, что, судя по всему, и намеревалась сделать эта славная, но очень уж настырная старушка.

— По-вашему писать не буду! — со всей возможной строгостью сказала Светка, пресекая очередную попытку Селиванихи уточнить текст заявления.— Все это мы сейчас зачеркнем и начнем сначала.

Селиваниха не только не обиделась, но как будто даже обрадовалась, что с ней заговорили столь решительно и строго. Так говорят люди, которые знают, что говорят. И она притихла, глядя, как Светка строчит ее претензии к Фетисову.

— Вот! Коротко и ясно,— сказала Светка.— Сейчас перепечатаю — и олл райт!

— Ну как там? — спросил Иннокентий Павлович, когда дочка вошла в комнату за машинкой.

— Закончили.

— Еще не отблагодарила?

Светка хихикнула, но сразу же сдвинула бровки, придавая лицу прежнее выражение покровительственной строгости.

Впрочем, печатая заявление, она порой забывала о своем положении, и тогда ее личико расцветало в улыбку при забавной мысли о том, каким это образом собирается отблагодарить ее тетя Даша за труды. Деньгами вряд ли предложит — соображения хватит, чтобы не сунуть рублевку. Тогда как же?

Печатала Светка одним пальцем, работа продвигалась медленно и вдруг совсем замерла: Светка застыла над машинкой с поднятой рукой.

— Буковку потеряла? — осторожно спросила Селиваниха.

Светка и не смотрела на буквы — потрясающая идея неожиданно пришла к ней. С трудом она допечатала страничку, но не торопясь передавать ее Селиванихе.

— Давай, миленькая,— поторопила та.

Светка замялась.

— Поняла, поняла,— зашептала Селиваниха.— Не сомневайся, не обману. Я тебе клубнички нарву. Или, хочешь, яичек свежих...

— Очень рада была вам помочь,— сказала Светка.— Если что надо, приходите, не стесняйтесь. Никакой клубнички, никаких яичек. Мы не чужие все-таки...

Трудно объяснить причину, по которой Селиваниха выслушала это любезное приглашение со страхом, тем более непонятным, что перед ней стояло создание столь юное и прелестное, как Светка. Наверное, большой жизненный опыт подсказал тете Даше, что недаром та все еще не выпускает из рук листок. И она не ошиблась.

В новой Светкиной идее воплотилось все, что волновало ее в последнее время, начиная от наивных, полудетских попыток пристроиться к знатной польской фамилии, включая желание видеть старый Ярцевск заповедником, его жителей—аборигенами, а себя—их опекуном и кончая опостылевшими домашними делами, которые отнимали у нее время, необходимое для интеллектуальной жизни. Желание Селиванихи как-то отблагодарить Светку послужило последним толчком к рождению идеи.

— Тетя Даша! — воскликнула Светка, в мгновенных мечтах своих воспарив к золотому веку, который ее ожидал, если бы ей удалось реализовать свою идею.— Вы не взялись бы за наше хозяйство?

Тетя Даша ловко выхватила из Светкиных пальчиков листок и, бормоча что-то себе под нос, с неожиданной прытью пустилась наутек.

VIII

Давно уже Ирина Георгиевна не поднималась по больничным ступеням в таком приподнятом настроении.

Началось все с протезе Василия Васильевича — родственника директора издательства. Родственник вот уже неделю лежал у нее в отделении; ничего серьезного, просто мнительный тип, набравший из медицинских справочников дюжину болезней. Пять лет назад, еще до приезда в Ярцевск, Ирина Георгиевна исцелила его уколами витамина В-прим. Она очень не хотела вновь иметь с ним дело, но Василий Васильевич настоял.

«Родственник», как окрестила его про себя Ирина Георгиевна, смертельно надоел ей. Он ловил ее постоянно в коридоре, покорно выслушав разъяснения, просил провести дополнительные исследования, назначить новые процедуры и добавлял, сладко улыбаясь:

— Я в долгу не останусь. Хотите, я устрою передачу из больницы — телерассказ о вашей работе? На экране вы будете выглядеть как кинозвезда!

Доктор Соловьева считалась опытным хирургом и, наверное, стала бы неплохим администратором — ей не раз предлагали соответствующую должность, но она неизменно отказывалась. Зачем? Она жена Соловьева! Этого достаточно. К тому же она считала: мужчинам власть придает мужественность, у женщин отнимает женственность. Ирина Георгиевна не хотела терять женственность даже в глазах своих пациентов, обезличенных болезнями, больницей, плохо скрываемым страхом перед операционным столом, бродивших по коридорам в застиранных до дыр пижамах. Она входила в палаты властная, женственная, яркая, деловая, нарядная даже в белом халате, десятки глаз почтительных и восхищенных следили за каждым ее движением. Она требовала от своих молодых коллег: «Девочки, старайтесь всегда выглядеть красивыми. Это сильнодействующее лекарство!»

Если Ирина Георгиевна в конце концов согласилась участвовать в телепередаче, то совсем не из тщеславия или карьерных соображений. В тот момент она думала лишь об одном: о том, что Геннадий увидит ее такой, какой еще никогда не видел — кинозвездой! На мальчика это должно произвести впечатление.

Родственник оказался на редкость деловым человеком. С кем-то созвонился раз-другой прямо из больницы, и уже назавтра к Ирине Георгиевне явились двое шустрых молодых людей в замшевых куртках — оператор и режиссер, осмотрели больницу, поговорили с Соловьевой, определив ее роль в предстоящем действе. Решили, что будут снимать операцию как творческий акт: раздумья хирурга, психологическая подготовка больного, отношения его с врачом и прочее... Ирина Георгиевна не возражала — в неуклюжем операционном халате и маске она никак не могла бы показаться Геннадию привлекательной. Однако выслушала она все эти наивности с улыбкой: доктор Соловьева привыкла держать своих пациентов на почтительном расстоянии.

Итак, все было готово к операции, только... оказалось, что некого оперировать. Совсем недавно Ирина Георгиевна сделала блестящую резекцию желудка бойкому ярцевскому старичку, въехавшему в операционную с молитвой на устах («Не тому богу молишься, дед, вон он, твой бог, — в халате», — сказала Катя, хирургическая сестра). На днях уложила в гипс юнца, слетевшего с мотоцикла: множественный перелом бедра, по кусочкам собирала четыре часа («Учтите, доктор, мне через две недели выступить на соревнованиях!» «Ты что, с детства дурак или сейчас мозги отшиб?» — поинтересовалась Катя). А тут, как назло, ни одного. Впрочем, лежал один, приезжий; Ирина Георгиевна никак не могла решить, что с ним делать. Похоже было на приступ хронического аппендицита, но такой стертый, нетипичный. Вчера она пришла к выводу: оперировать! Конечно, этот вывод ни в коей мере не связывался ею с предстоящей съемкой. Но сообщив об операции — все через того же родственника, как бы ненароком, мельком, — она волновалась гораздо больше, чем ожидала.

Осматривая впервые неделю назад больного, который сегодня должен был лечь под ее скальпель, Ирина Георгиевна сразу же отметила: с положением дядя, чувствуется. Хотя откуда бы взяться дяде с положением в ярцевской больничке? Пригляделась внимательно: да, простоват. Забылась на минуту и опять: ух ты!

В общем-то, ей было все равно, кто попадал в ее руки. Круг знакомств Ирины Георгиевны определялся знакомствами мужа, удивить ее тут было трудно. Тем не менее, снисходительно выслушав наивные рассуждения молодого режиссера насчет психологической подготовки к операции, Ирина Георгиевна теперь с удивлением ловила себя на том, что постоянно думает о ней, а еще больше о больном, которому предстояло сегодня стать ее невольным партнером в задуманном спектакле.

Замшевые куртки собирались приехать к двенадцати, время еще имелось.

В больнице уже знали о предстоящей съемке; в хирургии все блестело: свежевывмытые окна, облезлые ручки на дверях, медные краны в умывальнике, старый, в трещинах и заплатках линолеум на полу. Ярцевцы явно не хотели ударить лицом в грязь. Если бы так каждый день. Право, стоило бы время от времени прибегать к этим возбуждающим средствам, чтобы не спали на ходу. Ирина Георгиевна, избалованная прежней работой в большой столичной клинике, до сих пор не могла привыкнуть к здешним порядкам. Василий Васильевич уверял: вот-вот начнет строиться новая больница, давно бы приступили,

никак не могут сговориться с местными властями — все хотят пожить за чужой счет, жалуясь на бедность.

В операционной над булькающим автоклавом хлопотала Катя, еще вчера девица неопределенного возраста и наружности, сегодня — туго, в барашек, завитая, с ярко-черными персидскими бровями и густым здоровым румянцем на щеках. Катя тоже хотела выглядеть на экране кинозвездой. Встретила она Ирину Георгиевну слезами:

— Все! Не приедут нас снимать, напрасно готовились!

И в злой своей разочарованности не выбирая выражений, принялась рассказывать о том, как «эти сволочи из первой палаты» обидели ночью больного, «который с телевидения», и тот попросился утром на выписку и уже звонил куда-то; теперь, говорят, съемка отменяется...

— Кто говорит? — спросила Ирина Георгиевна насмешливо.

— Все!

— Ну, это еще не страшно.

И небывалый порядок в обшарпанном всегда хирургическом отделении, и раскрашенная, как матрешка, Катя, и даже неприятное сообщение о ночной ссоре в первой палате проходили мимо сознания доктора Соловьевой, едва задевая.

Вчера она еще раз распорядилась сделать больному анализы. Боли у него не усилились, наоборот, ослабли, температура упала, в анализах лишь небольшие отклонения от нормы. Хотя выписывай! Но что-то случилось вчера — непонятное, неуловимое. Глаза. Глаза у него стали нехорошие, словно бы провалились...

Он лежал, положив руки под голову, на Ирину Георгиевну взглянул равнодушно. Вчера ему сказали об операции. Ребята давно уже на уборке, он был у них за старшего, начальник гаража специально предупредил: «Ты, Петрович, прошу, с них глаз не спускай, сам знаешь, какая нынче молодежь...» Думал, дадут лекарство — и прощай городок Ярцевск, а вышло вон как — операция! В прошлом году так же прихватило, хотели оперировать, но обошлось: полежал три дня в больнице, отпустили, сказали: «В другой раз». Значит, все правильно, вот он, другой раз. Чему быть, того не миновать, и волноваться нечего.

Докторша Петровичу не больно нравилась: чересчур горда, выше всех себя ставит, слово скажет — словно милостыню подала. Да и вообще лучше бы с мужиком дело иметь, тот если не пьяница, не шаромыжник — во всякой работе надежней. Однако с выводами он не спешил, торопиться не любил, присматривался к докторше внимательно. Может, гордость лишняя у нее от обиды на людей, кто ее знает? И так бывает.

Ирина Георгиевна подошла к нему, властным жестом пресекая попытку сесть. Живот у него был твердый, напряженный.

— Как провели ночь?

— Нормально, доктор.

Ночь он провел неважно — вправлял мозги соседу по койке. Петрович к нему с первого же дня стал приглядываться. Тогда в палате занятый разговор вышел: два ярцевских дедка, которые у окна лежат, третий месяц, бедняги, маются, о войнах толковали.

— Эта война второй Отечественной называлась, а еще первая есть.

— Тоже с немцами, что ли?

— Нет, с французом! У них главный — Наполеон, а у нас этот... Багра... Багра... забыл!

Петрович со скуки подшутил:

— Баграмян.

— Во! Баграмян! — воскликнул дедок, просияв всем болезненно-желтым, обросшим седой щетиной лицом.

— Как же получается, — продолжал Петрович невозмутимо. — И я у Баграмяна воевал в эту войну. Сколько же ему было? Выходит, сто тридцать?

— Ну так что? Люди и дольше живут. Ты слушай, слушай... У них — Наполеон, а у нас — Баграмян!

И тут этот нервный сосед стал кричать. Вскочил с койки, усишками дергает, подбородком трясет.

— Вы, — кричит, — пещерные! Из каменного века!

Деды сильно сконфузились, притихли, и Петрович в тот раз промолчал, не любил торопиться с выводами...

— Больно? — Ирина Георгиевна помяла его живот.

— Есть немного.

— Значит, режемся?

— Вам решать, доктор.

Она улыбнулась чуть-чуть, углами губ, ободряюще и снисходительно. Примеривалась. Вот так она должна улыбаться, когда начнется съемка. Интересно, знает ли он? Впрочем, это не его забота...

Доктор Соловьева посидела в палате еще несколько минут, испытывая почему-то совершенно не свойственную ей растерянность, хотя продолжала улыбаться ободряюще и снисходительно, помня о наставлениях режиссера насчет психологической подготовки больного. Разговор у них не ладился. Ирина Георгиевна с непривычки никак не могла взять верный тон. Получалось как у неопытного следователя с опытным подследственным:

— Сколько вам лет?

— Сорок восемь стукнуло.

— Сами-то откуда?

— Из Степногорска.

— А как в Ярцевск попали?

— Проездом.

Потом пошло полегче.

— Ночью что произошло? Больной из-за вас на выписку просится!

— Неужто? Зря. Ну, маленько критику навели, чтобы людей уважал, не себя одного.

— Что же вы ему сказали?

Ирина Георгиевна все еще не убирала руку с его живота, и он по-свойски накрыл ее своей ладонью. Ногти у него были ужасные — сбитые, обломанные, с заметной черной каймой.

— Сказал, что начальника его знаю.

— В самом деле знаете? — спросила она, с сомнением разглядывая эти обломанные ногти.

— Я таких типов знаю.

Действительно, ничего особенного ночью не случилось, ткнул пару раз подвернувшимся под руку костылем в бок нервному соседу: храпит, как жеребец, замучил всех, а разбудишь — скандалит, хоть из палаты беги. Вот тогда Петрович и сказал ему: «Учти, я твоего начальника знаю. Будут тебе неприятности». Эта штука у Петровича про запас, вроде козырной карты лежала. Не на всех действовало, конечно, он понимал, кому говорить. Если бы ему самому, например, пригрозили, он бы сильно удивился такой глупости. В прошлом году собрался в другой гараж перейти, поближе к дому; начальник за сердце схватился, в гараже десять машин без шоферов. Нет, если и опасался чего Петрович в этой жизни — не уснуть бы в долгом рейсе за баранкой. И только.

— Надо с вами поосторожнее. Вы с моим начальником не знакомы, случайно? — Ирина Георгиевна словно бы нехотя освободила руку.

— Работа у вас тяжелая, грязная, вам бояться нечего. Вы сами себе начальник, — ответил он спокойно.

И тут доктор Соловьева совершила странный, противоречащий не только ее принципам, но и общепринятым нормам поступок: достав из кармана халата маникюрную пилку, захватила поудобнее руку Петровича и принялась приводить в порядок его ужасные ногти. Схватившись, бросила пилку на постель:

— Продолжайте в том же духе...

В дежурке Ирина Георгиевна нет-нет да и вспоминала свой порыв — то ли своего рода месть за минуты растерянности, то ли, наоборот, признание особых прав этого человека, который стал для нее со вчерашнего дня уже не просто больным, но соучастником в деле.

Не удержавшись, она заглянула в историю болезни. Шофер! Ну разумеется... Шофер! Забавно. Как раз недавно они советовались с мужем: не нанять ли им шофера? Институтская машина не очень устраивала Василия Васильевича, он мог пользоваться ею лишь в служебное время. Если приходилось вечером ехать на банкет, он садился за руль своей машины. Но что за удовольствие произносить тосты с бокалом минеральной в руке? Они решили все-таки шофера пока не брать — хлопотно. Теперь Ирина Георгиевна подумала: «Забавно! Мог быть и этот».

Время шло, миновали все сроки, а друзья родственника все не приезжали. Несколько раз тот звонил на службу, и ему неизменно отвечали: «Выехали. Ждите».

— Милый доктор! — говорил он, сложив молитвенно, лодочкой, ладони. — Не сердитесь, искусство всегда приблизительно, его служители не отличаются пунктуальностью. Они обязательно приедут.

Они приехали после обеда, и сразу в маленькой ярцевской больнице все перевернулось вверх дном. Из выдавшего вида «рафика» выскочили пятеро: двое прежних, молодых, в замшевых куртках, трое незнакомых, еще моложе, в куртках из заменителя. Замшевые вбежали на крыльцо, остальные принялись выгружать аппаратуру. Больше в «рафике» никого не осталось, Ирина Георгиевна наблюдала за ними в окно. Через несколько минут она была уверена, что ошиблась: не пять, а по крайней мере двадцать пять! Казалось, не найти такого места в больнице, где не попался бы на глаза кто-нибудь из приезжих. Одного обнаружили в пищеблоке — снимал пробу у растерянной поварихи, другого в родильном отделении — беседовал с роженицами, призывая их дать любимой родине чудо-богатырей. Удовлетворив свое профессиональное любопытство, они собрались вместе, нимало не стесняясь Ирины Георгиевны, принялись обмениваться мнениями.

— Все отлично, старики, но где доска?

— Какая?

— Ну эта... «Охраняется государством как памятник древнего зодчества...» «Стиль барако».

— Мы, случайно, адресом не ошиблись?

— Не ошиблись, без паники! Будем снимать вот эту симпатичную тетю. «Женщина в белом» — знаменитый хирург — любимая ученица Склифосовского — юбилейная стотысячная операция — двадцать лет среди абorigенов — сеет разумное, доброе, пожиная вечное!

Обменявшись мнениями, гости снова разбежались, на этот раз вовсе исчезнув с глаз. Если бы не «рафик», приткнувшийся к больничному крыльцу, можно было бы подумать — навсегда. Но как объяснил

родственник, они лишь отправились знакомиться с городом, возможно, им потребуются для телерассказа городские виды.

Он и сам тотчас куда-то сгинул, предоставив Соловьевой самой выпутываться из положения.

— Детки! — сказала она с ласковой яростью, когда те наконец вернулись, судя по их настроению, очень довольные видами города Ярцевска. — Может, начнем все-таки? Больной с утра ждет!

Вскоре Ирина Георгиевна сидела в ярком свете «юпитера» на постели Петровича и вела с ним беседу, стараясь придать лицу выражение приветливой сосредоточенности. Видимо, это ей плохо удавалось, потому что замшевые куртки время от времени Жизнерадостно покрикивали:

— Он что у вас, безнадежный? Почему такая скорбь? Операции не было, а уже хороните!

— Вы, кажется, из Степногорска? — сквозь зубы цедила Ирина Георгиевна. — А как в наш город попали?

— Из Степногорска, — отвечал Петрович, покорно жмурясь от яркого света, поскольку не любил торопиться с выводами. — Ехал, значит, из Степногорска через ваш город...

— Стоп! — раздавалась команда. — Веселей, отец, не помираешь, чай!

Так и продолжалось это представление, пока Петрович не сделал окончательных выводов. А сделав их, тотчас начал действовать: поманил толстым, так и не приведенным в благопристойность пальцем одного из замшевых, в котором определил старшего.

— Значит, так, хлопцы, — деловито распорядился он. — Значит, вы свою музыку кончайте. Надоело.

Ирина Георгиевна словно освободилась с помощью этих слов от наваждения.

— Да! Все, мальчики, все! — заторопилась она, поднимаясь и козым отстраняющим жестом предупреждая любые возражения. — Катя! Готовьте больного!

IX

Николай Фетисов ждал участкового со страхом и нетерпением.

Причины такой раздвоенности были довольно сложны. Сегодня утром, сдав дежурство, Николай уже собирался уходить домой, но тут ввалились в дежурку дружки, закричали:

— Николай! Причитается с тебя!

— Это с какой такой радости? — подозрительно спросил Фетисов.

— Ты дурочку-то не строй! Или теперь знаться не хочешь?

— А погляжу, может, и не захочу. Чего случилось?

— Не знает! — обрадовались дружки, выволокли Фетисова из дежурки, провели под руки двором и втолкнули в цех. — Видал? — закричали они.

И Николай обомлел. Прямо на него с Доски почета, сбоку от выцветших знакомых портретов, глядела его собственная физия, только молодая да худая — таким он был лет десять назад. Видно, пересняли, увеличили карточку, что сдавал он, когда поступал на работу. А до тех пор фотография еще лет пять дома лежала, недосуг ему было вновь фотографироваться. Фетисову будто к животу что-то холодное приложили, но он и глазом не моргнул.

— Я думал — что! — протянул небрежно. — Про это я еще давеча знал.

— Все равно отметить надо! — потребовали дружки. — Положено.

— Чтой-то я устал, ребята,— соврал Николай.— Сильно устал. С дежурства все же... За мной не пропадет.

И Фетисов заспешил домой.

«Как же это случилось? — думал он дорогой. И тотчас сам себе ответил: — А что такого? Последний человек, что ли, Фетисов?» Авария весной была в институте, прорвало трассу — кто первым бросился? Фетисов! Пока начальство схватилось, он с ребятами уже и котлован отрыл и щитами укрепил, чтобы не размывало, и не ушел, пока трубу не заварили... А на ремонте в прошлом году в мастерских кто придумал кровлю без лесов менять? Опять же он, Фетисов! Премию тогда отхватил полсотни. Ребята, правда, говорили: это как рацпредложение можно оформить, в пять раз больше взять... Да если бы все его придумки, что он за десять лет на работе людям подкидывал, предложениями оформлять, он, может, давно бы миллионером стал. Только он, Колька Фетисов, бескорыстный. Ему хватит и того, что он имеет. Ну, верно, зашибает он. Да ведь не на работе! Там его выпившим никто ни разу не видел. Закон. Почему же его на почетную доску не повесить? Очень даже просто. Заслужил!

Так рассуждал горделиво Николай по дороге домой, и его рассуждения были чистой правдой. И все бы хорошо, да тут мимо проехал милицейский мотоцикл, проехал быстро, но Фетисов успел разглядеть: на мотоцикле сидел лейтенант Калинушкин.

И сразу все хорошее настроение у Николая улетучилось. Ведь это что же получается? Участковый сегодня явится с протоколом, и загремит Фетисов на пятнадцать суток за мелкое хулиганство! В другое время он бы как-нибудь пережил такую неприятность, посмеялся бы над собой вместе с дружками — тем все бы и кончилось. Но теперь, когда его фотография висела на почетной доске, когда он стал уважаемым человеком и, главное, сам почувствовал впервые в жизни уважение к себе... Нет, никак нельзя было допустить этакое.

В том, что участковый приедет, Николай не сомневался. Во-первых, всем известно, что Калинушкин слов на ветер не бросает, во-вторых, уж больно интересуется он пропавшими цветами, а Фетисов пообещал сказать, кто их украл. Словом, вместо радости получилось одно расстройство. Домой Николай вернулся хмурым и озабоченным.

Клавдия сразу почувствовала его настроение, тотчас поджала губы, и вся ее сухонькая фигурка воинственно напряглась, а выражение птичьего личика стало неприступным. «Эка дура! — печально подумал Николай.— В одну сторону мозги работают!» И как только он подумал об этом, так его потянуло выпить, то есть просто ужас до чего захотелось. Выпить бы и забыть хотя бы на час-другой неприятности, которые его ожидали. Однако он пересилил себя. С трудом, но пересилил. К приходу участкового он должен быть как стеклышко, да и вообще будь она проклята, змеюга, из-за нее одни неприятности, пора бы и завязать, раз уж такое направление приняла его жизнь.

Мало-помалу Клавдия, видя, что ее предположения не оправдываются, отмякла, даже забеспокоилась:

— Ты чего? Не заболел?

— Не заболел, а, видать, заболею,— ответил Николай.— Нет,— с досадой отмахнулся он, заметив, что жена снова поджимает губы,— не о том разговор...

Тут Фетисов вспомнил, что все неприятности его начались с такой же примерно ситуации, вспомнил, что жена не дала денег, когда ему позарез приспичило, и обрадовался: можно было хотя бы немного облегчить душу. Он так и поступил. Рассказал о своей беде и грустно закончил моралью:

— Вот, Клашка, и все из-за трояка несчастного. Не дала трояк — теперь мне на позор идти перед людьми.

И Клавдия пожалела его.

— Ладно, Коль,— проворковала она, положив руки на плечи мужу.— Может, и обойдется, чего зря себя мучить. Ну ладно, сбегать или есть у тебя?

— Не хочу! — отрубил Николай и тем самым окончательно сразил Клавдию.

Пашка вернулся с улицы, распевая во все горло; мать шикнула на него:

— Не ори! Папка болеет!

Пашка покосился на отца. Выпившим он его не выносил, а трезвым любил, потому что Николай Фетисов был человек веселый и с сыном играл во что хочешь: хоть в футбол, хоть в пристеночку на деньги, причем обижался, как маленький, проигрывая, и пытался обжулить. Раньше, когда телевизора не было, Пашка мог целый вечер слушать отца, сочинявшего небывальщину про царей, царских дочек и жуликов, которые всех побеждали и женились на царевых дочках.

— Ну чего, старый, доходишь помаленьку! — строго сказал Пашка, подходя к отцу, и стукнул его дружески кулаком по спине.— Чего болит-то?

Николай через силу улыбнулся сыну, вяло похвастался:

— А меня, Паш, на доску почетную поместили. Вот, брат, какие дела. Теперь у тебя отец — почетный!

— С того и заболел, что ли? — засмеялся Пашка.

— Не приставай к отцу! — прикрикнула Клавдия.— Иди гуляй!

— Погоди,— остановил ее Фетисов, расслабленно приподняв руку.— Садись, Паш, разговор у меня к тебе.

Пашка присел на самый краешек стула, готовый в любой миг сорваться, если отец задумает какую-нибудь каверзу: Пашка изучил отца хорошо.

— Позавчера дядя Саша приходил, участковый,— сказал Фетисов.

— Ну?

— Насчет цветов интересовался. У Билибиных оборвали...

— Слышал. Так что?

— Ничего не узнал? А? Ты, если что знаешь, скажи,— заторопился Николай.— Кто мог оборвать-то? Ясно, пацаны, больше некому. Твои же дружки небось. Ты скажи, если знаешь...

— Не знаю я ничего,— нахмурился Пашка.— А и знал бы, не сказал.

— Да мы это дело так обставим — ничего им не будет. Какой с пацанов спрос? Поругают — и все. А я вам за это трояк дам. На трояк-то чего купить можно, ты посчитай. Так и передай пацанам: мол, даст трешницу и ничего не будет. А, Паш?

Фетисов оживился, подмигивал сыну заговорщицки, тряс толстыми красными щеками.

— Узнаю,— нехотя пообещал Пашка.— А ничего не будет?

— Конечно, ничего.

— И трешку дашь?

— Дам. Только быстро надо, прямо сейчас.

Пашка поскреб в раздумье макушку.

— Смотри, старый, обманешь — тогда все! Понял?

Фетисов поспешно вытащил из кармана три рубля и протянул сыну.

— Во, если не веришь.

Клавдия принялась было ворчать — не надо бы парнишку в такое дело втравливать,— но Николай не согласился:

— А чего плохого? Всем хорошо! Калинушкину я скажу, чтоб не больно расходился. Сами сознались. Эка важность — цветы...

Пашка убежал, Клавдия тоже вскоре ушла из дому по своим делам. Фетисов остался один. Как ни странно, но он приободрился. Человеку нужна надежда; хоть маленькая, да появилась она у Николая. Обидно, конечно: разве из таких положений он выкручивался, не прибегая к чужой помощи! Стареет, видать...

Вот лет двадцать назад... Это когда Фетисов еще не больно уважал закон. Работал он тогда конюхом в заготконторе, и приглянулись как-то ему бревна возле этой конторы. Хорошие бревна, одно к одному. Каждый день Николай мимо них на телеге трясса; и месяц, и два, третий пошел, а они все лежат. Такая бесхозяйственность сильно портит ему нервы. Однажды не выдержал, запряг ночью своего Серого, подъехал к конторе. За раз не управился, а второй раз подъехал — из-за угла навстречу участковый! Растерялся Николай? Как бы не так! Ругаться стал:

— Ну-ка помоги, чтоб их так перезтак! Завтрева чуть свет в Пеньково ехать, а сегодня под вечер приказ: вези, говорят, бревна к почте, на столбы, что ли, пойдут. Ни днем, ни ночью покоя. Уйду, сил больше нет!

Участковый подсобил, Фетисов еще поворчал, с тем и уехал. Наутро участковый явился к Николаю чернее черного.

— Где бревна? Давай по-хорошему!

— Какие бревна?

— Какие ночью мы грузили!

— Да ты что? Я тебя неделю не видел. Должно, ты с вечера перебрал немного!

Как ни бился участковый, как ни искал — ничего не нашел. А Фетисов одно твердил:

— Какие у тебя доказательства? Помогал грузить? Так и скажи в своей милиции, там разберутся!

Только через три года, за давностью, признался: в огороде бревна спрятал, в картошку, в борозды зарыл. Правда, тогда участковым не Калинушкин был, другой, попроще мужик: недолго продержался в милиции, наладили его оттуда за неспособность. И правильно! Этак, чего доброго, все растащили бы!

Вот из каких переделок Фетисов выходил. А теперь сидит и ждет, когда участковый придет, отправит его на пятнадцать суток, если только Пашка не выручит.

Так размышлял Николай о делах минувших и нынешних и одновременно прикидывал: куда это Калинушкин ехал? Ежели на участок, то, возвращаясь, непременно завернет по дороге, вот-вот нагрянет.

Нет, не тот у Фетисова был характер, чтобы покорно ждать своей участи! Он еще не знал, что предпримет, не знал, в какую сторону направится, но уже чувствовал, как решительность, словно добрый стаканчик в похмелье, выгнала из него вялую немощь, распрямила спину, придала мыслям ход легкий и надежный. Ноги сами понесли его из дома кратчайшим путем, сначала прямо по дороге, затем в проулок, через знакомую дыру в ограде и вновь вывели на дорогу неподалеку от дома Билибиных, что было вполне логично, поскольку в задаче с одним неизвестным и двумя известными, которую предстояло решить Фетисову, Иннокентий Павлович, как и участковый, значился в числе последних. В то время как ноги несли Николая к цели, мысли его столь же легко определили интерес Билибина, а именно — испорченный водопроводный кран, о котором тот еще

дней десять назад подавал заявку. Выйдя из дому без определенного решения, не помышляя еще ни о водопроводном кране, ни о Билибине, он подходил теперь к нему с газовым ключом в руке, имея в одном кармане жестяную коробку с солидолом, добрый пук льна и плоскогубцы, а в другом — новенький кран на случай, если старый пришел в полную негодность; факт, доказывающий, что интуиция проявляет себя на разных уровнях деятельности.

Иннокентий Павлович был дома. Вчера вечером в полусне он почему-то обиделся на свою бывшую жену («Совершенно не думает о дочери, могла и позвонить, небось валюту экономит... А если я давно того... лежу потихоньку в песочке?»). И среди этих лениво-сердитых раздумий вдруг сверкнуло нечто дельное, важное чрезвычайно. Сверкнуло не как молния — тогда бы он наверняка, отбросив сонную одурь, мгновенно насторожился и сосредоточился бы, — а как далекая зарница. Да и зарница ли, не случайная ли вспышка? Нечто дельное относилось к недавнему эксперименту в лаборатории, который должен был подтвердить или опровергнуть расчеты Билибина и который подтвердил их, но лишь после того, как он, по собственному представлению, опустился на четвереньки и принялся шарить ладонями по земле — искать дорожку к истине. Зарница погасла, случайная, бесплодная; Иннокентий продолжал сердиться на жену и жалеть себя, брошенного, неустроенного и полуголодного.

Грустная мысль о песочке, в котором Иннокентий Павлович мог бы лежать по какой-нибудь непредвиденной причине, например отравившись копченой колбасой, до которой был большой охотник и которую потреблял в огромном количестве, запивая пивом, и вовсе отвлекла его. Но песочек, в котором могло оказаться брэнное тело Иннокентия Билибина, представился ему не тяжелым, темным от влаги пластом, а беленьким, теплым, пляжным, само же брэнное тело — облаченным в пестрые купальные трусы. Он несерьезно относился к проблеме своего бытия и небытия. Может, повода не имел всерьез задуматься, болея редко и легко, или некогда было; над такими проблемами ныне даже философы не размышляют, одни туневядцы могут себе позволить: у них время есть... В молодости кое-какие соображения приходили ему на ум, когда мечтал о бессмертии, точнее — о бессмертном имени. А теперь... Не потому что потерял надежду оставить нетленным свое имя, наоборот, шансы у него тут кое-какие имелись. Просто понял, что это стремление — смешная попытка обмануть себя. Комплекс Герострата со знаком плюс, кривые буквы перочинным ножом на белоствольной березке: здесь был такой-то. Тогда что же — как у большинства? Живи, пока жив, жизнь одна, другой не дано? Ну нет! Это для простейших. Прошлое и будущее, а он, Иннокентий Билибин — звено между ними!

И вот этот легкомысленный пляжный песочек, в который он зарылся, отравленный копченой колбасой, совершенно отвлек его внимание. Утром же, вспомнив о внезапной вспышке-догадке, Иннокентий Павлович ощутил сильнейшее беспокойство. Он не помнил, что именно пришло ему в голову вечером, но знал, что потерянная идея несет в себе такие возможности, по сравнению с которыми все сделанное им раньше не более чем его коттедж по сравнению с современным небоскребом. Скорчившись в шезлонге, прикрыв ладонью глаза, он сидел неподвижно, стараясь вызвать вчерашнее...

Сначала он увидел маленький шарик — лабораторную мишень, подожженную лазерным лучом, крупинку, плавающую в багровом паре. Иннокентий Павлович дал пылающий шарик крупным планом. И вот началось то, что в последнее время ставило неодолимую преграду, как представлялось Иннокентию Павловичу, на его пути к ис-

тине. Сквозь багровый зловещий туман на шарике неожиданно проступили очертания материков и океанов, знакомые силуэты Африки и Америки. Размеренный голос за кадром произнес: «Энергия, выработанная человечеством, уже через сто лет поднимет температуру земной атмосферы на несколько градусов... Ты знаешь, чем это грозит?» «Но люди не могут жить без энергии! — возразил Иннокентий Павлович. — Цивилизация зайдет в тупик!» «Я — напоминаю!» Иннокентий Павлович усилием воли снял посторонние ассоциации и включил голос за кадром. Теперь шарик вновь стал обычной лабораторной мишенью. Струйки пара давили на ее поверхность со страшной силой в миллионы атмосфер. Билибин знал, что будет дальше: шарик просто развалится, не успев как следует сжаться. Но он заставил себя забыть об этом, и крупинка осталась целой. Давление нарастало. Под тяжким напором ударных волн материки начали смещаться, медленно, но неумолимо сползая в океаны. «Ложь! — кричал беззвучно Иннокентий Павлович. — Мы сумеем предотвратить...» «Не успеете», — печально произнес голос за кадром. «Наука всемогуща, она найдет выход!» — сказал Билибин. Голос умолк, а когда вновь зазвучал, сомнение и сожаление слышались в нем: «Давление должно нарастать плавно». «Но как?» — обрадованно спросил Билибин. «Менять форму импульса луча». «Легко сказать», — вздохнул Иннокентий Павлович. — При одинаковых условиях...»

— Какие там условия! Я бы давно зашел, замотался.

— Да, пожалуйста, раньше подтекал, а сейчас вовсе не закрывается.

Теперь разговор Иннокентия Павловича с будущим проходил на фоне крихтения и металлического побрякивания, причем эти звуки становились все слышнее, а голоса вечности все тише. Как ни пытался Иннокентий Павлович вернуть их, победителем выходила реальность. Да и могло ли быть иначе? Николай Фетисов любил, когда уважали его работу.

Что бы ни делал Николай, он неизменно давал понять, что совершает некое таинство, хитроумный фокус, который под силу лишь избранным мастерам. Заинтересованное лицо должно было понять важность произведенной работы, рассматривая ее во всех аспектах, сравнивая свою прежнюю жизнь, полную неудобств и лишений, с нынешней, счастливой и беззаботной. Отчасти такое отношение Николая к своему труду определялось соображениями материальными: чем сложнее работа, тем дороже она оплачивается. Но лишь отчасти... У Фетисова в такие моменты пробуждалась душа артиста, и эта душа требовала благодарных зрителей, требовала признаний и даже аплодисментов. Тем более жаждал он признания и внимания сейчас: ему позарез надо было вступить в прямой контакт с Билибиным, чтобы найти ходы к участковому.

— Палыч, а Палыч! — окликнул он через все комнаты хозяина. — Новый кран ставить или прежнему ремонт делать? Резьбу сорвало...

— Как знаешь, — расслабленно отозвался Иннокентий Павлович, стараясь удержаться в том, ином, измерении.

— Это верно! — жизнерадостно закричал Николай. — Сделаем со знаком качества! Палыч! Канализация как? Вода уходит?

— Уходит, — со вздохом ответил Иннокентий.

— А куда же ей деваться! — засмеялся Фетисов. — По всем законам. Ну, другая теперь жизнь с новой канализацией, а? Не то что раньше?

Поинтересовавшись затем дымоходом у камина («Тяга хорошая? Порядок!»), ступеньками крыльца («Зря я тебя послушал, плитки налепил, гляди, трескаются!»), дверным замком («Не заедает? Нормаль-

но! Как тебя не обчистили с прежним-то!») — словом, всем, что было сделано Фетисовым в этом доме на протяжении последних четырех лет, и таким образом напомнив ненароком о своей роли в жизни Билибина, приняв заверения хозяина в неизменной благодарности, Николай перешел к делу.

— Палыч! У тебя, слышь, цветы оборвали? Ну что ты из-за цветов больно убиваешься — милиция с ног сбилась, весь город перетрясла. Участковый тут ко мне заходил...

Иннокентий Павлович, с нетерпением ожидавший, когда Фетисов кончит ремонт и уйдет, ответил рассеянно, что лично он никаких претензий к милиции не имеет и если она продолжает расследование, то, наверное, по другой причине.

— Это по какой по другой? — спросил Николай подозрительно и даже с обидой, приняв, видно, замечание Билибина как намек в свой адрес.

— Ну, возможно, хотят навести порядок, — ответил Иннокентий Павлович, не поняв даже, что повторяет слова Соловьева. — Сегодня цветы, завтра еще что-нибудь...

— Это точно. Значит, как, Палыч? — заторопился Николай. — Я участковому нашему тогда скажу, а? Билибин про цветы эти и думать забыл, чего, мол, вы с ума тут сходите... Да ты не сомневайся! — еще поспешнее добавил он, заметив, что Иннокентий Павлович пытается возразить. — Я тебе каких хочешь достану: хочешь — таких, хочешь — других...

Иннокентий Павлович отмахнулся:

— Извини, некогда мне. Хватит?

Взяв протянутую пятерку, Фетисов достал из кармана два рубля, порывшись, еще полтинник мелочью и с достоинством положил на стол, чем совершенно сразил Билибина, как недавно сразил жену, отказавшись от бутылки. Он даже не потребовал причитающихся за ремонт комплиментов, ограничился тем, что заставил Иннокентия Павловича открыть и закрыть кран, спросил: «Работает? На уровне?» — и заспешил домой. Только по дороге подвернул к клумбе возле беседки, крикнул оттуда:

— Палыч! Вот эти, что ли?

Не получив ответа, Николай со всех сторон оглядел цветы. Они ему не понравились: запах дурной, словно бы болотом тянет. Вроде он такие видел на Озерной у одного армянина. Точно, видел. Только получше: голубые, мелкие и запах хороший, как у Клавкиного одколона. Придя к выводу, что запомнить их на глазок трудновато, сломал один, выбрав попышнее, и вернулся к дому.

— Вот эти, что ли? — повторил он свой вопрос, подсовывая цветок чуть ли не к носу Билибина, который вновь вот-вот был готов отключиться от окружающего.

— Зачем? — тихо спросил Иннокентий Павлович. — Зачем сорвал?

— Ты меня просил найти такие, нет? — удивился Николай. — Просил. Будь спокоен: из-под земли достану. Не страдай... Ты чего? Ладно, побежал я, — забеспокоился Фетисов, заметив, что Иннокентий Павлович приподнимается с кресла.

И он действительно поспешно удалился, неприятно пораженный тем, как вдруг перекопилось лицо у его закадычного друга Кешки Билибина. Ох и жадные все! Собственники! У кого много, тот и жадный! А может, наоборот: у жадных всего много! Он, Фетисов, заботу проявляет, а этот, понимаешь, морду кривит из-за цветка несчастного. Ну раз так — жди своих цветов до морковкиного заговенья. Тем более что у армянина знакомого вроде совсем другие:

Покуда Николай добирался домой, а затем возился у Билибина, участковый покончил с делами и тронулся в обратный путь, намереваясь заехать к Фетисову по дороге.

Он понимал, что ничего-то Фетисов не знает насчет цветов, ломает, как водится, комедию. Но выхода у Калинушкина не оставалось. Позавчера он явился к начальнику, протянул ему протокол с припиской Билибина о том, что никаких претензий потерпевший не имеет, и услышал в ответ:

— Я разве приказал вам бумажки эти собирать? По-моему, я приказал найти нарушителя... Зачем мне эта бумажка? — Капитан тем не менее подколол протокол в папку, которая по-прежнему лежала на самом видном месте, подле его правой руки. — Два дня осталось, Калинушкин! — И не желая больше говорить, а может быть, потому что сказать оказалось нечего, уткнулся в папку.

Ох, надоело все Александру Ивановичу, если бы не близкая пенсия, кажется, сам бы ушел! Пенсии было жалко. Такая у него светила мечта: иметь побольше времени, чтобы придумать какую-нибудь штуку, которая много пользы принесет людям. Конечно, берег от морских волн он уже защищать не возьмется и нарушителей не станет заранее угадывать... А вот в прошлом году по телевизору передача была научная про двигатель атомный в ракете: мол, опасный он для людей, придется от него толстой стенкой загораживаться. А зачем? Неужели не догадываются: если всю вредную эту гадость магнитом, как пылесосом, вытягивать? Конечно, мощным, каким-то особенным. Пусть подумают.

К Фетисову он приехал в дурном настроении.

— Ну,— спросил лейтенант, по привычке внимательно оглядывая все углы и закоулки в доме,— что нового?

Николай поднялся ему навстречу, здороваясь, развязно хлопнул по протянутой ему ладони.

— Есть новости, товарищ милиция!

— Выкладывай!

— Скажу — не поверишь! — Фетисов обнял Калинушкина за плечи, попытался усадить за стол, но сразу отдернул руки, вспомнив, что точно так обнимал участкового в кладовой, когда висел в петле. — На Доску почета попал! Во! Ей-богу! Сегодня портрет поместили.

— А,— равнодушно произнес Александр Иванович.— Бывает.

— Выхожу, понимаешь, из дежурки,— засуетился Фетисов.— Да ты садись... Чудно! Портрет мой, морда моя... Может, это... отметим, а, Иваныч? Все же у меня вроде праздник...

— Чего ты мне тут заливаешь! — сердито сказал Калинушкин, нервно поводя шеей: мокрый от пота воротник кителя неприятно прилипал к коже. — Насчет цветов узнал?

— А как же! — небрежно ответил Фетисов. — На цветы наплевать и забыть! Билибин мне лично для тебя передал: пусть, говорит, милиция кончает эту музыку, людям в глаза смотреть стыдно. А не кончат — жаловаться, говорит, буду.

— Я тебя чего спрашиваю? — перебил его участковый. — Я у тебя спрашиваю не про Билибина, а про цветы. Кто оборвал?

— Так это я давно установил! — не растерялся Фетисов. — Пацаны озорничали. Пашку на разведку сейчас отправил. Только ты, Иваныч, это... поосторожней, если найдем. Пацаны, сам понимаешь, не со зла, по глупости.

Фетисов нес околесицу насчет того, как трудно оказалось напасть на след... Пора было кончать эту комедию. Лейтенант встал, оглядел Николая так, словно собрался применить прием самбо:

— Хватит! Трепло ты был, треплом и остался!

И еще добавил несколько слов покрепче в сердитом своем расстройстве.

В другое время Фетисов внимания не обратил бы на ругань: так ли его, случалось, ругали, да и сам он мог обложить как следует! Но теперь, когда портрет его висел на почетной доске, когда впервые в жизни зауважал Фетисов себя, когда он, уважаемый человек, столько сил потратил, бескорыстно помогая милиции, ругань участкового показалась ему нестерпимой. Он про все забыл: и про пятнадцать суток и про давний инстинктивный страх перед милицией.

— Эй! Участковый! — закричал он, побагровев. — Язык-то не распускай! Я ведь и похлеще могу!

— Дает старый! — раздался тут насмешливый голос, и Пашкина голова показалась в окошке среди горшков с цветами. — Беги, дядя Саша, а то прибьет...

Увидев сына, Фетисов враз остыл, нетерпеливо замахал рукой:

— Иди сюда!

— Не, — ответил Пашка. — Мне и здесь хорошо.

— Узнал?

Пашка пожал острыми облупленными плечами.

— А чего мне узнавать. Я давно знаю.

— Вот, — упрекнул Николай лейтенанта, — не верил!.. Давай-давай, Паш, — заторопил он сына.

Но Пашка молчал, ощипывал понемногу цветок в горшке и, казалось, целиком ушел в это занятие. Калинушкин глянул в насупленное лицо мальчугана. «Знает! — подумал он обрадованно. — Знает, но не скажет!» — тотчас уточнил он и сел, приготовившись к долгому упорному следствию.

— Иди сюда, — ласково позвал Александр Иванович.

— Не пойду!

Пашка даже отступил на шаг от окна, опасливо поглядывая на отца и участкового. «Знает! — окончательно уверовал Калинушкин. — Ей-богу, знает!»

— Паш, иди! — крикнул Фетисов. — Не будет им ничего, вот дядя Саша сказал: ничего не будет. Верно?.. Скажи ему, — шепнул Николай Калинушкину. — А то сбежит!

Как мог Калинушкин заверить Пашку, если сам не был убежден? Кто его знает, что надумает начальство, больно уж всполошились все из-за этих проклятых цветов. Вообще-то что могут сделать? Ну, отругают, конечно, родителей могут оштрафовать, в школу сообщить. Если штрафовать — так ему же поручат. И в школу идти — опять самому. Тут он сам себе хозяин.

— Верно, Паш, — наконец решился он. — Поругают, конечно, а больше ничего.

Пашка опасливо приблизился к окну:

— Честно?

— Честно.

Пашка глотнул воздух, всхлипнув, опустил голову — стала видна его тонкая, в нестриженных вихрах шея.

— Чего, Паш, а? — обеспокоился Фетисов.

— Прости, дядя Саша... — Подняв голову, мальчишка смотрел с отчаянной решимостью на Калинушкина. — Я не знал... Они говорят: пойди нарви нам... рубль дадим. Я и пошел...

Фетисов ошалело уставился на сына.

— Врет! — наконец гаркнул он. — Не верь ему, Иваныч! Врет!

Пашка всхлипнул еще раз.

— Кто они, Паша? — спросил мягко лейтенант.

— Ну, возле забора... Говорят: вон цветы какие, пахнут здорово. Я на велосипеде ехал, а они остановили.

— погоди, погоди,— заволновался Калинушкин.— Это не шофера ли? Машины стояли возле забора?

— Стояли,— кивнул Пашка.— Две машины.

— Значит, шофера?

— Не знаю,— печально ответил мальчишка.

Фетисов метнулся к участковому:

— Иваныч! Врет! Честно скажу: я его к ребятам узнать послал, трояк посулил, если признаются. Пусть, говорю, признаются, если рвали, ничего им не будет да еще трояк получат... Потому как я тебя, Иваныч, как брата родного... хотел подсобить. Пашка! Я вот сейчас тебе! Отдай трояк, стервец!

Пашка в ответ незаметно показал ему кукиш.

— Ну, пойдешь в отделение? — спросил лейтенант.

— Пойду,— деловито произнес Пашка.

Фетисов плюнул:

— Пропади ты пропадом, шпана! Иди! Там тебя...

— Не запугивать! — грозно цыкнул участковый на Николая.

Пашка влез в окно, доверчиво подошел к Калинушкину, сторонась отца, протянул грязную ладошку:

— Не беспокойся, дядя Саша, полный порядок будет!

(Окончание следует)



АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ

★

И СНОВА ЧИСТЫЙ ЛИСТ БУМАГИ...

И снова чистый лист бумаги,
И снова поле впереди...
Но нет ни силы, ни отваги,
Чтоб это поле перейти.

Оно таит в себе тревогу
И шелест трав в крутых ярах...
Но ты сожмись — и от порога
Ты сделай к полю первый шаг.

Едва порог ты переступишь —
Лихим предчувствием томим —
В висок ударит неотступно,
Что в поле ты совсем один.

Один... Один... Тропой не тою
Ты побредешь, в хлеба ступив...
И вдруг, сраженный слепотою,
Ты остановишься, забыв,

Что ты идешь, хлебов не видя,
Что каждый шаг твой не туда,
Что поле мыто-перемыто
Косыми струями дождя.

Но это поле грозное
С тебя отбросит маету
И, оказавшись здесь с тобою,
Лучами снимет слепоту.

И ты тревожно, ты мгновенно
От солнца рыжего замрешь —
Затем шагнешь самозабвенно
И это поле перейдешь.

1971 г.

~~*

Адриатическое море
И этот старый город Сплит;
Зелено-синий лес на взгорье,
Что вечность древнюю хранит.

Славянской вязи кружевные
На стенах темных письма...
И в море — волны чуть живые,
Бредущие из-под окна.

Куда бредущие — не знаю,
Но понимаю этот путь,
Теснящий, словно рябь резная,
Неостывающую грудь;

Где быть и жить еще славянам,
Смотрящим пристально в глаза,
Умеющим и за туманом
Увидеть в прошлом образа,

Не возникающим напрасно,
Чтоб жить, но не впустую жить,—
И отделяющим прекрасно
От пустяков золотую нить.

А нить — рождаемая долго,
Веками крученая зло;
По чести, совести и долгу,
Чтоб никогда не размело.

Не размело, не размывает
И никогда не разметет,
Как улетающую стаю,
Минующую темный лед!

...И я смотрю на это тихо,
Сдержав все мысли и слова,
Что прозвучали б снова лихо
И, может быть, не раз, не два!

А может быть, не надо звуков,
Не надо в жизни лишних слов —
Пусть будет древности порукой,
Пусть будет вечности порукой
Без бреда ночь, без лишних слов.

Ведь кто-то с нами вечно спорит,
Что нет истории у нас...

Адриатическое море
Гудит, как старый контрабас,
Бросает волны к парашетам,
Деревья рвет, как узелки...

А я смотрю за желтым светом,
Как тыщу лет, из-под руки.
А я хожу под старым сводом,
Как тыщу лет назад, хожу
И вслед идущим теплоходам
С улыбкой древнею гляжу...

Сплит, октябрь 1974 г.

Пусть наше сердце в Мехико
с улыбкой
Останется навеки до утра.

Вспоминанья юности далекой
Дорогой длинной идут за нами вслед,
И смотрят черным мексиканским оком,
Как юности и старости рассвет.

Мехико, апрель 1976 г.

.

Сквозь косые дожди,
Сквозь туман-синеву
Ты лети, ты иди,
Если я позову.

Если я позову —
Ты найдись, отзовись,
И узнай, как живу,
И земле поклонись.

Годам тем и тем дням,
Что мы вместе прошли,
И тем ярким огням,
Что мы вместе зажгли.

Посмотри на огни —
Не погасли они;
Все ушедшие дни
Освещают они.

Есть такие огни,
Что не гаснут вовек, —
В сердце их береги,
Как излучины рек.

От щемящей тоски
Никуда не уйти...
На песке у реки
Имена перечти.

Перечти не спеша,
Отзывайся всегда;
Где-то бродит душа,
Как на небе звезда.

А когда упадет —
Руки ты протяни
И тогда у ворот
Погаси все огни.

Все огни погаси
И следы притопчи;
Ни о чем не проси
В этой темной ночи...

1974 г.



ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ

★

ПЕТРУ ГРОЗА*

Главы из книги

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РУМЫНИИ

I

Осенним днем 1944 года Петру Гроза едет в Бухарест с давним боевым товарищем Петре КонстантINESКУ-ЯШЬ, который прибыл за ним в Дева по поручению Центрального Комитета Румынской коммунистической партии. «Ты нужен в Бухаресте, время не ждет».

Как будто совсем недавно они, загримированные, в париках, с поддельными документами, перебирались через Карпаты в Бухарест, чтобы принять непосредственное участие в событиях 23 августа 1944 года, о которых будет рассказано немного позднее.

Гроза поделился со старым, испытанным другом своей программой развития «Фронта» — это самая массовая организация трудящихся крестьян Румынии должна стать наиболее преданным и верным помощником рабочего класса и партии коммунистов. Программа была хорошо продумана и получила поддержку вожаков-фронтистов.

Поезд отошел от станции Дева, и впервые за многие годы Петру Гроза не обнаружил шпииков сигуранцы, всегда как тень сопровождавших его. Не следовал за Грозой и агент национал-царанистов и либералов. Им тоже сейчас было не до него.

За несколько часов до отхода поезда Петру Гроза пригласил друга прогуляться к крепости. Укоренившаяся с детства привычка взглянуть на Деву и на ее окрестности с крепостного холма сохранилась и по сей день. Но сегодняшняя прогулка была особой. На землю Зэранда, землю, столько раз политую кровью, пришли новые времена, которые переменят все. Переменят не на словах, а на деле. Он поедет сейчас в столицу Румынии, чтобы отдать все свои знания, силы и энергию на преобразование Румынии. Он знает, что наступление нового уже никому не остановить, никому не повернуть историю вспять.

Он думает о Георге Доже, Хории, Клошке и Кришане, об Авраме Янку, об участниках революции 1848 года, об одиннадцати тысячах крестьян, погибших в восстаниях 1907 года, и еще о множестве героев, павших здесь. Их бедой являлось то, что у них не было надежного руководителя, не было верного компаса, указывавшего путь. Теперь у крестьян Зэранда и всей Румынии такой руководитель есть. Это рабочий класс, его коммунистическая партия. Вот вдали хорошо видна Хунедоара, сейчас не дымят ее мартены, не слышен гул цехов. Но рабочие-металлурги Хунедоары и их товарищи во всех цехах, на всех заводах страны стоят на страже победившего в Бухаресте национального восстания. Они закрепят свои по-

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

зиции, зажгут домны и мартены, поведут поезда и оживят нефтяные скважины. И все это будет для страны, для ее расцвета. У рабочих есть испытанные руководители — коммунисты, которых двадцать один год держали в подполье, в тюрьмах и казематах сигуранцы. Они вышли сейчас на простор открытой политической борьбы, и первый союзник их — «Фронт земледельцев», созданный здесь, в краю Зэранда.

Обо всем этом Гроза взволнованно говорит своему другу Петре Константинеску-Яшь. Он спрашивает, помнит ли тот, как путешествовали они втроем — Скарлат Каллимаки, Гроза и он, профессор Константинеску-Яшь, — то на лошадях, то на машине, а то пешком по горным тропинкам в те памятные дни 1935 года, когда «Фронт земледельцев» подписал в Цебе у могилы Аврама Янку, под многовековым дубом, соглашение о вечном союзе рабочих и крестьян Румынии. Вот там, вдали, за городом Брадом, если смотреть внимательно, видна эта Цебя. Там под древним дубом могила дяди Петру Грозы — Симеона Грозы, что отдал жизнь за свободу крестьян. Ах, крикнуть бы сейчас отсюда, с вершины холма, да так, чтобы и Симеон Гроза услышал, что на истерзанной земле Румынии наступают новые времена!

Константинеску-Яшь с мягкой улыбкой смотрит на своего седого спутника, ставшего вдруг похожим на романтического юношу, смотрит и не прерывает его. Он знает, что пройдет немного времени, и романтический взлет сменится реалистической оценкой происходящего. Гроза, как немногие другие, владел искусством трезвого и точного анализа обстоятельств.

А сейчас он окинул еще раз взором родные места, снял шляпу и крикнул что есть мочи:

— До свидания, мои горы! До свидания, мои долины! До свидания, любимая моя река Стрей! До свидания, Муреш! До скорой встречи! — Схватил друга за руку и быстро побежал вниз.

До отхода поезда на Бухарест оставалось тридцать минут.

И еще шла война.

И еще не все гитлеровцы были изгнаны из Румынии.

И железногвардейцы, и помещики, и капиталисты, и прислуживавшие им буржуазные партии — все еще были на местах. Но Яско-Кишиневская операция Красной Армии спутала все их карты. Одни притихли, другие бушевали, третьи выжидали, и только очень ясные умы могли себе представить, что будет, когда все это успокоится, оседет. Ясно было только одно — Антонеску свергнут¹.

Поезд Тимишоара — Бухарест остановился на пять минут на станции Дева. В неказистом грязном здании вокзала гудела взбудораженная толпа.

Петру Гроза попрощался с семьей и товарищами. Выпущенный после 23 августа из Мальмезона Мирон Бея был грустен. Ромулус Зэрони пошутил:

— Не грусти, тата² уезжает ненадолго.

Они и вправду считали Грозу своим духовным отцом. За эти годы они привыкли делить с ним и радость, и горе. Гора было всегда больше. А что ожидает их теперь?

Утром они собрались у Грозы, не опасаясь жандармов. Гроза говорил о том, что нужно срочно, не дожидаясь, пока в Бухаресте прояснится положение, дать всем местным организациям «Фронта земледельцев» точную задачу: всеми силами поддерживать действия представителей компартии, рабочих. Нужно, как выразился Гроза, провести «инвентаризацию» всех фронтистов, вселить в людей уве-

¹ Успешное завершение Яско-Кишиневской операции Красной Армии, начатой 20 августа 1944 года, оказало решающее влияние на политическую обстановку и дальнейший ход событий в Румынии. Коммунистическая партия Румынии, возглавлявшая антифашистские силы страны, умело использовала благоприятные условия для свержения фашистского режима. Король Михай I был вынужден отмежеваться от диктатора Антонеску и согласился на его арест. 23 августа 1944 года было сформировано правительство во главе с адъютантом королевского двора генералом Сэнэтеску.

² Тата — отец.

ренность в том, что в ближайшее время произойдут перемены, о которых мечтали и за которые боролись столько лет. Он, Гроза, верит, что скоро помещичья земля будет отдана крестьянам. Скоро!

— Берегитесь, берегитесь... Извините за такое предупреждение, но берегитесь,— просит Мирон Беля.— Вы нам сейчас нужны как никогда.

— Не беспокойтесь,— отвечает за Грозу Константинеску-Яшь,— все будет хорошо.

Гроза смеется и показывает кулаки:

— Они у меня еще крепкие!

Засвистел паровоз, и поезд тронулся.

О, сколько раз приходилось Петру Грозе выезжать из Девы поездом; куда только не увозил его отсюда этот поезд! И всегда при этом им овладевала грусть, всегда он сожалел, что уезжает, оставляет своих. Сейчас он меньше чем когда-либо знал, что ждет его в столице.

Поезд останавливался чуть ли не на каждом полустанке. На некоторых станциях стоял долго, пропуская военные эшелоны. В Сигишоаре Гроза впервые увидел советских солдат — молодых, веселых парней. Гроза засмеялся:

— А наши имбечилы³ надеялись победить этих ребят! «Приказываю перейти Прут!» Имбечилы! Вы посмотрите, о чем они мечтали! Только посмотрите! — Гроза протянул своему другу аккуратно сложенную газету «Универсул».

Константинеску-Яшь осторожно развернул потертую на сгибах газету. На внутренних страницах во весь разворот — знакомая карта: размещение по всему земному шару «великой румынской нации». В центре густой краской обозначался массив, начинавшийся почти у Вены и ползущий далеко на восток, до самого впадения Днепра в Черное море. А дальше пятна поменьше, точки по обоим полушариям. «Это тебе, румынский солдат, предстоит завоевывать!» — повелевали жирно набранные слова.

Поезд остановился в Плоешть.

Разрушенный недавними бомбежками вокзал, дымящиеся развалины домов, окутанные черным дымом нефтеперерабатывающие заводы и нефтепромыслы... Крупнейший нефтяной район, всю войну снабжавший бензином и горючим немецкую авиацию, танковые и моторизованные части. Это поработала американская авиация.

Гроза и Константинеску-Яшь вышли из вагона. Рядом на путях стоял воинский эшелон, на открытых платформах у нацеленных в небо зениток — молодые красноармейцы.

— Здравствуйте, ребята! — поздоровался Константинеску-Яшь по-русски. — Далеко путь держите?

— На Берлин, папаша, на Берлин! — ответили ему несколько голосов.

Красноармеец с несколькими наградами на груди посмотрел на двух гражданских людей в шляпах и галстуках и настороженно спросил:

— А вы, господин папаша, откуда по-русски знаете?

— Научился, молодой человек, в тюрьмах этого королевства...

II

Для того чтобы читателю было легче проникнуть в суть происходивших в то время в Румынии событий, понять смысл тогдашних действий доктора Петру Грозы, остановимся на некоторых сторонах внутривосточного и международного положения этой страны перед крутым августовским поворотом 1944 года. Эта задача облегчается тем, что в последнее время опубликован ряд работ советских и румынских авторов, восстанавливающих картину тех дней. Много фактического материала помещено в недавней публикации Академии Социалистической Республики Румынии и Академии общественных и политических наук под общим наблюдением Мирона Константинеску и Давида Продана. Эти материалы помогают нам ответить на вопросы: что вынудило правительство Антонеску и самого ко-

³ И м б е ч и л ы — слабоумные, глупые.

роля Михая пойти на освобождение Петру Грозы, несмотря на то, что он не отрицал своего прямого участия в «антиправительственных акциях», что он вел себя в тюрьме Мальмезон дерзко и не склонил головы? Что вынудило короля Михая, шедшего рука об руку с гитлеровским приспешником Ионом Антонеску, не раз посещавшего на позициях «доблестные румынские войска», прославлявшего в своих обращениях к нации взятие советской Одессы и советского Крыма и многие другие «победы» румынских войск на фронте, — что вынудило его все же примкнуть к патриотическим силам и не препятствовать свержению правительства Антонеску?

Шел тысяча девятый день Великой Отечественной войны советского народа против фашистских поработителей. После непрерывного двадцатидневного наступления войска 2-го Украинского фронта под руководством маршала Малиновского 26 марта 1944 года вышли на государственную границу СССР с Румынией — реку Прут. Военные действия переносились на территорию Румынии. Еще задолго до этого, предвидя неизбежность поражения гитлеровской Германии под ударами советских войск, некоторые представители правящих кругов Румынии, а также лидеры «исторических» партий Маниу и Брэтиану искали пути сближения с англичанами и американцами. Они надеялись, что американцы и англичане достигнут Румынии раньше Красной Армии, и явно готовились к их встрече. Однако выход наших войск к Пруту был очевидной реальностью.

Советское правительство заявило, что вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением противника, и указывало, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего строя этой страны.

Победы Красной Армии придавали уверенность патриотическим силам Румынии, сплоченным румынскими коммунистами. Образованный еще в 1943 году патриотический антигитлеровский фронт (за участие в создании которого и был арестован и посажен в Мальмезон доктор Петру Гроза) обретает новые силы после присоединения к нему «Фронта земледельцев», «Союза патриотов», Крестьянской социалистической партии и МАДОСа. В конце апреля 1944 года под руководством компартии создается единый фронт, который ставит своей целью свержение фашистской диктатуры. 1 мая 1944 года был обнародован боевой манифест единого рабочего фронта: «В день 1 мая, в день борьбы и надежд, организованные, объединившиеся рабочие, от коммунистов до социал-демократов, призывают весь рабочий класс, всех организованных и неорганизованных рабочих, весь румынский народ, все классы и социальные слои, все партии и организации независимо от политической окраски, религиозных убеждений и социальной принадлежности к решительной борьбе за:

немедленный мир;

свержение правительства Антонеску; формирование национального правительства из представителей всех антигитлеровских сил;

изгнание гитлеровских армий из страны, саботаж и разрушение германской военной машины».

«Пробил час выбора, — указывалось в манифесте, — между полным разгромом и миром, демократическими свободами, восстановлением страны... Путь спасения от национальной катастрофы — единство всех партий, организаций и патриотов в народном патриотическом антигитлеровском фронте и создание Национального комитета борьбы за спасение родины, призванного мобилизовать и объединить все силы страны без различия классовой, партийной или религиозной принадлежности».

Многие приближенные короля понимали необходимость решительного отмежевания от Антонеску. «Без этого, — признавался один из них, — румынский народ, естественно, будет склонен обращать свои взоры к новым формам политической и социальной организации. Кто может вообразить себе, что монархия, доказавшая свою солидарность с делом Германии, выживет?»

Деятельность Румынской компартии по мобилизации народа на антифашистские выступления находит все больший отклик в стране. Интересное свидетельство этого содержится в донесении главного управления румынской полиции. Там отмечается, что коммунисты проводят свою работу в первую очередь среди рабочих, сельских жителей и беженцев, побуждая их к отказу идти на фронт, к вступлению в боевые патриотические группы и партизанские отряды, к организации актов саботажа в военной промышленности и на железных дорогах. И полиция делает неутешительный для себя вывод: «Все большую почву в массах находит антигерманская пропаганда и пропаганда в пользу мира, ведущаяся КПР через патриотический фронт».

6 мая 1944 года взбешенный Антонеску собирает экстренное заседание правительства и угрожает: «Я прикажу отправить всех бездельников на фронт... Я отдам приказ о мобилизации всей нации! Мы теперь переживаем тотальную войну, и как солдаты умирают на фронте, пусть умирают также и в тылу, исполняя свой долг».

Как видим, на берегах Дуная у берлинского фюрера был достойный ученик. Но дела его были плохи. Патриотические силы усиливают борьбу. Они распространяют листовки, издают подпольные газеты, призывают народ проявить бесстрашие перед угрозами диктатора. «Антонеску, — писала банатская нелегальная газета, — выполняет отчаянные приказы, полученные от Гитлера, он погубил наши дивизии и потерял наше вооружение под Сталинградом, у излучины Дона, на Кубани. Он не внял предупреждениям высших офицеров, которые, видя, что война проиграна, требовали возвращения армии в страну, и, таким образом, позволил изолировать и уничтожить остатки дивизий на Украине и в Крыму. Но всего этого ему было мало. Теперь, когда весь немецкий фронт дезорганизован и находится в беспорядке, когда немецкие солдаты бегут, бросая снаряжение, когда раненые пристреливаются немецкими офицерами, так как они задерживают отступление, когда немцы борются лишь за спасение своей шкуры, сумасшедший преступник приказывает нам бороться до последнего. Он хочет таким образом ценой румынских дивизий продлить агонию немцев».

В разных концах страны появляются призывы не подчиняться приказам Антонеску, уходить с оружием в партизанские отряды, переходить «на сторону русских и бороться рядом с ними против немецких захватчиков».

В первые дни мая начались налеты английской и американской авиации на Бухарест, Крайову, Турну-Северин, Брашов, Питешты и нефтеносные районы долины Праховы. Если в тяжелейшее для Красной Армии время, когда войска Гитлера и Антонеску находились под Сталинградом, союзническая авиация была, как объяснялось, не в состоянии долететь до Румынии, то сейчас она долетела. Столица Румынии, которая еще в декабре сорок третьего, по словам Петру Грозы, «бесилась от хорошей жизни и изобилия», впервые за всю войну почувствовала запах пороха. Начиная с 22 июня 1941 года война отдалялась от румынских границ на восток, ее ужасы и стоны доносились сюда, как сказал Гроза, «нежным шуршанием натурального шелка». Сейчас, только в первые дни мая, Бухарест покинуло 500 тысяч жителей — больше половины. В городе не хватало убежищ, исчезло продовольствие, начался хаос.

12 мая правительства СССР, США и Англии обращаются к правительству Румынии и к правительствам других союзных с Гитлером государств с серьезным предупреждением: «...насколько дольше они будут продолжать сотрудничество с Германией, настолько суровее будут последствия». В интересах народов этих стран — бороться за немедленное заключение сепаратного мира с антигитлеровскими державами и способствовать своим выходом из войны быстрейшему окончанию военных действий в Европе, а тем самым уменьшению количества собственных жертв.

Национал-царанистская партия под руководством Юлиу Маниу и национал-либеральная партия под руководством Дину Брэтиану, как известно, не раз отвергали предложения о сотрудничестве с коммунистами и «Фронтом земледельцев» и, в сущности, предали идею единого антифашистского фронта. Сейчас. вес-

ной сорок четвертого, они почувствовали, что складывается новое соотношение сил и что соглашение с коммунистами сможет помочь им удержаться на поверхности. Они заявили, что будут сотрудничать с коммунистами и социалистами, но отвергли предложение коммунистов о привлечении к сотрудничеству «Фронта земледельцев», МАДОСа и «Союза патриотов». Как увидим в дальнейшем, они боялись Петру Грозы. Коммунисты оставили за собой право полной самостоятельности действий и союза с теми организациями, с какими они найдут нужным. Связи руководства КПР с Петру Грозой и другими руководителями «Фронта земледельцев» еще более укрепились.

Коммунистическая партия Румынии стала единственной политической силой, имевшей реальные связи со всеми нефашистскими группами, организациями и партиями Румынии. В дальнейшем все действия коммунистической партии по подготовке августовских событий 1944 года велись от имени Национально-демократического блока.

Антонеску и его клика изо всех сил старались удержать в своих руках власть. Но если Антонеску действовал примитивно, не сворачивая, как он неоднократно подчеркивал, «ни на шаг с исторических магистралей фюрера», то дворцовые круги, среди которых находились опытные военные и дипломаты, давно уже поняли, что чудовищная телега Гитлера — Антонеску катится под ударами Красной Армии к своему бесславному концу. Проведшая всю войну в безмятежной роскоши, дворцовая камарилья не желает оказаться под колесами «квадриги большевистской Ники». И она предпринимает серьезные попытки к своему спасению.

23 мая 1944 года генерал Сэнэтеску, управляющий военными делами двора, с согласия короля встречается с командующим 5-м территориальным корпусом в долине Праховы генералом К. Василиу-Рэшкану и начальником штаба военного командования Бухареста полковником Д. Дэмэчану с целью подготовит свержение режима Антонеску и выход Румынии из гитлеровской войны. Первый контакт между дворцовыми кругами и представителями Коммунистической партии был установлен в августе 1943 года, когда Лукрециу Пэтрэшкану по заданию партии встретился с генералом Сэнэтеску. В мае 1944 года представители КПР — тот же Л. Пэтрэшкану и Э. Боднэраш — приняли участие в узком совещании во дворце, на котором присутствовал король. Пэтрэшкану и Боднэраш отстаивали линию компартии, нацеливавшей народ и армию на восстание против военно-фашистской диктатуры, против союза с гитлеровской Германией. Не видя другого выхода, чтобы спасти трон и самого себя, король Михай объявляет о своем согласии с предложением КПР о ликвидации военно-фашистской диктатуры и разрыве с фашистской Германией. Было договорено, что Ион Антонеску будет отстранен от власти и арестован.

Небезынтересно отметить, что даже когда с необходимостью отстранения клики Антонеску согласился сам король, «историкки» продолжали вести свою двойную игру.

В феврале 1944 года Юлиу Маниу с согласия Дину Брэтиану послал Барбу Штирбея в Каир для ведения переговоров об условиях соглашения о мире. На первой встрече с представителями СССР, США и Англии 17 марта 1944 года Барбу Штирбей заявил, что и Антонеску и оппозиционные партии понимают необходимость скорейшего вывода Румынии из войны, подчеркнув, таким образом, что он представляет румынские правящие круги в целом, а не только Маниу и Брэтиану. Этот эмиссар, писала в то время газета «Нью-Йорк таймс», хочет «убедить союзников вывести Румынию из войны путем англо-американской оккупации».

Советское правительство разгадало маневр буржуазно-помещичьих кругов Румынии. 12 апреля 1944 года Штирбей получил советские условия перемирия из шести пунктов, предварительно согласованные с правительствами Англии и Соединенных Штатов Америки. Вот они:

«1) Разрыв с немцами и совместная борьба румынских войск и войск союзников, в том числе и Красной Армии, против немцев в целях восстановления независимости и суверенитета Румынии.

- 2) Восстановление советско-румынской границы по договору 1940 года.
- 3) Возмещение убытков, причиненных Советскому Союзу военными действиями и оккупацией Румынией советской территории.
- 4) Возвращение всех советских и союзных военнопленных и интернированных.
- 5) Обеспечение возможности советским войскам, так же как и другим союзным войскам, свободно продвигаться по румынской территории в любом направлении, если этого потребует военная обстановка, причем румынское правительство должно оказать этому всемерное содействие своими средствами сообщения как по суше и воде, так и в воздухе.

6) Согласие Советского правительства на аннулирование венского арбитража о Трансильвании и оказание помощи в деле освобождения Трансильвании».

Авторы книги «Из хроники исторических дней» установили, что «Маниу, с которым Штирбей держал связь по радио, оттягивал взятие на себя конкретного обязательства, касающегося немедленной акции по выводу Румынии из антисоветской войны, ставя в качестве предварительного условия присылку в страну англо-американских воздушных десантных частей, видя в них непрременную гарантию сохранения власти в руках буржуазии».

И в последующей переписке с союзниками Маниу вновь подчеркивал, что присутствие англо-американских войск в Румынии является условием любой акции, направленной на вывод страны из гитлеровской войны.

Переговоры в Каире становились бессмысленными, и 1 июня 1944 года представители трех великих держав приняли следующий текст заявления: «Ввиду положения, создавшегося с последними телеграммами Маниу, представители трех держав считают необходимым заявить румынским делегатам, что дальнейшие переговоры бесполезны и они считают их законченными».

Ион Антонеску и его правительство продолжали мобилизовывать «все силы нации» для сопротивления наступающим советским частям, для сооружения долговременных укрепленных линий обороны. Но в центре внимания правительства продолжает оставаться и проблема наступившего в стране хаоса и дезорганизация государственного аппарата. На заседании Совета министров 21 июня Антонеску отмечает, что толпы беженцев кочуют по стране, переходят на север Трансильвании, возвращаются назад, переходят в Болгарию, занимаются воровством и распространяют сыпной тиф. В то же время немецкие военные колонны, входящие в страну и выходящие из нее без всякого контроля, занимаются грабежом и контрабандой. Германская этническая группа, считающая себя государством в государстве, не подчиняется законам страны, вооружается, управляется непосредственно из Германии и готовится к оккупации страны. Антонеску, подводя итоги своей очередной инспекторской поездки в тыл фронта, из которой только что вернулся (он очень любил пышные инспекторские поездки по стране), заявляет своим министрам: «Я видел, как страна ускользает из моих рук и как с каждым моментом назревает катастрофа».

Вскоре Антонеску был вызван в Берлин к Гитлеру. Румынский диктатор заверил фюрера, что останется до конца на стороне Германии.

А в это время советский Генеральный штаб разрабатывал в деталях Яско-Кишиневскую операцию. 31 июля 1944 года в Ставке Верховного Главного Командования было определено, что советским войскам предстоит одним мощным ударом ликвидировать главные силы войск противника и тем самым решительно подорвать вооруженный оплот фашистской диктатуры в Румынии.

Тогда же эмиссары правительства Антонеску не без ведома короля и дворцовых кругов устанавливают связь с американским консулом в Стамбуле. От имени румынского правительства они предлагали англичанам и американцам любые концессии в нефтяной, горной, лесной или другой промышленности, если те возьмут на себя возмещение убытков, требуемых от Румынии Советским Союзом, и если смогут послать самолеты, парашютные войска и морские силы через Черное море. Антонеску был полон решимости сделать все возможное для продолжения военных операций против СССР хотя бы до прихода английских и амери-

канских войск, в которых он видел средство сохранения старых порядков и своего собственного положения.

10 августа газета «Румыния либерэ» пишет, что группы оппозиции поняли, что настал момент действий и если этот момент упустить, он будет потерян навсегда. «Пусть солдаты поворачивают оружие, рабочие саботируют производство, железнодорожники мешают перевозкам для гитлеровцев, государственные служащие останавливают административную машину».

Публикуется общее заявление Национально-демократического блока, в котором определены первоочередные задачи: безотлагательное заключение перемирия с Объединенными Нациями, выход Румынии из оси, выдворение гитлеровских войск, восстановление национальной независимости и суверенитета страны путем борьбы против Германии совместно с Объединенными Нациями, устранение фашистского правительства, замена его демократическим конституционным режимом. «Нужно смотреть на вещи прямо, по-мужски,— подчеркивалось в заявлении,— и нужно понять, что Румыния погибнет, если не перейдет уже сегодня на сторону союзников. Этого требует ее патриотическое прошлое. Этого требует самое элементарное чувство национального самосохранения».

Несмотря на все растущие требования со стороны представителей самых различных кругов прекратить преступную войну и заключить перемирие, Антонеску до самого последнего момента настаивает на продолжении военных операций против Советского Союза.

Но приближался час возмездия.

Утром 20 августа 1944 года мощной артиллерийской подготовкой началось грандиозное наступление советских войск 2-го и 3-го Украинских фронтов, Дунайской военной флотилии, судов Черноморского флота. С учетом тыловых частей общий личный состав наступающих фронтов составлял 1 250 тысяч человек. Советским войскам противостояла фашистская группировка армий «Южная Украина», которая на 20 августа насчитывала 25 немецких и 22 румынских дивизий, а также 5 румынских пехотных бригад; в ее распоряжении было мощное вооружение: 7600 орудий и минометов, 400 танков и штурмовых орудий и 810 самолетов.

И тут, когда полное поражение на фронте стало неминуемым, король Михай I, чтобы спасти институт монархии, счел жизненно необходимым открыто отмежеваться от военно-фашистской диктатуры.

Таковы были обстоятельства, заставившие дворцовые круги пойти на сотрудничество с КПР и принять ее план проведения антифашистского восстания, предусматривавший арест фашистского правительства. Таковы были благоприятные условия, способствовавшие успеху акции 23 августа 1944 года.

Ион Антонеску и его заместитель Михай Антонеску во время аудиенции у короля были арестованы и препровождены в бронированную белую комнату — специальный королевский сейф для хранения дорогих коллекций марок. Там они просидели, пока не были переданы боевому отряду компартии и вывезены на конспиративную квартиру в предместье Ватра Луминоасэ. Это был закономерный финал безумного решения: «Приказываю перейти Прут!» Но пока что финал этот касался только Антонеску и его клики.

27 августа 1944 года Советское правительство опубликовало Справку об условиях перемирия с Румынией, которые были предложены еще в апреле того же года. 31 августа газета «Известия» сообщает о прибытии в Москву румынской правительственной делегации для ведения переговоров и подписания перемирия. 12 сентября это Соглашение было подписано. Советский Союз, подписывая перемирие, руководствовался не чувством мести к стране, воевавшей против него тысячу сто пятьдесят восемь дней, а стремлением помочь румынскому народу, попавшему в беду, избавиться от фашистского ига и восстановить свою независимость.

Вернувшись из Москвы после подписания перемирия, представитель Комму-

нистической партии Румынии Лукрециу Пэтрэшкану делает следующее заявление для печати:

«Румынский народ должен знать правду. Полную правду. Румыния проиграла войну. Войну, начатую против жизненных интересов румынского народа. Румынские армии дошли до Кавказа и Сталинграда. Они оккупировали Крым и Транснистрию. Антонеску и его режим приобщили румынский народ к гитлеровскому разбою. В Бессарабию, Транснистрию, от Одессы до Нальчика и калмыцких степей наша армия была послана преступными правителями, чтобы убивать сотни тысяч ни в чем не повинных людей безо всякой военной необходимости. Этому не может быть никакого оправдания. Банды разбойников, люди Антонеску, подвергли грабежу и насилию целые края, демонтировали заводы, забирали тракторы и трамваи, увозили скот, мародерствовали, уничтожали лаборатории, раздевали убитых. И все это именем румынского народа. Когда мы приехали в Москву, ужасы войны еще были живы в сердцах и душах каждого советского гражданина».

Соглашение о перемирии с Румынией констатировало, что Румыния с четырех часов утра 24 августа 1944 года полностью прекратила военные действия против Советского Союза и на всех участках фронта вышла из войны против Объединенных Наций, порвала отношения с Германией и ее сателлитами, вступила в войну на стороне союзных держав и будет вести ее против Германии и Венгрии, чтобы восстановить свою независимость и суверенитет, выставив для этой цели не менее 12 пехотных дивизий. Военные действия румынских вооруженных сил, включая военно-морской и воздушный флоты, против Германии и Венгрии будут вестись под общим руководством Союзного (Советского) Главного командования. На правительство и командование румынской армии возлагалась обязанность принять меры к разоружению и интернированию войск Германии и Венгрии, находившихся на румынской территории, а также к интернированию граждан названных стран. Румыния обязывалась также обеспечить союзным (советским) войскам возможность беспрепятственного передвижения по румынской территории и оказывать этому передвижению всемерное содействие. Соглашением восстанавливалась государственная граница между СССР и Румынией, определенная советско-румынским соглашением от 28 июня 1940 года. Северная Трансильвания была возвращена Румынии.

Подписанный в Москве документ обращал особое внимание на необходимость демократизации политической жизни в Румынии. Предусматривались — немедленное освобождение всех лиц, находившихся в заключении в связи с их деятельностью в пользу Объединенных Наций, отмена дискриминационного расистского законодательства (введенного во времена правления Октавиана Гоги) и вытекающих из него ограничений.

В статье пятнадцатой Соглашения особо подчеркивалось, что «румынское правительство обязуется немедленно распустить находящиеся на румынской территории все прогитлеровские (фашистского типа) политические, военные, военизированные, а также другие организации, ведущие враждебную Объединенным Нациям, в частности Советскому Союзу, пропаганду, и впредь не допускать существования такого рода организаций».

Ущерб, причиненный Советскому Союзу в результате военных действий Румынии, достиг, по румынским данным, 1,5 миллиарда долларов. Однако экономические статьи Соглашения говорят о великодушии Советского Союза. «Убытки, причиненные Советскому Союзу военными действиями и оккупацией Румынией советской территории, — отмечалось в документе, — будут возмещены Советскому Союзу, причем принимая во внимание, что Румыния не просто вышла из войны, а объявила войну и ведет ее против Германии и Венгрии, стороны условливаются о том, что возмещение указанных убытков будет произведено Румынией не полностью, а только частично, а именно: в сумме 300 миллионов амери-

канских долларов с погашением в течение шести лет товарами (нефтепродукты, зерно, лесоматериалы, морские и речные суда, различное машинное оборудование и т. п.)».

Для контроля за выполнением Соглашения о перемирии учреждалась Союзная контрольная комиссия в составе представителей СССР, Англии и Соединенных Штатов Америки, которая работала под руководством Советского Главнокомандования, действовавшего от имени трех союзных держав. Румынское правительство и его органы были обязаны выполнять все указания этой комиссии, вытекавшие из Соглашения о перемирии.

Гуманный характер этого Соглашения широко комментировался в румынской и международной печати, в выступлениях государственных деятелей различных стран.

В своем выступлении в палате общин в сентябре 1944 года Уинстон Черчилль указал на умеренность советских условий. Журнал «Тайм» писал, что «мир считает условия перемирия великодушными», а газета «Йоркшир пост» подчеркивала, что «румынский народ не может жаловаться на тяжесть условий перемирия. В этих условиях нет никаких элементов мстительности».

Руководитель румынских коммунистов Георге Георгиу-Деж подчеркивал, что великодушные советские условия перемирия создают предпосылки для будущего сотрудничества и вечной дружбы между румынским и советским народами.

Руководители «исторических» партий и неразбитые фашистские организации ополчились против подписавших перемирие. Антисоветские голоса раздавались и на состоявшемся 16 сентября чрезвычайном заседании румынского правительства. После одного из ура-патриотических выступлений Юлиу Маниу представитель компартии обратил внимание правительства «на опасность для страны ведения антисоветской политики». Утвердив результаты перемирия, правительство Сэнэтеску и последующие реакционные правительства Румынии при этом намеренно саботировали Соглашение, чем неоднократно вызывали протесты Союзной контрольной комиссии.

Добросовестное выполнение Соглашения и искреннее румыно-советское сотрудничество начнется только после 6 марта 1945 года, когда к власти придет правительство, возглавленное доктором Петру Грозой.

III

В сентябре 1944 года Петру Гроза нашел Бухарест оживленным и в то же время растерянным. Город намного отличался от того, каким был в декабре прошлого года. От налетов американских и английских бомбардировщиков пострадали промышленные районы, бомбили столицу и гитлеровские авиационные части. Были разрушены магазины и рестораны на Каля Виктории, национальный театр, жилые районы. Сильно пострадало здание Атенеума.

Администрация гостиницы «Атене палас» предложила гостю из Девы номер на третьем этаже. Окна комнаты выходили к разрушенному Атенеуму, и Гроза всякий раз, когда подходил к окну, вздрагивал от мрачного зрелища.

Каждое утро, прежде чем направиться к дому номер 9 по улице генерала Анджелеску, где разместился Центральный комитет «Фронта земледельцев», Гроза совершал свою привычную прогулку. Он шел по широким бухарестским бульварам до моста Бэняса, мимо живописной деревни «Музея села», всякий раз останавливался перед знаменитой виллой с колокольчиками доктора Миновича, организатора столичной «скорой помощи». В свое время он пользовался огромной известностью как «отец» всех бухарестских беспризорников и прекрасный врач, к нему спешили люди со всех концов страны. За короткое время Минович разбогател и стал собирать образцы народного творчества всех исторических провинций Румынии. Он построил большой каменный дом в народном стиле, покрыл его черепицей и окружил резным каменным забором. Над домом башенка с шестью миниатюрными колоннами, под острым верхним шатром висят почти незаметные снизу колокольчики. Слышится нежная мелодия, напоминающая звон колокольчиков

в походах детей на рождество. Чтобы колокольчики звенели, доктор Минович сам привязал к их языкам белые гусиные перья. Они совсем не видны, но шевелятся от малейшего дуновения ветра, и тогда словно с поднебесья доносится таинственный звон. Петру Гроза любил остановиться передохнуть на большой каменной скамье перед домом и послушать переливчатый говор этих колокольчиков. Иногда вспоминалась рождественская песня, с которой дети провожали его, сами того не зная, в Мальмезон в канун сорок четвертого года.

Во время одной из прогулок, посидев немного у виллы доктора Миновича, Петру Гроза пошел по широкому бульвару к Триумфальной арке, возведенной у начала шоссе Киселева при короле Фердинанде I. На арке вырезаны названия городов и местностей, принесших славу румынскому оружию во время первой мировой войны. А во время этой войны по приказу Михая и Антонеску вырезаны слова «Одесса», «Симферополь», «Николаев», «Херсон». Сейчас четверо рабочих ставили у арки леса. Гроза подошел к ним.

— Доброе утро, братья!

— Пусть добрым будет твое сердце, господин.

— Что собираетесь делать?

— Да вот менять...

— Арку? — удивился Гроза.

— Да нет... камни... Вот эти, с новыми словами... Поторопились, а сейчас мучайся...

Рабочие снимали с Триумфальной арки пятна национального позора. А кто сотрет эти пятна с истории румынского народа? И сколько для этого потребуется времени?

Гроза пошел дальше по шоссе Киселева, мимо роскошных особняков румынской буржуазии. Тихие особняки: хозяева притаились в ожидании — кто дома сидит, а кто в имениях хозяйничает...

Неподалеку от Триумфальной арки дом бывшего министра иностранных дел Румынии Николае Титулеску. Это один из руководителей румынской дипломатии между двумя мировыми войнами. Он понимал, что улучшение отношений с Советским Союзом — жизненная необходимость для страны. Послушались бы его, пошли бы Маниу и Брэтину на создание единого фронта против фашизма, к чему призывала компартия, не надо было бы сейчас ставить леса у Триумфальной арки. Так нет! Грозе вспомнилось, как он во время пребывания на посту министра в правительстве Авереску, еще в 1920 году, говорил, что нельзя пренебрегать существованием молодой Советской республики, что нужно начать с этой страной переговоры, нужно наладить экономические и торговые связи с восточным соседом. Октавиан Гога высокопарно заявил, что Петру Гроза хочет большевизировать Румынию. Маршал Авереску обнял тогда Гогу в благодарность за такие «патриотические» слова. Но Гроза не сдавался. После сообщения в газетах о подписании Рапалльских соглашений Гроза снова поставил перед правительством вопрос о необходимости нормализации отношений с Россией. «Надо уметь жить хорошо и в мире со своими соседями прежде всего, это я вам из своего опыта хозяина говорю».

Обычно Петру Гроза ходил очень быстро, но когда начинал думать, шаг сам собой замедлялся. Вот и сейчас он шел тихо и вспоминал, с какой радостью встретил тогда, в июне 1934 года, весть о том, что дипломатические отношения с СССР восстановлены. Как неудержимо росло общество «Друзья СССР»! Какими восторженными словами встречала прогрессивная пресса первых представителей Советского государства в Бухаресте! Он как сейчас видит большой заголовок газеты «Пролетарул», выпущенной по случаю приезда в Бухарест первого советского посла: «Добро пожаловать, товарищ Островский! Да здравствует румыно-советская дружба! Да здравствует социализм!» А какие статьи писал тогда в своем «Колоколе» «красный принц»! Сколько радости было среди фронтистов!.. А потом... Потом король и «друзья» царанисты и либералы вынудили Титулеску уйти в отставку, общество «Друзья СССР» запретили. Коммунистов загоняли в тюрьмы и концлагеря... А потом — все, что привело к 22 июня сорок первого.

Неподалеку от дома Титулеску, по другую сторону шоссе Киселева, стоит современное белое здание. Оно построено после установления дипломатических отношений с СССР. Здесь советское посольство. Красный флаг с серпом и молотом. «Как же это они могли погнать войска против страны серпа и молота?» — все возмущался Петру Гроза. Сколько бы раз после 22 июня 1941 года он ни ставил перед собой этот вопрос, не мог на него ответить. «Бредили о Дакии времен Буребисты⁴, — думал он, — но если так ставить вопрос, то что же должны делать итальянцы? Восстановить Римскую империю? В каких границах? А турки — Оттоманскую империю? А греки — империю Александра Македонского?.. Дакия времен Буребисты. Какая глупость!»

Раздумывая и сейчас над этим, Гроза дошел до особняка, в котором разместилось центральное руководство «Фронта земледельцев». Он уже не раз встречался с руководителями компартии, говорил им о том, что повсюду, где еще до войны были созданы организации «Фронта земледельцев», они уцелели и работают. Многих вожakov посадили в тюрьмы и лагеря, а после подписания перемирия правительство генералов — хочешь не хочешь — должно было выпустить политзаключенных. Ион Мога, Мирон Бея, Ромулус Зэрони, Георге Микле вместе со своим председателем восстановили связи с местными организациями, создали боевые крестьянские комитеты, которые стали опорой коммунистической партии на селе. Сегодня здесь будет обсужден манифест, основу которого составят принципиальные положения, о которых он, Петру Гроза, договорился с коммунистами:

братство крестьян с работниками физического и умственного труда;

братство и совместная работа со всеми проживающими в стране национальностями;

тесный союз и дружба с Советским Союзом.

«Мы, делегаты Центрального комитета «Фронта земледельцев», собравшиеся в Бухаресте 27—30 сентября 1944 года для обсуждения платформы Национально-демократического фронта, разработанной и предложенной Центральным Комитетом Румынской коммунистической партии, констатировали и решили следующее:

23 августа 1944 года войдет в историю как день присоединения румынского народа к борьбе за свержение беспримерной кровавой гитлеровской диктатуры. Став союзником великих народов мира — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, — народов, защищающих мир, демократию и свободу, мы убеждены, что румынский народ никогда не свернет с новой дороги, никто не остановит его на пути к миру и национальному достоинству!

Мы понимаем, что впереди тяжелая борьба, что сегодняшние страдания еще очень велики, но в то же время знаем, что свет окончательной победы приближается, что в муках этой борьбы рождается новый мир. После стольких лет жестокого крепостничества и страданий, после стольких мучений, когда нам зажимали рты и заковывали в кандалы, мы выходим на свет с развернутым боевым знаменем трудящихся земледельцев.

Храня в памяти все то, за что боролись наши предки во главе с Хорией, Клошкой и Кришаном в Ардяле, а также борьбу наших братьев-крестьян под предводительством Тудора и восстания 1907 года,

храня в памяти нашу борьбу за сплочение земледельцев 8 января 1933 года в краю Хунедоары и древней колыбели нашей исторической борьбы Зэранда, помня 17 пунктов нашей первоначальной программы, рожденной горем и нищетой, —

рассмотрели платформу Национально-демократического фронта, разработанную Центральным Комитетом Коммунистической партии Румынии, и убедились, что она содержит основные требования нашего трудового народа городов и сел, преследует завоевание гарантий для национальной и социальной свободы румынского народа и обеспечение новой, справедливой и счастливой жизни для всех людей физического и умственного труда. Для претворения в жизнь этой платформы требуется приход к власти правительства Нацио-

⁴ Буребиста — король даков в середине I века до н. э.

нально-демократического фронта. Только оно сможет осуществить высокие цели, за которые боролись и были замучены наши великие предки.

«Фронт земледельцев» Румынии и на этот раз обращается с призывом ко всем партиям и ко всем подлинно демократическим силам принять и поддержать эту платформу безо всякого промедления. Этим они смогут доказать на деле, что желают добра многострадальному трудовому народу страны.

Мы одновременно обращаемся ко всему крестьянству страны с боевым призывом поддержать все акции, направленные на претворение в жизнь этой платформы.

Организация «Фронта земледельцев» принимает на себя обязательство поддержать со всей решительностью борьбу трудящихся городов за осуществление своих требований. Боевой союз крестьянства и рабочих является залогом полного выполнения намеченной в платформе программы.

Председатель «Фронта земледельцев» Румынии
доктор Петру Гроза.

Делегаты Центрального комитета
«Фронта земледельцев»

Ион Мога, Мирон Беля, Ромулус Зэрони.

Бухарест, 29 сентября 1944 года».

Петру Гроза и его товарищи стремились к тому, чтобы «Фронт земледельцев» стал опорой коммунистов в борьбе за создание Национально-демократического фронта. В скором времени к платформе компартии присоединятся Социал-демократическая партия, объединенные профсоюзы Румынии, «Союз патриотов», Венгерский народный союз, Крестьянская социалистическая партия. Ведутся активные переговоры и с руководителями «исторических» партий Маниу и Брэтину. Но они не только не шли на общий союз за демократизацию всей жизни страны, но отговаривали от этого и лидеров других партий. На предложение Грозы объединиться Маниу ответил:

— Я не хочу, я уже стар, не могу. И вы уже не такой молодой, не связывайтесь с этими...

Под «этими» он подразумевал коммунистов.

12 октября 1944 года был создан Высший совет Национально-демократического фронта. Он выступил за правительство, которое активно и честно выполняло бы условия перемирия и приступило бы к ликвидации фашистских организаций в стране.

Тем временем, пытаясь помешать активному участию Румынии в антигитлеровской войне, реакционные силы тормозили отправку пополнений на фронт, задерживали поставки военного снаряжения. В результате румынские части нередко были слабо укомплектованы, плохо снабжались вооружением и боеприпасами. Особенно усилился саботаж реакции после того, как Румыния была очищена от гитлеровских войск. Делались попытки убедить народ в том, что незачем участвовать в войне, раз Трансильвания уже освобождена. Саботаж создавал серьезные трудности, это сказывалось на боеспособности многих румынских частей, вело к неоправданным потерям на фронте. Демократические силы страны во главе с Коммунистической партией призывали активно бороться за выполнение взятых Румынией обязательств участвовать в антифашистской войне. Центральный орган компартии газета «Скынтейя» подчеркивала, что «война еще не закончена. Необходимо вести борьбу дальше, чтобы уничтожить гитлеровского зверя в его берлоге, искоренить германский империализм и его преступных слуг».

Правительство генерала Сэнэтеску своей бездеятельностью вызывало серьезное недовольство в стране. Оно открыто саботировало выполнение Соглашения о перемирии, и Союзная контрольная комиссия неоднократно выражала протесты Сэнэтеску и самому королю.

Правительство попустительствовало Юлиу Маниу, под непосредственным руководством которого были созданы отряды из легионеров и националистов для наведения «порядка» в только что освобожденной Красной Армией — при уча-

стии румынских войск — Трансильвании. Банды головорезов избивали и истребляли венгерское население. Ни в чем не повинных людей выводили на площади и над ними учиняли жестокое надругательство, многих казнили. Петру Гроза был уполномоченным правительства по расследованию этих зверств и позже докладывал на заседании Совета министров, что во многих селах отряды Манну, не имея под рукой гильотины, кляли венгров головой на пни и отрубали им головы топорами...

Беззакония и разбой фашистских националистов вызывали в народе волны возмущения. Поскольку это происходило в близком тылу советских войск, советское командование 24 октября 1944 года установило на территории Трансильвании советскую военную администрацию. Был образован областной комитет Национально-демократического фронта, который вместе с советским командованием обеспечил создание демократических органов власти. Они действовали в духе программы Национально-демократического фронта. По требованию Союзной контрольной комиссии отряды Манну были ликвидированы.

29 октября 1944 года в Клуже состоялся пятнадцатитысячный митинг румын, венгров и граждан других национальностей. Они принимают резолюцию и единодушно заявляют о своем присоединении к борьбе сплотившихся в Национально-демократическом фронте масс. Здесь впервые выносятся решения, требующие установления правительства всех демократических сил страны под председательством доктора Петру Грозы.

Жители Клужа — венгры и румыны — давно знали Петру Грозу, помогали ему в борьбе. Местный подпольный комитет Коммунистической партии Румынии в самые тяжелые годы репрессий и террора поддерживал с организациями «Фронта земледельцев» и непосредственно с Петру Грозой самый тесный контакт. Клужане знали Грозу как истинного интернационалиста, который никогда, ни при каких обстоятельствах не говорил о чьей-то национальной исключительности, о превосходстве одной нации над другой. Здесь, в Клуже, он поднял на смех одного националиста, не уставшего твердить о «божественной миссии потомков даков» и даже выпустившего брошюру, в которой старался доказать, что Румыния чуть ли не мать самого Рима. В заключение автор приводил свой главный аргумент: «Посмотрите на моего друга Грозу! Приклейте ему бороду и усы — и перед вами окажется истый Дечебал».

Петру Гроза издевался над этим националистом при любом удобном случае. Тот рассердился и стал называть «Дечебала из Девы» «готтентотом из Девы».

Так меняются взгляды.

Страна кипит. Под руководством местных организаций компартии, «Фронта земледельцев» и своих комитетов крестьяне изгоняют с постов заправил времен Антонеску и ставят у власти своих представителей. Министр внутренних дел в правительстве Сэнэтеску генерал Алдя по телеграфу приказывает уездным префектам потопить в крови самовольные выступления крестьян, а назначенных ими руководителей арестовать и отправить по этапу в Бухарест.

Никто не подчинился приказу министра.

Правительство Сэнэтеску продолжало упорно саботировать выполнение Соглашения о перемирии. 2 ноября 1944 года Союзная контрольная комиссия вновь вынуждена была обратить внимание правительства на то, что оно не выполняет взятые на себя обязательства.

Начальник генерального штаба румынской армии генерал Рэдеску сетовал на то, что в последнее время отношение рабочих к властям оставляет желать лучшего и что они, рабочие, «предъявляют чрезмерные экономические требования». Он предлагал правительству принять жесткие меры, которые позволили бы восстановить «порядок» и «уважение к законам».

Национально-демократический фронт при поддержке самых широких выступлений трудящихся масс городов и сел Румынии требует отставки правительства Сэнэтеску. Король затягивал переговоры, но 4 ноября был вынужден утвердить новый состав правительства. Доктор Петру Гроза стал заместителем премьер-ми-

нистра, Георге Георгиу-Деж получил в правительстве портфель министра путей сообщения. Национально-демократический фронт имел в правительстве еще четыре министерских портфеля. Петру Гроза стал также председателем Комиссии по выполнению Румынией условий Соглашения о перемирии.

В 1944 году румынский народ впервые открыто отменил годовщину Великой Октябрьской революции. Центральный комитет «Фронта земледельцев» писал своим местным организациям, что в день празднования «самого светлого дня в истории человечества» нужно идти «вместе с коммунистами, с рабочими всех национальностей, потому что Великий Октябрь есть праздник всех народностей земли, и шеренги идут не по признаку богатства своего, не по признаку национальности своей, а по признаку своего труда на земле, под землей, в воздухе и на воде».

IV

Они, Петру Гроза и Константинеску-Яшь, пришли проведать своего старого друга Скарлата Каллимаки. Знали, что он сразу же после освобождения из концентрационного лагеря взялся вместе с Николае Кочей за издание газеты компартии «Виктория» («Победа»), устанавливал нарушенные войной и преследованиями связи созданного в 1934 году общества «Друзья СССР». Сейчас Каллимаки собирал жену на фронт.

Знаменитая актриса Дида Соломон-Каллимаки, писательница, чьи острые памфлеты и выступления в прогрессивной печати становились известны далеко за пределами Румынии, всю войну пряталась от сигуранцы и ни разу не попала в ее лапы — помогали друзья. Когда постучались гости, она примеряла солдатское обмундирование и убежала на кухню своей небольшой гарсоньеры — однокомнатной квартиры в многоэтажном доме на бульваре Элизаветы.

Месяцы в концлагере высушили Каллимаки, но он был весел и настроен оптимистически. Извинился, что в комнате так бедно и холодно: хозяин дома еще не распорядился топить, говорит, что уголь и дрова «забирают советские власти в счет репараций». Реакционная пресса раздувает подобного рода болтовню, но Каллимаки собирается «открыть огонь» по тем, кто во всех неполадках, создаваемых саботажем, винит «жесткие» условия подписанного в Москве перемирия. Впереди тяжелая зима, и Каллимаки, смеясь, говорит вице-премьеру, что тому потребуется немало усилий, чтоб не замерзли его друзья.

Вошла Дида — стройная, большеглазая. Она была в военной форме, в сапогах. Приветствовала гостей, стукнув каблуками:

— Господин вице-премьер, солдат Дида Каллимаки готова выполнить ваши задания.

— По чашечке кофе, солдат, — сказал Каллимаки.

Гроза помнил начало блистательной карьеры Диды в 1922 году — в пьесе Стриндберга «Фрёкен Юлия». Газеты в один голос говорили о ней как о новой звезде на небосклоне румынского театра, видные литераторы и театральные деятели писали о ее исключительной искренности на сцене. Именно тогда она познакомилась со Скарлатом Каллимаки. Рядом с публицистическими выступлениями «красного принца» в прогрессивных газетах, и особенно в «Колоколе», появляются язвительные, обличающие существующий строй статьи «барышни Юлии» — так стали называть Диду после премьеры пьесы Стриндберга.

Скарлат помогает жене приготовить на спиртовке кофе, а Константинеску-Яшь рассказывает Грозе, что группа бухарестских актеров собирается на фронт для выступления перед советскими и румынскими частями. Поэтому Дида Каллимаки и надела военную форму.

Они до позднего вечера сидели за чашкой кофе и обсуждали положение страны. Дида требовала немедленных ответов на все вопросы о дальнейшей судьбе Румынии.

— Вы сидели в лагерях, в тюрьмах, у вас столько шрамов от этого дурно пахнущего режима, когда же вы наконец наведете порядок? Этого ждут все. Вый-

дите на улицу, по стойте в очередях, сходите на базар. Послушайте, о чем говорят люди!

Всегда спокойный и уравновешенный, Скарлат Каллимаки пытался объяснить жене, что навести порядок нельзя так скоро, нужно набраться терпения.

— Хватит, натерпелись! — настаивала жена. — Это на сцене я играю роли, написанные другими. В жизни я хочу играть свою роль и требую от вице-премьера, от господина Грозы, пусть он ответит: когда же будет наведен порядок? Открыто говорят, что к власти пробирается начальник генштаба генерал Рэдеску. Он сказал, что наведет должный порядок в этой стране: тех, кто хочет все разделить, все раздать бедным, повесит на веревочке, чтобы мозги проветрились... Может, вы хотите, чтобы вас Рэдеску проветрил?

Она тут же извинилась перед гостями за эту тираду. Стало тихо. Прервал молчание Петру Гроза:

— Когда на фронт?

— Послезавтра.

— Кто еще едет?

— Оперные певцы, эстраду соберем, из Москвы приехала группа, маршал Малиновский пригласил. А пока мы будем там, — она указала рукой в сторону фронта, — вы тут, надеюсь, наведете порядок... Ну что ж, простите меня, у меня репетиция.

За окном было шумно, играла музыка. И вдруг эта улица, названная именем жены короля Карла I Гогенцоллерна, заскандировала:

— Гроза! Гроза! Гроза!

Начавшиеся две недели назад демонстрации грядущих с требованием правительства Национально-демократического фронта во главе с Петру Грозой продолжались. Столичная организация КПП с одобрения Центрального Комитета призывала рабочие массы выходить на улицы с требованием демократического правительства.

Когда колонна отдалилась к Каля Виктории, Гроза спросил как бы самого себя:

— Что бы мы делали, все политические деятели, вместе взятые, если бы не эта сила?

— А вы уверены, что эта сила могла бы так свободно выразить свое мнение, если бы не присутствие другой силы? Вот этой, которая гонит сейчас немцев к Берлину? — спросил Каллимаки.

— Генерал Алдя быстро бы с нами расправился, — сказал Константинеску-Яшь.

— Да, Алдя... — подхватил Гроза. — Алдя уже в отставке. Его сменил Пенеску... По списку правительства, — засмеялся Гроза, — он идет сразу же после меня. На первом же заседании правительства заговорил о необходимости прекратить нарушение порядка. И что возмутительнее всего — они под нарушение порядка подводят только действия масс. Манисты, гогисты, фашисты, легионеры — вся эта свора, оказывается, не нарушает порядок. Порядок нарушаем мы — крестьяне и рабочие. «Вы, коммунисты, во всем виноваты», — укорял меня недавно господин генерал Сэнэтеску, мой премьер. Но всему еще мы оказались и виноватыми... А вы чем еще, кроме газеты, занимаетесь, дорогой мой принц? — спросил он неожиданно Каллимаки.

Тот встал, подозвал гостей к письменному столу, заваленному папками, рисунками, старинными книгами.

— Я уже очень давно этим занят, — сказал он. — Я собираю все, что связывает наш народ с народами России еще со времен Кантемира и даже раньше... Хочу каждую крупную соборать, может быть, пригодится когда-нибудь все это не только мне. Вот посмотрите.

И Скарлат Каллимаки стал подробно рассказывать о том, что он задумал. Может быть, в Бухаресте когда-нибудь найдется место для румыно-советского музея, он тогда все свои экспонаты разместит там... Вот вернется Дида с фронта, она ему тоже поможет. И сын Митя поможет тоже.

У телеграфа Гроза расстался с Константинеску-Яшь, который спешил на какое-то очередное заседание, пошел в «Атене палас». Там в холле он назначил встречу с журналистами. Друзья и противники. Предстоит откровенный разговор, и он не уйдет от прямых ответов...

— Как вы рассматриваете нынешний правительственный кризис? — спросили его.

Он ответил собранно, серьезно, повторил некоторые сделанные ранее заявления:

— Основной вопрос нынешнего этапа, через который проходит наша страна на пути к освобождению, — искреннее и полное выполнение условий перемирия с Советским Союзом. А для реализации и скорейшего разрешения этого комплекса задач стране нужен сильный государственный организм, поддерживаемый большинством трудящихся масс и воодушевленный интересами этих масс. Правительство демократического блока показало себя весьма далеким от выполнения требований настоящего часа. Но румынский народ сейчас не может медлить, тянуть время, он не может принять ни стратегию ожидания (здесь Гроза подразумевает тех, кто ожидает прихода англичан и американцев. — Ф. В.), ни стратегию милосердия к внутренним врагам. Силы прошлого, очнувшиеся после смертельного испуга, испытанного в дни, последовавшие за актом двадцать третьего августа, и воодушевленные явным сообщничеством некоторых членов нынешнего правительства, пытаются любыми способами вставлять палки в колеса румынской истории, стараются устраивать всякие затруднения нашей демократии, которая делает лишь первые шаги после освобождения от кандалов и выхода из тюремной темноты, куда она была загнана. Прекращение анархии и наказание фашистских и полуфашистских провокаторов, где бы они ни находились, вызывается необходимостью национального самосохранения. Но это наказание не может быть осуществлено правительством, в составе которого находятся фашисты, объявленные к тому же военными преступниками. Жизненные интересы румынского народа и его безопасность требуют правительства, способного работать на основе платформы Национально-демократического фронта. От этой платформы не может отказаться ни один истинный и честный демократ.

В этом заявлении для печати Петру Гроза с особой силой подчеркнул еще раз необходимость братства между народами различных национальностей, заявил, что национализм в любом его проявлении равен фашизму.

«Фронт земледельцев» противопоставил политике вражды политику братства между народами, выдвинул знаменитые лозунги: «Наши плуги пашут одну и ту же борозду!», «Пламя страданий одинаково жжет каждого из нас!»

— Не может быть свободен народ, который угнетает другие народы... Это основной принцип демократии в национальном вопросе, — подчеркивает Гроза. — И если сегодня, — продолжает он, — приходят вести из Трансильвании, что там льется кровь мирного населения, то это доказывает, что определенные фашистские и профашистские круги, пусть открыто или напаялив тогу демократии, пытаются сбить румынский народ с его естественного пути и скомпрометировать наши отношения с Объединенными Нациями. Наше достоинство требует борьбы, наша свобода требует борьбы...

И Петру Гроза был готов к этой борьбе. Он хорошо понимал, что она обострится.

Приход Грозы, Георге Георгиу-Дежа и других представителей НДФ в правительство Сэнэтеску мог на время помешать проведению открытых антинародных акций, но только на время. Изменить коренным образом политику этого правительства это не могло. Согласие короля и его придворных на включение в состав второго правительства Сэнэтеску представителей Национально-демократического фронта было не чем иным, как маневром, желанием оттянуть время, выждать, пока «придут американцы». Об этом «приходе» представители буржуазии говорили с благоговением и надеждой. Но Румынская коммунистическая партия настойчиво вела борьбу за установление народной власти. Успеху этой борьбы способствовало два обстоятельства. Во-первых, части Красной Армии, плечом к плечу с кото-

рыми сражались румынские войска, освободили территорию страны от гитлеровцев, что не могло не вызвать в стране чувства патриотического подъема. Во-вторых, народные массы на опыте убеждались, что любое буржуазное правительство продолжает предательскую политику предшественников. Указание правительства Сэнэтеску и его министра внутренних дел о «прекращении безобразий и незаконных» в городах, селах и на предприятиях обостряли политическую ситуацию. В результате рабочие начали отстранять ненавистных администраторов и хозяев заводов и фабрик, крестьяне под непосредственным руководством местных организаций «Фронта земледельцев», не дожидаясь разрешений от властей и вопреки им, явочным порядком приступили к разделу помещичьих земель, по всей стране началось поддерживаемое компартией и «Фронтом земледельцев» движение за замену сельских примарей и уездных префектов, скомпрометировавших себя сотрудничеством с гитлеровцами.

На заседании Совета министров 18 ноября 1944 года Петру Гроза как председатель Комиссии по выполнению Румынией условий Соглашения о перемирии и другие представители Национально-демократического фронта требуют чистки государственного аппарата от фашистских и реакционных элементов. Гроза подчеркивает, что чистка должна превратиться в оружие борьбы против фашизма, за глубокую демократизацию всей румынской общественной жизни. С яростными атаками на представителей Национально-демократического фронта выступили национал-царанисты и национал-либералы. Из-за острых разногласий предложенный закон о чистке так и не был принят.

Петру Гроза с первого дня вступления на пост вице-премьера требовал начать подготовку к осуществлению аграрной реформы на основе предложений, разработанных «Фронтом земледельцев» еще в 1933 году. Реакционное большинство в правительстве даже не собиралось это обсуждать.

Руководство Румынской коммунистической партии, Петру Гроза и другие руководители «Фронта земледельцев» понимали, что для осуществления аграрной реформы и привлечения подавляющего большинства крестьян к активной борьбе за коренные революционные преобразования на селе необходимо объединить в единое целое все крестьянские организации. Значительную силу в деревне в то время представляла Крестьянская социалистическая партия, членами которой являлись многие видные представители румынской прогрессивной интеллигенции и сближение которой с компартией имело немаловажное значение. Ее возглавлял видный ученый и общественный деятель Михай Раля. На чрезвычайном заседании Центрального комитета этой партии 30 ноября 1944 года принимается решение о слиянии ее с «Фронтом земледельцев».

В опубликованном коммюнике Крестьянской социалистической партии говорилось, что при нынешнем тяжелом положении страны крестьянство должно располагать организацией, которая обеспечила бы ясную политическую ориентацию, союз с рабочими массами страны.

Петру Грозе часто приходилось разъяснять, почему он пошел на союз с коммунистами. Он отвечал всегда открыто и прямо. 30 ноября 1944 года он снова выступает с принципиальными разъяснениями отношения «Фронта земледельцев» к коммунистам. На простом, понятном крестьянам языке Гроза говорит, что некоторые превращают коммунизм в пугало: коммунисты, мол, заберут у крестьян лошадь, корову и все нажитое добро.

— Это все ложь! — восклицает Гроза. — Коммунисты поддержали включение в состав правительства крестьянина Зэрони, который занимается сейчас подготовкой аграрной реформы. Коммунистическая партия — это та партия, по инициативе которой разработана платформа (имеется в виду платформа Национально-демократического фронта. — Ф. В.), в которой важнейшее место занимает вопрос об аграрной реформе... Мы ведь знаем, что они, коммунисты, как и мы, добиваются одного — установления подлинной демократии. Коммунистическая партия защищает интересы крестьян и борется за то, чтобы отобрать землю у помещиков и отдать ее тем, кто на ней трудится.

Для многомиллионной массы крестьян это выступление Грозы имело громад-

ное значение. Крестьяне за все эти годы привыкли к тому, что Гроза никогда не лукавит, ему можно верить.

Румынские газеты тех дней полны сообщений о развертывании революционной борьбы за отстранение от власти реакционного генерала Сэнэтеску и поддерживающих его буржуазных министров.

28 ноября рабочие крупных промышленных центров долины Праховы, Арада, Тимиша и Хунедоары изгоняют реакционных префектов и ставят вместо них своих представителей. В демонстрациях участвуют сотни тысяч человек, и все чаще слышится требование назначить на пост председателя Совета министров доктора Петру Грозу.

Король Михай и его окружение идут на отчаянный шаг. Они уговаривают генерала Сэнэтеску подать в отставку, и на пост премьер-министра назначается начальник генерального штаба армии корпусной генерал Николае Рэдеску. Новый премьер тут же после принятия присяги 2 декабря 1944 года заявляет, что он возьмется за «установление порядка и дисциплины в стране».

Народные массы не обращают внимания на угрозы пробившегося к власти воюки. Они отстраняют от руководства директоров заводов, префектов и примарей, создают свои профсоюзные организации, выходят на улицы и с новой силой требуют создания правительства Национально-демократического фронта. Крестьяне продолжают захватывать помещичьи земли явочным порядком.

В Брашове 5 декабря 1944 года на площади Свободы состоялась крупная демонстрация рабочих. Трудящиеся румыны, венгры, немцы, населяющие этот трансильванский город, требуют от короля: утвердить правительство, состоящее только из представителей организаций Национально-демократического фронта, преобразовать армию в народную, ликвидировать сигуранцу. Полицейское управление Брашова уведомило министерство внутренних дел о том, что колонны рабочих требуют соблюдения условий перемирия, равной платы за равный труд.

7 декабря, день своего шестидесятилетия, Петру Гроза встретил за работой в Комиссии по аграрной реформе. Здесь вместе с представителями Национально-демократического фронта находились национал-царанисты и национал-либералы. Было ясно, что нельзя надеяться на согласованную и быструю работу. Ромулус Зэрони спорил с «историками», настаивая на осуществлении реформы на основе выработанных «Фронтом земледельцев» принципов.

Петру Гроза и Ромулус Зэрони при полной поддержке компартии настаивают на немедленном осуществлении реформы, чтобы уже этой весной крестьяне могли засеять полученные земельные участки. На местах, естественно, продолжался захват помещичьих земель. Заявления и предупреждения премьер-министра не действовали. И тогда 19 декабря 1944 года Николае Рэдеску приглашает Грозу к себе.

— Господин Гроза, я прошу вас распорядиться, чтобы ваши организации на местах прекратили безобразничать!

— Что имеется в виду?

— Грабеж имений и раздел земель крупных землевладельцев.

— А разве это безобразие? Разве осуществление мечты крестьянина о земле — безобразие?

— Землю они должны получить от меня! — заорал Рэдеску. — Я не позволю, не позволю! Слышите вы? — Рэдеску ударил по столу немощным кулачком. Гроза встал и, сдерживая себя, спокойно сказал:

— Я, генерал, представляю в правительстве Национально-демократический фронт. Я заместитель премьер-министра и не позволю, чтобы со мной разговаривали подобным образом. И запомните — мы никаких распоряжений крестьянам об осуществлении аграрной реформы не давали. Это их инициатива. Запрещать им делить землю, на которой они трудились всю свою жизнь, руководство «Фронта земледельцев» не станет. А что касается кулаков, то они у нас тоже имеются. И стучать по столу есть чем. — Гроза показал Рэдеску свой могучий кулак. — Запомните это, генерал...

И Петру Гроза вышел из кабинета Рэдеску.

Было восемь часов вечера, когда он открыл двери гостиницы «Атене палас». Думал — поужинает, позвонит домой в Деву, узнает, как жена, дети, потом почи- гает накопившиеся газеты: что нового в мире? Но вдруг — неожиданный удар в грудь. Не успел он заметить, кто это напал на него, как другой удар, в спину, чуть не свалил его с ног. Раздался злобный голос:

— Мы тебе покажем, большевик, как распоряжаться нашей землей!

Двое холеных, хорошо одетых мужчин зажали его в «коробочке», пытались ударить еще, но не успели: Гроза мощным ударом заставил отступить одного, а затем и другого. Пока подоспели хорошо знавшие Грозу швейцары и администратор гостиницы, нападавшие были уже «успокоены». Ими оказались помещики Константин Пилат и Жано Миклеску, пособники Антонеску и гитлеровцев.

У себя в номере Гроза думал о том, что распоясавшиеся реакционеры могут довести страну до трагедии. Несколькими днями назад он, обедая в ресторане, слышал, как за соседним столом трое подвыпивших «интеллигентов» из партии Маниу говорили о том, что победа коммунистов сулит Румынии гибель и что ее никак нельзя допустить. «Мы форпост романской цивилизации, островок блестящей былой культуры древнего Рима среди этого болота — славян, мадьяр и турок. У Маниу сердце обливается кровью, когда он думает, что это все погибнет под каблуком «товарищей». И неужели погибнет?» — канючил «интеллигент», потягивая вино из высокого бокала с трехцветной эмблемой румынского королевства.

«Форпост романской цивилизации»! — усмеянулся Гроза. — Рубят головы венграм в Трансильвании, сажают в тюрьмы за демонстрации с требованием человеческого жизни, нападают на вице-преьера в центральной гостинице государства, в десяти шагах от тронного зала королевства! «Форпост цивилизации»! Боже мой, сколько еще надо пройти стране, чтобы отмыться от подобного позора!»

В этот вечер он не позвонил домой.

Ранним утром следующего дня маленькие продавцы газет на Каля Викторин, на бульваре Магеру и на площадях звонкими голосами сообщали о нападении на заместителя премьер-министра, о том, что по всей стране идут митинги и демонстрации протеста.

Возвращаясь с обычной утренней прогулки, Петру Гроза увидел, как по направлению к площади королевского дворца движется большая колонна типографских рабочих. Среди них знакомые лица журналистов, вот приветственно машет рукой Кааллимаки. Он в своей мерлушковой шапке, в потрепанной кожанке. А рядом с ним такой же высокий, похожий на него юноша. Это сын Скарлата Митя. А мать на фронте. Недавно Скарлат звонил, передавал от нее привет.

Николае Рэдеску выразил Грозе сожаление по поводу происшедшего «инцидента» и свалил всю вину на этого «идиота Пенеску», министра внутренних дел, который не в состоянии обеспечить охрану хотя бы членов правительства. Несколькими днями спустя под давлением трудящихся премьер отстраняет от должности министра внутренних дел. Но это только для того, чтобы отвлечь внимание народных масс от подготовки контрреволюционного переворота.

Центральный комитет «Фронта земледельцев» обращается ко всему крестьянству страны с боевым призывом — повсеместно перейти к активным действиям, приступить к осуществлению аграрной реформы, не дожидаясь утверждения правительством уже подготовленных проектов.

«От нынешнего правительства, — говорилось в обращении, — нечего ожидать чего-либо хорошего, потому что большинство министров выражает интересы руководства национал-царанистской и национал-либеральной партий. Эти руководители не желают, чтобы земля была роздана вам, крестьянам.

Сотни и сотни тысяч патриотов — рабочих, крестьян, инженеров, агрономов, учителей, врачей, ремесленников и служащих, состоящих в Национально-демократическом фронте, приняли решение: аграрная реформа должна быть осуществлена немедленно.

Осуществить ее должны вы, крестьяне, при поддержке всех тех, кто желает добра нашей стране».

Напуганный размахом народной борьбы за раздел помещичьих земель, Рэдеску созывает утром 16 февраля 1945 года заседание Совета министров.

— Господа! У меня есть сведения из Должа, Дымбовицы, Яломицы о том, что начался раздел имений. Я спрашиваю: по какому праву? Если это будет продолжаться, то я скажу вам без обиняков: вы толкаете страну к гражданской войне. Я никому не бросаю вызова. Однако если гражданская война начнется, то я буду, господа, вести эту войну, к чему бы это ни привело. А от вас, господин Гроза, как от своего заместителя я еще раз требую разослать сельским комитетам вашего «Фронта» распоряжение прекратить раздел помещичьих владений.

С истеричным сообщением о происходящей в стране смене префектов, мэров, старост и других местных чиновников, служивших с пристрастием правительству Антонеску, выступил министр общественных работ Вирджил Соломон.

— Эти факты умножаются с каждым днем, — жаловался он. — в Яломицком уезде за несколько дней было изгнано сто мэров и старост. Ежедневно из наших организаций в провинции приходят телеграммы о том, что в таком-то городе, таком-то селе, таком-то поселке или в таком-то поместье происходят организованные мятежи.

Реакционные министры и сам глава правительства надеялись, что своими выступлениями они заставят представителей Национально-демократического фронта отдать распоряжение о прекращении «безобразий». Представители Национально-демократического фронта в правительстве отвечали, что новые органы избраны народом и что аграрная реформа является жизненной необходимостью для крестьянства.

Рэдеску в тот же день приступает к «очищению» правительства. И начинает эту акцию с заместителей министров. Петру Гроза и Георге Георгиу-Деж требуют нового созыва Совета министров. Заседание состоялось 21 февраля 1945 года и имело историческое значение для дальнейших судеб Румынии.

Вот некоторые выдержки из стенограммы.

«Доктор Петру Гроза:

— Я вижу, господин генерал Рэдеску, что вы подготовили все для государственного переворота, чтобы устранить демократию и установить диктатуру. Говорю об этом вполне серьезно.

Генерал Н. Рэдеску:

— Вы хотите менять префектов в стране. Какое вы имеете право менять префектов? Прошу ответить на этот вопрос!.. В нашей стране не будет правительства Национально-демократического фронта!

Георге Георгиу-Деж:

— Вы сказали, что не хотите подать в отставку. Сейчас довольно критическая ситуация, мы не можем отрицать этого, но мы вынудим вас уйти в отставку. Никто не смеет цепляться за правительственные посты, когда судьбы страны находятся в опасности. Разрешение вопроса — ваш уход! Мы этого добьемся. Мы подыдем народ и покажем, что такое народная воля.

Доктор Петру Гроза:

— Вывод: в настоящий момент это уже не демократическое управление, а диктатура.

Георге Георгиу-Деж:

— Мы говорим вам вместе со всей страной: уходите! Мы знаем, кого представляем в стране. Ваш уход — в интересах страны!»

Диктаторские замашки генерала Рэдеску подогрелись окружением короля, руководителями «исторических» партий и надеждами, что вот-вот подоспеет помощь англичан и американцев.

Ставится известно, что премьер-министр, вместо того чтобы посылать пополнение румынским войскам, сражающимся на фронте против гитлеровского фашизма, сосредоточивает отборные воинские части во главе с реакционно настроенными офицерами в окрестностях Бухареста и в самом Бухаресте. Он готовит их

для нанесения внезапного удара по патриотическим силам, для государственного переворота.

Напряжение в стране достигло предела. Вчитаемся в февральскую хронику.

11 февраля 1945 года. Генерал Николае Рэдеску выступил в зале кинотеатра «Аро» с программной речью. Рэдеску обвинил рабочих в том, что они слишком много занимаются политикой. Он требовал прекращения «любого волнения». Для наделения крестьян землей, как он сказал, еще не настало время. Вся речь Рэдеску была проникнута ненавистью к народным массам. Бывшие легионеры, приглашенные на собрание, ликовали. Сразу же после речи премьер-министра они направились к зданию редакции центрального органа ЦК Румынской компартии газеты «Скынтейя», сожгли несколько подготовленных номеров и пытались разгромить редакцию. Недобитых фашистов разогнали рабочие, прибежавшие на помощь работникам редакции.

18 февраля.

«Скынтейя» публикует письмо 67 крупнейших представителей румынской интеллигенции. Под ним подписи друзей и соратников Петру Грозы — Константина Пархона, Петре Константинеску-Яшь, Михая Рали, Йоргу Иордана, Траяна Сэвулеску, Михая Бенюка и многих других известных в Румынии и за ее пределами ученых, писателей, общественных деятелей. «Опыт пяти последних месяцев правления, — говорится в письме, — доказал, что для претворения в жизнь широких демократических реформ, ожидаемых страной, требуется приход к власти правительства, которое выражало бы волю и чаяния всех демократических элементов и немедленно осуществило бы правительственную программу Национально-демократического фронта».

Еще из хроники февраля — марта 1945 года.

В зале Трамвайного общества Бухареста состоялся большой митинг молодежи. Участники потребовали изгнания фашистских элементов из государственного аппарата и прихода к власти правительства Национально-демократического фронта.

По призыву крайовского совета Национально-демократического фронта на главную площадь города собрались 10 тысяч человек. Они построились в колонны, направились к префектуре и утвердили в должности своего префекта. Но тут же здание было окружено войсками, которые арестовали новое, демократическое руководство. Народ не расходился до тех пор, пока войска не отступили и выдвинутый массами префект не занял своего поста.

Разносчики газет в Яссах отказываются продавать газеты «Универсул» и «Вииторул» («Будущее»), опубликовавшие текст контрреволюционной речи премьера в кинотеатре «Аро».

На уездной конференции «Фронта земледельцев» в Сибиу выступающие говорят, что пробил исторический час начала борьбы за аграрную реформу и за народное правительство.

20 февраля на заводе «Малакса» во время общего собрания рабочих, созванного фабричным комитетом, группа вооруженных фашистских элементов — сторонников национал-царанистской партии захватывает членов фабричного комитета и при помощи подоспевших двух взводов жандармов навязывает собранию новый фабричный комитет из лиц, рекомендованных царанистами. Были блокированы входы на завод и повреждена телефонная сеть, чтобы изолировать завод от внешнего мира. Весть о случившемся быстро распространяется по городу, и к заводу «Малакса» направляются организованные группы рабочих других заводов. Реакционные элементы открывают огонь, имеется много раненых. Рабочий Драгу Стан убит. Тяжело ранен двумя выстрелами в упор председатель Всеобщей конфедерации труда Георге Апостол. Это первые жертвы правительства генерала Рэдеску. События на заводе «Малакса» вызывают бурю возмущения во всей стране.

23 февраля Центральный комитет «Фронта земледельцев» на чрезвычайном пленарном заседании принимает обращение к Всеобщей конфедерации труда, в котором от имени миллионов земледельцев заклеил варварские террористиче-

ские действия реакционеров, направленные против рабочих «Малаксы», и заверил, что все крестьяне Румынии поддерживают рабочий класс в его борьбе.

Кульминацией всерумынского движения против правительства Рэdescу явился день 26 февраля. Компартия и ее союзники по Национально-демократическому фронту собрали в Бухаресте 600 тысяч человек. Демонстрация мирно двигалась по Каля Виктории к площади королевского дворца. Но по ее участникам открыли огонь из винтовок и пулеметов. Были убиты рабочие Николае Пушкашу, Георге Догару, Мирча Миу, Войку И. Стэнеску, Юлиу Галперн, Георге Бану... Сотни раненых...

На залитой кровью площади королевского дворца стихийно возникает митинг протеста.

Наступили решающие дни борьбы. 26 февраля созван Совет Национально-демократического фронта. Выступающие в самых резких выражениях говорят о том, что Рэdescу явно действует с согласия короля.

— Мы, — говорил Георге Георгиу-Деж, — должны заявить его величеству, что, следуя линии двадцать третьего августа, он выиграет... Наступают новые времена, монархии придется трудно. В случае необходимости мы не остановимся перед устранением короля.

28 февраля состоялись похороны погибших на дворцовой площади. Страна кипела от возмущения. На многолюдных митингах, о которых пишет вся румынская пресса того времени, народ требует создать правительство во главе с доктором Петру Грозой, ибо это единственное правительство, способное вытащить страну из пропасти и обеспечить румынскому народу свободу, национальную независимость и экономическое процветание.

Под давлением народных масс генерал Рэdescу был вынужден подать в отставку. Он вышел из своего кабинета, спустился на первый этаж и, услышав, как шумят на улице возмущенные массы, стал искать черный ход. Дверь черного хода оказалась заперта, и экс-премьер выпрыгнул в открытое окно туалета, а затем скрылся в здании представительства Англии. Дипломатическая машина увезла его на аэродром. Незадачливый вояка вылетел на самолете американской военной миссии на запад.

Попытка реакции установить в стране новую диктатуру провалилась.

Но король медлил с назначением нового премьера.

И тогда Коммунистическая партия при поддержке «Фронта земледельцев» и всех прогрессивных сил страны стала готовить невиданный еще в истории Румынии по численности боевой митинг. Митинг этот должен был венчать многомесячную борьбу прогрессивных сил за такое правительство, которое избавило бы страну от политической неопределенности и надвигавшегося экономического хаоса.

2 марта 1945 года король Михай I, не выдержав натиска народных масс, единодушно требовавших прихода к власти правительства Национально-демократического фронта, приглашает Петру Грозу во дворец на берегу озера Херестрэу, среди плакучих ив и каштанов.

Двадцатичетырехлетний Михай, высокий, белобрысый, с припухлыми губами обиженного подростка, беспомощно смотрел на могучего седого Петру Грозу и не знал, с чего начать разговор. Гроза видел короля так близко всего второй раз — первый раз видел его здесь же 6 ноября прошлого года, когда присягало новое правительство Сэнэtesку. Тогда Михай выглядел увереннее, торжественнее. В тот день он величественно спускался по лестнице со второго этажа в парадной форме офицера румынской армии, в сопровождении свиты и прихрамывающего дворцового священника с Евангелием. Михай спросил, кто будет принимать присягу на Евангелии, а кто нет, и приступил к церемонии принятия присяги. В этот раз все было по-другому. Гроза молча ждал, что же скажет ему этот большой ребенок. В гостиной, увешанной прекрасными гобеленами, огромный камин, перед камином низкий круглый стол и обитые бархатом кресла. Михай показал Грозе на одно из кресел и сел сам.

— Я пригласил вас, господин Гроза, чтобы поручить вам формирование моего нового правительства.

Грозу покорило то, что король сказал «моего» правительства. Захотелось одернуть мальчишку, но он сдержался и сказал только:

— Я готов выполнить это ответственное поручение, ваше величество.

Король улыбнулся:

— Я так и думал. Мне передавали, что ваше имя красуется на всех плакатах, народ требует вас. Сегодня нет газеты, где не писали бы о вас, доктор Гроза... Я прошу вас подумать и представить мне состав правительства. Я полагаю, вам известно, что вначале следует представить список.

Гроза ждал этого момента. Он достал из кармана сложенный вдвое лист бумаги и протянул его Михаю.

— Список готов, ваше величество. Мы его несколько дней назад утвердили на Совете Национально-демократического фронта.

Этого советники короля не предусмотрели, и Михай не знал, что делать со списком. Он предполагал, что пока Гроза будет консультироваться с политическими партиями, улицы успокоятся, а американцы и англичане, к которым двор обратился за помощью, поймут, что им следует вмешаться. Но что делать сейчас?

Тут боковая дверь открылась и к Михаю подошел маршал двора Неджел.

— У господина Грозы готов список членов правительства,— сказал Михай растерянно.

— Я полагаю, вашему величеству потребуется время для его изучения,— сказал маршал.

— Да, конечно.— Король ухватился за подсказку. Он облегченно вздохнул, встал и протянул Петру Грозе руку:— Мы с вами еще увидимся... Я вас приглашу. Мне нужно подумать.— И Михай поднялся вверх по лестнице.

Аудиенция была закончена.

Весть о том, что Петру Грозе поручили сформировать правительство, вся страна встретила с энтузиазмом. Газета «Плугарий» писала: «Мы убеждены, что под руководством доктора Петру Грозы страна вступит на путь окончательной демократизации».

Во дворце и вне его шел лихорадочный поиск иных решений. Лидеры «исторических» партий добивались преимуществ для себя и угрожали выйти из правительства в случае, если их требования не удовлетворят. Маниу предупреждал короля:

— Назначьте премьером кого угодно, только не Грозу!

Коммунистическая партия, «Фронт земледельцев», весь Национально-демократический фронт готовятся к проведению народной манифестации с участием всех патриотических отрядов рабочих и крестьян. Манифестация назначается на 6 марта. 5 марта делегация Коммунистической партии требует от короля немедленного утверждения правительства во главе с Петру Грозой. Король снова посылает нарочных в американскую и английскую миссии...

А в это время рабочие заводов и фабрик страны выходят на улицы. Делегации крестьян всех уездов собираются в помещении «Фронта земледельцев» и требуют, чтобы составленное доктором Петру Грозой правительство немедленно приступило к своим обязанностям. Королю послана резолюция: «Мы дошли до предела терпения и поэтому решительно требуем прихода к власти правительства во главе с П. Грозой, на которое мы возлагаем все свои надежды. Это правительство сможет провести все реформы, в которых нуждается страна, особенно крестьянство, в переживаемые нами тяжелые дни».

Американская и английская миссии в Бухаресте так и не оказали монархии и румынской реакции той помощи, которой от них ожидали. После только что закончившейся ялтинской встречи И. В. Сталина, Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля подобное вмешательство было бы прямым нарушением решений встречи. Советники короля, среди которых были крупные военные, посоветовали Михаю не рисковать — на улицы и площади Бухареста вышло 800 тысяч человек, бесконечные

колонны рабочих и крестьян. И вот наконец король пригласил доктора Петру Грозу во дворец.

— Властью, данной мне от бога, — начал Михай торжественно, хотя и путаясь в словах, — я утверждаю, доктор Петру Гроза, представленный вами состав румынского правительства. Я надеюсь, что у меня будет надежное правительство.

Было утро 6 марта 1945 года. Начало весны.

V

Премьер-министр. Что значило быть настоящим премьер-министром? А Петру Гроза хотел именно этого. Он ничего не делал наполовину. Думал ли он когда-либо стать во главе страны? Трудно сказать. Он привык быть в оппозиции и критиковать правительство. Гроза ненавидел двурушническую политику «сидения на двух стульях», неуклюжее балансирование румынской политики на качающемся канате, протянутом между наиболее сильными державами. С такого каната свалился не один правящий акробат. Думая о том, что будет делать он, оказавшись премьер-министром, Гроза решил без колебаний во внутренней политике опираться на собственный народ, на рабочий класс и крестьянство, во внешней политике дружить с Советским Союзом. Он никак не мог понять проводимую румынской буржуазией ничем не прикрытую постоянно враждебную политику по отношению к Советскому Союзу. Ведь только слепой не мог видеть, что будущее человечества — путь, избранный этой страной. Там, в Деве, он вчитывался в теорию революции Ленина, ленинские планы строительства нового, социалистического общества, изучал проекты пятилетних планов. Тогда, в 30-е годы, Гроза удивлялся, откуда, каким образом достают Георге Микле, Гомбо Самуилэ, профессор Константеску-Яшь марксистские книги на румынском языке. Как они к ним попадали? Как он благодарен им, что они помогли собрать в его бэчийском доме целую библиотеку ленинских книг, откуда он и сейчас черпает вдохновение.

Анализируя опыт осуществления ленинских заветов в Советском Союзе, зная, что он может во всем опираться на румынских коммунистов, Гроза обретал еще большую уверенность и бесстрашие.

Беседы с руководителями Союзной контрольной комиссии маршалом Родионом Малиновским, генерал-полковником Иваном Сусайковым, политическим советником Алексеем Павловым убедили Грозу, что эти люди, их правительство и страна окажут Румынии всю помощь, которая потребуется.

В Совете Национально-демократического фронта долго обсуждали составленную коммунистами правительственную программу. Гроза горячо принял ее. В этой программе был поставлен целый ряд неотложных вопросов: участие в антигитлеровской войне, строгое соблюдение Соглашения о перемирии и его неукоснительное выполнение, установление дружественных отношений с Советским Союзом и всеми демократическими странами, немедленное проведение аграрной реформы, демократизация государственного аппарата, арест и привлечение к суду военных преступников, реорганизация армии, подъем экономического и культурного уровня трудящихся масс, проведение политики братства между проживающими в стране национальностями.

Когда составлялась и принималась эта программа, все было как будто ясно. Сейчас с такой же ясностью и трезвостью нужно приступить к ее осуществлению, и прежде всего нужно выполнить те пункты, которые требовали немедленных, конкретных действий. 800 тысяч человек, вышедшие сегодня на улицы, чтобы поддержать его, Грозы, правительство, ждут перемен к лучшему. Гроза всегда говорил только правду, он не вилял, не выступал с демагогическими заявлениями, не обещал невозможного — и эти качества помогли ему с первых же шагов завоевать симпатии всего народа и на посту премьер-министра.

После того как состав правительства был утвержден, Петру Гроза достал из кармана пачку книжек «Не предавайся гневу, человек!» и вручил каждому члену правительства по экземпляру. Потом принял представителей прессы и за-

явил, что у него нет времени для длинных и подробных программных заявлений. Страна переживает тяжелые дни прежде всего потому, что до сих пор решение сложнейших задач откладывалось со дня на день.

— Мы должны преодолеть вставшие перед нами препятствия, победить трудности на час раньше, — повторил он свою любимую присказку.

Он хорошо помнил встречу с замечательным советским полководцем маршалом Малиновским, под руководством которого осуществилось грандиозное наступление советских войск 20 августа 1944 года в районе Яссы — Кишинев. От имени Советского правительства Родион Яковлевич сказал, что советское командование готово сложить с себя осуществляемые в Северной Трансильвании административные функции, как только правительство Румынии проявит готовность соблюдать все условия Соглашения о перемирии относительно Трансильвании.

Петру Гроза заявляет, что он гарантирует это: «Мы отстраним от работы любого, в чьем сердце заметим хотя бы небольшой след шовинизма, нацизма и тому подобного. Каждый должен навести порядок в своем собственном доме. — И добавляет: — Мы заставим навести порядок».

**«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. В. СТАЛИНУ**

Господин Маршал,

После акта 23 августа 1944 года, по которому Румыния присоединилась к Объединенным Нациям, чтобы вести войну против общих врагов, горячим желанием румынского народа было увидеть себя снова в пределах Трансильвании, часть которой была у него несправедливо отобрана. Эта провинция была освобождена благодаря героизму Красной Армии, в тесном сотрудничестве с румынской армией, и румынский народ Северной Трансильвании ожидает с нетерпением дня своего воссоединения в границах Румынии.

Румынское правительство имеет честь обратиться к Правительству Союза Советских Социалистических Республик и к Высшему Советскому Командованию с просьбой исполнить это желание румынского народа.

Румынское правительство полагает, что Администрация, которую оно устанавливает в этой области, будет заботиться о защите прав национальностей, там живущих, и будет руководствоваться в своих действиях принципами равенства, демократии и справедливости по отношению ко всему населению.

Оно также будет заботиться о поддержании полного порядка, для того чтобы ничто не смущало правильного функционирования всех учреждений, обслуживающих боевой фронт.

Румынское правительство надеется, что его ходатайство найдет отклик и благожелательное разрешение со стороны Правительства Советского Союза и Высшего Советского Командования.

Просим Вас, господин Маршал, принять уверения в нашем совершенном уважении.

Председатель Совета Министров П. Гроза.

Бухарест, 8 марта 1945 года».

**«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ РУМЫНИИ
ПЕТРЕ ГРОЗА**

Господин Председатель,

Советское Правительство рассмотрело просьбу Румынского Правительства, изложенную в Вашем письме от 8 марта, относительно установления румынской администрации на территории Трансильвании.

Принимая во внимание, что вступившее ныне в управление страной новое Румынское Правительство берет на себя ответственность за должный порядок и спокойствие на территории Трансильвании и обеспечение прав национальностей,

а также условий правильного функционирования всех местных учреждений, обслуживающих нужды фронта, Советское Правительство постановило ходатайство Румынского Правительства удовлетворить и, в соответствии с Соглашением о перемирии от 12 сентября 1944 года, согласиться на установление в Трансильвании администрации Румынского Правительства.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
И. Сталин.

Москва, 9 марта 1945 года».

VI

Ромулус Зэрони зашел в кабинет премьера в приподнятом настроении. Гроза никогда не видел его таким торжественным, веселым и важным.

— Добрый день, друг Гроза!

— День добрый, друг министр. Что это у вас такой праздничный вид?

— Готовы к началу общей хоры, друг Гроза.

В тридцать третьем году Петру Гроза говорил активистам «Фронта», что, когда осуществляются планы аграрной реформы, все крестьяне Румынии станцуют общую хору победы. Зэрони не забыл этот давний разговор. Работая в Комиссии по аграрной реформе, он надеялся втайне, что придет час, когда напомнит Петру Грозе о его обещании.

Гроза вспомнил времена своих путешествий с самодеятельными актерами по румынским селам, подошел к Зэрони, схватил его за руку и, напевая мотив озорного танца кэлушарий, пустился в пляс по премьерскому кабинету.

Заведующий кабинетом председателя Совета министров, вошедший с документами для доклада, застыл на пороге.

— Вы чего остановились? — крикнул на ходу Гроза. — Идите сюда! И посмотрим, кто кого перепляшет! — Но через минуту остановился, опустился в кресло и провел ладонью по лбу. — Давай-ка, друг Зэрони, свою папку. Проект декрета. Так. Объяснительная записка. Так. Письмо королю... Это посмотрим вместе.

И они внесли окончательные исправления в письмо министра сельского хозяйства и государственных имений крестьянина Ромулуса Зэрони королю Румынии Михая I Гогенцоллерну.

Это было приложение к декрету об аграрной реформе.

«Государы!

Осуществление аграрной реформы декретом, имеющим силу закона, является делом национальной, экономической и социальной значимости.

Наделы распределяются с таким расчетом, чтобы у каждого крестьянского двора было не менее 5 гектаров земли. В первую очередь получают наделы все безземельные и малоземельные крестьяне. Земля, распределяемая в соответствии с этим декретом, переходит в собственность землепашцев. Этим укрепляются крестьянские хозяйства, улучшаются условия жизни самых обездоленных.

Осуществление аграрной реформы на местах доверяется избранным крестьянским комитетам, и таким образом создаются условия для того, чтобы предусмотренные этим декретом меры не смогли быть искажены и нарушены.

Правильное претворение в жизнь настоящего декрета разрешает одну из самых животрепещущих проблем Румынии и открывает для подавляющей части нашего крестьянства перспективы новой жизни».

Шел восемнадцатый день после прихода к власти правительства Петру Грозы. Дежурный офицер королевского дворца получил распоряжение пропустить господина Ромулуса Зэрони, крестьянина, министра сельского хозяйства и государственных имений, к его величеству королю. Офицера предупредили, что министр может явиться в крестьянском платье — в длинной, чуть не до пят холщовой рубахе, подпоясанной тканым шерстяным кушаком, в темном национальном

жилете и шляпе. «А впрочем,— сказали офицеру, — он может явиться и в обычном костюме».

Ромулус Зэрони любил ходить в свободной крестьянской одежде, городской костюм его стеснял. Перед тем как идти к королю, он подумал, что хорошо бы одеться так, как Хория в те времена, когда он отправлялся в Вену, закинув за спину мешок прошений от крестьян, к всемогущему императору Австрии. У Зэрони дома имелся такой нехитрый наряд трансильванского моца, и он надел его сегодня в память о руководителе крестьянского восстания 1784 года. В этом костюме он и предстал перед дежурным офицером.

— Вы куда? — спросил тот.

— Я Хория, иду на прием к императору.— И, показав пухлую кожаную палку, сказал:— Посторонись, офицер. Хория идет подписывать аграрную реформу.

Офицер понял, что перед ним министр, и козырнул. Министр двора поспешил проводить Зэрони в кабинет короля.

Михай знал, что аграрная реформа практически осуществлена, крестьяне захватывают земли с самой осени. Сегодняшняя процедура означает лишь узаконение на деле уже проведенной реформы. И он поставил свою подпись под декретом, даже не перелистав его. От приближенных Михай слышал, что реформа не касается королевских имений, но, посмотрев, как уверенно держит себя с ним, королем Румынии, этот плотно сбитый мужик, понял, что недалек тот час, когда Хория возьмутся и за его королевские земли.

Зэрони вернулся с подписанным декретом в Совет министров, где Петру Гроза готовил заявление, в котором говорилось, что теперь, когда правительство страны узаконило аграрную реформу, оно считает, что на новый путь вступило не только крестьянство, но и весь румынский народ. И путь этот обеспечит народу благосостояние и счастливое будущее. «Алмаз,— говорит Гроза,— добывается из глубин с огромным трудом. Мы его добыли своими руками и потому знаем ему цену».

Предстоял весенний сев, и 400 тысяч новых крестьянских хозяйств, образовавшихся после реформы, впервые должны были работать на себя.

И крестьяне-румыны, и крестьяне-венгры, и крестьяне-немцы, и крестьяне-сербы получили землю прежде всего потому, что они крестьяне, а не благодаря своей принадлежности к той или иной национальности.

Этой весной на помощь крестьянам вышли рабочие фабрик и заводов, они везли в деревню плуги и бороны, ремонтировали телеги, ковали рыхлители, косы, серпы.

Этой весной на земле Румынии осуществлялся союз серпа и молота, за который так долго и упорно боролись коммунисты Румынии и «Фронт земледельцев».

Этой весной солдаты Красной Армии вместе с частями румынской армии охраняли труд и покой румынского народа от происков внутренней и международной реакции.

Этой весной пришла радостная весть о том, что гитлеровская армия безоговорочно капитулировала и маршал Жуков от имени советского народа принял эту капитуляцию.

Румыния на заключительном этапе войны тоже внесла свой вклад в общую победу.

Этой весной доктор Петру Гроза проникновенно говорил о дружбе между народами, о том, что после победы начнется новая жизнь, на основах демократии и взаимопонимания между народами. Ведь нет ничего такого, что разделяло бы нации. «Мы одинаково плачем и смеемся в наших песнях, у нас общие надежды и общая печаль. Мы одинаково работаем, живем и умираем. А раз так, почему же не должна быть общей наша жизнь с ее общими для всех радостями и печальми?»

Пройдет почти тридцать лет, и румынские историки охарактеризуют следующим образом обстановку того времени:

«Экономика страны находилась в особенно тяжелом положении. Главные экономические позиции были в руках эксплуататорских классов. В промышленности, торговле и банках большая часть капиталовложений приходилась на долю иностранного капитала. Объем промышленной продукции снизился больше чем наполовину по сравнению с уровнем 1938 года, а транспорт, особенно железнодорожный, практически был парализован. Острую нехватку промышленного сырья усугублял саботаж реакционной буржуазии. В тяжелом положении находилось и сельское хозяйство, истощенное гитлеровскими грабежами, военными поставками и жесточайшей засухой. Острая нехватка продовольственных продуктов и других товаров первой необходимости привела к бешеному росту цен и к катастрофическому падению курса национальной валюты, что тяжело сказывалось на жизненном уровне трудящихся. В таких условиях для консолидации демократического режима прежде всего было необходимо экономическое преобразование страны.

Помимо внутренних сложностей перед демократическими силами стоял целый ряд трудностей внешнего порядка как в области политики, так и экономики. Империалистические круги Запада неоднократно пытались вмешиваться во внутренние дела страны, их тревожили революционные преобразования, они боялись потерять прежние позиции в Румынии».

Петру Гроза и руководители компартии хорошо понимали, что собственными силами Румынии не справиться с этими внутренними и внешними трудностями.

VII

К Петру Грозе в Совет министров и в Центральный комитет «Фронта земледельцев» шел непрерывный поток людей. Приходили поздравлять, заходили за советом, обращались с просьбами.

В один весенний день, когда он сидел над проектом упорядочения финансового хозяйства страны, попросился к нему крестьянин из Олтении. Гроза принял его, расспросил, как дела в олтенских деревнях, как справились с посевной. Крестьянин отвечал, что хорошо, ждут урожая, а у него самого есть большая просьба к премьеру.

— Какая? — спросил Гроза.

— Крыша прохудилась. Протекает, проклятая, и вот пришел за помощью. Соседи смеются надо мной: у него, мол, на свадьбе был такой посаженный отец, а он плачет, что крыша худая!

Грозе стало и смешно и горько. Он встал, подошел к стене, где висела большая карта страны.

— Иди сюда... Знаешь, что это?

— Я же четыре класса кончил! — гордо сказал крестьянин. — С короной!

Гроза усмехнулся. Четыре класса! С короной! Значит, круглый отличник. Только круглые отличники достаивались короны — венка из бессмертников. Четыре класса — такая редкость в сплошь неграмотных селах, что там это кажется чуть ли не высшим образованием... Так что же скажет он, премьер-министр, этому сельскому грамотею, у которого прохудилась крыша? Шуткой тут не обойдешься — ему нужна кровля.

— Так что же это все-таки?

— Это карта нашей любимой родины, — ответил крестьянин.

— Правильно. Так вот, над всей этой любимой родиной прохудилась, дорогой мой, крыша, очень сильно прохудилась. И ее нельзя латать. Менять нужно крышу, понимаешь? Над всей страной... — И Гроза провел рукой по карте. — Над всей... Помоги соорудить эту новую крышу, тогда и над тобой не будет капать. Понимаешь? Ты ведь четыре класса кончил... С короной...

— Понимаю...

— Вот видишь, я так и знал, что ты поймешь... Вот и помоги мне. Расскажи крестьянам в своем селе, что Гроза вместе со всем народом пытается построить над страной новую крышу. Пусть и они помогут... А сейчас я закончу с этими

бумагами, и пойдешь ко мне домой, ведь ты приехал не только своего посаженного отца проведать, но и мать, правда?

— Да, я буду рад, только не хотелось бы беспокоить...

— Какое там беспокойство!.. — Гроза поднял трубку. Ответила жена. — Ани, подлей-ка пару кружек воды в суп, у нас сегодня за обедом гость будет.

Крестьянин знал, что Гроза любит шутить.

Гроза поехал посмотреть, как трудятся рабочие на столичном заводе «Малакса», где при прежнем правительстве были сильные волнения. Приехал он внезапно, никто не ожидал приезда премьер-министра. Он думал поговорить с рабочими, был готов выслушать их упреки и обвинения. Но ожидания его не оправдались. Рабочие окружили его, стали спрашивать, как дела в правительстве, какие у него планы, что нужно делать рабочим, чтобы помочь выполнить эти планы. Рядом с грозой стоял старый рабочий. Гроза спросил его:

— Ну, а ваши дела как?

— Хорошо, — ответил тот.

— Как это — хорошо?! — удивился премьер. — Выглядите вы плохо, одежда на вас, как и на других, рваная, с питанием, видно, неважно.

— Вы во всем правы, друг премьер-министр. Мы ходим в лохмотьях, но придет время — и мы купим себе новую одежду. Худые мы потому, что с продуктами скверно. Но дело пойдет на лад, так что держитесь, мы с вами. Мы знаем, что и вам нелегко, и поэтому не жалуемся.

Такие встречи помогали Грозе. Он по-прежнему был жизнерадостен и неутомим. В любую погоду рано утром его можно было встретить на улицах Бухареста. Не забывал премьер-министр и теннис. На работу он приходил к восьми часам утра и всегда точно выполнял намеченную накануне программу. Изучая документы того времени день за днем, диву даешься энергии, силам этого человека. Ему приходилось читать от семисот до тысячи страниц в день только одних бумаг — информацию о международных делах, государственные документы, докладные записки и письма. Кроме этого, ему приходилось участвовать в заседаниях и совещаниях, принимать министров и высших государственных чиновников, представителей иностранных государств, корреспондентов, работать в Центральном комитете «Фронта земледельцев»... Его приглашают на различные собрания и съезды трудящихся, и он никогда не отказывается выступить, выслушать, о чем говорят люди, посоветоваться с ними. И не только в Бухаресте.

Во всех выступлениях премьер-министр непременно касается трех вопросов: союза рабочих и крестьян, союза с коммунистами, дружбы с Советским Союзом. О необходимости укреплять дружбу с Советским Союзом Гроза говорит неоднократно, он подчеркивает, что эта дружба жизненно необходима Румынии. Гроза постоянно обращает внимание на то, что видные представители румынской интеллигенции не желают думать над тем, как улучшить тяжелую жизнь своего народа в настоящем, как устроить его будущее, а вместо этого хвастают «великим» прошлым румын, их древним происхождением.

Гроза сурово пресекал любое проявление бахвальства, чванства. Не терпел, когда превозносили его заслуги. Он повторял, что любой человек может допустить ошибки, а своевременная критика может их предотвратить.

Навещая свое родное село, Петру Гроза ходил по домам, интересовался, как живут его односельчане, ободрял друзей, да и сам набирался оптимизма у крестьян, которые хотя и жили в нужде, но не теряли присутствия духа, шутили и рассказывали ему смешные истории. Однажды, приехав в Бэчю, Гроза пошел прямо к Стрею, легко нашел любимое с детства место купания и обрадовался, увидев, что там, как и прежде, бултыхалась сельская ребятня. Он разделся и, как в детстве, бросился в стремнину. На миг забыл о своем возрасте и затеял возню с ребятами. А потом прилег на травку и спросил загоравшего рядом мальчугана:

— Ты в каком классе?

— В третьем.

— А в какой школе?

- В школе «Петру Гроза».
- А кто это такой, Петру Гроза?
- Наш бывший помещик. Он сейчас в Бухаресте премьер-министром.
- А школа почему его именем называется?
- Да вот назвали так... У нас и Дом культуры тоже так называется.

Мальчик был очень удивлен, когда этот седой дедушка так проворно вскопчил, быстро оделся, схватил трость и зашагал к Вэчии.

Гроза подошел к школе. Над входом красовалась вывеска: «Школа имени Петру Грозы». Он миновал несколько домов, свернул на центральную улицу, в глаза бросилось: «Дом культуры имени Петру Грозы». Это что — над ним издеваются, над ним смеются?

В примерни, уронив голову на стол, спал дежурный. Гроза запер дверь снаружи, опустил ключ в карман и постучал в окно.

— Найди быстро примаря, скажи — Гроза ищет! — крикнул он, когда дежурный наконец продрал глаза.

Бедняга дежурный, толкнувшись в запертую дверь, вышрыгнул в окно и бросился бежать.

Когда появился примарь, Гроза уже остыл. Только попросил поскорее убрать эти вывески.

24 июня 1945 года суждено было стать большим днем в жизни Петру Грозы. В Бухаресте собрался Первый всерумынский съезд «Фронта земледельцев». Неутомимо работали в Центральном комитете «Фронта» Мирон Бея, Ион Мога, Георге Микле, Ромулус Зэрони. «Фронт» издавал газету, которую вели Георге Микле, Октав Ливезяну и писатель Щербан Неделку. Центральный комитет «Фронта» и газета при полной поддержке Коммунистической партии добились того, что ячейки «Фронта земледельцев» имелись теперь в каждом румынском селе, а число членов «Фронта» уже перевалило за миллион.

— Вы, — говорил Петру Гроза, открывая съезд, — вместе с рабочими заводов и фабрик есть соль земли, есть основа основ человечества, пока оно существует. В прошлом веке некий премьер заявил в румынском парламенте, что у нерадивого помещика вол оказывается порой ценнее крестьянина, тогда как руки крестьян — «единственный живой капитал собственников» и только так на это надо смотреть. Да, братья-землепашцы, эти крепкие и натруженные руки были живым капиталом не только помещиков, но и всей нашей страны. Они вспахивали землю, выжимая из нее все, что она может дать, и они же медленно чахли на чалигах плуга от голода и непосильного труда.

Гроза с горечью вспомнил о том, как в 1864 году в Общественное собрание в Яссах были введены 14 крестьянских депутатов. Они пришли в отрепьях, полураздетые. Помещики смотрели на них с удивлением и нескрываемой неприязнью. Чтобы не опозориться перед посланниками иностранных государств, приглашенными на торжество, были собраны деньги и депутатов послали купить себе платье...

В последующие годы положение крестьян не стало лучше. Только союз с рабочими, поддержка пролетариата впервые принесла крестьянам облегчение их жизни. Наступает новая пора, говорил Гроза, когда «соха и тощие коровенки, еле двигающиеся по борозде, должны отойти в прошлое. Мы организуем центры механизации и селекционные станции, которые займутся созданием высокосортных семян и лучшими породами нашего скота. И тогда румынский землепашец станет наконец истинным хозяином своей земли, а не ее рабом».

Вскоре премьер-министр Румынии был приглашен как почетный гость на первую национальную конференцию Коммунистической партии Румынии.

Уполномоченный съездом «Фронта земледельцев», Петру Гроза сказал на конференции:

— Дорогие друзья! Я как председатель «Фронта земледельцев» заявляю, что мы с вами. Мы всей душой с вами, потому что дружба «Фронта земледельцев» и Коммунистической партии имеет давнюю историю. «Фронт земледельцев» всегда шагал в одном огряде с румынским пролетариатом и был предан его пар-

тии. Мы всегда есть и будем с вами. Существуют люди, стремящиеся разъединить земледельцев и пролетариат. Но это смешные попытки. Земледельцы страны по опыту аграрной реформы, по опыту посевной уже знают, что значит рабочая солидарность. Они никогда не пойдут на поводу у политических жонглеров. Объективная реальность соединила в одно созвездие пролетариат и крестьянство на основе дружбы, товарищества и боевого единения. В области внешней политики,— подчеркнул Гроза,— мы будем стоять на страже великого дела дружбы, и никто не сможет помешать нашему стремлению и нашей воле жить в атмосфере глубокого, настоящего братства со всеми народами, которые нас окружают.

Георге Георгиу-Деж был моложе Петру Грозы на семнадцать лет. Гроза слышал о нем еще в тридцать третьем году, во время гривицких боев, рассказывал фронтистам о бесстрашии Дежа на процессе в Крайове, знал, с каким мужеством вел себя Деж в Дофтана, куда его посадили на двенадцать лет. Сам Гроза познакомился с Дежем после 23 августа 1944 года.

Долгие годы, проведенные в тюрьмах и концентрационных лагерях «великой Румынии», не погасили глубокой доброты, которой светились черные, как спелый терн, глаза этого темноволосого красавца Гицэ (так его называли близкие), он был выдержан, спокоен, никогда себя не выпячивал. Он мало говорил и не торопился с выводами. Лишь сойдясь ближе с Георгиу-Дежем, Гроза до конца понял смысл слова товарищ. Соратники Георгиу-Дежа по компартии (Киву Стойка, Георге Апостол, Александру Могирорш и сколько еще их, настоящих коммунистов) были истинными революционерами, соратниками в бою и единомышленниками в мировоззрении. Не изменяя своей принципиальности, Георгиу-Деж был терпим в спорах и дискуссиях, свою точку зрения он доказывал последовательно и аргументированно, беря логикой, а не упрямством. Но в бой с идейным противником, с врагами трудового народа он бросался отчаянно, не рискуя жизнью. Осенью сорок пятого во время контрреволюционной вылазки железнодорожников и гитлеровцев он в одиночку вел по ним пулеметный огонь и обратил в бегство фашистский сброд. На опустевшей площади остались клочья лозунгов, флагов со свастикой и... зонтики: фашистское отребье боялось дождя.

Когда во время землетрясения в сороковом году рухнула Дофтана и под ее развалинами оказались погребенными большинство заключенных, Деж сколотил бригаду спасателей и целую неделю вместе со своими товарищами по заключению разгребал обломки, спасая изувеченных, хороня погибших.

После 23 августа сорок четвертого Грозу и Дежа объединила общая борьба против реакционных правительств Сэнэтеску и Рэдеску.

6 марта 1945 года Деж занял в правительстве Грозы ключевой пост министра путей сообщения и общественных работ. Во время переговоров с высшими советскими руководителями Гроза убедился еще раз, как глубоко этот человек знает нужды своей страны и умеет найти выход из ситуаций, кажущихся безвыходными.

И вот сегодня этого человека делегаты румынских коммунистов избрали Генеральным секретарем Центрального Комитета. Грозе было знакомо чувство душевной тревоги, когда тебе вдруг оказано такое доверие. Он помнил день своего избрания на пост председателя «Фронта земледельцев». Какую ношу взвалил он тогда на себя! Но ни в какое сравнение не идет та ноша с этой. Георгиу-Дежу нужна была помощь и поддержка с первого же дня, с первого же часа.

Поздним вечером 22 октября 1945 года Гроза нажал кнопку звонка в доме Георгиу-Дежа.

— Решил принести вам свои поздравления,— сказал он чуть виновато,— у нас в Зэранде так принято...

— Я вам очень признателен, доктор Гроза.

— Разрешите обнять вас как брата.

Могучие объятия старого премьера заставили Дежа поразиться его огромной физической силе.

Они не заметили, как уходит ночь. Гроза говорил Дежу, что в стране кипят политические страсти, «историки» рвутся на авансцену, король протягивает им руку и надеется на помощь англичан и американцев. А что стране нужен порядок — до этого дела никому нет. Можно до бесконечности перечислять беды Румынии и все равно всех не перечесать. Тяжелую миссию взяли на себя коммунисты. И Гроза пришел сегодня к Дежу сказать ему еще раз, что коммунисты могут рассчитывать на него как на друга.

— Я очень осмотрительно выбираю друзей, — подчеркнул Гроза, — но выбираю навсегда. Друзей нельзя менять. Это великая истина.

— Я тоже этого придерживаюсь, — подхватил Деж. — По-моему, нет ничего опаснее игры в дружбу. Сколько раз уже я убеждался в этом... Во время нашей конференции, особенно после моего доклада, нашлись и такие, которые подходили и, знаете, говорили, что, мол, Гицэ, ты так прямодушно ориентируешься на Советы. Можно быть и похитрее...

— Ехе! — горько засмеялся Гроза. — Мне тоже всюду об этом твердят. Ух как мне осточертела эта политическая акробатика... Говорят еще: дружба с Советским Союзом невыгодна. «Почему?» — спрашиваю. «Да потому что мы всегда ближе все-таки к Западу». «К Западу, к Западу!» — твердят как попугаи. А что этот Запад? Политическая реальность всегда приводила нас к союзу с Россией. И в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году и сейчас. И так будет всегда.

О выборе друзей они говорили не впервые. Не бывало дня, чтобы этот вопрос не затрагивался в Центральном Комитете партии, в правительстве. И при этом обязательно вспоминали о пагубности политики «игры на двух столах». Руководители «исторических» партий, окружение короля и сам король пытались втянуть страну в эту игру и сейчас, в сорок пятом. Когда вспомнили об этом, Деж сказал:

— Они притворяются или на самом деле забыли, что даже Антонеску плакал по поводу исхода этой «игры»?

— Даже в теннис невозможно играть одновременно на двух площадках, каким бы искусным мастером ты ни был... Правда, мне могут возразить, что бывают гроссмейстеры, которые дают сеансы одновременной игры на многих шахматных досках. Но, отвечу я, это уже не спорт, а спектакль. А в политике спектакли — занятие очень опасное. Вы правы — Антонеску действительно жаловался на довоенных незадачливых гроссмейстеров. Они ему тоже были не по душе⁵.

Уже рассветало, когда гость поднялся, и Георгиу-Деж пошел проводить его. Они шли медленно и продолжали разговор. Неожиданно раздался выстрел где-то в стороне Бэнясы, потом еще один и еще. По бульвару Янку Жиану промчались две легковые машины.

— Что могло случиться? — спросил Деж.

— Опять стреляют... Не могу забыть, как чуть не убили Апостола. Фашисты еще живы. Попрыгались в щели, но время от времени вылезают... Сколько же они положили на своем веку советских солдат...

Они подошли к площади Виктории, где перекрещивающиеся бухарестские улицы образуют своеобразную звезду. На стыке шоссе Киселева и бульвара Янку Жиану (ныне бульвар Авиаторов) остановились.

— Удобнее всего было бы установить памятник здесь, — сказал Георгиу-Деж. — Лицом к центру города.

⁵ Советский исследователь истории Румынии доктор исторических наук, профессор Н. И. Лебедев в своей книге «Железная гвардия, Карол II и Гитлер» пишет: «„Двойная игра“ — так определил внешнюю политику Румынии после отставки Титулеску фашистский диктатор И. Антонеску в письме к лидеру национал-либералов Д. Брэтиану от 29 октября 1942 года. В 1936—1937 годах, чтобы расположить к себе Германию, указывал И. Антонеску, румынские правители отказались заключить пакты о взаимной помощи с Францией и Чехословакией, а также с Советским Союзом, но в то же время по случаю визита Карола II в Париж была подчеркнута „полная солидарность с Францией“. Не было недостатка в жестах солидарности также с Чехословакией, однако одновременно делались заявления, находившие отклик в Польше и свидетельствовавшие о политике сближения с Германией, враждебной Чехословакии. „Двойная игра, — писал И. Антонеску, — погубила нас: мы проиграли и на том и на другом столе“».

— Пожалуй, вы правы,— согласился Гроза.— Ко мне недавно заходил Бараски⁶ и показал эскиз: красноармеец будто летит к центру города! Да, пусть будет здесь!

Через восемь месяцев, в первую годовщину победы над гитлеровским фашизмом, 9 мая 1946 года на площади Виктории был открыт памятник. Петру Грозе и Георгиу-Деж разрезали ленту, соскользнуло покрывало, сотканное вручную из белого натурального шелка боранжик, и советский солдат с развернутым знаменем в руках будто вытянулся навстречу солнцу. Надпись на памятнике: «Вечная слава воинам Красной Армии, павшим в боях за освобождение Румынии от фашизма».

Таким стоит этот памятник и по сей день.

VIII

В Бухаресте при дворе и вокруг лидеров «исторических» партий ни на миг не прекращалась возня по поводу так называемой непредставительности правительства. В это сложное время Петру Грозе заявил публично, что он видит смысл своей жизни только в боевом наступлении. Правое дело рабочих и крестьян в конечном счете победит, и тот, кто идет с трудящимися классами, не будет знать поражений.

Стало ясно, что лобовые нападки, клевета и ложные слухи не оказывают ни малейшего влияния на премьер-министра. И тогда его противники решили сыграть на болезненном самолюбии молодого короля. Они принялись доказывать ему, что премьер-министр ломает вековые традиции государства и проявляет крайнюю непочтительность к самому монарху. Румынская аристократия со времен воцарения династии Гогенцоллернов слепо следовала древнему церемониалу. Королевские послания начинались словами: «Всем живущим и грядущим поколениям здоровья желаю»; а послания премьер-министра к королю должны были завершаться словами: «Ваш колено преклоненный слуга». Когда Грозе как премьер-министру принесли на подносе первый документ, он спросил:

— А это что за «коленопреклоненный слуга»?

— Простите, так принято,— ответил чиновник.

— Кто коленопреклоненный? Я?..

— Выходит, вы, господин премьер-министр,— не без скрытого злорадства ответил чиновник.

— У меня с детства колени не сгибаются,— твердо сказал Гроза и вычеркнул «коленопреклоненный слуга», оставив только местоимение «ваш». — Вот так. Впредь только так и пишете — «ваш». И этого ему еще слишком много. Но пусть. Все-таки король.

Вот придворные и доказывали королю, что поведение Грозы дерзкое, такого еще не знала румынская монархия. Своим непослушанием нынешний премьер-министр попирает великие традиции предков. И вообще неизвестно, что еще выкинет этот «взбунтовавшийся дак». Реакция не брезговала никакими средствами воздействия на премьер-министра, лишь бы держать его в постоянном напряжении, в постоянной, по их мнению, неуверенности, в состоянии «войны нервов». Был пущен слух, что Михай с часу на час пригласит Грозу и предложит ему уйти в отставку.

Короля ободряли и подталкивали к действиям представители английской и американской миссий. Правительство США занялось положением в Румынии сразу же после Ялтинской конференции. Еще 1 апреля 1945 года Рузвельт писал Сталину о своем беспокойстве по поводу недавних «событий» в Румынии. Под этими «событиями» он имел в виду народное движение, в результате которого пришло к власти правительство Петру Грозы. 12 апреля 1945 года Рузвельт умер, но делами Румынии обеспокоился и Гарри Трумэн. 27 мая 1945 года И. В. Сталин писал ему, что, поскольку Румыния разорвала с гитлеровской Германией,

⁶ К. Бараски — румынский скульптор, автор памятника советским воинам-освободителям в Бухаресте.

заключила с союзными державами перемирие и включилась в войну на стороне союзников против Германии, «выделив для этого свои вооруженные силы», и внесла свой вклад «в дело разгрома гитлеризма и в победоносное завершение войны в Европе», Советское правительство считает правильным и своевременным теперь же восстановить с Румынией дипломатические отношения и обменяться с нею посланниками. Новый президент ответил несогласием, сообщив при этом об охватившей его тревоге в связи с тем, что в Румынии существует режим, который не обеспечивает «всем демократическим элементам народа права свободно высказывать свое мнение». Президент также считал, что «политическое положение в Румынии должно стать предметом консультации между тремя главными союзными правительствами». Сталин тут же ответил, что, по его мнению, «за последнее время политическое развитие Румынии... вошло в спокойное русло» и что «нет необходимости в каких-либо специальных мерах со стороны союзников» по отношению к этой стране. «Правительство Советского Союза,— писал Сталин,— держится того мнения, что больше не следует оттягивать восстановление дипломатических отношений с Румынией».

19 июня 1945 года Трумэн сообщил, что он продолжает «изучать этот вопрос».

Не дожидаясь результатов этого «изучения», правительство Советского Союза 6 августа 1945 года принимает решение об установлении дипломатических отношений с Румынией, о чем и сообщает доктору Петру Грозе.

Однако ни король, ни его окружение, ни официальные представители Англии и Соединенных Штатов в Бухаресте не успокаиваются. Король снова пригласил Петру Грозу во дворец.

— Я требую, чтобы вы, господин Гроза, подали в отставку!— Михай заметно нервничал.

— Что заставляет ваше величество требовать этого?

— Вас не признают две великие державы...

— Нас признало правительство Советского Союза... Правительство страны, которая вынесла на своих плечах главную тяжесть этой войны, ваше величество. Не следует забывать о нашей вине...

— Не нужно об этом, я прошу вас...— прервал Грозу король.

— Мое правительство работает, не зная ни дня ни ночи, ваше величество, стремясь поставить на ноги подорванную свершившейся трагедией страну. Нас поддерживает подавляющее большинство народа, и я в отставку не подам.

Непосильной тяжестью ложились слова Грозы на плечи Гогенцоллерна. Но, как всегда в подобные минуты, его торопились выручить близкие. Сегодня это была Елена, королева-мать, давно покинутая мужем, распутным Каролом II.

— Пожалейте моего сына,— сказала королева, и в голосе ее были слезы.— Пожалейте его, господин Гроза. Вы тоже отец...

— Никто из моих детей, ваше величество, не является королем Румынии. Бремя власти и бремя ответственности за судьбу страны лежит на вашем сыне. Он должен управлять страной, а не играть в смену кабинетов. Для меня это несомненно. Мое правительство в отставку не уйдет! Честь имею.

И Гроза вышел, не дождавшись окончания аудиенции.

17 августа 1945 года правительство Трумэна направляет министерству иностранных дел Румынии ноту, в которой сообщается, что правительство США не признает установившийся в Румынии политический режим и отказывается вести с правительством переговоры, касающиеся заключения мирного договора. Петру Грозе решительно отверг эту ноту, считая ее «недействительной и незаконной». Такой же ответ был отправлен и Великобритании, поспешившей вслед за американцами с аналогичной нотой. О своем решении Гроза поставил в известность короля.

Приближалась первая годовщина свержения Антонеску. На 23 августа был назначен торжественный парад. Король на торжество не явился. И тогда 24 августа Петру Грозу созывает заседание Совета министров. Принимается решение, в котором говорится: «Поддерживаемое всем народом, прави-

тельство твердо решило остаться на своем посту, чтобы продолжить и завершить дело созидания, начатое 6 марта 1946 года».

В ответ на это король Михай I принимает неслыханное решение: по совету лидеров «исторических» партий он отправляется в Синаю и не подписывает с этой минуты ни один из законопроектов, предлагаемых правительством. Он снова просит Соединенные Штаты и Англию помочь ему создать «новое правительство» Румынии.

«Королевская забастовка» — так окрестили историки эту линию поведения Михая I. Биограф короля Артур Холд Ли в своей книге «Корона против серпа» свидетельствует, что «министры приходили советоваться с королем, а их даже не принимали. Горы государственных бумаг накапливались в королевской канцелярии, а затем возвращались правительству неподписанными». Когда Михая доложили, что в приемной дожидается аудиенции министр обороны генерал Василиу-Рэшкану, Михай ответил:

— Я не знаю министра по имени Василиу-Рэшкану.

Трижды отказался король принять министра иностранных дел Румынии.

Однако Петру Гроза, поддерживаемый Коммунистической партией, «Фронтом земледельцев» и всеми прогрессивными силами страны, остается верен своей твердой линии — не дожидаясь одобрения короля, он проводит в жизнь постановления, которые сочло нужным принять правительство.

Советское правительство заявило США и Великобритании, что Советский Союз не согласен с позицией короля Михая и не поддерживает требования США и Англии об отставке правительства Петру Грозы под предлогом его «непредставительности». Правительство СССР дало согласие на приезд в Москву правительственной делегации Румынии для обсуждения жизненно важных вопросов, касающихся восстановления народного хозяйства Румынии и его дальнейшего развития.

IX

От Бухареста до Москвы в те годы было больше шести часов лету. Гроза сел рядом с руководителем румынских коммунистов, министром путей сообщения и общественных работ Георге Георгиу-Дежем. Тем же самолетом летел министр иностранных дел Георге Тэтэрэску, недавно отколовшийся со своей группой от «исторической» партии либералов, руководитель румынской социалистической партии Штефан Войтек. Делегацию возглавляет Петру Гроза.

Как будто отступил за дальний горизонт шум моторов летящего самолета, и в наступившей странной тишине Грозой овладела тревога. Вроде бы все обдумано и обсуждено, советники делегации везут в своих портфелях все материалы и расчеты (позже Гроза, вспоминая свои тогдашние поездки в СССР, скажет: «Мы возили тогда в Советский Союз большие сумки, набитые множеством разных просьб»). И все же он думает: что там их ждет? как его и его товарищей встретят советские руководители? как будут разговаривать? Ведь это первая в истории Румынии правительственная делегация, отправившаяся в СССР. И при каких обстоятельствах... Гроза имел возможность убедиться, с каким уважением разговаривали с ним и его товарищами представители Советского Союза в Бухаресте маршалы Малиновский и Толбухин, генерал Сусайков, политический советник Союзной контрольной комиссии Павлов... Они были предельно уважительны. Все они, естественно, выполняют — твердо и точно — указания Москвы. Но примет ли делегацию Сталин? Как сложится разговор? Ведь тяжелый груз многолетней антисоветской политики правящих кругов Румынии, участие Румынии в войне на стороне гитлеровской Германии, Кишинев, Одесса, Сталинград, Северный Кавказ и Крым, бесчинства вояк Антонеску, грабежи и разбой — разве это забывается так легко? Конечно, ни он, ни те, кто летит вместе с ним, в этом не виноваты. Виноватые понесли и понесут еще заслуженную кару. Но все же... Если брат твой убийца, то и ты, как бы чист ни был, тоже чувствуешь себя

запачканным и причастным к этой вине. И если у тебя есть совесть и душа, все равно содрогнешься всякий раз, как вспомнишь о ней. Пусть даже тебе не напомнят об этом.

О Сталине Гроза думал точно так, как думало большинство людей в то время. Этот человек возглавлял народ, победивший Гитлера. И это доминировало над всем остальным. От встречи с победителем Гитлера, союзником которого была твоя страна, можно ожидать непредвиденного. И ты, Петру Гроза, руководитель делегации Румынии, должен быть к этому готов.

— Ну, бог нам в помощи! — сказал Гроза сидящему рядом Георгиу-Дежу, когда самолет сел и пассажирам сообщили, что трап подан.

Их ждали... Особняком, подавшись чуть вперед, стоял знакомый по фотографиям человек. Шляпа, пенсне, коротко подстриженные седые усы, не улыбочное круглое лицо. Это Молотов. Чуть в стороне от него знакомые по встречам в Бухаресте Вышинский, советник Павлов... Сейчас они поздравляются, а потом, видно, ему, Грозе, надо будет что-то сказать. Усилием воли он сосредоточил свои мысли только на одном. Ведь сейчас он скажет первое слово впервые приехавшего в Советский Союз руководителя Румынии.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РУМЫНИИ ДОКТОРА ПЕТРУ ГРОЗЫ ПО ПРИБЫТИИ В МОСКВУ 4 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА

«Господин Комиссар иностранных дел! Дорогие друзья!
Я счастлив, что сегодня впервые вступил на московскую землю.
Свет идет с востока!

Еще с детства я много читал и слышал о вашей стране, много думал об этой метрополии великих движений.

Мое волнение смешано с радостью оттого, что мы встречаемся в эти дни славы. Надо сказать, что эта слава стоила многих жертв и крови, пролитой доблестной Красной Армией.

Вместе с войсками Красной Армии армия нашей маленькой страны смогла наконец сражаться для победы над фашизмом и гитлеризмом и победить, чтобы выиграть мир...

Я счастлив быть среди вас и уверен, что мы сохраним добрую память о нашей встрече и добьемся плодотворной работы и результатов в пользу обеих стран».

Непродолжительный отдых после нелегкого перелета, и Петру Грозе говорят, что его вместе с делегацией ожидает товарищ Сталин.

Машины въехали через Спасские ворота, свернули направо и с уменьшенной скоростью двигались вдоль высокой кремлевской стены.

Вошли в небольшой вестибюль старинного здания у самой кремлевской стены, дежурный у лифта отковырял и нажал кнопку. Длинный коридор с высокими дубовыми панелями, мягкая ковровая дорожка с длинным ворсом. Дежурный офицер открыл дверь справа. Приемная, еще дверь. Еще один офицер отдал честь. Гроза поднял глаза и увидел, что навстречу ему идет старый сутуловатый человек. У него седые поредевшие волосы, седые усы, черные пронзительные глаза светят из-под густых, но тоже седых бровей. Он охватил гостя горячим взглядом, и Гроза почувствовал этот взгляд почти физически.

— С приездом, господин Гроза... — Сталин сделал небольшую паузу. Посмотрел снизу вверх на этого богатыря и, видя его растерянность, спросил: — Как долетели?

— Хорошо, немного холодно... — Гроза хотел сказать «господин Сталин», потом подумал, что, может быть, это нехорошо — назвать Сталина господином, тут же мелькнула мысль сказать «товарищ Сталин», но какой он Сталину товарищ? Так ведь обращаются друг к другу коммунисты, а он, Гроза, не коммунист. Но он тут же сообразил, как можно назвать Сталина. И вставил после паузы: — Но после холода всегда наступает тепло, генералиссимус.

Сталин предложил сесть, и Гроза почувствовал вдруг, что волнение отошло.

— Меня проинформировали о ваших трудностях, господин Гроза. Товарищи Сусайков и Павлов говорили, насколько у вас сложно.

— Достаточно сложно, генералиссимус, но не так сложно, как могло бы быть. Мы принесли вам и Красной Армии свою благодарность, благодарность румынского народа.

— Мы рады слышать от вас эти слова, господин Гроза... — Сталин снова сделал паузу. — Все ваши просьбы рассмотрены. Мы предложили всем народным комиссарам с большим вниманием и тщательностью обсудить с румынскими экспертами ваши нужды... — Снова пауза. — Мы наслышаны о вашей организации, о «Фронте земледельцев». Как он поживает?

Гроза оживленно начал рассказывать о сущности крестьянского движения в Румынии, о своем «Фронте», своих товарищах.

— Вас за «Фронт» посадили в Мальмезон?

— И за «Фронт» и за связь с друзьями-коммунистами.

— Да, буржуазия построила для нас не один Мальмезон... — Сталин, как всегда, мягко, неслышно шагнул. — И построят еще не один Мальмезон. А мы будем их крушить. Для этого нужны смелость и единство. Единство, пожалуй, даже больше нужно, чем смелость. Когда единство есть, смелые находятся. Плохо тогда, когда между смелыми нет единства. Это выгодно устроителям мальмезонов...

Сталин сел, снова наступила пауза. Молотов, сидевший напротив Грозы, спросил:

— А когда, господин Гроза, вы думаете приступить к созданию коллективных хозяйств? Как вы к этому относитесь?

Гроза ответил неожиданно резко:

— Господин Молотов, мы только завершили распределение помещичьих земель между крестьянами... Надо дать крестьянину убедиться, что мелкому хозяйству из нужды не выйти, как говорил Ленин, чтобы приступить к коллективизации.

Молотов не продолжил эту тему разговора, Сталин же вдруг спросил:

— А король ваш все еще бастует?

— Да, генералиссимус.

— Видите, и короли могут быть оригинальны. Пожалуй, это редкое явление среди монархов.

— Наши рабочие присылают к нам своих представителей и заявляют, что хотя и трудно, но забастовок они устраивать не собираются, чтоб не создавать еще больших трудностей правительству, зато король бастует, — сказал Гроза.

Сталин засмеялся. Молотов спросил:

— И что же вы намерены с ним делать, с королем?

Сталин не дал Грозе ответить:

— Я думаю, что румынские друзья найдут, как поступить со своим королем. Их король — сами решат. Тем более что при такой забастовке штрейкбрехеров не найдется.

Снова заговорили о политическом положении, об экономических трудностях. Потом Сталин пригласил всех посмотреть кинофильм.

В центральной ложе Большого театра Петру Гроза вместе с делегацией слушал «Евгения Онегина». Партию Ленского пел Иван Семенович Козловский, и Гроза наслаждался голосом прекрасного певца, которого совсем недавно принял в Бухаресте.

Еще не кончилось последнее действие, когда сопровождавший делегацию сотрудник Наркоминдела сказал, что господина премьер-министра ожидает товарищ Сталин.

На этот раз Сталин принял Петру Грозу в своей кремлевской квартире. Подали крепкий кофе, в высокие хрустальные рюмки налили коньяк, и они остались одни.

— Мне хотелось бы продолжить с вами, господин Гроза, вчерашний разговор о коллективизации...

Слова эти зазвучали по-немецки⁷. Наступила короткая пауза. Потом Сталин продолжил:

— Мне показалось, что осталось что-то недосказанное.

— Я объяснил объективное положение дел.

Сталин как будто не слышал его и продолжал:

— У вас какая оснащенность сельского хозяйства техникой?

— Один трактор на две с половиной тысячи гектаров пахоты. Да и какие это тракторы... Основная тяговая сила в деревне — лошадь, их тоже мало, пашут на коровах...

— Ильич говорил о ста тысячах тракторов для России, чтоб крестьянин голосовал за коммунию... Вам нужно будет построить большой тракторный завод.

— Мы уже говорили об этом... У нас в Брашове был завод для строительства «мессершмиттов».

— Вот там бы и построить тракторный. Гитлер и Антонеску заставляли народ строить «мессершмитты». Мы вам поможем строить тракторы. Специалистами поможем, документацией. У нас два крупнейших тракторных завода разрушены полностью — Харьковский и Сталинградский... Но многие специалисты уцелели. В тылу. И с фронтов сейчас возвращаются. Так что будем строить тракторы...

Бушевали на планете политические страсти, подсчитывались потери в только что отгремевшей войне, определялись понесенные убытки и суммы репарационных платежей. Шла подготовка к Нюрнбергскому процессу. Высший народный трибунал Румынии готовил «Процесс великого национального предательства». Гитлеровские палачи и их союзник Антонеску ждали в тюремных камерах часа возмездия. А в тайных канцеляриях иных военных ведомств уже подсчитывали, сколько понадобится ядерных зарядов для уничтожения Советского Союза. В ту ночь в тихой кремлевской квартире Сталина шел разговор и об этом.

Петру Гроза вышел от Сталина.

На Спасской башне — огромные часы с гигантскими стрелками. Раздался звон. Гроза остановился — куранты пробили без четверти шесть. Он вспомнил слова Сталина о том, что кремлевские куранты «всю войну отсчитывали каждую четверть часа наши поражения и наши победы. Они не останавливались даже на короткое время, для профилактики. По этим курантам народ знал, что сердце страны бьется ритмично, без перебоев».

У Спасских ворот ожидала машина, но Гроза повернул от нее направо, к Соборной площади. За эти дни знаменитые кремлевские соборы оделись в леса. «Мы оденем в леса всю страну, — сказал ему Сталин. — Начиная от кремлевских соборов надо восстанавливать все, что было разрушено и обижено войной... Мы и вам поможем поставить страну на ноги...»

В эту ночь был обсужден вопрос о тяжелом экономическом положении Румынии, о нехватке хлеба. Гроза сказал, что разоренная страна накануне жестокого голода. И услышал в ответ:

— У нас сложилось чрезвычайно трудное положение с продовольствием, поражены засухой все основные хлебные районы страны. Но мы поделимся с вами, с вашим народом, господин Гроза, тем, что у нас имеется в госрезервах. Признаться, мы не очень богаты, но поможем.

Вернулись этой ночью и к разговору о короле Михеа. Сталину доложили, что как раз в эти дни идет оживленная переписка между Наркоминделом СССР и представителями Соединенных Штатов Америки и Англии. Гроза признался Сталину:

⁷ Об этом разговоре на немецком языке Петру Гроза сообщил репортеру газеты «Semnalul» Камилу Риягу. Документы подтверждают знание Сталиным немецкого языка.

— Возможно, мы бы и приняли какие-либо кардинальные меры по отношению к этому Гогенцоллерну, генералиссимус, но тут есть обстоятельство, которое затрудняет наши действия.

— Вы имеете в виду орден «Победа», врученный королю?

— Да, генералиссимус.

— Так ведь мы, принимая решение наградить короля Михая высшим нашим орденом «Победа», имели в виду, что это награда не королю на мундир, а румынскому народу, решающие действия которого вынудили короля согласиться на арест Антонеску. Награда эта — наша признательность румынскому народу. А что касается самого короля, то это, доктор Гроза, забота вашего правительства. Я уже говорил об этом. Мы только постараемся, чтобы великие державы не смогли использовать его против наших общих интересов.

Гроза очутился на Соборной площади. Было уже совсем светло. Колокольня Ивана Великого стояла будто особняком от соборов, она еще не была одета в леса, на ее золотом куполе уже играли первые лучи солнца. Гроза услышал четкие звуки парадного шага, посмотрел в сторону Спасской башни. Трое молодых кремлевских курсантов, чеканя шаг, направлялись на пост номер один — к Мавзолею. Главные часы Советского Союза показывали шесть утра.

Напряженно работали все члены первой правительственной делегации Румынии в те памятные дни сентября 1945 года. В коммюнике для печати говорилось, что во время пребывания в Москве доктора Петру Грозы велись переговоры по вопросам, связанным с взаимоотношениями между Советским Союзом и Румынией. Был обсужден ряд проблем экономического, культурного и политического сотрудничества между обеими странами. Особо подчеркивалось, что «переговоры проходили в обстановке полного взаимопонимания и сердечности и закончились рядом соглашений, направленных на ликвидацию народного бедствия в Румынии — продовольственного кризиса, наступившего в связи с сильной засухой и неурожаем этого года».

Далее в коммюнике говорилось:

«Понятно, что такое продовольственное положение в Румынии затрудняет в настоящее время полное выполнение обязательств, лежащих на Румынии в соответствии с условиями Соглашения о перемирии с Румынией от 12 сентября 1944 года.

В связи с лояльным выполнением Румынией этих обязательств в течение первого года перемирия и ввиду того, что Правительство СССР уверено в добросовестном выполнении условий перемирия Румынией и в дальнейшем, Советское Правительство нашло возможным пойти навстречу Румынскому Правительству.

В результате переговоров достигнуто Соглашение о предоставлении Румынскому Правительству для нужд румынского населения ссуды в натуре 150 тыс. тонн пшеницы и 150 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, достигнуто соглашение о замене поставок зерна Румынией по репарациям другими продуктами и об отсрочке другой части поставок зерна до урожая будущего года.

Достигнуто также соглашение о некотором сокращении румынских поставок продовольственного и фуражного зерна для нужд советских войск в Румынии, а также предметов вещевого довольствия и денежных средств, предусмотренных статьей 10 Соглашения о перемирии.

Вместе с тем Советское Правительство согласилось сократить сумму задолженности Румынии по подлежащему согласно статье 12 Соглашения о перемирии возврату Советскому Союзу имущества и рассрочке возврата этого имущества на три года. Тем самым установлено полное согласие в деле определения способов исчерпывающего выполнения Румынией обязательств по статье 12 указанного Соглашения. Кроме того, Советское Правительство согласилось удовлетворить просьбу Румынского Правительства о передаче ему управления всеми железными дорогами Румынии, об увеличении парка паровозов и вагонов румынских железных дорог, о возврате части военно-морского и торгового флота Румынии из числа судов, принадлежащих Советскому Союзу как военные трофеи, и так далее. Оба

Правительства договорились также по вопросу о румынских военнопленных, репатриация значительной части которых уже осуществляется.

Был разрешен также в интересах обеих сторон вопрос о репатриации советских граждан бессарабцев и буковинцев, проживающих в Румынии».

В коммюнике говорилось и о том, что Советский Союз и Румыния будут активно сотрудничать и в области культуры и просвещения.

Закладывались основы послевоенного восстановления Румынии, наступал период реконструкции страны и крутого поворота к глубоким социальным преобразованиям, о которых мечтал Петру Гроза всю свою жизнь.

Укреплялось и международное положение Румынии.

В этом же году в Москве на декабрьской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании наша страна ясно дала понять, что она не допустит в Румынии никакого возврата к власти буржуазных «исторических» партий, и заявила о полной поддержке правительства Петру Грозы. Благодаря этой твердости признали правительство Петру Грозы и Англия и США. Приздумался и синайский «забастовщик». Он встретился несколько раз с доктором Петру Грозой и наконец решил прекратить «забастовку», выступив по радио с традиционным приветствием по случаю наступления нового, 1946 года.

Румынский писатель и публицист Петре Иосиф по поручению румынского радио поехал в Синаю записать это приветствие. Речь для короля была уже подготовлена. Петре Иосиф вместе с техником-оператором ждали довольно долго в немецком салоне малого синайского дворца Пелишор. Короля до этого он видел только издали в Констанце и запомнил его во внушительной форме адмирала флота. А тут вышел красивый молодой парень с большой тряпкой, о которую вытирал вымазанные в масле руки (как рассказывала потом прислуга короля, во время «забастовки» он испытывал по горным дорогам новую спортивную машину). Он поздоровался с бухарестскими гостями, взял текст, растерянно улыбнулся и промолвил:

— Знаю, мне известно, прочитаю в точности так, как договорились.

Так он и сделал. Петре Иосиф слушал монотонный королевский голос, потом прослушал еще раз диск — тогда еще магнитофонов не было. Запись оказалась удачной. На вопрос: «Не хотите ли, ваше величество, прослушать?» — Михай ответил с полным безразличием:

— Нет, мне никогда не нравилось слушать, как я говорю.

Петру Гроза работал не зная отдыха. Он неутомим и активен. Его можно видеть на предприятиях и в селах, среди рабочих, воинов румынской армии, в среде интеллигенции. Его часто можно встретить с Михаилом Садовяну, с Константином Пархоном, Джорджем Енеску, с крупнейшими художниками и композиторами. Румыния укрепляет добрососедские отношения с Венгрией, Югославией, Польшей, Чехословакией. С особым уважением Гроза относился к Болгарии. Вместе с Димитровым он обратился к Советскому Союзу с просьбой помочь соорудить через Дунай мост великой дружбы трех народов.

Часто, говоря о необходимости союза и единства, Гроза вспоминал слова, сказанные ему Сталиным: «Мы должны быть едиными и сильными. Когда ты сильный, тебя все уважают, когда слабый — даже соседка из-за плетня не поглядит».

По давней традиции король должен был прибыть в Бухарест из Синаи 31 декабря 1947 года — отстоять молебен в патриаршей церкви и принять дипломатический корпус по случаю наступления нового года. Петру Гроза попросил короля приехать на день раньше для разрешения некоторых государственных дел. 30 декабря в 11 часов 45 минут король вместе с матерью вернулся в столицу.

В 12 часов 15 минут во дворец среди плакучих ив и каштанов на берегу озера Херестрэу явились председатель Совета министров Румынии доктор Петру Гроза и Генеральный секретарь ЦК Румынской компартии Георге Георгиу-Деж. Премьер-министр сказал королю, что события в Румынии поставили на повестку дня изменение государственного правления, и, выразив желание «расстаться по

дружески», от имени правительства и всех демократических сил народа попросил его отречься. Реальное соотношение сил лишает смысла любое сопротивление, и румынский народ не изберет другого пути, кроме республики. Петру Гроза сказал, что он и Георге Георгиу-Деж будут ждать отречения.

30 декабря 1947 года в 15 часов Михай подписал врученный ему Петру Грозой и Георге Георгиу-Дежем последний государственный акт династии Гогенцоллернов — акт об отречении от престола.

Народ взял судьбу в свои руки.

Это стало возможным благодаря росту влияния революционных сил, возглавленных и организованных Румынской компартией, благодаря росту сил демократии и социализма во всем мире, в первую очередь благодаря усилению роли Советского Союза в послевоенных международных отношениях.

X

После свержения монархии развитие Румынии идет бурно, быстрыми темпами. Глава правительства получил полный простор для своей деятельности, и он помогает Коммунистической партии Румынии решительно и без колебаний вести страну к социализму.

Румыния опиралась на всестороннюю и бескорыстную помощь Советского Союза. Приведем еще одно свидетельство этого времени.

**«ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬНОМУ
ГЕНЕРАЛИССИМУСУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК**

Правительство Народной Румынской Республики обращается к Правительству Союза Советских Социалистических Республик с просьбой рассмотреть возможность уменьшения суммы, которую Румынскому государству еще осталось выплатить в счет возмещения военных убытков.

Уменьшение этих обязательств, облегчив затруднения Румынского государства, оказало бы большую помощь нашему народу в прилагаемых им усилиях для укрепления и развития экономики Народной Румынской Республики.

Зная чувства теплой дружбы, которыми Вы и возглавляемое Вами Правительство руководствуетесь в отношении румынского народа, а также и помощь, оказанную ему в минуты тяжелых испытаний, мы разрешаем себе выразить надежду, что просьба Правительства Румынской Народной Республики будет принята во внимание.

Прошу Вас принять, господин Председатель Совета Министров, уверения в нашем глубоком уважении.

Председатель Совета Министров
Румынской Народной Республики
д-р Петру Гроза.

4 июня 1948 года».

После обсуждения этого вопроса в Советском правительстве Петру Грозе направляется следующая телеграмма:

«Уважаемый г-н Председатель,
Ваше обращение от 4 июня получил.

Советское Правительство рассмотрело просьбу Румынского Правительства о сокращении суммы, которую румынскому государству осталось еще выплатить Советскому Союзу в счет военных репараций. Желая облегчить скорейшее восстановление народного хозяйства Румынии и учитывая установившиеся дружественные отношения между нашими странами, Советское Правительство приняло решение сократить остающуюся сумму репарационных платежей начиная с 1 июля с. г. на 50%.

С глубоким уважением

Председатель Совета Министров СССР
И. Сталин».

«Бухарест, 12 июня 1948.

Г-НУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ГЕНЕРАЛИССИМУСУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

От имени правительства Румынской Народной Республики и лично моего имени выражаю Вам самую горячую благодарность за великодушный жест сокращения на 50% репарационных платежей.

Румынский народ с энтузиазмом приветствует Ваше решение. Он будет вечно благодарен своему великому и мощному соседу и другу — Советскому Союзу и лично Вам за поддержку и помощь, оказанную ему со дня освобождения нашей страны героической Советской Армией из-под фашистского ига.

Великая помощь, оказанная Вами нашему народу, окажет большое содействие делу реконструкции и дальнейшего экономического развития Румынии и улучшения материального положения трудящихся города и деревни.

Примите, г-н Председатель Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик, выражение нашего глубокого уважения.

Председатель Совета Министров
Румынской Народной Республики
д-р Петру Гроза».

Писать подробно о деятельности Петру Грозы в это время означало бы написать историю послевоенной Румынии, потому что любое значительное начинание в стране — будь то денежная реформа или национализация промышленности, начало социалистических преобразований на селе или строительство крупных предприятий промышленности — проходило при самом активном участии председателя Совета министров. Составляются два годовых плана развития народного хозяйства, а с 1951 года начинается осуществление пятилетних планов. С помощью советских специалистов был построен Брашовский тракторный, советские гидростроители помогли спроектировать и соорудить крупную гидроэлектростанцию на реке Биказ в Карпатах. Она была названа именем Владимира Ильича Ленина. Гроза — непосредственный участник разработки Конституции Румынской Народной Республики 1952 года, в которой сказано: «Внешняя политика Румынской Народной Республики — это политика защиты мира, дружбы и союза с Союзом Советских Социалистических Республик и со странами народной демократии, политики мира и дружбы со всеми миролюбивыми народами». Румыния становится учредителем Совета Экономической Взаимопомощи социалистических государств, подписывает Варшавский Договор.

В феврале 1948 года доктор Петру Гроза приезжает вновь в Москву во главе правительственной делегации для заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Румынией и СССР.

— Вы выглядите прекрасно, доктор Петру Гроза, — заметил Сталин.

— Стараюсь, генералиссимус. Стараюсь и своим внешним видом радовать друзей и огорчать врагов.

Он по-прежнему сохраняет бодрость духа, жизнерадостность, по-прежнему находит острое слово в самых драматических обстоятельствах. Глава румынской православной церкви пригласил в Румынию патриарха московского и всея Руси Алексия. Гроза встретил Алексия на вокзале и попросил его пожаловать к нему. Патриарх с радостью принял приглашение премьер-министра и, узнав, что Гроза из потомственных священнослужителей, отслужил панихиду на могиле Адама Грозы в Бэчи. Московский патриарх говорил возвышенные слова о последнем священнике рода Грозы — Адаме. Петру Гроза шепнул стоящему рядом Ромулусу Зэрони:

— Смог бы бедный тата открыть хотя бы один глаз и посмотреть, кого привел на его могилу сын при помощи коммунистов.

Зэрони очень хорошо знал, как корил Адам Гроза своего Петру за связи с коммунистами.

XI

Петру Гроза не знал, что такое усталость, болезни, он сохранил работоспособность до преклонного возраста. В беседе с настоятелем Кентерберийского собора Хьюлеттом Джонсоном, который спросил его, где он нашел источник молодости и неутомимости, Петру Гроза ответил, что, по его мнению, не существует старости, существует лишь возраст.

— В любом возрасте человек может быть и молодым и старым. Я чувствую себя молодым, и мне всегда было легче договариваться с молодежью, чем с моими сверстниками, коллегами из «исторических» партий.

Премьер-министр Румынии подчеркивал, что перестроить экономику страны, воспитать нового человека можно только неутомимой работой и оптимизмом молодости. Он смеялся над демагогами, которые намеревались преобразовать общество при помощи громких, эффектных фраз. «Во все времена находились, да и сейчас находятся сумасшедшие, называющие себя сверхлюдьми, они мнят себя «делателями» истории, но не понимают той простой истины, что не мы властвуем над временем, а время властвует над нами. Наше духовное богатство остается, исторические традиции тоже, их никто у нас не отнимает, но в то же время мы не забываем, что жизнь имеет еще и свою материальную сторону, и церемонии, военные оркестры, официальные прогулки то туда, то сюда — во все стороны света — недостаточны для счастья целого народа».

Старый друг Скарлат Каллимаки стал директором созданного им Румыно-русского музея, на открытии которого был и Гроза вместе со всем правительством. Скарлат просит у премьера средства для приобретения новых экспонатов — произведений современных художников и скульпторов. Гроза сказал Каллимаки, что средства, конечно, будут выделены, но нужно подумать и о другом — достижения Советского Союза пора пропагандировать не только через музеи. Нужны пропагандисты с именем, самые авторитетные представители литературы, искусства.

— Вот и я, товарищ Каллимаки, поеду в Советский Союз, попробую написать книгу о том, что там происходит. Я не имею права умереть, пока не напишу этой книги.

Два тома книги Петру Грозы с очерками о Советском Союзе выйдут за полтора года до его смерти. Петру Гроза назовет эту книгу «Я увидел своими глазами страну мира».

Приближалось 30 декабря 1957 года. В этот день вся страна отмечала десятилетие свержения монархии и провозглашения Румынии народной республикой. Уже несколько лет Петру Гроза возглавлял Президиум Великого национального собрания и в этот день занял, как обычно, свое место в ложе Президиума. Поэт Михай Бенюк пишет, что Гроза «улыбался, пожимал руки своим друзьям. Он был строен, шел не сгибаясь — таким мы привыкли его видеть все эти годы борьбы». Близкие друзья Грозы знали, что он тяжело болен. К нему подкралась проклятая беда нашего века, безжалостная болезнь, которая уносит столько жизней. В вестибюле дворца Национального собрания Гроза уловил во взгляде своего друга Михая Рали, который подошел к нему вместе с Каллимаки, плохо скрытую тревогу. Исхудавший, но по-прежнему стройный и элегантный, он поздоровался с ними и сказал:

— Есть свечи, которые сгибаются, прежде чем догорят. А есть такие, которые держатся прямо до последней вспышки язычка пламени...

В ночь с 31 декабря 1957 на 1 января 1958 года вся страна услышала по радио уверенный, твердый голос Петру Грозы:

— Дорогие друзья и товарищи, через несколько минут мы расстанемся с тысяча девятьсот пятьдесят седьмым годом. Мы подводим итоги года плодотворного труда на благо укрепления нашей свободной родины и в то же время — итоги целого десятилетия со дня провозглашения Румынской Народной Республики. Наш героический рабочий класс, наше трудолюбивое крестьянство вместе с нашими замечательными деятелями культуры и науки, воодушевленные достигну-

тыми до сих пор результатами, осуществляют с полной уверенностью великое дело строительства новой жизни, они превратили страну в огромную строительную площадку. Народ уверенно следует правильной политике Румынской Рабочей партии и правительства Румынской Народной Республики, развивает свое хозяйство и день ото дня обогащает новыми ценностями нашу культурную сокровищницу. Мы вступаем во второе десятилетие нашей республики, начинаем новый год мирного труда, полные спокойствия за судьбу любимой родины, за светлое будущее нашего трудолюбивого народа. Вступаем в новый, тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год с тем же твердым убеждением, что мы и дальше будем укреплять союз рабочего класса и трудящегося крестьянства, будем углублять сотрудничество и братство между румынским народом и национальными меньшинствами нашей общей родины.

Мы уверены, что наш трудолюбивый и талантливый народ в сотрудничестве со своими добрыми друзьями и соратниками из стран социалистического лагеря, возглавляемого Советским Союзом, пойдет дальше по пути социалистического развития промышленности и сельского хозяйства, и это приведет к непрерывному росту общего благосостояния.

Новые выдающиеся достижения науки станут служить трудящемуся человеку. Произведения литературы и искусства, рожденные любовью к народу и нашей новой действительностью, будут способствовать повышению культурного уровня масс и осуществлению желания трудящихся сделать свою родину цветущей. Мы уверены, что социалистические страны, наш великий друг Советский Союз, миролюбивые силы всей земли добьются и в этом году значительных побед на пути к установлению прочного мира и мирного сосуществования между народами — самого горячего желания человечества.

За светлое будущее нашего народа, за победу мира и взаимопонимания между всеми странами! Разрешите мне в эту новогоднюю ночь пожелать вам наше традиционное: «La mulți ani!»⁸.

3 января вместе с этим поздравлением румынские газеты публикуют следующее сообщение: «После хирургического вмешательства, произведенного 17 ноября 1957 года, в здоровье доктора Петру Грозы произошло субъективное улучшение, но болезнь продолжает развиваться. В последние дни общее состояние здоровья ухудшилось. Применяется соответствующее лечение».

Узнав об этом, поспешил в столицу «повивальный отец» Грозы бачу Михэилэ Михок. Он был уже очень стар. На вопрос, сколько ему лет, отвечал: «Я их не считаю». В вагоне поезда Дева — Бухарест вспоминал, как приезжал Петру к нему, привозил теплую одежду, добротные ботинки, красное густое вино «медвежья сила».

Никто не знает, чем занимался в Бухаресте бачу Михэилэ Михок. Только бытующая в краю Зэранда легенда о смерти Петру Грозы дает повод думать, что первым рассказал ее «повивальный отец».

Вечером 6 января 1958 года в квартире Георге Георгиу-Дежа зазвонил телефон. В трубке раздался бодрый голос:

— Говорит Гроза. Я прошу вас, зайдите ко мне... — Голос прервался, но тут же зазвучал так же бодро: — Вместе со всеми товарищами. В десять вечера.

Высшие партийные руководители Румынии, близким и верным соратником которых был столько лет Петру Гроза, пришли к нему. Они знали, что Гроза обречен, и догадывались, зачем он их позвал.

К комнате, где лежал Петру Гроза, примыкали просторная прихожая и комната дежурных врачей. Вошедшим сразу бросилась в глаза необычная картина — длинный стол, накрытый как для большого торжества. В правом углу на стуле — прокованная. Они остановились, растерянные. Открылась дверь, и на пороге появился Петру Гроза. Он был чисто выбрит, любимый костюм — черный пиджак, брюки в полоску, накрахмаленный высокий воротник, бабочка, белый платочек в нагрудном кармане — безупречно сидел на нем. Он без видимого усилия привычным жестом отдал трость порученцу, затем снял шляпу:

⁸ «Многих вам лет!» — румынское поздравление с Новым годом.

— Привет, друзья!

Шляпу тут же взял порученец и застыл. Гроза подошел к столу, появившийся официант налил в рюмки вино из Зэранда.

— Давайте выпьем, друзья! Будьте здоровы!

Черные глаза Георге Георгиу-Дежа налились слезами.

Петру Гроза опрокинул рюмку. Трудно было заметить, что этого могучего человека покидают последние искры горевшего в нем всю жизнь огня. В правом углу он увидел поверх голов поникших товарищей бачу Михэилэ Михока с проковицей через руку. А рядом стояли Ромулус Зэрони, Мирон Беля, Ион Мога Филерю. Он подумал, что вот бы подойти к бачу Михэилэ, попрощаться с ним, но сил уже не было. Знаком попросил шляпу, трость, постарался высоко держать совсем уже седую голову, чуть улыбнулся и произнес последнее:

— Оставайтесь здоровыми, друзья мои... Я пошел умирать...⁹.

Он скончался 7 января 1958 года в пять часов утра, на семьдесят четвертом году жизни.

ИЗ СООБЩЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕЛИКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РУМЫНСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ И СОВЕТА МИНИСТРОВ РНР

«Любовь к родине и стремление к социальной справедливости привели Петру Грозу к тому, что он почти 25 лет назад всем сердцем приобщился к борьбе Румынской коммунистической партии за освобождение и независимость страны, за строительство новой, социалистической Румынии, полностью сознавая, что только на этом пути он сможет по-настоящему служить интересам народа.

Искренний и преданный друг Советского Союза, Петру Гроза боролся с прищущим ему огнем за укрепление братских связей между румынским народом и народами Советского Союза, видя в этом залог экономического и социально-культурного развития страны, подъема благосостояния народа, укрепления нашей независимости и национального суверенитета. Гордый тем, что наша страна является составной частью непобедимого социалистического лагеря — самой могучей силы, поставленной на службу мира и социального прогресса, — Петру Гроза внес огромный вклад в укрепление единства и сплоченности социалистических стран во главе с Советским Союзом, в развитие дружественных братских связей между этими странами».

⁹ Об этих последних словах доктора Петру Грозы автору книги рассказывал Георге Георгиу-Деж.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО



РАЗМЫШЛЯЮЩАЯ АМЕРИКА

1

Какими бы интересными ни были мои впечатления, почерпнутые из последней поездки в США, придется почти начисто исключить материал, связанный с достопримечательностями Вашингтона, Чикаго, Нью-Йорка. Написано уже достаточно и о своеобразной красоте небоскребов Нью-Йорка и о величавости делового района Чикаго. О пятиквартальной, узенькой, как щель, улице, именуемой Уолл-стрит, тоже писалось немало, так же как о страшной нью-йоркской подземке. Страшной в прямом смысле слова. Купив билет за полдоллара (!), вы испытываете страх не потому, что в подземке грязно, стены исписаны чудовищными каракулями, а в нос вам шибает какими-то тошнотворными запахами. И не потому только, что до конечной станции вы доберетесь совершенно измятым и оглохшим от стука, грома, скрежета старых вагонов. Страх охватывает потому, что можно ежечасно ожидать нападения самых настоящих грабителей и головорезов. Но об этом тоже писалось. Известно, что в текущем веке в США было убито преступниками около 900 тысяч человек, то есть больше, чем американцы потеряли на полях сражений во всех происшедших до настоящего времени войнах.

Известно и то, что за последние пять лет квартирная плата в США выросла более чем на 50 процентов. Неостановимо ползут вверх цены на продукты питания и одежду. Таймс-сквер и большую часть Сорок второй стрит наводняют проститутки. Индустрия секса и садизма шагает семимильными шагами. «Прогресс» колоссальный: заведены специальные кинотеатры для гомосексуалистов, лесбиянок. Режиссерам удается превратить кинофильмы в сплошной, так сказать, беспросветный секс. Бродвей завален книгами, от которых за километр разит похотью. С моим другом профессором Робертом К. Белкнапом мы решили пройтись пешком по уважаемой Лексингтон-авеню до книжного магазина, расположенного, как здесь говорят, в двадцати блоках от нашего отеля. Мы шли медленно, беседуя, иногда останавливаясь, чтобы полюбоваться или посмеяться, увидев очередное произведение нью-йоркского «искусства на каждом шагу», как здесь называют афиши, плакаты, настенные картины, рисунки на панелях улиц. Вдруг какой-то юнец сунул в руки профессору небольшую афишку. Высокий, очень худой и очень простодушный профессор, которого зачесанные набок русые волосы делают похожим на мальчишку, развернул ее, приблизил к глазам, потом быстро смял и бросил на тротуар. Это было приглашение посетить дансинг и испытать «некоторые новые способы любви» (изображенные для убедительности на афишке). Примерно через пять блоков нам сунула афишку девушка. Снова приглашение, но уже в другой дансинг.

— Опять! — с недоумением глядя на меня, воскликнул профессор.

Когда же у самого магазина к нам наперерез устремился с какими-то афишами человек лет пятидесяти, мы поспешили укрыться в магазине.

— И ведь что удивительно, — сказал профессор, — полиция ловит этих «зазывал», наказывает их, а их не становится меньше.

В США, по официальным данным, 7 миллионов безработных (не считая почти двух миллионов мексиканцев, азиатов и индейцев, живущих в Нью-Йорке без документов) ¹.

¹ В беседе с корреспондентом газеты «Крисчен сайенс монитор» известный американский ученый-экономист Сэмюелсон сказал: «Теперь безработных немногим больше восьми процентов, возможно, их станет десять процентов».

Толпами слоняются они по Манхаттану в поисках работы. Немало их можно увидеть в Бронксе. Многие спят по ночам на теплых надкалориферных решетках у правительственных зданий Вашингтона. Многие из них не ищут ничего. Они еще живы, но уже вне жизни. Их не включают даже в списки безработных. Они смотрят на все безразличным взглядом. На все, в частности и на супермаркеты, набитые всеми какие только можно себе представить товарами, продуктами питания, поражающими иностранцев ни с чем не сравнимым обилием, широтой выбора, качеством и особенно упаковкой. Что несчастным до широты и обилия, если денег нет даже на хлеб.

Но мне не хотелось бы в своих наблюдениях и заключениях быть ни поспешным, ни тенденциозным. Поэтому я не буду писать об увиденном мимоходом. Расскажу о том, с чем не раз сталкивался в США раньше, почти двенадцать лет назад, интереса к чему не потерял и в последнюю поездку. Речь пойдет о задумывающейся над своим положением, над положением своей страны, ее будущим, о размышляющей Америке (профессорах, писателях, журналистах, аспирантах, студентах). С особенным удовольствием представляю слово молодой поросли американцев, ибо полностью разделяю мнение очень популярной в США Маргарет Мид (ученый-антрополог, почетный хранитель Американского музея естественной истории в Нью-Йорке): «Кажется, впервые в истории человечества ныне нельзя найти старцев, которые знали бы то, что знает молодежь». Охотно написал бы о рабочих, но нашему брату в США встретиться с ними труднее, чем с президентом. В нескольких случаях по просьбе моих американских собеседников заменяю их подлинные имена вымышленными. Оговорюсь также, что в каждом случае, когда употребляю слова «Америка» и «американский», я имею в виду США.

Давно когда-то мне встретилось в одном из писем Р. Роллана замечание, что если миру в будущем что-либо и угрожает, так это «американский идеализм» (*l'idéalisme américain*). Слова великого француза поразили меня не меньше, чем характеристика Горьким Соединенных Штатов Америки как «страны подростков». У Горького же я нашел утверждение, что «американский идеализм» «есть не что иное, как навивнейший оптимизм людей, еще не переживших драм и трагедий, в общем именуемых «историей народа». Погрузившись в чтение книг, посвященных Америке и американцам, я был ошеломлен неизменно повторяющимся, начиная с книги «О демократии в Америке» А. де Токвиля, утверждением, что ни в одной стране мира не уделяется внимания философии, универсальному мышлению меньше, чем в США, что американец больше всего думает о собственном деле, что практицизм вообще можно уравнивать с «американским духом», что американец сначала действует, а потом думает, опять-таки в чисто практическом плане. «Этот человек стоит миллион», «ты мне не рассказывай, а покажи» и десятками других подобного рода афоризмов я заполнил не одну страницу в своей записной книжке, посвященной Америке. Тогда же я выписал из переведенной на русский язык книги американского публициста Л. Гурко утверждение, что после Гражданской войны XIX века американцы «стали нацией предприимчивых дельцов, практиков, а не реториков, сторонников близкого, а не дальнего прицела, которые создавали горы достижений рядом с горами напрасно затраченного труда»². И другой афоризм записал я себе: «Америка была интеллектуальной колонией долгое время после того, как перестала быть колонией политически, и была интеллектуальной провинцией после того, как перестала быть интеллектуальной колонией»³. Запомнилось признание Т. Драйзера: «Наши самые характерные черты — это, конечно, молодость, оптимизм и преданность иллюзиям»⁴.

Все это и определило мое отношение к американцам, когда я впервые совершил путешествие за океан в 1964 году. Высоко ценя достижения американской техники, я все же интересовался ею меньше всего. В свободное время, оставшееся от работы (я читал лекции о Толстом, Достоевском, Горьком и современной советской литературе последовательно в университетах Нью-Йорка, Вашингтона и Калифорнии), я беседовал с учеными, студентами, писателями. Хотелось понять, как они относятся к миру, жизни, другим народам, в чем видят свое призвание, на каких основах намерены строить взаимоотношения с другими странами. Беседы были порой совершенно откровенными, отличались обстоятельностью. Мать Роберта Дж. Лагера мечтала о том, как хорошо, не оби-

² Л. Гурко. Кризис американского духа. М. 1958, стр. 32.

³ H. Schneider. A History of American Philosophy. N. Y. 1963, p. VII—VIII.

⁴ Т. Драйзер. Собрание сочинений. т. 12, стр. 20.

жая друг друга, могли бы жить люди разных стран, если бы не было политиков. Студенты втягивались в движение «новых левых». Многие ученые искали спасения в чистой науке. Профессор Роберт К. Белкнап всерьез доказывал мне, что так как от поколения к поколению писатели знают все меньше, во всяком случае Гомер, Шекспир, Сервантес знали куда больше, чем поэты нашего времени, то и курсы литературы надо строить в обратном порядке, скажем Мильтон, Шекспир, Чосер. Без свидетелей американцы, еще помнившие разгул маккартизма (сопровождавшегося «охотой за ведьмами», промыванием мозгов), бывали предельно искренними, осмеливаясь «думать о немислимых вещах». Но в откровенности этой меня подчас до онемения поражала политическая наивность собеседников, их простодушное доверие к слову прожженных демагогов. Иногда хотелось сказать: «Дети!» Но меня опережали наиболее дальновидные из американских ученых.

— Знаете, что страшнее всего? Политическая инфантильность нашего народа, — говорил мне профессор Нью-Йоркского городского университета Роберт Э. Магидоф. — Если завтра Пентагон устроит провокацию, например заявит, что СССР торпедировал наши рыболовные суда, убил сто рыбаков и поэтому Линдон Джонсон вынужден объявить войну, большинство поверит этому. И пойдет воевать... Конгрессмены запугивают простых американцев советской угрозой и заставляют нас мириться с фантастическими военными расходами, с посылкой советников во Вьетнам. Вот мы боимся, что там может вспыхнуть война, а простодушный американец отвечает: «Но ведь убивать будут цветных!»

Я внимательно слушал такие речи, и в моем представлении они не вязались с неподдельным демократизмом, открытостью души, доверчивостью, привлекавшими меня в большинстве американцев.

В большинстве, но не во всех. Никогда не забуду вечер под Филадельфией. На огромной поляне собралось несколько тысяч людей — мужчин и женщин. Перед ними выступал рвавшийся тогда в президенты буйствующий реакционер Барри Голдуотер. Он кричал об угрозе мирового коммунизма, советской экспансии. Опытный и увлекательный оратор-демагог, он говорил о необходимости раз и навсегда покончить «с этим». Слушатели отвечали своему кумиру раскатистым ревом, в котором можно было разобрать слова: «Барри, веди нас!»

Другими словами, встреча с США не развеяла моих сомнений относительно «американского идеализма». Но уже и тогда было нечто обнадеживающее в той области американской действительности, которая интересовала меня больше всего. 24 октября 1964 года докторант Джорджтаунского университета Роберт Дж. Лагер пригласил меня на встречу с молодыми учеными университета. Она состоялась километрах в тридцати от Вашингтона. Много было споров, шуток, смеха. В конце встречи несколько человек один за другим стали спрашивать:

— Понравилась вам Америка?

— О странах и народах не говорят — понравились или не понравились.

— А все-таки?

— Один раз увидеть — ничего не увидеть.

Тогда меня спросили, какого я мнения об американских студентах, докторантах, аспирантах. Настаивали. Я согласился сказать лишь о тех, кто занимается русской культурой, русской, советской литературой.

— Начинают думать, — сказал я. — Догадываются, что к русской культуре нельзя подходить с заранее установленными мерками. Все больше убеждаются, что русская литература всегда занималась коренными вопросами человеческого бытия, что в ней человечность, политика, этика, эстетика неразрывны, что она не только пронизана гуманизмом, но органически не приемлет кощунственного отношения к человеку честного труда, к женщине, ребенку. Американские студенты, аспиранты, докторанты все меньше полагаются на мнение советологов, а сами начинают читать произведения русских, советских писателей и, пусть пока очень робко, пытаются самостоятельно делать выводы и заключения. Кажется, последнее характерно и для некоторых философов, социологов, экономистов.

Так изложено существо моего ответа в старой записной книжке.

А потом наступили годы, когда стали сбываться худшие опасения. Говорю о прово-

кации, устроенной Пентагоном и ЦРУ в Тонкинском заливе с целью развязывания агрессии в Индокитае. Говорю о страницах американской истории, навсегда прожженных словами «Камбоджа», «Лаос», «Вьетнам». В особенности «Вьетнам». Все повернулось, однако, не так, как планировали командные силы США. Беспрецедентная авантюра поставила страну на грань национальной катастрофы. И сразу обнажились все внутренние язвы ее: обострение расовой проблемы, невиданный рост преступности, «бунт трущоб», «кризис городов», таяние природных ресурсов... Американцы переживали, говоря словами Горького, драмы и трагедии, в общем именуемые «историей народа».

Встретившись со мной на международном конгрессе в Европе, видный американский ученый, с которым я подружился, читая лекции в Колумбийском университете, говорил, заикаясь от волнения:

— Сонгми... Хесань... Помните, вы спрашивали: неужели будете воевать во Вьетнаме? Я тогда шутя ответил: «Кажется, собираемся». Шутка обернулась самой длинной войной в истории США. И самой странной из всех войн в истории человечества. Самое катастрофическое предприятие США за последние двести лет. Почти шестьдесят тысяч убитых парней, несмотря на пуленепробиваемые жилеты и другое новейшее оснащение. Почти триста тысяч раненых. И почти три миллиона внутренне надорванных людей. Парни, воевавшие во Вьетнаме, надломлены тем, что не знают, герои они или преступники. Страна расколота на группировки. Престиж ее в мире резко упал. На демонстрациях у нас размахивают теперь перевернутым национальным флагом — сигнал всеобщего бедствия. Статую Свободы именуют «Мисс Напалм». Огромен материальный ущерб: истраченные во Вьетнаме деньги могли пойти на строительство школ, больниц, очистных сооружений, на борьбу с нищетой и ликвидацию безработицы. В одном лишь шестьдесят девятом году прямые расходы на войну во Вьетнаме составили двадцать два миллиарда долларов. А за двенадцать лет мы истратили, по официальным данным, больше ста шестидесяти миллиардов. Нью-Йоркский университет накануне краха. Чтобы выйти из денежных затруднений, одно из его зданий пришлось сдать в аренду. Страна подорвана политически. Вашингтон узурпировал права демократии. Никсон стремится к личному управлению. Общественность презирается. Президент, конгрессмены, губернаторы усматривают угрозу государственному строю в любом несогласии с ними, пытаются каждого из нас заставить надевать правый башмак на левую ногу. Народ же не верит ни президенту, ни газетам, ни телевидению. Все больше людей теряют веру в фундаментальные достоинства нашего государства, считают его кладбищем загубленных надежд. Страна подорвана психологически: миллионы людей читали в газетах, видели по телевидению, как по нашей вине сжигали себя буддистские монахи, как прошедший выучку в США полицейский генерал из Вьетнама стрелял в безоружных женщин и детей, как наши самолеты поливали обезпложивающей горючей смесью тысячи акров земли. А потом... потом они увидели, как и в США стали стрелять в людей наши «свины». Четыре студента из Кентского университета были убиты национальными гвардейцами при разгоне демонстрации четвертого мая семидесятого года. Избиениям подверглись участники антивоенных демонстраций в Чикаго. Наконец, страна подорвана морально, у миллионов людей лопнули в душе внутренние скрепы: почему — не убий, не укради, не соблазни ты, если убивает, крадет, соблазняет правительство и государство? Мне стыдно за мою страну. Знали бы вы, как трудно это выговорить. Старые ценности обесцениваются. Обе наши ведущие партии в разброде. Все острее ощущаешь, что если не удастся трансформировать структуру общества, то...

Я осторожно спросил:

— Возможен крах?

Он улыбнулся смущенно, потом встал и, прощаясь, сказал:

— Я всего только ученый. Да еще филолог. Поэтому на заданный вопрос отвечаю: не знаю!..

Не договорив, он распрощался со мной.

Все-таки не всегда справедлив афоризм «нести пророка в своем отечестве». Мой друг оказался довольно проницательным политиком. И одним из честнейших среди тех, кого я отношу к размышляющей Америке.

И вот мне снова представилась возможность встретиться лицом к лицу с десятками думающих американцев.

События, предшествовавшие нашей поездке в США, не очень обнадеживали. С одной стороны, и советские и американские газеты сообщали, что между СССР и США продолжаются переговоры об ограничительном соглашении о подземных ядерных взрывах, с другой — те же газеты пестрели фактами, указывающими на явное стремление очень влиятельных в США кругов вернуться к диалогу с позиции силы. Об этом свидетельствовало и двусмысленное поведение некоторых государственных деятелей США, и усиление хулиганской истерии сионистов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Служба Харриса и институт Гэллага сообщали, что 62 процента против 12 процентов опрошенных ими американцев высказываются за дальнейшее развитие сотрудничества между СССР и США, но страницы американских газет заливали мутные потоки антисоветских речей и заявлений Голдуотера, Мини, Уоллеса, Джексона, пестревших словами «коммунистическая угроза», «советский заговор против мира». От них не отставали те, чье кредо выразил еще летом 1974 года военный министр Шлезингер, провозгласивший доктрину «устрашения, простирающегося на всю шкалу риска: от политического давления до тотального ядерного нападения». Угодливые газетчики организовали конвейерное сообщение о «русских шпионах», якобы наводнивших все учреждения Вашингтона и Нью-Йорка, вмонтировавших «жучок» подслушивающего устройства в кресло самого председателя сената...

По-своему включились в антисоветский поход, как я уже сказал, сионистские элементы. Они дважды стреляли в окна советских учреждений в Нью-Йорке: первый раз было произведено несколько выстрелов в окна жилого здания сотрудников представительства СССР при ООН в районе Ривердайла, в другой раз стреляли в здание нашего представительства в самом центре Манхэттана, пули попали в квартиру на девятом этаже, где находились люди, среди них мальчик. 3 апреля президент Форд публично выразил свою озабоченность в связи с обстрелом советского представительства при ООН. Это, заявил он, последнее из варварских действий, предпринятых экстремистскими группами, действующими в духе, который полностью противоречит американским традициям. «Народ США испытывает отвращение к терроризму и требует, чтобы ему был положен конец», — сказал президент и добавил: — Удивительно, что те, кто подвергает опасности человеческие жизни и угрожает детям и женщинам, заявляют, что они заботятся о правах человека». Президент направил инструкции министерству юстиции «предпринять совместно с властями Нью-Йорка все возможное, чтобы привлечь к суду лиц, ответственных за эти возмутительные акты».

Окончательно приглашение приехать в США на симпозиум, посвященный вопросам подготовки и издания классиков национальных литератур, делегация Академии наук СССР и я как ее руководитель приняли накануне упомянутого выступления президента Форда. Откровенно говоря, в создавшейся обстановке мы не очень надеялись на успех, но наш отказ приехать в США мог дать лишний повод тем же консервативным кругам в США для демагогических разглагольствований о «неискренности русских», их «несговорчивости».

Мы улетели в Вашингтон рано утром. Ночью в Москве выпал снег. Но уже в двухстах километрах от Москвы можно было заметить, как «грач с земли хворостинку поднимает, солнечное лето обещает». Это предвестие мы и привезли с собой в Вашингтон.

— Вы приехали с добром, — сказала в аэропорту Каролина Дж. Роджерс, представительница Международной организации по научным исследованиям и обмену (Айрэкс). — Сегодня в Вашингтоне первый теплый, солнечный день.

Международный аэропорт расположен довольно далеко от Вашингтона. С городом он связан отличной автострадой, бегущей по живописной, слегка холмистой местности. Прозрачный воздух почти ощутим благодаря расцветающим японским вишням. На газонах в Вашингтоне цветут нежно-оранжевые тюльпаны и красные, как кровь, азалии.

Встреча с работниками советского посольства и торгпредства в аэропорту, прекрасные номера, забронированные Айрэксом в отеле «Вашингтон», расположенном недалеко от Белого дома, дружеский ужин (мы прилетели в Вашингтон во втором часу ночи по московскому времени) настраивали на оптимистический лад. За ужином я выразил желание посетить завтра Джорджтаунский университет.

Изменение временного режима не позволяет лечь в постель. Обложившись словарями, «исследую» сегодняшнюю прессу, заботливо положенную мне на стол: «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Уолл-стрит джорнэл». Что в них? Прежде всего сообщение о первичных выборах в Нью-Йорке. От прогнозирования уклоняются, поскольку завтра будут известны результаты. Много пишется о будущем государственного секретаря Генри Киссинджера. Что его ждет, если Форд не пройдет в президенты? В подтексте явственно звучит вопрос: а не пора ли профессору вернуться к научной работе уже сейчас? Кто-то обличает сенатора Хью Скотта из Пенсильвании за близорукость (сенатор утверждает, что США и СССР равно заинтересованы в подписании нового соглашения об ограничении стратегических вооружений). Другой ставит под сомнение лояльность 350 участников организации «Коалиция за новую внешнюю политику». Оказывается, они выступили против очередного военного бюджета, энергично поддержанного президентом Фордом. Внимательно листаю бесчисленные страницы газет. «Иран увеличивает экспорт нефти», «Общий рынок предлагает единую тару для 180 видов продуктов», «Цены на продукты в этом квартале в США снова немного возрастут». Среди этих сообщений с трудом нахожу слово «бюджет». Борьба идет за то, чтобы любой ценой протащить военный бюджет, «равный 112,7 миллиарда долларов»⁵. Такого бюджета в США не знали ни в годы второй мировой войны, ни во время корейской войны, ни войны во Вьетнаме. И это несмотря на 7 миллионов безработных в стране, непрерывный рост стоимости жизни, на то только что вчера объявленное повышение (от 5 до 12 процентов) платы за обучение в университетах, и без того уже кое-где превышающей 7 тысяч долларов в год. И это вопреки мнению самого народа, сформулированному одним общественным деятелем: «Наши избиратели, с кем бы мы ни говорили, поддерживают идею сокращения вооружений. Они не могут понять, почему расходы на внутренние нужды урезаются, а военный бюджет не перестает расти».

Почему? На этот вопрос, чувствуя его остроту, попыталась ответить ведущая очень сложную политическую игру газета «Вашингтон пост». Попыталась потому, что американцы в массе своей начинают догадываться: все это дело военных и корпораций, интересы которых несовместимы с интересами трудящихся. «Чем дальше Соединенные Штаты пребывают в состоянии мира, тем больше они тратят на войну. Бюджет Пентагона сегодня — в то время, когда Америка не воюет и никто не угрожает ей войной, — значительно больше, чем он был в разгар вьетнамского конфликта. Более того, облегчения не предвидится. Если не произойдет чуда, бюджет будет продолжать расти до бесконечности. В нынешнем году он составил почти 113 миллиардов долларов, к 1980 году составит 150 миллиардов долларов, а к 1985-му — 200 миллиардов долларов или больше. Кто мог бы 15 лет назад предвидеть подобную невероятную ситуацию?.. Весенняя кампания за увеличение оборонного бюджета, конечно, обычное явление. Разница лишь в том, что в нынешнем году она ведется более активно — с целью смягчить шок, вызванный превышением отметки в 100 миллиардов долларов. Помимо обычной пропаганды, в этом году общественность потчуют усиленными нападками на разрядку».

Чтение подобных материалов не могло способствовать подъему настроения. Но оно и не понизило его, напротив — раззадорило. И утром я повторил, что намерен посетить Джорджтаунский университет, встретиться с русистами и славистами, выступить, если удастся, перед студентами. Решение показалось опрометчивым сопровождавшим нашу делегацию американским ученым да и госдепартаменту.

— Не понимаю, — говорила профессор Тонни Глассе одному из членов делегации, — зачем ваш профессор рискует? Джорджтаунский университет в последние годы находится под сильнейшим влиянием воинствующих сионистов. Как бы во время посещения...

В госдепартаменте подобный же намек сделали нашему полномочному дипломату официальные чиновники. Оговорюсь, что о беспокойстве госдепартамента я узнал уже после посещения Джорджтаунского университета и состоявшихся там интересных бесед с учеными.

⁵ В конце концов сговорились на 113 миллиардах долларов.

За последние десять лет число студентов и аспирантов, занимающихся проблемами СССР, возросло в США примерно в два раза. Последующее посещение нашей делегацией других университетов убеждало в повсеместном росте интереса к нашей стране, нашей культуре, нашему образу жизни.

2

Ответственный руководитель отделения русского языка и литературы в Джорджтаунском университете профессор Роберт Дж. Лагер — мой старый знакомый. Двенадцать лет назад он, тогда докторант университета, и профессор Бернард С. Чосид сопровождали меня в поездке по США. Вот таким же теплым, только осенним, днем они привезли меня на лекцию в расположенный недалеко от Джорджтаунского университета, тоже рядом с рекой Потомак, Американский университет. Лекция, говорили они мне, состоится в том самом зале, в котором покойный Джон Ф. Кеннеди произнес свою знаменитую речь о необходимости американцам во имя «новых рубежей» пересмотреть некоторые устаревшие представления о мире, человечестве, взаимоотношениях народов. Я начал свою лекцию словами: «Думаю, что совет вашего великого президента столь же актуален и в отношении русской культуры, и особенно советской литературы». Слушатели встретили эти слова гулом одобрения. Приветствовал их и Роберт Дж. Лагер.

Теперь он стал профессором. Послушаем же его самого, тем более что он свободно говорит по-русски.

— Моя специальность, — рассказывает он, — «серебряный век» русской литературы и советская литература. У нас на отделении русского языка и литературы сто двенадцать студентов и сорок два аспиранта. Студенты занимаются русским языком десять часов в неделю, не считая обязательных шестичасовых занятий еженедельно в лингвистическом кабинете. Древнерусскую литературу, восемнадцатый век и век девятнадцатый у нас преподают ваши, господин профессор, старые знакомые — профессор Григорьев, Левицкий и Голодзювская-Брюгер. «Жанр и направления в русской литературе восемнадцатого — начала девятнадцатого века», «Исследования литературной деятельности Пушкина в ее историческом развитии», «Толстой», «Достоевский», «Русская драматургия», «Русская критика», «Основные направления в литературной теории» — названия курсов и семинаров профессора Григорьева. «Гоголь», «Тургенев», «Гончаров» — их мы отдали профессору Левицкому. Я принимаю эстафету начиная с Чехова. Чехов — моя первая любовь. Из советских писателей в круг обязательного чтения и изучения входят Горький, Фадеев, Федин, Леонов, Твардовский, Паустовский, Шукшин. Большинство аспирантов готовят диссертации по литературе. Почти не пишутся работы по древнерусской литературе и восемнадцатому веку. Самый читаемый из писателей девятнадцатого века — Пушкин. И — Горький. По какой-то странной причине наибольшей популярностью пользуется его рассказ «Двадцать шесть и одна». И, конечно, его пьесы. Студенты охотно читают Шолохова. Леонов? У нас читаются и изучаются его «Барсуки», «Русский лес», «Дорога на океан». Из военных произведений — «Взятие Великошумска». И очень популярен Шукшин. Его кинофильмы и его проза. Мой курс так и называется — «От Горького до Шукшина». Любят ли Маяковского? Не сказал бы. Молодых он как-то не увлекает... может быть, потому, что говорит все время во весь голос...

Чтобы рассказ профессора Роберта Дж. Лагера не остался односторонним, добавлю, что на отделении русского языка и литературы ведется двадцать семинаров, спецкурсов и коллоквиумов по русской литературе. Один из них называется «Серебряный век». Профессор Левицкий обещает чтение по литературе 1890—1917 годов, занимается же преимущественно Владимиром Солжыцевым, точнее тем, что в официальном университетском документе названо «религиозным ренессансом».

3

В Библиотеке конгресса, расположенной на Капитолийском холме, имеется специальный кабинет поэзии. На пост его руководителя систематически назначают заслуженного поэта. Нас встретил Стенли Кьюниц. Он удивительно похож на Павла Анто-

кольского, но выше ростом и шире в плечах. Кьюниц — лирик. Его перу принадлежит несколько оригинальных книг и много переводов. Года два назад в его переводах издан изящно оформленный том стихотворений Анны Ахматовой.

— Такого интереса к поэзии, какой всегда существовал и существует в России, — сказал нам поэт, — у нас не было и нет, но она популярна. За пределами же нашей страны, я считаю, американская поэзия сейчас очень влиятельна. В самих Соединенных Штатах ныне особенно увлекаются доколумбовской поэзией. Ответить на ваш вопрос, какой из американских классических поэтов у нас наиболее популярен, трудно. По моим наблюдениям, все-таки самый популярный поэт — Уолт Уитмен.

Я попросил Стенли Кьюница определить главную особенность современной американской поэзии сравнительно, скажем, с тем, что отличало ее десять лет назад, когда некоторые поэты декларировали нежелание иметь дело с жизнью, политикой, даже с человеком.

— Начавшееся в семидесятых годах движение от герметизма к максимальной коммуникабельности, от общественного индифферентизма к политизации поэзии сегодня привело к тому, что американский поэт, — ответил Стенли Кьюниц, — выступает как критик современного общества. Он не государством назначен на этот пост. Он сам себя назначил. Он занимает его по долгу совести и как олицетворение совести народа. Ныне даже в своей лирике поэты остаются критиками, считая, что нынешний мир — это универсальное нечто. Меня, например, как раз за это и ругали газеты: в любовной лирике доминирует критика и политика.

Он сказал также, что сейчас в США много пишут о Маяковском, охотно переводят его.

В этом четырехэтажном доме из красного кирпича, расположенном на углу одной из тихих улиц Вашингтона, я уже был в прошлый свой приезд. Долго стоял у входа с едва различимой надписью «Галерея Филипса». Виделся с владельцами коллекции — сухощавым седым американцем Дунканом Филипсом и его женой, художницей Марджори. Дом тогда удивил меня уютом и доверием к посетителям. Вхожу через низкий сводчатый портал в галерею. Вот «Кающийся Петр» Эль Греко: в угловатом, характерном для манеры художника лице святого неподдельная скорбь. Рядом «Кающийся Петр» Ван Гога: а этот кающийся наводит на мысль не столько о скорби, сколько о лукавстве. Неподалеку висит превосходная картина Ренуара «Завтрак после катанья на лодках».

Возможно, совершенство картин особенно остро чувствуется потому, что рассматриваешь их почти в домашних условиях, сев на диван с выцветшей обивкой или прямо на пол, застеленный старыми коврами. Можно при этом и закурить.

Из других произведений, виденных в прошлый раз, запомнилась картина О. Домье «Восстание». Во главе восставших женщина. Вся сцена в красных отсветах пламени. Произведение проникнуто неподдельной экспрессией, внутренним динамизмом. Герои полны патетической самоотверженности. И чувствуешь, что художник восхищен этим подлинным героизмом. Мне приходилось читать, что это самая значительная из всех работ Домье. Не знаю, так ли это, но сам я ничего лучшего у Домье не видел.

Тогда, в прошлый раз, основатель галереи утверждал, что он отдает предпочтение картинам художников-бунтарей, которых долгое время не признавали. В его коллекции, кроме Домье, есть Курбе, Делакруа, Сезанн, Боннар (ему отведены почти две комнаты). Пикассо... Но из всех шедевров, размещенных в остальных комнатах, как со старыми знакомыми я встречаюсь только с картиной «Вход в городской сад в Арле» Ван Гога и горячо любимым владельцами галереи «Филодендроном» Жоржа Брака. Сам Дункан Филипс (унаследовавший богатое сталеплавильное предприятие) рассматривает все эти и не названные здесь произведения как подступ к совершенно новой главе в искусстве. Недаром на входной доске под словами «Галерея Филипса» значится: «Собрание произведений новейших художников и их предшественников». Дункан Филипс энергично и сразу же поддержал ныне широко известных в США художников Артура Дова, Джона Марина, Карла Натса. Преподнося в прошлый раз мне оттирок статьи о галерее, ее автор отчеркнул абзац: «Многие американцы убеждены, что новая глава в истории искусства пишется сейчас в Америке, они только не могут договориться между собой, кем она пишется». Вспоминая эти слова, я сижу

на диване перед картинами «Абстрактное толкование мельницы» А. Дова, потом перехожу к «Коннектикутским часам» К. Натса. Посетители, видимо, предпочитают все же картины Эль Греко, Ван Гога, Домье, Курбе...

Мы летим из Вашингтона в Индианаполис. Здесь нас встречают руководитель симпозиума профессор Дэви Дж. Нордлоу и профессор-наблюдатель Уильям Эджертон. Через несколько минут мы уже на пути в город Блумингтон, где находится Индианский университет.

Симпозиум работал, как сказали бы у нас, по уплотненному графику. За три дня было проведено шесть сессий с двумя докладами (одним советским и одним американским) и примерно десятью выступлениями на каждой. В перерывах между сессиями следовали встречи с учеными, аспирантами, студентами Индианского университета. Вместе с ними обедали. Поздно вечером уезжали ночевать в мотель, расположенный километрах в десяти от города. Несмотря на предельную усталость, вечером хотелось посмотреть хоть одну из тринадцати телепередач, полистать газеты, журналы, заглянуть в справочники, разглядеть вблизи сам мотель.

Последний вечер я и член нашей делегации Л. А. Спиридонова провели среди студентов, поужинали с ними в их столовой, а потом пили чай в общежитии. Тронуло неподдельное радушие, с каким встретили нас студенты, полная откровенность в беседе, глубокий интерес, проявляемый к Советской стране и ее культуре. Когда во время беседы в гостиную, где мы сидели за самоваром, вошла девушка лет двадцати, в простенькой блузке и голубых выгоревших джинсах, нам с восхищением сообщили:

— Через месяц едет учиться в Москву, в Институт Пушкина.

4

Руководивший подготовкой симпозиума молодой американский профессор Дэвид Джозеф Нордлоу (он же главный редактор издательства У. Д. Хоулса, он же один из президентов Центра по изданию американских авторов — СЕАА) вступил со мной в переписку примерно за год до того, как состояться встрече. Ее тема была сформулирована так: «Теоретические и практические проблемы подготовки к печати произведений национальной литературы». К участию в симпозиуме профессор Нордлоу привлек крупнейших из американских ученых и издателей во главе с академиком Фредсоном Тейером Бауэрсом. На обсуждение ставились проблемы современного эдизионно-текстологического дела. В качестве конкретного материала американские ученые взяли творчество выдающихся классиков американской литературы Натаниела Готорна, Марка Твена, Стивена Крейна, Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса С. Фицджеральда. Наша делегация в своих теоретических положениях опиралась на издания в СССР произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Льва Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Шолохова, Леонова.

В день открытия симпозиума американские ученые встретили нас в вестибюле библиотеки Лили и повели показывать выставку русских книг. С радостью смотрели мы на прижизненные издания «Евгения Онегина» Пушкина, стихотворений Лермонтова, рассказов, повестей и романов Тургенева, Толстого, Достоевского, Горького. Вздвонно-уважительным было и обращение профессора Дэвида Дж. Нордлоу. Он сказал, что рад приветствовать в США первую делегацию советских ученых-филологов, что мы выступаем как разведчики на путях научного взаимообогащения друг друга в области, как он думает, таящей почти безграничные возможности для культурного общения между нашими народами. Отвечая ему, я напомнил, что литературные связи между нашими народами уходят в далекие времена, когда прогрессивные силы России искренне поддерживали борьбу за независимость складывающейся за океаном новой нации, к тем временам, когда Старый Свет услышал звон мужественной лиры Филипа Френо. С тех пор интерес в России к художественному творчеству писателей США никогда не иссякал. Наш великий Пушкин, продолжал я, создавая новую литературу в России, успевал замечать все характерное повсюду на земле. Обратил он внимание и на побег художественной литературы за океаном, литературы, которая, по определению позднейшего исследователя, неистово разрушала старое, недвижимое

и смело, дерзновенно открывала новые миры Белинский, подвинувший всю русскую литературу на путь реализма, зачитывался романами Фенимора Купера и так же, как Пушкин, оставил драгоценные строки об американских литераторах. Знаменитый «Рип Ван Винкль» Вашингтона Ирвинга был переведен вскоре после появления в США, как и «Дом о семи шпилях» и «Мраморный фавн» Натаниела Готорна, «писателя великого таланта», как сказал о нем Чернышевский. Роман «Гость из Альтрурии» Уильяма Дина Хоуэлса наш читатель получил в русском переводе через год после его первой публикации в США. Имя Марка Твена стало известно в 1867 году, когда был напечатан его рассказ в одесской газете, а «Знаменитую скачущую лягушку из Калавераса» напечатали в Петербурге в 1872 году. На русском языке издано уже семь многотомных собраний сочинений Марка Твена. В том, что я сейчас говорю, продолжал я, нет ничего особенного. Интерес к литературе — это всегда интерес и к народу, ее порождающему. В данном случае он в особенности понятен. Еще У. Уитмен в «Письме к русскому» (1881) говорил о схожести наших народов, как он выразился, «в некоторых чертах, в самом главном». Он писал: «Не сокрушенное веками сознание, что у наших народов у каждого есть своя историческая, священная миссия, свойственно вам и нам. Пылкая склонность к героической дружбе, вошедшая в народные нравы, нигде не проявляется с такой силой, как у вас и у нас. Огромные просторы земли, широко раздвинутые границы, бесформенность и хаотичность многих явлений жизни, все еще не осуществленных до конца и представляющих собою, по общему убеждению, залог какого-то неизмеримо более великого будущего,— вот черты, сближающие нас». Лучшие представители наших народов всегда стремились всеми силами способствовать нашему сближению на основе познания и понимания друг друга. Мы, например, с радостью вспоминаем слова Твена о беспримерном подвижничестве русских революционеров. Он же, встретившись с буревестником социалистической революции Горьким, сказал: «Мы стали кое-что понимать...» Мы никогда не забывали этих слов, так же как не забываем бессмертного афоризма: «Мир, счастье, братство людей — вот что нужно нам на этом свете!» И поэтому можем напомнить, что обличение империализма и милитаризма не помешало Горькому по достоинству оценить просторы вашей страны, ее прошлое и настоящее, «ее науку и ученых, ее великолепную технику, Эдисона и Лютера Бербанка, Эдгара По, Уота Уитмена, Вашингтона и Линкольна, Т. Драйзера и Е. О'Нейля, Шервуда Андерсона, всех талантливых художников и прекрасного романтика Брет-Гарта, духовного отца Д. Лондона... Торо, Эмерсона...»⁶. Находясь здесь, в США, Горький сказал вещие слова: «Я вижу в будущем на берегах Берингова пролива две статуи, подобные статуе Свободы в Нью-Йорке. Они простирают свои руки через пролив; они объединяют две наиболее демократические семьи мира в одну великую семью».

После обмена приветствиями участники симпозиума заслушали основной доклад о принципах подготовки и издания классиков в СССР. Американская делегация выразила восхищение тем колоссальным размахом, с каким у нас издаются произведения классиков, и подлинным новаторством многих текстологических решений, найденных советскими учеными при подготовке научно выверенных текстов. В особенности же американских делегатов поразили тиражи советских изданий, никого в нашей стране не удивляющие.

Затем слово было предоставлено профессору Дону Льюису Куку, прочитавшему доклад «Подготовка к печати и изданию произведений американских классиков в прошлом и настоящем».

— Все мы,— начал американский профессор,— находимся под неотразимым впечатлением цифр, только что оглашенных советской делегацией, и той картины эдиционно-текстологического производства в СССР, ее размаха, которую вы нарисовали перед нами. Мы испытываем зависть. У нас первые шесть томов второго издания Марка Твена вышли общим тиражом 39 238 экземпляров, а Марк Твен — популярный писатель. Первые восемь томов Крейна — 18 тысяч; первые четыре тома дневников Эмерсона — 9 931; одиннадцать томов Готорна — 35 718; одиннадцать томов Хоуэлса — 19 202; три тома Ирвинга — 9 тысяч. Поистине вы и мы издаем классиков в несопоставимых масштабах! Научная подготовка текстов классиков у нас ведется учеными-энтузиастами на собственный страх и риск. Я только что сказал, что СЕАА подготовлено семьдесят

⁶ М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 15, стр. 5.

книг, на самом деле Центр подготовил в два раза больше, но половина их не находит издателей. Здесь присутствует профессор Мэтью Бруколли, он мог бы поведать вам горестную эпопею поисков средств на издание классиков. Научно выверенные тексты годами ждут своих «благодетелей» — издателей. Мы стремимся выйти к народу с научными изданиями и натакиваемся на непреодолимые препятствия. Издателям невыгодно уже опубликованные дефектные тексты заменять научно проверенными. В основном издаваемые нами научные тексты классиков покупают университетские библиотеки. Почему они не доходят до народа? Среди прочего это объясняется еще и тем, что деньги у вас и у нас люди расходуют по-разному. У нас стремятся больше тратить на квартиру, одежду, еду, а на книги тратятся в последнюю очередь. Но это не единственная и, может быть, не самая главная причина. Мы, однако, не опускаем рук. Наш энтузиазм поддерживает то, что редакторы начинают прислушиваться к нам, за подготовку текстов все реже берутся люди, не отличающие автограф от копии.

Свой насыщенный фактами и горестными эмоциями доклад профессор Дон А. Кук закончил словами:

— Чувствую, что нарисовал пессимистическую картину. Чтобы сделать ее хоть немного оптимистичнее, я на этом кончу.

К вопросу о тиражах не раз возвращались как советские, так и американские ученые и на последующих сессиях. Когда член нашей делегации Л. Д. Громова-Опульская сообщила, что полное собрание сочинений Л. Н. Толстого в 90 томах издавалось по инициативе В. И. Ленина и что сегодня общий тираж произведений «великого писателя земли русской» у нас приближается к 200 миллионам экземпляров, американские ученые приподнялись со стульев, а профессор Мэтью Дж. Бруколли сказал:

— Издание чего-либо или кого-либо в девяноста томах в США немислимо, за исключением разве что протоколов конгресса.

Выступая в прениях по докладам, профессор Бруколли еще раз подчеркнул:

— Меня радует, что в вашей стране народу предоставляются хорошие, добротные тексты и издания, что вы работаете для народа. Этого нельзя, к сожалению, сказать о нас, о наших изданиях, в лучшем случае попадающих в университетские библиотеки. Ознакомившись с материалами, предоставленными в наше распоряжение советской делегацией, я теперь знаю, кому на Руси жить хорошо: классикам и их текстологам.

А профессор Нордлоу одно из своих выступлений начал словами:

— К сожалению, у нас нет таких государственных деятелей, как Ленин, проявивший заботу об издании классиков, выступивший инициатором издания полного собрания сочинений Льва Толстого в девяноста томах...

Члены американской делегации сделали на симпозиуме очень квалифицированные доклады, посвященные важнейшим вопросам современной текстологической науки. Оживленно обсуждались доклады «Обоснование основного текста» Ф. Бауэрса, «Особые проблемы подготовки и издания незаконченных рукописей» М. Дж. Бруколли, «Авторская воля: функция, определение и подробности» Дж. Нордлоу (профессор остроумно определил свой вклад как плач и как песнь о совершенстве авторского текста) и «Физическая библиография» профессора Джорджа Томаса Тенселла. Порой вспыхивали острейшие споры, как, например, между профессорами С. А. Макашиным и Дж. Т. Тенселлом, однако еще больше сближавшие участников симпозиума. Подводя итоги одной из самых бурных дискуссий, академик Бауэрс сказал:

— Мне кажется, что сегодня мы достигли апогея в нашей работе, доказав возможность совместного обсуждения советскими и американскими филологами самых сложных вопросов, возможность достижения между нами научного взаимопонимания.

5

Так случалось, что в свободное время чаще, чем с другими участниками симпозиума, я беседовал с академиком Бауэрсом. Подтянутый, румяный, он, несмотря на свои семьдесят, очень бодр, умеет ценить шутку, сам охотно шутит, особенно когда речь идет об очень сложных научных проблемах. Внешне он напоминает respectable, но с «чудинкой» англичан из романов Диккенса. Говорит с оксфордским акцентом. Хорошо смеется, когда его хвалят, обнажая два ряда крупных белых зубов.

За пятьдесят лет неутомимой научной деятельности ученый написал два десятка книг, подготовил тексты произведений многих американских и английских писателей. Он избран членом Американской, Британской и Итальянской академий наук. Утвердившаяся в Англии и США концепция выбора основного источника при выработке стабильного текста носит название теории Грэга — Бауэrsa. Сейчас ученый занят подготовкой и изданием сочинений Уильяма Джеймса. Удивленный его «изменной» художественной литературе, я спросил:

— Откуда эта любовь к Джеймсу? Вы исповедуете его философию?

— Нет, нет,— замахал он руками.— Но его считает великим философом мой друг профессор Фредерик Буркхард. Он и уговорил меня...

— А в чем американцы, разделяющие взгляды Уильяма Джеймса, видят его главную заслугу?

— В том, я думаю, что он нанес сильный удар по монизму. Ныне Уильям Джеймс с его философией чисто утилитарного отношения к миру и человеку почти не интересуется американцев. Но вызывают любопытство его попытки преломить философию через психологию, а последнюю через религию. Кое-кому кажется, что тут есть что-то, сближающее нас с Джеймсом. Вы, конечно, знаете, что долгое время прагматизм являлся как бы философским обоснованием культа практического дела, лежащего якобы в основе чисто американского мировоззрения. Сам термин произошел от слова «прагма» — дело, действие. Не всякое, конечно, дело, а такое, что способно принести успех. Не далее как вчера в одной из чикагских газет я увидел юмореску одного популярного писателя. Философ прочел лекцию о Вселенной. Спрашивает, есть ли вопросы. «Есть!» — «Пожалуйста». — «Почему вы не говорите о чем-либо другом?» Это совершенно в духе философии прагматизма. Посылая к черту гегелевский Абсолют, Джеймс подарил каждому американцу по «истине» и по «справедливости», провозгласив: «Истинное — просто лишь удобное в образе мышления, как справедливое — удобное в образе поведения»⁷. Но, как мне кажется, сегодня американец, даже «средний» американец, все чаще начинает задумываться над вопросами «вселенского» значения, например о будущем нашей страны, о ее судьбе в до предела запутанном мире...

Четыре часа спустя, когда мы отправились обедать в небольшой городок Нэшвилл, академик Бауэрс вернулся к прерванной беседе об Уильяме Джеймсе:

— В свое время философия прагматизма пользовалась успехом, с именами Пирса, Джеймса, Дьюи, Ройса связывали «золотой век в развитии американской философии». Новые философы не любят заглядывать в прошлое. Лишь с недавних пор они стали вспоминать о своих предшественниках. Может быть, общим повышением интереса к нашему прошлому объясняется то, что сегодня Уильям Джеймс все же пользуется большей популярностью, чем Чарлз Сандерс Пирс. Я уж не говорю о Сантьяне. Этого, кажется, забыли совсем, несмотря на блестящий стиль его работ. Так же, впрочем, как апологета всеразрешающей целенаправленности Джосая Ройса. Алфред Норт Уайтхед? Он не американец. Он приехал к нам из Англии и стал противником Джеймса, возвратив расколотому Джеймсом миру цельность. Джон Дьюи? Его сейчас издают в университете Южного Иллинойса. Что может быть созвучным в сочинениях названных философов современным американцам? Не думаю, чтобы онтологические положения. Скорее всего отдельные заявления вроде того, что этим миром управляет не евангелие Христа, а евангелие жадности. У того же Дьюи можно найти словно сегодня написанные строчки: «Над нами нависло ощущение неразрешенных проблем. Это проблемы преступности, закона капитала, труда, безработицы, безопасности, семейной жизни, войны и мира, международных отношений — и все эти вопросы поставлены в таком объеме, какого еще не видела всемирная история...» Вон сколько проблем, и все они сегодня действительно злободневны...

— А все-таки почему вы занялись подготовкой текстов Джеймса?

— Потому что наняли.— Он засмеялся, лукаво поглядывая на меня, и, видимо, желая сделать мне приятное, сообщил: — У нас есть материалы о связях Джеймса с Горьким. Мы знаем, что они переписывались. Впрочем, нельзя сказать, что Джеймс

⁷ Ср.: У. Д ж е й м с. Прагматизм. СПб, 1909, стр. 136.

сегодня живая сила. Американцев сильно заинтересовали попытки некоторых, особенно английских, философов... как бы это сказать?.. уравнивать, что ли, математическую логику размышлений о мире с самой структурой этого мира. Я говорю о логическом атомизме Витгенштейна и Рассела и лингвистической метафизике Стросона. Думаю, что повышенный интерес к их работам объясняется тем, что в них математики больше, чем философии. Лингвистическое направление в нашей философии представляют Чарлз Стивенсон, Макс Блэк, Мортон Уайт, считающие вслед за Куртом Дюкасом, что в основе своей главные теоретические вопросы сводятся к лингвистике и могут быть разрешены посредством правильного семантического анализа. Лично я согласен с профессором Кларенсом Льюисом: такие положения всего лишь терминологические трюизмы. Кажется, окончательно потерял привлекательность экзистенциализм. Звезда его талантливый пропагандиста и, кажется, вашего знакомого по Нью-Йоркскому университету профессора Уильяма Баррета закатывается. Быстро падают акции и его неутомимого оппонента Жака Маритэна. настаивающего на извечном несовершенстве человека — следствии «первородного греха». Что касается персонализма, то интерес к нему сохраняется лишь постольку, поскольку философы этого направления справедливо настаивают на том, что наш век чреват страшными конфликтами, угрожающими всем высшим человеческим ценностям. Они защищают мысль о том, что, несмотря на тотальную расколотовость мира, каждый человек должен быть цельной личностью. Лидеры других философских течений находят себе немногочисленных адептов благодаря тому, что, идя по стопам профессора Уилмона Шелдона, исповедуют плюрализм иногда вопреки собственным онтологическим и гносеологическим принципам. Но всем им, так же как нашей философии в целом, недостает всеобъемлющего синтеза, что было, скажем, у Ралфа Эмерсона. Может быть, исключение — профессор Кларенс Льюис, изучающий проблему социальной памяти и ее роли в развитии человечества. Он же неутомимый защитник свободы мысли и действия. Кажется, усиливается интерес к чисто материалистическим построениям Роя Вуда Селларса, к творческому марксизму Дьердя Лукача, ныне у нас популярного.

— У вас его марксизм считают творческим? — спросил я.

— Скажем точнее: не ортодоксальным...— И, как бы почувствовав, что лед тонкий, он быстро вернулся к начальной теме разговора: — Сколько-нибудь живой интерес у американцев вызывают психологические сочинения Джеймса, как я уже говорил, его попытки соотнести психологию с философией, философию с религией. В стране наблюдается взрыв религиозных эмоций. Джеймс, как вы знаете, много занимался вопросами религии, написал книгу «Многообразии религиозного опыта», всюду обнаруживая «присутствие бога»; в последние годы своей жизни увлеклся парапсихологией, упорно искал каналы, связывающие этот мир с потусторонним, сопрягающие сознательное «я» человека с «я» бесконечным...— И, посмотрев на меня с улыбкой в глазах, закончил: — Он не очень преуспел в этом, но продлил жизнь хоть части своих произведений...

Шесть американских ученых, принимавших непосредственное участие в симпозиуме, известны в США не только как видные текстологи, но и как авторы фундаментальных литературоведческих работ, редакторы, издатели. Академик Фредсон Тейер Бауэрс готовил тексты для всемирно известных изданий Шекспира, он выпустил полное собрание сочинений Марло в двух томах, «Историю Тома Джонса» Г. Филдинга. В обширнейшем списке его работ подготовка собрания сочинений Готорна в одиннадцати томах (в частности, он подготовил тексты «Алой буквы», «Дома о семи шпильях», «Романа о Блайтдейле», «Книги чудес»), собрания сочинений Крейна в десяти томах. Профессор Дон Л. Кук почти в два раза моложе академика Бауэрса. Но и он немало успел сделать и как текстолог, и как редактор, и как издатель. В его активе участие в подготовке и издании десяти томов У. Д. Хоуэлса, одного романа Г. Мелвилла, двух книг Г. Торо, записных книжек Марка Твена. Профессор Мэтью Дж. Брукколи подготовил и издал почти все произведения Ф. С. Фицджеральда (он же редактор «Хемингуэвских чтений»), повести Крейна, большую часть произведений Джона О'Хары. Профессор Джордж Т. Тенселл почти поровну поделил свои симпатии между Г. Мелвиллом и Э. По. Профессор Фредерик Андерсон однолюб: все силы

отдает подготовке и изданию произведений Марка Твена. Любимый писатель профессора Дэвида Дж. Нордлоу У. Д. Хоуэлс. Эти же ученые готовили к печати произведения У. Уитмена, Г. Лонгфелло, Д. Лондона, С. Льюиса, Э. Синклера и многих других.

Вполне естественно, что, встречаясь после сессий за гостеприимным столом, мы говорили о том, какие писатели и почему пользуются сегодня успехом в США и СССР. Речь шла и о Фолкнере, и о Хемингуэе, и о писателях-романтиках. Академик Бауэрс говорит:

— Из наших классиков наиболее популярны у американских читателей Готорн, Твен и Крейн. Самое популярное произведение Крейна — «Алый знак доблести»...

Его перебивает профессор Кук:

— А разве не «Мэгги»?

В спор включается профессор Бруколли. Популярность Крейна сегодня объясняется поразительной актуальностью того, о чем он писал. Писал же он о жизни трущоб, и до сих пор вопиющих к небу, о трагедии войны, о безрадостной жизни простого человека, женщины, ребенка в Бруклине. Немного поспорив, ученые приходят к согласию:

— Да, все-таки самое популярное его произведение — роман «Алый знак доблести», написанный в тысяча восемьсот девяносто пятом году. С тысяча девятьсот шестьдесят шестого года он стал приобретать все возрастающую злободневность. В истории солдата Генри Флеминга увидели собственную судьбу многие американские парни — и те, что отправились за славой во Вьетнам, и те, что попытались уклониться от призыва, эмигрируя в Канаду. Потрясает «марш к смерти» Джима Конклина: он еще идет, но уже увидел свой последний предел, устремив взгляд в неведомое. А самое поразительное то, что подобные сцены имели десятки реальных аналогов во вьетнамской хронике, показывавшейся по телевидению. Многие американцы, соглашаясь с Генри Флемингом, повторяли его слова о том, что самому «ему никогда не хотелось воевать». И твердили последние слова романа: «Он выздоровел от алого недуга войны... Теперь он вернулся с неистребимой жаждой видеть тихое небо, свежие луга, прохладные родники — все то, что исполнено кроткого вечного мира». «Алый знак доблести» пользуется таким успехом, что по нему снят фильм... Не очень хороший, но генералы требовали его запрещения...

6

Машина медленно сматывает полотно шоссе, идущего по самому гребню холма. На склонах его лет сорок назад разбили парк Брауна. Вот-вот на деревьях начнут лопаться почки. Любуясь растилающимися внизу далями, продолжаем разговор. Речь идет о Готорне. Он один из немногих писателей, чьи книги при жизни автора читались нарасхват. И впоследствии интерес к нему не иссяк.

— Его «Роман о Блайтдейле», о фурьеристской общине, — говорит самый молодой из сидящих в машине профессоров, — заставляет современных читателей желать самим испробовать подобный эксперимент.

Развивая скрытый в этом монологе подтекст, его коллега говорит, что другой роман Готорна, «Алая буква», подкупает современных читателей образом центральной героини, бросающей вызов своему кажущемуся таким устоявшимся и прочным миру и мечтающей о новых, гуманных отношениях между людьми. Гестер Прин на эшафоте — это почти символ...

Его перебивает Джордж Тенселл. Он сомневается в правильности такого вывода.

— Современный читатель настолько приучен к символам, аллегориям, что легко дописывает образы за счет собственного воображения, хотя Готорн любил иносказания и аллегии. Так, образ старого дома из романа «Дом о семи шпильях» задумывался многопланово и, видимо, сегодня кое-кем воспринимается как символ, как олицетворение тех превратностей, которым подвергалась и подвергается наша жизнь в стенах дома, именуемого Соединенными Штатами...

Профессор Фредерик Андерсон не принимает участия в наших разговорах. Ему сегодня после обеда предстоит выступить с докладом, посвященным изданию произведений Марка Твена, но печатавшихся при жизни автора. Вето налагала жена писателя. Но и сам Твен кое-что завещал напечатать только много лет спустя после своей смерти.

Профессор Андерсон издал шесть книг под серийным названием «Бумаги Марка Твена».

— Издать надо все;— вдруг говорит он, ни к кому из нас не обращаясь персонально,— и тем развеять легенды, будто от читателя скрывают, с одной стороны, «богохульствующие» произведения, с другой— самые радикальные произведения великого писателя. Это только легенды. Я читал все бумаги Марка Твена и не нашел ничего, что нельзя было бы издать. Но возникает вопрос: принесет ли публикация всего сохранившегося в архиве писателя самому ему славу?

— А как с произведениями, которые, по словам Марка Твена, можно будет опубликовать лет через пятьсот?— спросил я.

— Думаю, что таких текстов не было. Марк Твен был несколько преувеличенного мнения о своем радикализме. Так полагаю я.

И больше не проронил ни слова до самого Блумингтона.

Самый экспансивный из всех ученых, принимавших участие в симпозиуме, на мой недоуменный вопрос, чем могут привлечь американца, не мыслящего жизни без машины, философия, сочинения уолденского мечтателя Генри Дэвида Торо, возмущенно ответил:

— Американца не мыслящего!.. Но ведь есть и мыслящие... И по-всякому мыслящие. Однюкую песенку, которую начал Торо, сегодня подхватывают уже не единицы. Наша страна вступает в сложнейшие отношения с техникой. Все больше людей начинают смотреть на технику как на вампира, грозящего уже в двадцать первом веке выпотрошить начисто, высосать все соки Земли— нефть, газ, воду, а из атмосферы кислород, пожрать сады, леса, травы, засыпать землю пеплом и мусором, отравить ее радиоактивными осадками, втиснуть в удушающую тепловую подушку. Наши ученые сегодня все чаще выходят к телекамерам и даже на площади, чтобы протестовать против ядерных испытаний, как это делает Лайнус Полинг, предупредить об опасности, угрожающей человечеству в связи с нарушением экологического равновесия. (Что неумолимо делает профессор Барри Коммонер из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.) Книга Поля Эрлиха «Демографическая бомба» произвела впечатление бомбы, разорвавшейся в нашем доме. Вы, конечно, читали книгу «Пределы роста», созданную под руководством профессоров Медоузов? К двухтысячному году население Земли удвоится. А чем его кормить? Как согреть, если нефти в США осталось всего на двадцать—тридцать лет, газа— на тридцать пять? Мы вдруг ощутили, что Земля исчерпаема. Затем последовали новые потрясения; думаю, в последнее десятилетие вышло не меньше пятисот книг с такими примерно названиями: «Наука и вопросы выживания», «Как остаться среди выживших», «Можем ли мы выжить в будущем?», «Смерть океанов», «Эта грязная земля», «Моя земля умирает», «Замыкающийся круг», «Конец эры благосостояния»... Стремясь спасти себя и Землю от грозящей опасности, мы стали менять автомобили на велосипеды и даже на конные экипажи, переселяться из городов в окрестности. Некоторые же (их не очень много, но становится больше) пытаются повторить опыт фуруьеристской коммуны Брук Фарм и опыт жизни Торо вдали от цивилизации. Думаю, с этим и связано возрождение интереса к таким книгам, как «Роман о Блайтдейле» Готорна, «Уолден, или Жизнь в лесу» Торо, «Человек из Альтрурии» Хоуэлса. Некоторые высказывания актера Марлона Брандо звучат так, словно он взял их напрокат у Эмерсона или Торо. Думаю, что современным читателям Торо близок также и некоторыми своими афоризмами.

— Какими?

— Ну, например: «Мы израсходовали всю унаследованную нами свободу». Или: «Восходит лишь та заря, к которой мы пробудились сами. Настоящий день еще впереди».

Есть в американской литературе такие звезды, что загорелись давно, а свет их американцы увидели лишь в этом веке. К ним относится и Герман Мелвилл, чей первый роман «Тайпи» был написан в тысяча восемьсот сорок шестом году. Автора считали чудачком, влюбленным в «каннибалов» (он с симпатией рассказывал о естественной жизни полинезийцев), постоянно упрекали в неумении сюжетно строить произведения, безудержном фантазировании, злоупотреблении символами и аллегориями. Непонятно было самое главное— острейший интерес писателя «к тайне и иронии жизни» (Драйзер); жизненная философия его любимых героев с их неприятием мира была не ко двору в страде, проникнутой «торгашеским духом». Его бродягам не нравится не только Америка, но и Франция, и Англия, и Россия. Они «скитальцы». То как преследователи,

то как преследуемые они носятся по безбрежью океанов. Когда Мелвилл выпустил в свет свой лучший, свой странный «роман о Белом Ките» («Моби Дик»), автора забыли. Его сочли безумцем, а роман восприняли как неудачное сочетание фантастического и реального. Кажется, один только Готорн понял, что Мелвилл написал великую книгу о человеке и смысле его жизни, о мире и месте в нем человека, об Америке и ее страхах и надеждах.

Вот эту книгу в разговоре со мной профессор Дон Л. Кук и назвал воскресшей. А за ней «воскрес» и автор со всеми другими своими повестями и романами.

— Открытие его, на этот раз настоящее, произошло у нас двадцать—двадцать пять лет назад. До этого «Моби Дик» считался романом о море, ките и китобойцах. Теперь же его ценят как роман психологический. Может быть, это своеобразная реакция на полосу фрейдизма в современной американской литературе. Психологизм находят и в других романах Мелвилла.

Сидевший рядом с профессором Куком другой ученый добавил:

— Емкие символы, созданные Мелвиллом, позволяют современным читателям вкладывать в образ вездесущего Моби Дика и все то, чего они сами не принимают в жизни, а в неистовстве Ахава видеть собственное нежелание мириться со злом.

— Не сюжет увлекает современника,— продолжал свой рассказ профессор Кук.— И даже не сами образы... Джон Хастон сделал фильм по роману с прославленным Грегором Пеком в центральной роли и превосходными натурными съемками. Сюжетно фильм получился более динамичным, чем роман. Мы думали, что фильм уменьшит популярность романа, но, к нашему удивлению, этого не произошло.

— Какое все-таки содержание могут вкладывать наши современники в образ Белого Кита?

— Конечно, то, какое вкладывал в него сам автор. И, конечно, как уже было сказано, еще кое-что свое...

— Хотелось бы услышать об этом.

— За последние двадцать пять лет о Мелвилле написано неизмеримо больше, чем за все предыдущее столетие. Одни из ученых пытаются истолковать его творчество в духе экзистенциализма, считая нашего писателя чуть ли не прямым предшественником Кьеркегора, Ницше и Гуссерля, другие — в духе модного мифологизма, третьи, вслед за Д. Г. Лоуренсом, считают, что своим романом о Белом Ките Мелвилл утвердил фрейдизм до Фрейда...

— Как говорят русские: каждый молодец на свой образец.

— По словам иных исследователей, Мелвилл ныне является сообщником в борьбе против всего на свете — против существующей общественно-политической системы, технотронного чудовища, расовой сегрегации, религии, против испугавшего самого Эйзенхауэра военно-промышленного комплекса и левиафана исполнительной власти, стремящейся подмять под себя американскую демократию. Другие ученые утверждают, что главный сюжетный узел в романе воспринимается читателями то как извечная борьба света и тьмы, то как схватка Прометея или сатаны с богом, то как борьба современной личности с манипулирующим ею обществом...— Чуть помолчав, профессор засмеялся и добавил: — Некоторые воспринимают схватку Ахава с Белым Китом и как символ классовой борьбы революционеров с капитализмом.

— Иначе говоря, Мелвилл как художник переживает сегодня второе рождение в США, потому что более ста лет назад как человек ощутил, пережил, стал осознать то, что сегодня ощущает, переживает и осознает его народ. Можно так сказать? — спросил я.

— Может быть... Не знаю... Может быть...— раздумчиво проговорил профессор.

7

Блумингтон — небольшой университетский городок в штате Индиана. Это на северо-западе США. Профессора шутят: «В нашем городе 30 тысяч студентов и 30 тысяч людей». Всю работу, не мешающую учебе, в городе выполняют сами студенты.

В Индианском университете большое славистическое отделение, возглавляемое видным ученым Корнелисом Ван Сконевелдом. Более 200 студентов изучают русский язык, не считая тех, кто занимается нашей историей, философией, социологией, экономикой на других отделениях Русского и Восточноевропейского института (входящего в

университет и возглавляемого профессором Александром Рабиновичем; славистическое отделение — часть этого института). Профессор Рабинович выпустил книгу «Июньские дни в Петрограде (1917)». Недавно завершил работу непосредственно об октябрьских событиях 1917 года.

— Работаю в основном на материале газет, — рассказывает он. — Несколько раз бывал в Москве, занимался в Ленинской библиотеке. К русской истории пристрастил меня Борис Иванович Николаевский. Он дружил с моим отцом, часто приезжал к нам за город. Общение с Николаевским заставило меня заинтересоваться русской историей. Но потом, когда я уже писал диссертацию, Николаевский стал обвинять меня в том, что я превратился в правоверного большевика. Основание? Я не мог согласиться с широко распространенным у нас мнением, будто в России не было объективных предпосылок для социалистической революции, будто она совершена не революционным народом, а несколькими тысячами заговорщиков, действовавших вопреки учению Маркса...

Чтобы читатель получил хоть отдаленное представление о Б. Николаевском, расскажу о своей встрече с ним в октябре 1964 года в Стэнфорде. Именуя себя чуть ли не единственным настоящим революционером, он в последние годы жизни редактировал антисоветский «Социалистический вестник». Мне надо было ознакомиться с хранящимися в Гуверовском институте (Стэнфорд) автографами писем и других материалов Горького. Для этого требовалось согласие Б. Николаевского, передавшего их в институт. И вот я вхожу к нему в дом. Широкоплечий седой человек лет семидесяти пяти не здороваясь спрашивает:

— Вы, конечно, считаете себя марксистом?

— Не просто считаю, а являюсь марксистом, коммунистом.

— Русский народ не с вами! — крикнул он.

— Но мы и есть русский народ!

— Где доказательства, что с вами народ?

— Семнадцатый год. Сорок первый — сорок пятый годы. Да и то, что вы здесь, это тоже доказывает, что русский народ не с вами.

Разговор становился все более резким. Б. Николаевский грозил всякими несчастьями «узурпаторам воли народной» и обещал сказать народу некую правду, когда окончится эпоха «лжемарксизма».

— Думаю, что эпоха марксизма, как вы его понимаете, в нашей стране не наступит никогда, — вздохнув, заметил я.

— Вы не очень любезный человек, — проворчал он, сбавляя тон.

— «Любезность — не моя специальность», — говаривал Щедрин. Предпочитаю истину комплиментам...

Наступило долгое молчание. К счастью, кто-то подал нам апельсиновый сок. Кажется, Анна Михайловна Бургина...

— Вы, конечно, не решитесь взять мою книгу о Марксе? — спросил он уже дружим, почти заискивающим тоном.

— Почему же? Я даже прочту ее, хотя и не обещаю стать на вашу точку зрения.

Он сделал надпись на книге. Затем написал записку, чтобы мне разрешили посмотреть письма и другие автографы Горького.

Беседу с профессором Александром Рабиновичем мы продолжили на следующий день в присутствии его аспирантов, занятых исследованием различных периодов, этапов, аспектов Октябрьской революции. Изучение ведется многопланово. К примеру, аспирант Доналд Рейли пишет диссертацию на тему «Октябрьская революция в Саратове». Много внимания и самим профессором и его учениками уделяется деятельности правых партий в России (тема одной из диссертаций сформулирована так: «Правые партии в Думе»), контрреволюционной борьбе Корнилова, Деникина, Врангеля...

Не исключено, что их повышенный интерес к белому движению обусловлен беспрерывным потоком выходящих в США книг, которые дезинформируют малоискушенных.

(Окончание следует)

В МИРЕ НАУКИ

ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ



АРХИТЕКТОР В МИРЕ, ГДЕ ЯБЛОКИ НЕ ПАДАЮТ

История развития науки последних десятилетий изобилует многочисленными примерами того, как достижения в одной области знаний открывали новые горизонты перед другой, казалось бы никак с этой первой областью не связанной.

Изучение радиоактивности, в частности, привело к тому, что археологи и палеонтологи смогли повысить точность хронологического определения своих находок. Успехи вычислительной техники позволили психологам и лингвистам провести такие исследования, о которых они раньше не могли и мечтать. Примеров, повторяю, очень много, и к этому длинному списку мне хотелось бы добавить еще одну строчку. Точнее, не добавить, а лишь обратить внимание на то, что она может быть добавлена в самом ближайшем будущем.

Представляется весьма вероятным, что решение некоторых проблем медицины и физиологии сможет коренным образом изменить наши представления о возможностях архитектуры. Поскольку я не могу считать себя специалистом ни в области медицины, ни архитектуры, прошу рассматривать все, что я написал, лишь в плане постановки вопроса. Я ничего не доказываю и даже не приглашаю к спору, поскольку не готов к нему сам, а лишь предлагаю материалы для размышлений.

ЗМЕЯ И ЦИРКУЛЬ

Запуск первого в истории искусственного спутника Земли фактически был задачей чисто инженерной, хотя и исключительной сложности. Ведь сам принцип полета ракеты в космос был научно обоснован за многие десятилетия до этого. О том, что надо сделать, чтобы улететь в космос, знали даже любознательные школьники. Другое дело — мало кто представлял себе, как это сделать. Прогресс советской науки в целом, новаторские работы в области ракетного двигателестроения, средств автоматизации и управления, аэродинамики больших скоростей, наконец, собственно ракетостроения, общий высокий уровень технической культуры и позволили открыть 4 октября 1957 года эру космоса.

Полет человека в космос во много раз увеличил количество инженерных задач. Назову только две проблемы, на решение каждой из которых требовались усилия многих научно-исследовательских коллективов. Первая — создание надежной системы жизнеобеспечения, которая могла бы гарантировать активную деятельность космонавта на всех участках полета. Вторая — отработка спуска в плотных слоях атмосферы со скоростями, во много раз превосходящими скорость звука. Истории решения только этих двух проблем — интереснейшие научно-технические эпопеи.

Но полет Юрия Гагарина уже никак нельзя было считать задачей чисто инженерной. Ведь перед тем как послать человека в космос, требовалось ответить на очень простой и вместе с тем очень трудный вопрос: а не враждебен ли космос его физической природе? Питание, вода, свежий воздух, тепло, нормальное барометрическое

давление — все, из чего складывается наше земное физиологическое благополучие, все это обеспечивалось как раз техникой. Но этот вопрос, самый главный, самый важный, был уже не инженерным вопросом. На него должны были ответить медики, физиологи, специалисты по авиационной медицине, все те люди, которые и создали молодое ответвление древнейшего древа — космическую медицину. И они ответили: не враждебен. Они верили своим гипотезам и опытам. Они ручались за человека. Просили только, чтобы человек был покрепче, — их можно понять.

Я никак не хочу умалить всех успехов инженерной космической мысли. Каждому ясно, что, скажем, «Восток», «Союз» и «Салют» — это не просто разные космические аппараты, а аппараты разных машинных поколений. Очевидно и то, что орбитальные станции будущего и пилотируемые межпланетные корабли потребуют от своих создателей еще более смелых, остроумных и изощренных научно-технических решений. Не так давно во время встречи со студентами Московского физико-технического института космонавт Николай Рукавишников, отвечая на вопрос о сложностях гипотетической «марсианской» экспедиции, воскликнул:

— Покажите мне конструктора, который даст гарантию, что его прибор ни разу не выйдет из строя в течение трех лет непрерывной работы!

Разумеется, все трудности не исчерпываются только требованиями надежности. Их великое множество. Почему же некоторые специалисты в области ракетной техники тем не менее считают, что сдерживать дальнейшее проникновение человека в космос будут не сложности инженерных проблем? Их доводы представляются весьма убедительными.

В принципе, говорят они, уже сегодня нет неразрешимых инженерных задач, которые препятствовали бы полету, например, к Марсу. Эскизные проекты подобного рода существуют, и ничего фантастического, принципиально невозможного в них нет. Полет человека на Марс с инженерной точки зрения сегодня задача количественная, а не качественная, какой она была, скажем, для Ф. Цандера.

Более сложным, чем проблемы инженерные, представляется фактор социально-экономический. Напряженность политической жизни, гонка вооружений, препятствия на пути мирного научно-технического сотрудничества мешали и безусловно могут и в будущем мешать прогрессу космонавтики. Между тем будущий полет человека к другим планетам сейчас все чаще вырисовывается не как пункт какой-либо одной национальной космической программы, а как итог научно-технического сотрудничества разных стран. Это доказывают и бесстрастные расчеты экономистов. Если самое дорогое техническое предприятие за всю историю человечества — программа «Аполлон» — оценивалась в 25 миллиардов долларов, то полет человека на Марс приблизительно оценивается уже в 100 миллиардов долларов. Трудно представить себе сегодня страну, которая могла бы позволить себе подобные затраты даже ради славы стать родиной первопроходцев Марса. В 1973 году в Пасадене, в Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института, американские инженеры в беседах с советскими научными журналистами говорили:

— Ну, на Марс мы полетим, конечно, вместе. Одни мы не потянем, слишком дорогое получается предприятие...

Думаю, что нет смысла больше останавливаться на социально-экономических факторах, влияющих на дальнейший прогресс пилотируемых космических полетов. Тут все ясно, вернее, тут нет спорных для нас с вами вещей: политика мира и разрядки — неперемьное условие международного сотрудничества в космосе.

Теперь мне бы хотелось назвать главный фактор, способный по сегодняшним представлениям (эта оговорка обязательна!) замедлить процесс проникновения человека в космос. Речь идет об одной нерешенной проблеме космической медицины, вернее, о прискорбной ограниченности той области, в которой некоторые выработанные ею закономерности, выводы и рекомендации имеют бесспорную силу.

За считанные годы своего существования космическая медицина добилась исключительных успехов. Однако, как часто бывает в сражениях всякой молодой науки с неизведанным, на месте каждой отрубленной головы дракона вырастали две новые. Одну такую голову рубят давно, но шея оказалась чертовски мускулистой — это невесомость.

В мою задачу не входит даже беглый обзор работ, посвященных раскрытию тайн сложного воздействия невесомости на жизнедеятельность человеческого организма. Интересующихся отсылаю к отличным популярным публикациям члена-корреспондента АН СССР О. Газенко и других специалистов. Да, известно уже очень много. И тем не менее ни один специалист не возьмет на себя смелость сказать: «Раз человек может жить в невесомости два-три месяца, значит, проживет и год, ничего с ним не случится». Случится или не случится? что может произойти и когда? как избежать неприятностей? — вот главные вопросы, вокруг которых разворачиваются дискуссии на всех конгрессах, съездах и симпозиумах, где встречаются специалисты по космической медицине.

Действительно, полеты «Салюта» и «Скайлэба» отодвинули временные границы пребывания в космосе до двух-трех месяцев, но они не решили тайны невесомости. Наиболее осторожные специалисты предупреждают о возможных и сегодня трудно-предсказуемых изменениях на клеточном уровне, которые могут возникнуть в тканях под действием долговременной невесомости.

Оптимисты, напротив, уповают на необыкновенную пластичность человеческого организма и его удивительную приспособляемость к самым невероятным условиям. Они надеются, что научно обоснованная методика физических упражнений и дальнейшие успехи медицины значительно увеличат допустимые сроки пребывания в невесомости. Но даже оптимисты сегодня не выпишут вам билет в космос ни на три года, ни на год, ни даже на полгода. Им не позволит это сделать совесть ученого: они предполагают, но не знают.

Генерал-лейтенант авиации, Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР В. Шаталов в одной из последних статей признает: «Очень важным для космонавтики остается вопрос о предельных сроках пребывания человека в условиях невесомости. С тем, что такие сроки все-таки существуют, видимо, придется согласиться. Трудно рассчитывать на то, что человек, покинувший Землю, неопределенно долго может находиться в космосе. Но сроков этих мы пока не знаем».

Наверное, перед нами тот случай, когда земные дискуссии не помогут. Думается, слово за «его величеством Экспериментом». И, очевидно, эксперимент, а точнее — серия экспериментов такого рода должны стоять в ряду самых срочных научных дел. Потому что, не разгадав тайны невесомости, мы не сможем начать в будущем решать проблемы чисто инженерные. Помните старый анекдот о том, как звери решали, какой им мост выстроить через речку? Осел сказал: «Прежде всего надо решить, как будем строить: вдоль или поперек?» Так вот до тех пор, пока мы не узнаем, как долго без ущерба для своего здоровья человек может жить в невесомости, мы не сможем решить, как нам строить мост к берегам далекого космоса: вдоль или поперек?

Представим себе на миг, что в результате проведенных исследований космические медики установили: несмотря на всевозможные ухищрения, они не могут продлить срок пребывания человека в невесомости больше чем до одного года. Это сразу определит предельный срок сменности экипажей на орбитальных станциях. Именно это время должно приниматься в расчет при определении ресурсов работы их научного оборудования. Что же касается проблемы долговременных полетов в космос, полетов межпланетных, то этот срок, по существу, диктует инженерам все. Ясно, что для выполнения программы, рассчитанной на один год, корабль не нуждается в устройствах, создающих искусственную гравитацию, а в корабле, предназначенном, скажем, для доставки экспедиции на спутники Юпитера, такое устройство необходимо. Искусственная тяжесть и связанные с ее созданием дополнительные энергетические затраты неизбежно повлекут за собой усложнение и утяжеление всех конструкций. Последнее обстоятельство потребует дополнительных мощностей ракетных двигателей носителя, а скорее всего создания новых ракет. Новые, более мощные, а значит, и возросшие в своих размерах ракеты, в свою очередь, приведут к необходимости создания новых, еще более грандиозных (и дорогих) стартовых комплексов. Короче говоря, издержки и расходы, требующиеся для создания собственно систем с искусственной гравитацией составляют лишь небольшой процент от всех мыслимых издержек и расходов, вызванных необходимостью решить эту проблему. Естественно, вся эта огромная работа способна замедлить темпы развития космонавтики.

Так, в общем-то, лишь одна, частная проблема космической медицины оказывает накрепко связанной с огромным количеством уже чисто инженерных проблем. Как видите, мудрый змей — эмблема медиков — склоняется сегодня же только над спасительной чашей, но и плотно обвивает своими кольцами циркуль инженера.

ЖИЗНЬ НА ПОТОЛКЕ

Несмотря на то, что Валерий Быковский пролетал на космическом корабле почти пять суток и в газетах справедливо писали, что он «жил в космосе», «Восток» был все-таки аппаратом для полета, а не для жизни. В пассажирском самолете мы с вами едим, пьем, спим, но мы все-таки летим, а не живем там. В «Союзе-9» А. Николаев и В. Севастьянов уже жили: два отсека корабля создавали некую иллюзию квартиры. А орбитальная станция «Салют» — уже просто космический дом. Этот прогресс космической техники чаще всего отмечался чисто количественно — сравнивались данные по весу и объему, но забывалось о том, что ведь свершились важнейшие качественные перемены: за десять лет советская космическая техника, совершенствуясь в разных направлениях, превратила транспортное средство в жилище. Для подобного превращения, скажем, в кораблестроении потребовались века.

Закон развития науки и техники — от простого к сложному. Именно таким образом мы получили современную электрическую лампочку, автомобиль, ускоритель элементарных частиц. «Восток» в этом смысле был созданием уникальным: никто нигде никогда не строил космических кораблей. Эскизные наброски Кибальчича, Циолковского и Цандера не представляли практической ценности для конструкторов. Это был редчайший в науке и технике случай, когда начинали с нуля. Но когда абсолютно новаторская общая задача, руководствуясь чисто инженерной психологией, была разбита на задачи частные, конструкторы начали оглядываться: а что более или менее похожее уже существует? Поэтому кресло гагаринского корабля было спроектировано на основе авиационных кресел-катапульти, предком его скафандра был скафандр летчиков-высотников, пульт управления также отчасти напоминал размещение приборов в самолетах и т. д.

Я все это говорю вовсе не в укор космическим конструкторам. Просто авиация — область техники, наиболее родственная космонавтике, — была обязана поделиться с ней своими достижениями. Если бы космические конструкторы творчески не воспользовались авиационным опытом, они поступили бы крайне неразумно и процесс создания космической техники затянулся бы на многие годы. Замечу также, что к космическим стартам готовились в первую очередь профессиональные летчики, поэтому любые привычные для них «авиационные» конструкторские решения были желательны даже с чисто психологической точки зрения.

Кандидат технических наук С. Дарский в работе «Эргономика на космическом корабле» отмечает, что при создании «корабля «Восток» была предпринята попытка построить кабину в соответствии с рекомендациями инженерной психологии (или, как теперь говорят, эргономически рационально). Впервые в практике строительства летательных аппаратов была создана единая система средств информации и средств ручного управления. Появились многофункциональные приборы, облегчающие труд космонавта». Это истинная правда, но все названные устройства появились прежде всего потому, что отвечали последнему слову науки и техники, были высшим ее достижением, а не потому, что учитывались условия именно космического полета. В дальнейшем единые системы средств информации и многофункциональные приборы появились на многих чисто земных объектах.

Усложнилась техника, росли космические экипажи, расширялись программы научных исследований, увеличивалось количество клавиш и индикаторов на пультах управления, но это опять-таки были количественные изменения. Философия конструкций оставалась прежней, будь то «аппарат для полета» — «Восток» или «аппарат для жизни» — «Салют». Внутри них делали по земному образу и подобию все эти кресла, пульта, шкафчики, панели. Оговорюсь специально: речь идет не о специфических для космической техники системах, таких, как системы ориентации, например, в которых земные образы и подобию отыскать труднее. Я говорю лишь о вещном мире, окру-

жавшем космонавта в полете. Своеобразие поведения предметов и особенно жидкостей в невесомости, разумеется, тоже требовало инженерных ухищрений, конструкторского остроумия и придавало (на радость журналистам) определенную пикантность космическому существованию: пицца в тубах, электробритва-пылесос, оригинальные ассенизационно-санитарные устройства и т. п. Но если исключить эти чисто специфические детали, космический мир, окружавший человека, внешне очень напоминал мир земной. Сфотографировав пульт управления в спускаемом аппарате «Союза», вы без труда убедили бы даже технически грамотного человека, что перед ним кабина нового воздушного лайнера, а фотографию отсеков «Салюта» легко можно принять за изображение, скажем, подводной научно-исследовательской лаборатории. Характерная деталь: в обстоятельной работе С. Дарского о эргономике космического корабля, на которую я уже ссылался, даже ни разу не упоминается слово «невесомость» или его синонимы.

Любопытно, что ту же самую картину мы наблюдаем и в истории развития американской космонавтики. И там авиационные корни, и там подобие земных интерьеров, и там перенос в космос привычного земного окружения. Я далек от мысли о каком-либо заимствовании. Речь может идти лишь о близости логики научного поиска — и мы и американцы начали танцевать от одной печки.

Невесомость сразу же заявила о себе. Юрий Гагарин вспоминал, как у него куда-то «ушла» карандаш. Из своего первого, восемнадцатисуточного полета Виталий Севастьянов привез домой на память шерстяные носки с дырками, продранными на мизинцах: именно этими местами он отталкивался, когда «плавал» в «Союзе-9». Андриян Николаев часто отдыхал на «потолке»: там просторнее.

Космонавты интуитивно искали наиболее удобных, естественных взаимоотношений с невесомостью. Астронавт Чарлз Конрад принимал участие в конструировании лунной кабины «Аполлона». Ограниченные размеры кабины мешали установить у пульта управления кресло или даже табурет. Конструкторы упорно искали выход. С большим трудом Конраду удалось убедить их выбросить эту «мебель» и ограничиться фиксаторами для ног. Он, уже дважды до этого летавший в космос, знал, что в невесомости сидеть перед пультом управления ничуть не легче, чем стоять. На советской орбитальной станции «Салют-4» велоэргометр был установлен на «потолке», что не мешало одному из космонавтов тренироваться в то время, когда другой работал на «полу».

Невесомость все время словно старалась продемонстрировать перед нами новые возможности, которые она нам предоставляла. А мы, повинувшись веками выработанному у нас земной тяжестью консерватизму, робели и не решались воспользоваться ее дарами. Но неужели дело только в робости и забвении всех парадоксов мира невесомости? Разумеется, нет. Любая система, аппаратура или прибор создавались с обязательным учетом специфических условий работы в космосе, прежде всего с учетом невесомости. Но на первых порах трудно было чисто умозрительно представить себе, как же будет человеку лучше и удобнее жить и работать в космосе. Кроме того, подготовка к полету подчас длилась много месяцев и во время тренировок в земных условиях космонавты должны были отработать всю свою программу, рассчитанную для условий космических.

Конструкторы понимали: то, что хорошо для космоса, может не годиться на Земле, и наоборот. Скажем, панели солнечных батарей раскрываются в невесомости с помощью простого пружинного механизма. Но если этот механизм испытать на Земле, он может и не выголкунуть панели, поскольку на Земле они имеют вес, а в космосе нет. Сила же пружины в невесомости не меняется. Ну, допустим, для страховки можно сделать мощную пружину, которая и на Земле раскроет панели. Но тогда крылья батарей разрушатся под собственной тяжестью. Для испытаний сложенные гармошкой панели ставили вертикально, наподобие ширмы, внизу приделывали колесики, и, когда пружинный механизм срабатывал, панели катились на этих колесиках по гладкому полу.

В отличие от космических кораблей орбитальные станции, как и солнечные батареи, предназначены для работы только в условиях невесомости. Однако и они конструировались по земным правилам. Мне приходилось бывать в макетах орбитальных станций «Салют» и «Скайлэб». «Салют» внутри действительно напоминает подводную

лодку: есть отсеки, посередине проход, существуют пол и потолок, по бокам аппаратура и агрегаты. Пространство «Скайлэба» организовано несколько иначе, но и там есть совершенно определенные полы и потолки, и там конкретно и точно существуют понятия «вверху», «внизу», «сбоку». Если продолжить морские аналогии, то «Скайлэб» — это скорее машинное отделение большого парохода. Там тоже деление на отсеки, но соединены они вертикальными трапами. Короче, на Земле в «Салюте» вы будете чувствовать себя нормально, если станция лежит, а в «Скайлэбе» — если она стоит.

Почему так? Предполагаю, что компоновка лишь отражает многолетние традиции космической промышленности двух стран. Известно, что в Советском Союзе орбитальные станции монтировались в горизонтальном положении. В этом же положении космонавты проводили в них все тренировки. Сборка ракеты-носителя, пристыковка к ней космического аппарата, их наземные испытания и транспортировка ракетно-космического комплекса на стартовую площадку также происходят горизонтально: ракета лежит. У американцев те же работы выполняются вертикально: ракета стоит. Таким образом, компоновка внутри орбитальной станции происходит по принципу «как удобнее и привычнее». Удобнее и привычнее для конструктора, но одновременно удобнее и привычнее для космонавта. Инженеры-проектировщики вполне сознательно старались создать в космосе земные интерьеры, освободить нервную систему космонавта от необходимости дополнительной психологической адаптации. В космосе на него и без того наваливалось так много различных неизведанных ранее переживаний, что усилить их непривычной, хотя, быть может, и более рациональной, удобной в новых условиях обстановкой, разумеется, не следовало. Конструкторы понимали, что в космосе их орбитальные станции не «лежат» и не «стоят», понимали, что пол и потолок в невесомости — абстрактные понятия. Понимали и закрывали на это глаза, продолжали чертить трапы, бессмысленные уже потому, что они потеряли свои функции.

Только в самое последнее время при размещении различных систем внутри орбитальных станций начали учитывать невесомость и позволять себе такую планировку интерьеров, которая не является наимыгоднейшей для земных условий. Перед полетом «Союза-21» к «Салюту-5» я беседовал об этом с командиром новой космической экспедиции Борисом Воиновым.

— Думаю, что размещение примерно одной трети приборов и оборудования «Салюта-5» подразумевает, что в космосе пользоваться им будет удобнее, чем на Земле, — рассказывал космонавт. — Невесомость способна экономить жизненное пространство. Например, вакуумная емкость, предназначенная для лучшей адаптации организма к условиям полета, расположена на «стене», и влезть в нее можно удобнее всего двинувшись по «стене». В земных условиях ее надо было бы монтировать на полу, потому что если бы даже кто-нибудь подсадил бы меня и я влез бы в нее на стене, она сорвалась бы вниз под тяжестью моего тела...

Итак, мы вступаем в пору признания невесомости как одного из решающих факторов космического конструирования. Если начальный этап освоения космоса характеризуется сознательным отходом от тех возможностей, которые предоставляет человеку невесомость — и в этом есть своя логика! — то теперь уже можно угадать в будущем такую организацию пространства, которая может вообще не иметь земных аналогов. Но что такое в принципе организация пространства? Это архитектура.

«БУБЛИК» ВЫХОДИТ НА ОРБИТУ

Строго говоря, в заголовке этой статьи должен был бы стоять вопросительный знак, поскольку вопрос, будет или не будет существовать архитектура невесомости, остается открытым. Архитекторы просто не знают пока, пустят ли их в тот самый волшебный мир, где яблоки не падают. Архитектура невесомости возникнет и будет в состоянии развиваться лишь при том неперемennom условии, если человек может неограниченно долго жить в невесомости. Если же инженеры будут вынуждены создавать для него искусственную тяжесть, речь может идти лишь о неких модификациях архитектуры и дизайна, которые будут отличаться от земных вариантов тем меньше, чем ближе сумеют инженеры подойти к земной гравитации.

Со времен «эфирных поселений», предложенных К. Э. Циолковским, было выдвинуто немало проектов подобных сооружений, чаще всего проектов фантастических. Примером может служить «воздушный город» скульптора Пьера Секеля, облетающий за сутки вокруг земного шара. В этом городе, по мысли автора, должен размещаться центр всемирного управления. «Взвешенный город», парящий над Землей, спроектировал скульптор Кошице. Авторы подобных «смелых» проектов обычно не утруждают себя даже прикидочными энергетическими расчетами, предоставляя инженерам решать: а почему, собственно, все эти фантазии должны летать и не падать?

Однако среди проектов «эфирных поселений» есть и технически обоснованные и даже математически описанные в первом приближении. Наиболее распространенный вариант — это, пожалуй, тороидальная конструкция, попросту говоря, «бублик», и схема с далеко разнесенными, наподобие спортивной штанги, массами, вращающимися вокруг общего центра масс. Существуют различные варианты «бублика» и «штанги» — всевозможные колеса со спицами и осями.

В 1973 году в Принстоне американские ученые рассказывали советским научным журналистам о «большом принстонском бублике». Речь шла об установке для генерации горячей плазмы — прообразе термоядерного котла — по типу советской установки «токамак». А недавно родилась идея другого «бублика», в тысячу раз больше термоядерного. Так называемая принстонская группа О'Нейла — физики, энергетики, конструкторы — разработала проект долговременной орбитальной станции тороидальной формы, вращающейся вокруг Земли по орбите Луны. «Бублик» диаметром в полтора километра, стоимость которого оценивается в 100 миллиардов долларов, по расчетам «принстонской группы», сможет принять на борт около десяти тысяч человек. Помимо научных исследований, эти люди будут заняты в различных отраслях производства, основанных на использовании условий космического пространства (глубокий вакуум, невесомость, температурный перепад), а самое главное, будут накапливать, преобразовывать и в виде излучения транспортировать на Землю солнечную энергию. Ученые считают, что вращение «бублика» создаст на его борту искусственную тяжесть, близкую к земной.

В 1975 году был опубликован еще один проект внеземного поселения, удаленного на расстояние около 400 тысяч километров от Земли и Луны и рассчитанного на проживание 10 тысяч человек. Этот «эфирный город» представляет собой цилиндр диаметром сто метров и длиной в километр. Вращение вокруг продольной оси со скоростью одного оборота за двадцать одну секунду создаст в нем искусственную гравитацию, близкую к земной. Автор проекта П. Паркер считает, что 98 процентов материалов, необходимых для этого космического строительства, можно будет добыть на Луне, для чего там необходимо создать колонию с населением примерно в две тысячи человек. После окончания строительства они станут первыми жителями «эфирного поселения».

Хочу заметить, что, кроме довольно значительных энергетических затрат, которых требует искусственная гравитация, она имеет еще одно отрицательное качество. В своей работе «Космонавт в системе космической навигации» космонавт Е. Хрунов и кандидат технических наук Н. Романтеев подчеркивают, что «эксплуатация и применение различных астронавигационных средств в полете требуют от экипажа знания звездного неба и устойчивых навыков выполнения процессов ориентации и навигации с использованием системы управления кораблем». Вращение «бублика» неизбежно будет мешать проведению подобных научных наблюдений, выполняющихся подчас с большой точностью. Рассказы членов экспедиций на орбитальной станции «Союз-4» убеждают, какой слаженной и искусной работы экипажа требуют такие наблюдения, не говоря уж о том, что природа иногда очень ограничивает их сроки. Исследования огромной солнечной вспышки 15 июня 1973 года астронавтом Полем Вейцем во время его полета на «Скайлабе» длились всего три минуты, из которых одна ушла на то, чтобы навести приборы на участок вспышки. Даже не представляю, каких следящих систем или других технических ухищрений потребуют подобные наблюдения на вращающемся «бублике», и очень сомневаюсь в том, можно ли их будет вообще проводить.

Итак, конструкции с генерацией искусственной силы тяжести — это некие переходные варианты от земных условий к невесомости, варианты «облегченного мира», в котором жизнь во внешних ее проявлениях будет более или менее походить на земное существование. При определенной сноровке, потренировавшись, можно будет научиться и ходить, и лежать, и держать все подвижные окружающие предметы в отчужденном повиновении. Экспедиции «Аполлонов», например, показали, что в облегченном в шесть раз по сравнению с земным лунном мире требуется примерно двадцать минут, чтобы научиться ходить и приобрести особую «лунную» осанку, которую медики назвали «позой усталой обезьяны».

Все сказанное об «облегченном мире» космических аппаратов с искусственной гравитацией в той или иной мере справедливо и для Луны и для всевозможных поселений на Марсе или спутниках Юпитера. Я убежден, что чудовищные природные условия Венеры и Меркурия все-таки не переселят всепобеждающего человеческого любопытства, и экспедиции землян высадутся на поверхности и этих планет. Однако строительство стационарных поселений на них вряд ли станет делом ближайшего обозримого будущего.

Все названные небесные тела имеют массу меньше массы Земли и являются в этом смысле «облегченными» мирами. Существует опять-таки немало более или менее технически обоснованных проектов поселений с учетом природных условий подобных тел. Большинство из них выполнено для Луны. Известный архитектор-новатор Поль Мэймон, много работавший над проблемами застройки океанского дна, опубликовал проект лунного города, внешне напоминающего раскрытый веер. Каркас из металлических труб и предварительно натяженных тросов держит крышу из стальной и пластмассовой ткани. Любопытно решена проблема фундамента, который состоит из мешков стальной ткани, заполненных лунным грунтом. Архитектор и скульптор Кеннет Снельсон создал проект инопланетного поселения с каркасом из труб и тросов, придающим всей конструкции максимальную жесткость и упругость. «Металлические» шары Снельсона, очевидно, могли бы пригодиться марсианским поселенцам, которых ожидают ураганы и пыльные бури. Советские ученые предложили использовать при строительстве уже созданные самой природой цирки и кратеры. Накрытые крышей и соединенные между собой подземными переходами, они могут образовать обширное внеземное поселение. В 1975 году был опубликован проект независимой лунной колонии, разработанный американцами Джоном Доссеем и Гиллермо Тротти. Эта колония, рассчитанная на двести человек, должна располагаться у кратера святого Георга, неподалеку от места посадки космического корабля «Аполлон-15». Она представляет собой полузаглубленную в лунный грунт конструкцию с тремя комплексами для старта и посадки космических кораблей. В состав колонии входят ангары и ремонтные мастерские космической техники, научно-исследовательские лаборатории, электростанция, фермы для выращивания растений и скота, фабрика для изготовления продуктов, жилые и административные помещения и центр отдыха. Этот проект разработан с учетом сегодняшних возможностей ракетно-космической техники и может быть осуществлен в течение десяти лет.

Этот и многие другие проекты весьма интересны, оригинальны, но все они прочно стоят на фундаменте земной архитектуры. Города под копаками, замкнутые поселения с искусственным климатом проектировались и для наших земных нужд, например для полярных областей. Сферы, подобные сферам Снельсона, разработанные его учителем Бакминстером Фуллером, получили очень широкое «земное» распространение (например, центральное здание выставочного комплекса в парке Сокольники в Москве). Строить на далеких небесных телах, конечно, очень трудно, во сто крат труднее, чем в Антарктиде, но все-таки мы более или менее представляем себе, что и как мы будем там строить. Мы уже знаем хотя бы на примере Луны, что «облегченный мир» — среда весьма специфическая, что природа новых миров весьма «неохотно», «с ленцой» будет подчиняться нашим земным порядкам. Мы понимаем, сколько усилий, сколько изобретательности потребует от архитекторов эта увлекательная работа вне Земли. В этой связи надо приветствовать инициативу проректора Московского архитектурного института по научной работе С. Ожегова, задумавшего создать специальную кафедру, где разрабатывались бы проблемы «архитектуры экстремальных усло-

вий» — изолированные сооружения полярных областей, подземные комплексы, инопланетные поселения.

Но «облегченный мир» для нас, землян, есть только переходная среда из мира тяжести в мир невесомости. Переход этот принципиальный, качественный. Известно, как меняются законы аэродинамики за порогом скорости звука. Тут же ожидают нас перемены еще более глубокие. Но прежде чем мы переступим этот новый порог, необходимо сделать оговорку. Достаточно убрать один замковый камень из арки, чтобы весь свод превратился в руины. Достаточно убрать из моих умозрительных построений лишь одно предположение, а именно — человек может долго жить в невесомости, как все эти рассуждения тут же превратятся в словесный мусор. Сегодняшние победы науки и вечная всепобеждающая пылливость человеческого ума позволяют надеяться, что невесомость в будущем уже не сможет диктовать человеку сроки его пребывания в космосе. И вот тогда, только тогда перед человеком встанет еще одна задача поистине вселенских масштабов. Задача уже не умозрительная, в условиях которой не будет спасительных «допустим» и «предположим», задача конкретная и насущная: создать принципиально новую, ни на что не похожую архитектуру невесомости.

ВЕЛИКАЯ СВОБОДА НЕВЕСОМОСТИ

Представьте себе на минуту, что люди от природы могли бы летать, как ласточки или пчелы. Насколько одно это условие изменило бы весь облик земной архитектуры! Где бы мы жили? В гнездах? В ульях? Здесь открывается широчайшее поле для фантазии. Уже то, что архитектура была бы избавлена от самого древнего элемента, присутствующего во все времена, у всех народов, во всех зданиях от Парфенона до крестьянской избы, — от лестницы, уже одно это — революция.

Но даже крылатые люди жили бы в мире тяжести и их архитектура продолжала бы подчиняться законам этого мира. Эти законы определяли бы не только всю строительную технику, но и эстетику архитектуры, наши представления о правильном, красивом, гармоничном и т. д. «Архитектура опирается на постоянные принципы, на вечные законы равновесия, пропорциональности и гармонии», — пишет выдающийся архитектор и общественный деятель, лауреат Ленинской премии мира Оскар Нимейер (разрядка моя. — Я. Г.). Именно постоянный вес, вечные законы Ньютонова яблока определяют лицо земной архитектуры, превращая ее в архитектуру организованных поверхностей. Пол и потолок — порождение силы земного притяжения, и потому они вечны. Какие только замысловатые проекты не осуществлялись в последнее время! Жак Куэллер, например, отстаивая на практике свою идею использования в архитектуре структур живых организмов, построил криволинейные дома, напоминающие амёб и инфузорий. Но пол в этих фантастических домах обыкновенный, потому что даже самый изысканный сноб не захочет жить в комнате с кривым полом. В одной из зарубежных статей по дизайну справедливо отмечается: «...ноги сами чувствуют, что под ними — каменная плита или ковер, и особенно чувствительны к наклону пола». «Вертикаль в архитектуре помогает человеку поддерживать тело прямо. Наклоны динамичны уже потому, что они бросают вызов человеческому чувству равновесия», — пишет английский архитектор Митчел Леонард в любопытной работе «Гуманизация пространства». Не касаясь проблем невесомости, он замечает вскользь, что именно гравитация заставляет нас предпочитать горизонтальные поверхности уже потому, что движение по поверхностям наклонным требует определенных усилий для поддержания тела в привычном положении. «В качестве гипотезы, — пишет Леонард, — я хочу предложить утверждение, что существует соотношение между формой окружающего пространства и величиной реакции на эту форму мускульного напряжения организма». Но ведь это мускульное напряжение — прямое следствие действия силы тяжести. А значит, и любая архитектурная форма также находится в прямой от нее зависимости.

В самом деле, все земные здания во все времена, будь то пещерные города древнего Китая или небоскребы Нью-Йорка, всегда членились некими горизонталями — называйте их этажом, полом, потолком, галереей, балконом, как угодно. Соединение этих горизонталей и составляет суть архитектуры. В принципе коринфские ко-

лонны и стена из стекла и алюминия делают одно и то же: соединяя горизонталы, создают объемы. Но нам только кажется, что мы заселяем эти объемы. На самом деле мы заселяем поверхности. Ведь недаром мы измеряем свое жилье не кубическими, а квадратными метрами¹.

Рискну предложить такую формулировку: плоскость, перпендикулярная вектору гравитационного поля, есть основной элемент любой архитектуры, существующей в любом гравитационном поле. Поэтому, заранее извинившись перед архитекторами, позволю себе назвать земную архитектуру плоскостной. Это представляется мне допустимым в сравнении с воистину объемной архитектурой невесомости. Но что собой представляет эта архитектура — спросите вы. К сожалению, мало кто задумывался об этом и ответить на такой вопрос довольно сложно. Предположения «практиков космоса» довольно робки. Вот как описывают «эфирное поселение» космонавт Н. Руквишиников и кандидат технических наук Г. Морозов в совместной работе «Космонавт-исследователь»:

«Изменится по сравнению с современными кораблями внешний вид орбитальной станции. На ней будет несколько изолированных помещений, каждое из которых будет представлять собой своего рода самостоятельную лабораторию: медико-биологическую, астрономическую, технологическую, метеорологическую и т. п. В этих лабораториях космонавты-исследователи будут проводить запланированные эксперименты либо лично, либо с помощью автоматической научной аппаратуры, обслуживание которой будет входить в их обязанности. Для отдыха, сна, принятия пищи, выполнения гигиенических и физкультурных процедур предполагается соорудить в составе станции специальный жилой блок со спальными местами, кают-компанией и бытовыми помещениями. Этот блок будет своеобразной гостиницей для команды и прибывающих на станцию ученых... Некоторые лаборатории могут быть выполнены в виде отдельных самостоятельных конструкций-модулей, которые смогут отходить от основной базы-станции, переходить на другую траекторию и возвращаться к базе после выполнения определенного цикла задач».

Это замечательно! Но ведь самое интересное — это узнать: а какими будут эти лаборатории, кают-компании и спальные места? чем космический научный центр будет отличаться от земного — только ли способностью отдельных лабораторий отпочковываться от главного здания? Ведь и на Земле можно изготовить большую подводную лабораторию, от которой будут отходить исследовательские подводные лодки и батискафы. А когда мы шагаем из здания аэропорта прямо в самолет через подвижный гофрированный коридор, мы ведь тоже «отпочковываемся» и уходим затем на новую орбиту.

Все чаще специалисты в области космонавтики говорят не просто о пребывании человека в космосе и даже не только о его научно-исследовательской работе там, но о его активной трудовой деятельности вне Земли, предполагающей создание материальных ценностей для всего общества. Академик В. Глушко пишет: «В более отдаленном будущем мыслится постепенно выносить в космическое пространство промышленное и энергетическое производства, чтобы сохранить нашу планету от разрушительного влияния технического прогресса».

Уже наш недолгий опыт работы в космосе показывает, что всякая трудовая деятельность в мире невесомости приобретает существенные особенности. На Земле мы как бы не затрачиваем усилий для поддержания тела в вертикальном положении. Мы не думаем об этом, как не думаем о том, что надо дышать. Инстинкт и опыт земной жизни выработали у нас и определенные, чисто земные навыки в общении с неживой природой, с орудиями труда. Ни обезьяна, ни человек не будут даже пытаться поднять ящик, взяв его за угол. Если вам требуется повернуть тяжелое колесо, вы совершенно машинально возьметесь за его обод, а не за ступицу, не думая о законах механики, возможно, даже и не зная их. Если вам надо перенести жердь или бревно, то вы, также не задумываясь, будете стараться держать его вблизи центра тяжести.

¹ Хочу, чтобы меня правильно поняли: кубические метры нам очень нужны для света, для воздуха, для здоровья, но живем-то мы все-таки на квадратных метрах.

В мире, где бревно можно нести, взявши за самый конец, все эти инстинкты бессильны, а опыт даже вреден. Там требуется выработать иные инстинкты и приобрести иной опыт. И вряд ли у кого-нибудь хватит сегодня смелости предсказать, как же все-таки будет выглядеть научная лаборатория или заводской цех в мире постоянной невесомости, вряд ли у него хватит воображения нарисовать картину производственного процесса в таком цехе.

Один из создателей современной архитектуры, крупнейший ее теоретик и замечательный практик Вальтер Гропиус, с горечью написал однажды: «Нам всегда доставало науки, но сегодня она выталкивает нас из состояния равновесия... и в своем стремительном продвижении затмевает другие компоненты, необходимые для гармонизации человеческой жизни... Вы, конечно, не назовете этот век веком искусства, не правда ли? Это век науки».

Гропиус прожил большую жизнь. Когда он был ребенком, рождались авиация и кинематограф, когда стал юношей — расщепили атомное ядро, когда превратился в старика — в космос полетел человек. Он не дожил всего двух недель до первой лунной экспедиции землян. Он видел величайшие торжества науки и техники, и горечь его слов понятна, а упрек, наверное, справедлив. Но как же не понял великий архитектор, что именно на фундаменте этого грандиозного научно-технического прогресса и может быть построено здание невиданной архитектуры? Ведь именно ему принадлежит замечательная фраза о том, что «историческая миссия архитектора всегда состояла в достижении полной координации всех усилий, направленных на создание физической среды человека».

И вот перед нами качественно новая физическая среда — невесомость. Каких же усилий потребует она от архитектора? Ответить на этот вопрос очень трудно. Рекомендаций и правил для строителя дома в невесомости пока не существует. Остается только руководствоваться прекрасными стихами Булата Окуджавы:

Ты строй его — как стих пиши,
как по холсту — рисуя,
по чертежам своей души,
от всей души,
рискуя.

Чего-чего, а риска в таком строительстве будет предостаточно. Когда я говорил о работе над «Востоком», я объяснял, почему построить такой корабль было нелегко: он был первым и не имел аналогов. Постройка в невесомости тоже не имеет аналогов и можно говорить лишь о каких-то туманных ее контурах.

Всякая среда обитания, в том числе космическая, с одной стороны, определяет, а с другой — требует видоизменения свойств применяемых строительных материалов. До сего времени основным строительным материалом в космосе были различные сплавы легких металлов. Уверен, что в будущем палитра космических строителей станет значительно пестрее. Мы часто говорим о различных «запретах», налагаемых природой космического пространства на инженерную и конструкторскую мысль. Но неверно думать, что космос всегда будет только «запрещать». Нет, он будет и «разрешать» строителям многое из того, что «запрещала» Земля. В этой связи любопытна новаторская работа С. Шварца, в которой рассматриваются методы изготовления расширяющихся и твердеющих в космосе конструкций. Пропитанные специальными смолами и компактно сложенные, эти конструкции после их транспортировки в космос расширяются и твердеют под воздействием глубокого вакуума, ультрафиолетового и инфракрасного излучения и температурного перепада. Таким образом, сама природа космического пространства, «пустота» межпланетной среды, «ничто», становится союзником внеземных архитекторов. Если же говорить о формах, космос предоставляет им возможности воистину неограниченные. Начнем с того, что архитектура невесомости — это архитектура беспредельных размеров. Высотные здания и телебашни ставят свои архитектурные рекорды. Новые материалы, талант проектировщиков и строителей участвуют в этом необъявленном соревновании. Но я не думаю, чтобы когда-нибудь на Земле построили дом высотой в двадцать пять километров. В космосе его построить можно.

Архитектура невесомости — это архитектура беспредельных возможностей формообразования. Вас не лимитируют ни вес здания, ни качество грунта под ним, не смущают запреты неумолимого сопромата².

Анализируя проекты уже упоминавшегося мною Поля Мэймона, ведущий французский архитектор наших дней Рене Саржер писал: «Современные фантасты остаются непонятыми только теми, кто не представляет себе воистину фантастических возможностей новой техники». Интересно, что сам Саржер в 1962 году основал Научно-исследовательский институт техники и архитектуры перенапряженных оболочек. Он создал конструкции оболочек, в которых благодаря двойной кривизне возникали только растягивающие усилия. «Эти конструкции действительно производят впечатление парусов, надутых ветром,— писал теоретик архитектуры Мишель Рагон,— они становятся как бы невесомыми». Архитектор Робисон утверждал, глядя на работы Саржера, что «мы являемся свидетелями архитектуры, выражающей невесомость».

Никак не умаляя новаторства французского архитектора, имеющего, очевидно, большие перспективы в земной архитектуре, надо отметить, что его успехи очень далеки от действительных возможностей архитектуры невесомости. Никакая сверхперенапряженная конструкция не позволит построить вам, скажем, здание в виде буквы «Г» так, чтобы верхняя палочка была бы в десять (или сто!) раз длиннее, чем высота нижней. А в невесомости это возможно хотя бы потому, что там не существует верхней и нижней палочки, высота и длина там понятия тождественные. В невесомости такие понятия, как «вперед» и «сзади», в случае отсутствия движения космического объекта правильнее будет заменить более определенными «вперед» и «назад». А раз нет высоты и длины, переднего и заднего — значит, нечто совершенно обязательное для земной архитектуры становится совершенно необязательным для архитектуры невесомости. В земной архитектуре можно говорить о диагональном движении в пространстве (пример тому классический «Дом святого Джозефа» Фрэнка Ллойда Райта), а в невесомости нельзя, потому что это бессмысленно. Раз нет высоты, значит, нет и вечных на Земле полов и потолков. Для жителя невесомости безразлично, какой пол в его жилище — прямой, наклонный или кривой. Он заселяет не квадратуру, а объем. Он требует от архитектора организации пространства, а не площади, причем такой организации, от которой, сидя на потолке, как на нынешних орбитальных станциях, он и не подозревал бы о том, что сидит на потолке. Параллелепипед комнаты в невесомости естественно и логично перерождается в шар — идеальное пространство равных возможностей.

Сфера всегда привлекала земных строителей, в то время как гравитация не позволяла ее использовать и ограничивала их возможности полусферой, куполом. Привлекательность сферы объясняется, с одной стороны, чисто геометрической ее природой: она настолько емка, что дальнейшее ее членение невозможно; с другой — тем фактом, что она представляет собой геометрическую форму с максимальным объемом при минимальной поверхности. Иными словами, используя сферу (или полусферу), вы тратите для создания единицы объема минимум строительного материала. В этом случае экономические выгоды, бесспорные в земных условиях, будут особенно ощутимы на первом этапе возникновения «эфирных поселений», когда строительные материалы будут доставляться с Земли или Луны и их вес станет едва ли не первой их характеристикой.

Следуя логике невесомости, мы увидим, что если комната перерождается в шар, то коридор превращается в трубу, дверь — в люк. И двери-люки из коридора-трубы будут уже располагаться не направо-налево, а по всей окружности этой трубы.

Впрочем, продранные на мизинцах носки Виталия Севастьянова невольно наталкивают на мысль, что термины «шар» и «труба», очевидно, не совсем точны. Надо полагать, что это будет не совсем шар и не совсем труба. Усложненность форм будет диктоваться физическими размерами и кинематикой человеческого тела. В невесомости, как и на Земле, нельзя, скажем, не учитывать, что нога в колене сгибается

² Вернее, прочностные расчеты будут и в этом случае. Допустим, наружный вакуум и давление внутри космического дома потребуют уважения к сопромату, но это будет уже не тот строительный сопромат, который на Земле связывает архитектора по рукам и ногам.

назад, а не вперед, как у кузнечика. Представьте себе, что вы плывете в некоей трубе, для скорости отталкиваясь от ее стенок. Ясно, что плыть вам будет удобнее, если стенки эти будут не гладкими, а гофрированными. И под комнатой-шаром я понимаю, если быть более точным, скорее некий многогранник, некий сложный замкнутой объем, внутренняя геометрия которого строится с учетом удобств человека. Поэтому «шар» и «трубу» мы оставим лишь для простоты, подразумевая условность этих понятий.

Итак, давайте попытаемся оглядеться на нашем космическом новоселье. В комнате-шаре такая простая и привычная вещь, как, например, стол, становится сложной, неудобной, нефункциональной, как говорят дизайнеры. Согласитесь, если у комнаты нет пола и потолка, то и у мебели не может быть верха и низа. Стол с тумбами или ножками логично перерождается в куб, а еще вероятнее, мне кажется, в икосаэдр — многогранник, составленный из равносторонних треугольников. Летающий стол — это нехорошо. Его можно закрепить с помощью каких-то жестких соединений или магнитного поля, это уже вопрос техники. Главное, что в невесомости человеку за столом-икосаэдром будет всегда удобно, с какой бы стороны он к нему ни подсел. Подсел? Нам уже мешают земные термины. «Человек сел на стул» — в невесомости понятие чисто условное, и стул этот как предмет, лишенный всякой функции, там не нужен. Даже в «лунной» кабине «Аполлона», как вы помните, он уже был не нужен.

В земной жизни есть совершенно определенные глаголы «лежать» и «стоять», описывающие положения, можно сказать, прямо противоположные. Но в космосе между «я лежу» и «я стою» — знак равенства. Я вспоминаю Крым в августе 1961 года, когда там вместе с Юрием Гагариным отдыхал только что вернувшийся из своего суточного космического полета Герман Титов. Он много рассказывал тогда о своих «звездных сутках», но когда я спросил о том, как он спал, он сначала задумался.

— А я и не знаю. Может быть, стоя, а может, лежа. Кто знает? Ведь разницы нет — невесомость.

Помню, эти слова тогда поразили меня больше всего. Необходимо было проделать определенную и весьма непривычную умственную работу, чтобы не только головой, но и сердцем понять, что вертикально стоящая кровать, абсолютно невозможная на Земле, не будет выглядеть дико в мире, где вертикаль равна горизонтали. В нашем земном быте любая деятельность человека непременно связана с определенным закрепленным за ним пространством. Для того чтобы колоть дрова, точить деталь или писать стихи, тело человека должно занять определенное положение, позу. Это правило, очевидно, справедливо и для невесомости. Никогда хирург не сможет сделать операцию, летая вокруг больного, а астроном вести наблюдения, витая у телескопа. На Земле тело закрепляет прежде всего земная тяжесть. Мебель во всех ее видах здесь лишь помогает гравитации. Мебель — функция гравитации. Но в невесомости фиксированные тела очень условно связаны с мебелью. Уже первые космонавты быстро поняли, что сказать определенно: «Я сижу в кресле» — можно, только пристегнувшись к этому креслу. Главную функцию несет ремень, а не кресло, уздечка, а не конь.

Невесомость потребует «космического» переосмысления дизайна. Она открывает воистину необъятные перспективы для самого смелого поиска, самого дерзкого экспериментирования. Ведь речь идет о создании новой структуры, о том самом крайнем случае, который, по словам Н. Воронова и Я. Шестопала, авторов книги «Эстетика техники», «возникает тогда, когда объектами компоновки выступают новые принципы, закономерности или открытия, еще не получившие формально-структурного воплощения».

Кстати, все сказанное выше вовсе не грозит дизайну (в отличие от архитектуры) ломкой его основ. И если одно из правил «земного» дизайнера, в основе которого лежит компоновка, гласит, что эффективность конечного результата будет тем выше, чем более исходные объекты преобразуются, видоизменяются и приспособляются друг к другу и к новой общей задаче, то и в мире невесомости это правило сохраняет свою полную справедливость.

Девиз Ле Корбюзье «дом — это машина для жилья» всегда путал меня: дом — это дом, а машина — это машина. И какие бы технические новшества ни воплощались

в архитектуре невесомости, хочется верить, что жители «эфирных поселений» все-таки не будут жить в машинах. Другое дело, что привычные для нас представления о доме, уюте, красоте обязательно должны будут претерпеть значительные изменения.

Может быть, обиходное понятие «родной угол» превратится в космосе в «родной шарик». Живущие в космосе не будут знать прелести просторной гостиной с красивыми тяжелыми занавесками, круглым столом, оранжевым абажуром или старинной люстрой, тихо гудящим самоваром и вареньем в бабушкиных розетках. Думая об этом, испытываешь щемящую чеховскую грусть, и тебе становится жалко людей, плавающих в шарах вокруг столов-многогранников.

Я представляю себе, что одно из поколений (а может быть, и не одно) косможителей далекого будущего может оказаться несчастным поколением, поскольку туго сжатое научным прогрессом время потребует от человеческого сердца забыть Землю до того, как оно полюбит космос. Но в историческом плане это, вероятно, будет очень короткий период. Люди в «эфирных поселениях» отвыкнут от наших прямоугольных комнат так же легко, как мы отвыкли от пещеры, шалаша, курной избы. И если говорить откровенно, мы, выросшие с водопроводом и электричеством, редко и не всегда искренне грустим о колодцах и лучинах.

Сегодня, когда в космосе не побывало еще и ста человек, нам трудно представить себе будущие масштабы его освоения и заселения. В ближайшие годы полеты космических кораблей многоразового действия постепенно сведут на нет героическую исключительность профессии космонавта, а к началу XXI века мы будем относиться к людям, работающим в космосе, так, как сегодня относимся к участникам антарктических экспедиций. Количество этих людей — летчиков-космонавтов и штурманов-космонавтов, ученых, инженеров, строителей-монтажников, энергетиков, радиоспециалистов, врачей — год от года будет расти в темпе все ускоряющемся, лавинообразно. Расчеты, проведенные известным советским астрофизиком, членом-корреспондентом Академии наук СССР И. Шкловским, показывают, что уже через пятьсот лет, а при самых неблагоприятных экономических условиях через две с половиной тысячи лет в «эфирных поселениях» в пределах Солнечной системы будет жить около 10 миллиардов человек — значительно больше, чем сегодня обитает на Земле. А ведь даже две с половиной тысячи лет на шкале истории — это совсем не так много, как кажется. Куда больший срок отделяет нас от Нефертити и Тутанхамона, а фараон Хеопс, прославившийся своей великой пирамидой, стоит от нас на шкале веков почти вдвое дальше этих будущих косможителей. Наши такие далекие, а в общем, близкие потомки будут рождаться в невесомости и жить там постоянно. И, возможно, очень многие из них никогда и не прилетят на Землю и не узнают, что в доме прадеда существовал круглый стол и старинная люстра. А если и прилетят, не покажутся ли им, рожденным в необъятных просторах, смешными и нелепыми наши дома, странными и неуютными наши комнаты? И когда они прилетят, ведь им, наверное, будет трудно и очень непривычно в мире нашей тяжести, в мире, где человек так несвободен, что не может даже летать... И — кто знает? — может быть, будущее поставит перед физиологами и медиками новую проблему, перевернув наши сегодняшние заботы с ног на голову: а сможет ли человек, рожденный в невесомости и проведенный там долгие годы, жить на Земле? Но если успехи сегодняшней науки вселяют в нас уверенность, что невесомость будет побеждена, то еще больше у нас оснований верить, что могучая наука грядущего справится и с обратной задачей.

Вспоминая фантастические книжки отрочества, я ловлю себя на мысли, что подводных жителей «Маракотовой бездны» Конан Дойля или аборигенов «Страны Слепых» Герберта Уэллса мне было жалко, а человеку-невидимке и Ихтиандру я завидовал. Потому что у первых писатели отнимали что-то, что есть у нас, а вторых награждали способностями, нам недоступными.

Еще раз хочу повторить: все, о чем я говорил, лишь наброски, материал к размышлению, не более. Я абсолютно уверен лишь в одном: будущее космонавтики, помимо всех своих научных и материальных выгод, глубоко оптимистично, ибо оно способно дать человеку нечто очень важное — ранее недоступную возможность пре-

творения в жизнь самых дерзких мечтаний. Когда запретное становится доступным, а невозможное оказывается возможным, мы всегда на какой-то момент пугаемся этого. Не испытываем ли мы сейчас эту мгновенную робость, остановившись на пороге дальнего космоса и вглядываясь в туманные очертания парящих в звездной бездне городов? Мы скорее чувствуем, чем знаем, что за этим порогом нас ждет воплощение величайшей из всех фантазий, что наступает время соединения всех знаний и талантов, время наиболее полного и высокого проявления человеческой мысли и духа.

СТАТЬЮ ЯРОСЛАВА ГОЛОВАНОВА КОММЕНТИРУЮТ

КОСМОНАВТ:

Проблемы космической архитектуры возникли, как только человек проник в космос. Они, несомненно, существуют и сегодня. Правда, само слово «архитектура» специалисты в области космической техники пока не используют. Его подменяют словами «форма», «компоновка» и т. п., но суть от этого не меняется: исходя из новых требований и новых условий, приходится уже сегодня решать задачи, аналогичные задачам архитектора.

Как, например, сделать орбитальную станцию такой, чтобы в ней разместилось все необходимое оборудование, а масса ее при этом была минимальной? Как придать станции такую форму, которая позволила бы наиболее легко управлять ее движением? Как создать внутри станции максимальные удобства для работы и жизни экипажа в условиях невесомости? Как расположить иллюминаторы, чтобы обеспечить наибольший обзор? При создании космических аппаратов приходится специально выбирать даже цвет наружных поверхностей: этого требует заданный коэффициент отражения, гарантирующий нужный температурный режим всей конструкции.

Короче говоря, задач, сходных с теми, которые решаются «земными» архитекторами, в космической технике немало уже сегодня. Поэтому популярная и увлекательная работа Ярослава Голованова представляется мне весьма интересной.

**Алексей Елисеев,
доктор технических наук,
дважды Герой Советского Союза.**

АРХИТЕКТОР:

Наука и техника развиваются так быстро, они несут столько открытий человечеству, что самые дерзкие фантазии очень скоро становятся реальностью. Вот почему статья Ярослава Голованова, которую автор охарактеризовал как наброски, как материал к размышлению, вызывает несомненный интерес.

Архитектура всегда окружает человека. Создаваемая жизненная среда обязана учитывать и необходимые удобства для человека в самых разных условиях. Как бы ни были туманны будущие масштабы и перспективы освоения космоса, думать об этом, прогнозировать среду пребывания человека в космосе следует заранее. Интересная и увлекательно написанная статья Я. Голованова поможет не только архитекторам, но и людям других профессий поразмыслить над интереснейшими проблемами пребывания человека вне Земли.

Рассмотрение и подготовка решений этих проблем требуют большой изобретательности и выдумки. Ведь речь идет о принципиально новой архитектуре для условий невесомости, отличной от земной архитектуры. В будущем неизбежно возникнет необходимость тесного сотрудничества архитекторов и специалистов космической техники. И можно только позавидовать молодым архитекторам, которым доведется осуществлять первые проекты, созданные для мира невесомости.

**Георгий Орлов,
профессор,
народный архитектор СССР.**



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. ОСОКИН



ПОИСКИ ЛИБЕРЕИ* ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В 1970 году мне довелось побывать в архиве города Пярну (ЭССР), где я обнаружил следы так называемого списка Дабелова, давно считавшегося пропавшим. Поездка эта была вызвана особыми обстоятельствами.

Еще в 1947 году, тогда начинающий литератор, я познакомился с археологом И. Я. Стеллецким, который проводил в свое время раскопки под московским Кремлем в поисках легендарной библиотеки Ивана Грозного. И. Я. Стеллецкий подробно рассказал мне об этом необыкновенном сокровище культуры.

Первое свидетельство о либерее относится к началу XVI века: великокняжеским собранием уникальных рукописей восторгался ученый богослов Максим Грек, приглашенный с Афона на Русь для их перевода на славянские языки. В 1565 году либереей любовался дерптский пастор Иоанн Веттерман, о чем и поведал он бывшему бургомистру Риги Францу Ниенштедту. Последний ввел рассказ об этом в свою «Ливонскую хронику».

Прошло двести с лишним лет. Однажды, в 1822 году, к профессору Дерптского университета Христиану Дабелову, получавшему из городских архивов Эстляндии для публикации разные старинные документы, пришло письмо из города Пернова (ныне Пярну). Им оказалась древняя рукопись. На ветхой бумаге по-старонемецки значился перечень библиотеки «великого князя московского»: сочинения Тита Ливия, Цицерона, Тацита, Цезаря, Светония, Аристофана, Пиндара и многих других выдающихся авторов античности, причем и такие произведения, которые дошли до нас лишь частично, иные же остались вовсе нам не известными. Дабелов снял копию и опубликовал сообщение о рукописи в одном из рижских периодических изданий. Однако когда через несколько лет его коллега Вальтер Клоссиус обратился в перновский архив, то выяснилось, что подобной рукописи там якобы не было и нет. Клоссиус едет в Москву разыскивать либереею. Однако ни в первопрестольном граде, ни в других уголках России он не находит ее.

В 1891 году под московским Кремлем с помощью зонда ее искал приват-доцент Страсбургского университета Эдуард Тремер. А в советские годы ее упорно разыскивал там же археолог Игнатий Яковлевич Стеллецкий. Он утверждал, что в 1913 году в перновском архиве отыскал-таки злополучный список Дабелова, но сфотографировать его не смог. Вскоре началась мировая война. «Поезжайте в Пярну,— говорил И. Я. Стеллецкий автору этих строк,— быть может, там все-таки уцелел список Дабелова. Я старый и больной и не могу туда поехать. Да сейчас, в первые послевоенные годы, и не до раскопок. А если бы довелось мне снова копать, то я продолжал бы от тех мест, где кончил, и особенно искал бы в Коломенском и Александровской слободе, где могли находиться своего рода филиалы либерееи».

Игнатий Яковлевич Стеллецкий умер в 1949 году, через два года после этих бесед.

* Либереея — старинное название книгохранилища-библиотеки (от латинского *liber* — книга). Под этим названием библиотека Ивана Грозного вошла в хронику Ниенштедта.

* * *

Побывать в пярнуском архиве мне удалось лишь летом 1970 года. Откровенно говоря, я ехал туда почти уверенный, что список Дабелова там не найду. В самом деле, даже писатель Роман Пересветов, автор двух талантливых книг о библиотеке — «Тайны выпцветших строк» и «По следам находок и утрат», относившийся к И. Я. Стеллецкому с большим уважением, был склонен считать его рассказ о находке списка Дабелова фантазией упоенного мечтой «кладоискателя», как несколько иронически называли археолога. Вызывали и мое недоверие некоторые рассказы И. Я. Стеллецкого о библиотеке, например не подтвержденная ссылками на документы версия о происхождении либерей как приданого Софьи Палеолог, привезенного ею из Рима (впрочем, версия, как выяснилось, опиралась на суждение Н. М. Карамзина и на прочтение некоторых строк из «Сказания о Максиме философе»). Но даже если Стеллецкий видел и держал в руках список Дабелова, то рассчитывать, что он уцелел в ураганах последней войны, не приходилось.

Здание Президиума Академии наук Эстонии находится в Таллине, в Вышгороде, среди уникальных памятников готики, где чувствуешь себя так, будто попал в западное средневековье. Как неистово бился Иван Грозный со шведами за этот город у Балтийского моря! В одной из башен до сих пор торчат русские ядра тех лет как живое напоминание этой яростной осады. В помощь себе Иван Грозный призвал войска датского принца Магнуса, осыпал его милостями, женил на своей племяннице и за это все приказал взять Ревель, как называли тогда Таллин. Но Магнус изменил, а Ревель так и остался у шведов. Его присоединили к России лишь войска Петра I.

В Академии наук СССР мне нужно было узнать, не появлялось ли в эстонской печати каких-либо сведений насчет либерей за время, протекшее с 1913 года, то есть с момента, когда И. Я. Стеллецкий, по его словам, видел в Пярну список Дабелова. Выяснилось, что никаких разысканий в этой области не велось.

Архив морского курортного города... Здание, построенное, судя по архитектуре, в конце прошлого века. Оно в самом центре города, рядом парк и памятник выдающейся эстонской поэтессе Лидии Койдуле. Сотрудники архива сразу же меня разочаровывают: архив хранит документы лишь за последние двадцать пять лет, то есть с 1945 года, все остальное находится в Государственном архиве ЭССР в Тарту. До начала нынешнего века архив помещался в городской ратуше, следовательно, там и беседовал Клоссиус со стариком архивариусом о непонятном исчезновении «анонима», как называют иначе список Дабелова. Ну а Стеллецкий, был ли он здесь, нашел ли этот таинственный список?.. Рассказываю сотрудникам о цели своего приезда. Слушают с интересом, но о Дабелове и его списке не слышали.

— Вот про библиотеку Ивана Грозного что-то слышала, но что именно, уж и не помню,— произносит сотрудница архива Валда.

Проведя в городе несколько дней, я зашел проститься с работниками архива.

— Пойдите,— говорит Валда.— Работала у нас здесь Валентина Вениаминовна Знаменская, вот телефон ее теперешней службы. Как будто она говорила что-то о библиотеке Грозного и даже сделала в старой газете какую-то отметку.

Звоню Знаменской, рассказываю все снова. И вдруг слышу в ответ:

— Незадолго до перехода из архива на другую работу я однажды просматривала газету «Waba maa» за тридцатые годы. И вдруг вижу сообщение: в городе открыта выставка древних пярнуских актов, а среди них и считавшийся потерянным список библиотеки Ивана Грозного.

Не верю своим ушам, прошу повторить все снова... И первый мой вопрос при встрече — где же, где список?

— Его, по слухам, вместе с другими документами захватил с собой бывший чиновник архива Ровельт. Он бежал в Финляндию накануне прихода советских войск.

— А где же объявление?

И тут выяснилось, что Знаменская сделала отметку на одном из экземпляров газеты 30-х годов, но за какое число, не помнит. В то время, а было это десять лет назад, архив обладал полным комплектом, сейчас же здесь лишь случайные остатки комплекта, так как профиль учреждения изменился.

— Валда, ты помнишь я еще пометила ту заметку синим карандашом?

— Помню, помню! Но как же это разыскать теперь? Ведь придется просматривать газеты за десять лет, да еще и литературные приложения к ним...

...Итак, ехать в Тарту как будто прямая надобность отпала. И все же как не посмотреть город старейшего в стране Юрьевского университета, как не побывать в архиве, где могут быть найдены какие-нибудь документы если не о дерптском пасторе Веттермане и его спутниках, то хотя бы о профессорах Дабелове и Клоссиусе. И вот я в Тарту, в старинном парке, где на каждом шагу на гротах и мостах выступают полустертые временем латинские изречения. Подхожу к руинам гигантского костела Петра и Павла (XIV век), в одной из его уцелевших частей разместилась университетская библиотека.

Накануне в путеводителе по Тарту прочитал любопытную легенду об этом здании. Если ночью пройти по парку, то можно повстречать бледную девушку. Берегись, как бы она не накинула связку ключей тебе на шею, а то навечно останешься вместо нее сторожить развалины!.. Но здесь меня охватывает тревога другого рода. Незадолго перед тем довелось видеть это здание в сатирическом журнале «Фитиль». Ценнейшие документы, рукописи, книги хранятся в крайне непригодном, сыром помещении и гибнут, покрываются плесенью.

К счастью, вскоре же выяснилось, что интересующие меня бумаги, например письма Дабелова и Клоссиуса, могут находиться лишь в филиале библиотеки на улице Ванемуйзе, в отделе рукописей и редких книг. Там я был любезно принят старшими библиотекарями Олевом Нагелем и Арво Терингом. Рассказываю о цели прихода. Тотчас же принимаются за каталоги. И что же: отдел имеет 79 совершенно неизвестных, никем не читанных (как об этом свидетельствует чистая учетная карточка) писем Клоссиуса к известному филологу Моргенштерну, помеченных 1825—1826 годами, то есть как раз тем временем, когда Клоссиус познакомился с публикацией Дабелова и ездил в Пернов. Есть еще два недатированных письма Дабелова к неизвестным лицам.

Первая находка! Товарищи Нагель и Теринг готовы тут же отыскать и принести мне на просмотр эти письма, но я охлаждаю энтузиазм молодых специалистов. Ведь это только первоначальная разведка! Важно выяснить, нащупать и в других учреждениях Тарту интересующие меня документы. Да уж если говорить откровенно, то я не разберу самостоятельно немецкую скоропись ученых.

По совету сотрудников отдела редких книг и рукописей иду в Литературный музей. И снова удача: там есть рукописи сочинений Дабелова и Клоссиуса. Правда, это всего лишь учебные курсы читанных ими лекций, но как знать, нет ли на них каких-либо пометок, а между страницами не вложены ли какие-либо другие, важные для дела листы? Кроме того, музей имеет все комплекты пярнуской газеты «Waba таа» за 30-е годы. С приложениями! И, наконец, третья, непредвиденная удача. В Государственном архиве Эстонской ССР обнаруживаю дела Дабелова и Клоссиуса. Дело Дабелова содержит 377 листов, дело Клоссиуса — 297.

Внимательно просматриваю лист за листом. Оживает первоначальный период прославленного университета, основанного в 1802 году. Подавляющее большинство документов на латыни и немецком языке, но многие и на русском. В деле Дабелова под некоторыми документами подпись ректора Эверса, друга поэта В. А. Жуковского, который, живя в Тарту, посвящал ему стихи.

Значительная часть листов относится к книге Дабелова «Римское право», изданной им на латыни в небольшом формате, очень удобном для пользования. Колоссальное число просьб из учебных заведений прислать эту книгу показывает ее необычный успех. Этот трудолюбивый человек, честный служака, конечно, не был способен на фальсификацию документа из эпохи Ивана Грозного.

Последние листы уже относятся к потомкам Дабелова. Его правнук поступал перед революцией в офицерское училище. Исследовал издевательский запрос воинского начальства: принимал ли приехавший из-за границы в Россию его прадед, то есть профессор Христиан Дабелов, присягу на верность русскому правительству, без чего оный «недоросль» принят в офицерское училище быть не может. Университетское руководство резонно ответило, что подобную присягу иностранные ученые, приглашенные русским правительством для научной деятельности, не принимают.

Не менее любопытно и дело Клоссиуса. Его, кстати, как свидетельствует листок учета, просматривал в 1963 году покойный ныне писатель Роман Пересветов. Лист 89-й содержит отношение министра народного просвещения Шишкова от 31 марта 1827 года. «Государь император соизволяет» уплатить Клоссиусу три тысячи рублей ассигнациями на его поездку в Москву для «отыскания в духовных библиотеках московских актов, относящихся до гражданского и римского права». В такую формулировку Клоссиус облек свое подлинное намерение найти библиотеку античных рукописей Ивана Грозного.

В делах Дабелова и Клоссиуса никаких отражений таинственного списка либерей я не нашел. И неудивительно: ведь дела эти касаются лишь официальной деятельности профессоров.

Закончив просмотр, беседую с заместителем директора по научной части Малле Лойт.

— В Пярну мне говорили, что ваш архив хранит документы, относящиеся еще к глубокой древности.

— Самые ранние датированы двенадцатым веком.

— Нельзя ли посмотреть дела за тысяча пятьсот шестидесятые годы?

— Да, но материалы расположены не в хронологической последовательности, а по географическому признаку.

— Меня интересуют дела пярнуского архива за шестидесятые годы шестнадцатого века, то есть за время посещения пастором Ветгерманом либерей Ивана Грозного.

— Приезжайте через два месяца, приготовим.

Правда, пока просмотр документов почти ничего не дал. Но он далеко не закончен. А тем временем письма Дабелова и Клоссиуса выделены в особую «группу изучения» и тартуский полиглот, мой добрый знакомый Пент Нурмекунд в скором времени разберет их. Уже просмотрена газета «Waba maa» за 1930—1934 годы.

* * *

О поисках библиотеки я опубликовал несколько статей в газетах и журналах. На эти публикации поступило немало читательских писем, и почти все они кончатся вопросом: где же искать заколдованную либерей?

Я уже писал в статьях, что являюсь сторонником так называемой александровской гипотезы, а говоря другими словами, считаю, что либерей, по всей вероятности, находилась в городе Александрове. Очень возможно, что там она и осталась. Эта точка зрения вполне совпадает с мнением александровского краеведа М. Н. Куницына.

В самом деле. Давайте внимательно присмотримся к исторической обстановке 1565 года, который в «Ливонской хронике» Ниенштедта отмечен как дата осмотра Ветгерманом библиотеки. Известно, что в декабре 1564 года Иван Грозный с ближайшей свитой покинул Москву в неизвестном направлении. Вскоре, однако, выяснилось, что он обосновался в Александровской слободе, на подорожье между Москвой и Ярославлем. На Руси начинается жестокий период опричнины, кровавых расправ царя с внутренними врагами, прежде всего с частью именитого боярства, претендовавшего на руководящую роль в государстве. Александровская слобода на время как бы превращается в столицу.

Известно, что в слободу перевезли всю государеву казну, напоминает М. Н. Куницын, а из некоторых документов видно, что казна и библиотека составляли одно целое. И вот что писал в 1960 году покойный ныне академик М. Н. Тихомиров: «Ведь 1565 год был началом опричнины. В этом году изменник князь Андрей Курбский написал Ивану Грозному послание, в котором укорял царя за преступление по отношению к московской аристократии. Презрительный тон послания бежавшего князя нарочито подчеркивал малокультурность самого Ивана Грозного и всех русских людей по сравнению с другими якобы образованными народами. Письмо Курбского вызвало возмущение царя, направившего ему свое ответное послание, в котором он неоднократно ссылается на различного рода литературные произведения. Вот тогда-то и могла возникнуть мысль о переводе греческих и латинских книг, хранившихся в Москве, для того чтобы показать всей Европе, обвинявшей Россию в варварстве, какие богатства

хранятся у русского царя. Дальнейшие события помешали Ивану Грозному заняться своей библиотекой, но свидетельство Ниенштедта о ее существовании не может быть опровергнуто никакими натяжками и придирками»¹.

Если Веттерман осматривал библиотеку в 1565 году, то это, по всей вероятности, происходило все же не в Москве, а в Александровской слободе. В том году царь, только что переселившийся в слободу, очень редко отлучался из нее, да и то на чрезвычайно короткое время. Известен лишь его приезд для приема послов, во время которого, конечно, было не до показа библиотеки ссыльным дерптцам.

Итак, «Ливонская хроника» свидетельствует, что в 1565 году группа дерптцев была выслана на окраины России. Кстати, об этом упоминают Псковская и Александроневская летописи: «Лета 7073-го (1565.— В. О.) месяца июня велел царь и великий князь вывести из Юрьева Ливонского бурмистров, и посадников, и ратманов всех немец, за их измены, в Володимер, на Кострому, в Нижний Новгород, на Угльч»². В летописях указываются имена четырех конвоиров, которые вели каждую группу пленных. А теперь задумаемся над тем, какой дорогой двигались ссыльные. Нет никакого сомнения, что, выйдя из Дерпта (Тарту), они шли в назначенные места кратчайшим путем, то есть не по старой Смоленской дороге (по которой всегда прибывали иноземцы из Западной Европы), а на Гсков, от Пскова на Старую Руссу, далее на Вышний Волочок и Тверь. В Твери, видимо, пленные расставались: одни следовали на судах в Углич, Кострому и Нижний Новгород, другие шли дальше — во Владимир. Если вникнуть в слова Ниенштедта о том, что царь знал Веттермана как ученого человека, то есть слышал о нем заочно, заблаговременно до его прибытия, то следует прийти к выводу, что он принимал пастора в слободе, которая как раз лежала на прямом пути от Твери на Владимир; нет сомнения, что именно эти группы и сопровождал Веттерман.

Но, возражают мне, во всех документах говорится о показе библиотеки в Москве, при чем же здесь Александровская слобода? Опровергнуть это заявление трудов не стоит: под Москвой иностранцы понимали тогда вообще Московию, Московское государство и уж во всяком случае землю Московскую, то есть город и его ближние и дальние окрестности. Против Александровской слободы как места хранения библиотеки есть только одно существенное возражение. Но и оно, как мы увидим, отпадает.

Доктор исторических наук А. А. Зимин в содержательной статье «К поискам библиотеки московских государей», приводя ряд весьма новых, ценных фактов и в пользу соображений существования библиотеки, полагает, что осмотр ее происходил в 1570 году:

«До лета 1570 года юрьевцы находились под строгим надзором. Их положение резко изменилось, когда Иван Грозный пришел к мысли о создании в Ливонии буферного королевства с датским принцем Магнусом в качестве его короля. Магнус прибыл в Москву 10 июня 1570 года, торжественно встреченный в русской столице. Здесь он находился в течение 15 дней, после чего направился с русским войском под Ревель, рассчитывая взять этот бастион шведского владычества в Прибалтике и покрыть воинской славой свои знамена»³.

Прямое доказательство демонстрации библиотеки в июне 1570 года в Москве во время приема Магнуса А. А. Зимин видит в том, что в хронике Ниенштедта упоминается Фома Шреффер, один из спутников Веттермана. Он считает, что это не кто иной, как Христиан Шрафер, который действительно находился в свите Магнуса. И хотя в пользу такой версии можно привести тот факт, что хронист Ниенштедт в ряде случаев путает имена, но эта путаница все же касается в основном русских, а не немецких имен. И мы думаем, что Фома (Томас) Шреффер и Христиан Шрафер — разные лица, а если Иван Грозный интересовался Веттерманом как ученым, как переводчиком, в котором он в тот момент крайне нуждался (что справедливо подчеркивает М. Н. Тихомиров), то он, конечно, мог сделать для пастора исключение и показать библиотеку по

¹ «Новый мир», 1960, № 1, стр. 199—200.

² С. Веложуров. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М. 1898, стр. 256—257.

³ «Русская литература», 1963, № 4, стр. 128—129.

пути следования его во Владимир и другие города. В слободе была даже особая «Под-немецкая округа»⁴, где селили иностранцев.

Мне могут сказать: допустим, библиотека в самом деле находилась в Александрове в годы опричнины. Но кто докажет, что она осталась там навсегда? В качестве ответа на вопрос могу привести слова М. Н. Куницына, хорошо знающего историю своего города: «Думаю, что библиотека осталась там. Иван Грозный покинул слободу в 1581 году после убийства своего горячо любимого сына Ивана, с которым он связывал все будущее государства. Глубоко удрученный, он всю дорогу шел за гробом пешком. Последние два с половиной года он по существу агонизировал: неистово молился, проклинал себя, окружал колдунами и астрологами, глядел на стоявшую в небе зловещую комету. Было бы весьма странно предположить, что библиотека античных рукописей могла занимать воцарившегося после Ивана Грозного его сына, «блаженного» Федора Иоанновича, у которого одно лишь воспоминание об отце вызывало муку и страх. Как ни странно, разумный государственный муж Борис Годунов был, по свидетельству летописи, «бесписьменным», то есть неграмотным человеком. А потом настало «смутное время»... Вот и мальчик Михаил Романов на троне, и далекий от интересов к античности царь Алексей Михайлович... В качестве весьма достоверной гипотезы можно выдвинуть предположение, что Грозный повелел скрыть библиотеку в одном из александровских тайников. Не исключено, что он повелел уничтожить и самих замуровщиков. Во всяком случае, в отличие от московского Кремля, под которым неоднократно проводились раскопки, александровские подземелья и тайники почти не изучены.

* * *

С каждым годом становится все меньше и меньше скептиков типа русского историка С. А. Белокурова, считавшего, что либерей не существовало, а потому, мол, и искать ее бесполезно. (К такому выводу пришел он в своем исследовании «О библиотеке московских государей в XVI столетии».) Начисто отвергнут первый из выводов Белокурова об отсутствии якобы «современного русского свидетельства о существовании в XVI в. царской библиотеки, состоявшей из громадного количества иноязычных рукописей (греческих, латинских и еврейских)»⁵. Проживающий в Бельгии историк И. Денисов безапелляционно доказал, что «Сказание о Максиме философе», которое С. А. Белокуров считал недостоверным, написанным через много лет после смерти Максима, на самом деле создано не кем иным, как князем Андреем Курбским, хорошо знавшим этого ученого богослова и, следовательно, с его слов писавшим о библиотеке.

Помимо «Сказания о Максиме философе», Курбский является автором и «Предисловия на книгу словес Златоустовых, глаголемую Новой Маргарит». А в этом сочинении есть слова Максима Грека о происхождении библиотеки. Рассказывая о нападении турок на Византию, Максим подчеркивал: «...а царицу свою, со всею казною, со газофилякиєю книжною, выпустил (византийский император.— В. О.) на Белое (Средиземное) море в кораблях до Родиса (Родоса) и до Венацеи (Венеции)»⁶. Безусловно, что это свидетельство и послужило обоснованием И. Я. Стеллецкому говорить о византийском происхождении либерей.

К настоящему времени разыскано и установлено не менее двух десятков прямых и косвенных доказательств существования либерей античных рукописей Ивана Грозного. Вот некоторые из них.

1. «Сказание о Максиме философе» сочинено его современником А. Курбским. В нем приводятся подлинные слова Максима Грека о наличии либерей у великого князя Василия Ивановича, отца Грозного.

2. Отрывок из «Ливонской хроники» Ниенштедта об осмотре пастором Веттерманом этой либерей в 1565 году неопровержим.

3. Не найденный до сих пор «аноним Дабелова», находящийся ныне, по всей вероятности, в Финляндии, безусловно не фальсификация, а подлинный документ.

⁴ Г. Вочаров, В. Выголов. Александровская слобода. М. «Искусство». 1970, стр. 7.

⁵ С. Белокуров. О библиотеке московских государей в XVI столетии, стр. 336.

⁶ Там же, стр. 243.

4. Приведенная в IV томе «Актов Археографической экспедиции», датированная XVI веком «Опись царского архива» упоминает «коробью ноугородскую» с «латинскими книгами». Сообщив этот документ на 29 странице своей книги, С. А. Белокуров даже не прокомментировал его, а между тем это могла быть если не вся либерей, то часть ее.

5. Тот же С. А. Белокуров опубликовал письма миссионера Петра Аркудия к кардиналу Сан-Джорджо и литовского канцлера Льва Сапеги к Клавдию Рангони. Оба письма отправлены «путешественниками» 16 марта 1601 года из Можайска, на обратном пути из Москвы. Письма свидетельствуют о тщетных попытках Аркудия и Сапеги разыскать ценную греческую библиотеку, про которую они писали: «...некоторые ученые люди подозревают, что она находится в Москве»⁷. Кстати, это лишь одна из многочисленных и безуспешных попыток иностранцев разведать библиотеку и, если возможно, вывезти ее за рубеж. Дыма без огня не бывает...

6. В библиотеках Москвы и Ленинграда находится немало византийских рукописей зачастую с великолепнейшими миниатюрами. Происхождение некоторых из них неизвестно, и нет никаких доказательств, что они не из легендарной либерей.

7. То обстоятельство, что в городе Александрове до сих пор не производились раскопки с целью обнаружить библиотеку или ее остатки, обнадеживает нас, весьма немногочисленных сторонников «александровской гипотезы», считающих, что книжное сокровище должно было находиться в слободе.

⁷ Там же, стр. DXXI.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МИКОЛА БАЖАН



ВЫСОКАЯ МИССИЯ

Серьезный, вдумчивый разговор о литературе и современной жизни, состоявшийся на VI съезде писателей СССР, еще раз со всей наглядностью подчеркнул коммунистическую устремленность советской литературы, крепнущее интернациональное братство и активное творческое взаимообогащение национальных литератур нашей страны.

Эти процессы развития социалистической культуры четко определил Леонид Ильич Брежнев в докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик»: «У нас сложилась и расцвела единая по духу и по своему принципиальному содержанию советская социалистическая культура. Эта культура включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры и быта каждого из народов нашей Родины. В то же время любая из советских национальных культур питается не только из собственных родников, но и черпает из духовного богатства других братских народов и, со своей стороны, оказывает на них благотворное влияние, обогащает их».

Этому великому делу и служит творческий труд советских писателей-переводчиков.

Нет в мире страны, которая могла бы сравниться с нашей по количеству переводимых книг, по продуманности и широте отбора, по профессиональному уровню переводческого труда. Это не фразы. Советская школа перевода, о которой с полным правом уже на II съезде писателей говорили Мухтар Ауэзов, Максим Рыльский, Павел Антокольский, с тех времен еще более окрепла, увеличилась за счет прекрасных книг старшего и младшего поколений переводчиков, а иной раз и просто начинающих.

Эта школа создавалась не на пустом месте. Она вобрала в себя лучшее, что оста-

вили ей в прошлом мастера перевода начиная с Пушкина, Жуковского, Гнедича. Русская литература всегда высоко ценила переводческое дело как неотъемлемый род литературы, даже, по определению Пушкина, «наиболее трудный род». К сожалению, мы до сих пор недостаточно изучили и изучаем историю перевода в России. Почти не исследована история переводческого дела в братских литературах.

На опыте советской школы перевода учатся наши коллеги — литераторы братских социалистических стран. Этот опыт, эти достижения вынуждены признавать и переводчики из буржуазных государств, где их зависимость от денежного мешка и рынка, от вкуса обывателей и потребителей массового искусства ощущается едва ли не больше, чем в других литературных цехах.

Принципы, цели, задачи советской школы художественного перевода органически и нераздельно связаны с общими процессами развития нашей культуры. Высокая миссия писателя-переводчика стала действенным фактором укрепления новой исторической общности людей, общности их взглядов, эстетических и этических стремлений. Это немало способствовало сохранению своеобразия национальных форм, сближению культур советских народов, углублению их взаимоотношений, взаимопознания, взаимообогащения. Писатель-переводчик со всей ответственностью служит процессам духовного единения наших народов, делу коммунистического воспитания и удовлетворения растущих культурных потребностей советского человека, получившего все возможности для всестороннего развития, для овладения ценностями всечеловеческой культуры.

Явлением поистине удивительным стал в послевоенные годы подъем национальных литератур народов, в досоветское время

не имевших даже письменности. Теперь эти литературы подарили не только нам, но и всему миру прекрасные, неповторимые в своем национальном своеобразии произведения. Да и фольклорные ценности этих народов стали широкодоступными благодаря литературным записям и переводам на язык русский.

Достаточно вспомнить вышедшие в последние годы книги бурятского народного эпоса, переведенного Семеном Липкиным, якутского — в переводе Владимира Державина. Издан новый, свободный от религиозной накипи перевод «Экклесиаста» и «Песни песней», сделанный Игорем Дьяконовым. Борис Турганов бережно донес до миллионного читателя аромат степей, веющих от каждой строки украинского исторического эпоса — украинских дум. Все это истинные ценности, они создавались веками и веками оставались совсем или почти совсем неизвестными или же доходили до читателей в искаженном и обедненном виде.

Если говорить о классической старой и новой литературе советских народов, то можно, пожалуй, сказать, что все самое значительное — за редкими и случайными исключениями — уже переведено. И какие великолепные произведения получили читатели благодаря переводам Бориса Пастернака и Николая Заболоцкого из грузинской поэзии, Александра Твардовского, Николая Ушакова, Александра Дейча, отдавших свой труд литературе Украины, переводам из белорусской литературы Михаила Исаковского и Сергея Городецкого, переводам армянских поэтов Михаила Зенкевича, Анны Ахматовой, Веры Звягинцевой, из тюркоязычных литератур благодаря переводам Аделины Адалис, Самуила Маршака, Льва Пеньковского, из литератур Северного Кавказа — Эффенди Капиева... И в то же время мы не можем успоаиваться, ибо сколько еще серых, ремесленных копий с прекрасных оригиналов можно встретить в книгах переводов избранных произведений и Галактиона Табидзе, и Ованеса Тумяна, и Егише Чаренца, и Янки Купалы, и Абая, и многих, многих других. Читатель вправе удивиться, не поняв, чем же так восхищаются те, кто читает этих поэтов на их родном языке. И поневоле ему приходится делать снисходительные поправки к вступительным статьям, предпосланным сборникам.

А ведь это книги воистину больших поэ-

тов, не нуждающихся в снисходительности. Не нужно ни приукрашивать, ни «улучшать» по своему вкусу ни динамичность Бараташвили, ни песенность Купалы, ни многозвучность Райниса, ни кажущуюся простоту Джамбула. Будем ждать новые, более совершенные переводы, которые донесут до нас всю первозданную прелесть поэзии этих и других крупных художников.

Наверное, сегодня было бы невозможно даже просто перечислить имена всех тех писателей, которые благодаря достойным русским переводам стали не только знакомы, но и любимы миллионами многонациональных советских читателей и читателей зарубежных. Ведь только за последние пять лет вышло более трех с половиной тысяч книг классической и современной литературы народов СССР, переведенных на русский язык. Конечно, не все эти книги равноценны по качеству перевода. Но сколько таланта, любви, знания, умения вложено, например, в изданные теперь многотомники сочинений Берды Кербабеева, Андрея Головки, Александра Корнейчука, Константина Гамсахурдиа, Олеса Гончара, Андрея Упита, Мухтара Ауэзова, Михаила Джавахишвили, Наира Зарьяна и других выдающихся советских прозаиков! А сборники поэзии Павло Тычины, Гафура Гуляма, Петруса Бровки, Расула Гамзатова, Ираклия Абашидзе, Давида Кугультинова, Кайсына Кулиева, Эдуардаса Межелайтиса! Мастера русского художественного слова донесли в своих переводах и размах и глубину их поэзии, и ее гражданственный дух, и ее национальное своеобразие, и ее тематическое богатство. Дань благодарности за это следует принести прежде всего таким мастерам русского художественного перевода, как Николай Тихонов, Павел Антокольский, Алексей Сурков, Леонид Мартынов, Александр Межиров, Михаил Дудин, Арсений Тарковский, Яков Хелемский, Маргарита Алигер, Давид Самойлов, Владимир Солоухин, Борис Слуцкий, Лев Озеров, Мария Петровых, Елена Николаевская, Мария Комиссарова, Юлия Нейман, Владимир Соколов, Владимир Россельс, Яков Козловский, Наум Гребнев...

Русский язык — великое средство взаимосвязи и взаимообогащения братских народов стал для нашего нерусского читателя вторым, близким и необходимым языком. Значит ли это, что теряет значение любовный труд переводчика русской поэзии, прозы, драматургии на язык другой совет-

ской нации? Значит ли, что меньше благодарности теперь вызывает прекрасная работа Максима Рыльского, переведшего «Евгения Онегина» и «Медного всадника», или труд Якуба Коласа, Антанаса Венцловы, Симона Чиковани, Самеда Вургуня, Лахути, Мухтара Ауззова, Айбека и многих других славных советских поэтов и прозаиков, развивших дело, начатое еще Гребенкой, Грабовским, Богдановичем, Абаем, Туманяном, Александром Чавчавадзе, Габдуллой Тукаем? Нет, их труд был и остается важным и плодотворным вкладом в дело развития национальных культур нашей страны, развития, невозможного без глубокого, органического восприятия сокровищ других литератур, и прежде всего сокровищ русской культуры.

За последние годы в литературе народов СССР произошли такие радостные события, как перевод «Евгения Онегина», сделанный в Туркмении Анна Ковусовым и Мамедом Сейдовым, в Грузии — Отаром Челидзе, в Латвии — Мирдой Бендрупе, в Эстонии — Бетти Альвер. Антологию русской классической поэзии создал в Грузии Мурман Лебанидзе. Поэмы Лермонтова появились на белорусском благодаря любовному труду Аркадия Кулешова. Молдавский писатель Игорь Крецу мастерски перевел Гоголя. Поэзию Владимира Маяковского переводят поэты всех советских народов, среди них такие мастера, как Расул Рза, Савва Головановский, Павел Старостин, Заки Нури. Шевченковскую премию заслужил переводчик Шолохова Степан Ковганюк. Тридцать томов библиотеки русских писателей издается в Армении.

Или возьмем, например, Азербайджан. За последние годы там издано шесть томов сочинений Гоголя, пятнадцать — Горького, восемь — Шолохова. Вышли произведения Тихонова, Федина, Фадеева, Маркова. Все это не только расширяет духовный мир читателя, но и способствует развитию национального языка, укрепляет чувство нашего многонационального единения! Плодотворен и прекрасен процесс органического взаимообогащения литературы и языка советских народов. Приведу хотя бы несколько фактов, говорящих об углублении и расширении этого процесса. Белоруссия и Украина «обменялись» большими поэтическими антологиями: на Украине под редакцией Миколаы Нагнибеды, в Белоруссии — Анатолия Велюгина. Из пятнадцати запланированных томов антологии молодой поэзии всех со-

юзных республик вышло на Украине уже более десяти, в серии «Братерство» выйдут томики избранных стихов советских поэтов, отдельными книгами изданы стихи Петро Глебки, Зульфий, Исаакяна, которого переводили В. Кочевский, И. Драч, Б. Олейник и другие. Переводится на украинский язык много книг современных прозаиков, а украинская проза издается во всех союзных республиках. На Украине выходит альманах «Сузір'я», посвященный литературе народов СССР, в Белоруссии — «Далягляды», в Грузии — «Саундже», в Молдавии — «Меридианы».

Внимание переводчиков привлекают и старые шедевры и современные произведения. Гордость грузинской поэзии поэма Руставели появилась в последние годы в литовском переводе Йонаса Грайчюнаса, на казахский ее перевел Хамза Абдуллин. В Эстонии вышли эпические творения наших народов — славный «Давид Сасунский», «Лачплесис». На казахском языке изданы книги стихов и новелл эстонских писателей, стихи Леси Украинки, Мустая Карима, Эдуардаса Межелайтиса. Прекрасно перевел Кайсына Кулиева Аркадий Кулешов. Книги Расула Гамзатова, Михайла Стельмаха, Василя Быкова, Чингиза Айтматова вышли более чем на двадцати языках советских народов. И это еще далеко и далеко не все значительное, художественно ценное, переведенное за последние годы из литератур народов СССР.

Непреложны факты удивительного гармонического расцвета духовной жизни нашего общества, расцвета литературы всех народов социалистической страны. Не надо уже доказывать, что нет у нас такой литературы, будь она даже младописьменная, которая не открыла бы в наше время человечеству свои давние и не создавала бы новые ценности, обогащающие культуру всечеловеческую.

На мировую арену вышли литературные творения народов, раньше лишенных даже права на свой язык, осужденных на исчезновение. В условиях Советского государства эти народы получили возможность познакомиться мир с созданными в прошлом шедеврами устного и письменного творчества, не замеченными прежде из-за национального высокомерия верхов, и с творениями современной национальной культуры.

Не все сразу может быть свершено, но пора уже, чтобы лучшие произведения ли-

тературы всех, и многочисленных и мало-численных, наций и народностей Советского Союза постоянно находились в круге внимания переводчиков, ибо того требуют интересы современного читателя — и нашего и зарубежного. Нельзя не отметить ту большую роль, которую играют в этом плане наши центральные журналы, и в первую очередь «Дружба народов» — один из наиболее популярных сейчас журналов. Подлинным источником научной информации стал и коллективный литературоведческий труд — шеститомная «История советской многонациональной литературы». И если еще в Грузии, на Украине, в республиках Прибалтики мало знают, скажем, устное народное творчество, классические и современные произведения туркменской литературы, если на языках народов СССР еще мало переводов хотя бы глав знаменитого «Манаса» (который, впрочем, вышел сейчас на узбекском в переводе Миртемира), если старые разноязычные издания «Джангара» — библиографическая редкость, а новых нет, то, значит, нужна серьезная литературоведческая и пропагандистская работа по своеобразному, гибкому и реалистическому планированию переводческого дела во всех республиках.

Полное интернационалистского пафоса творчество советских мастеров художественного перевода направлено и на дальнейшее ознакомление советского читателя с литературой стран социализма, что является одним из важных путей расширения идеологического сотрудничества между нашими странами. Об этом говорил Леонид Ильич Брежнев на XXV съезде КПСС.

Сотни произведений братских социалистических стран, переведенные на русский язык и на языки других советских народов, выходят каждый год отдельными изданиями, печатаются в журналах. Особенно надо отметить пятнадцатитомные библиотеки социалистических стран, выходящие при участии издательств «Прогресс», «Художественная литература», «Искусство». Появились уже все книги библиотек Болгарии и ГДР, большинство книг библиотек польской, венгерской, чехословацкой. Начинается работа над аналогичным изданием литературы Румынии и Югославии. Вышедшие книги прекрасно приняты нашим многомиллионным читателем, которому открылась глубина и проникновенность творчества Бертольта Брехта и Ивашкевича,

Пуймановой и Новомеского, Стоянова и Тибора Дери, Домбровской и Захарии Станку. Переводчики доказали тут свое искусство, как доказали они его и изданиями много-томника Чапека, книгами Карпентьера, Ванчуры, Германа Канта, Станева. Очень интересный и нужный том современной поэзии социалистических стран вышел в «Библиотеке всемирной литературы».

И классика и произведения современных писателей выходят большими тиражами, в новых, более совершенных переводах во всех республиках нашей страны. На Украине, скажем, издана двухтомная антология болгарской поэзии под редакцией Дмитро Белоуса, новые переводы Христо Ботева завершил Дмитро Павлычко, вышли стихи Антала Гидаша, Хосе Марти, Эминеску, сборники рассказов писателей ГДР, македонских, вьетнамских, венгерских, кубинских писателей, цикл стихов современных каталонских поэтов. Политовски издан «Пан Тадеуш» (перевод Винцаса Путинаса и Юстинаса Марцинкявичюса). В Грузии М. Мачавариани создал антологию болгарской поэзии. В Белоруссии Язэп Семежон составил интересную антологию вьетнамской — и классической и современной — поэзии. Более четырехсот пятидесяти книг социалистических стран ежегодно выходит в переводах на русский и другие языки народов СССР.

Духовные интересы советского человека обращены к литературам всего мира, ко всем континентам, ко всем странам и народам, без расистского разделения их на «исторические» и «неисторические», на «ведущие» и «ведомые».

Мы с гордостью отмечаем, что наша страна не только первая в мире по общему количеству названий и тиражей издаваемой переводной литературы, но является и первооткрывателем до сих пор мало известных или совсем неизвестных литератур, особенно народов Азии и Африки, недавно освободившихся от колониального ига.

Мы ведем напряженную работу над тем, чтобы все истинно ценное, существующее в истории мировой литературы, дошло в новых, лучших переводах до современного советского читателя, удовлетворяя его стремительно выросшие потребности художественного и эстетического познания, духовного обогащения. Русские переводчики выпустили в последние годы ряд книг, которы-

ми они могут справедливо гордиться. Уникальны серии «Библиотеки всемирной литературы», издания «Литературных памятников». Вспомним, что более ста семидесяти томов «Библиотеки всемирной литературы» уже увидели свет, и вскоре это двухсоттомное издание будет закончено. Уже сейчас каждый том ее, вышедший тиражом триста тысяч, редкость и ценность. Охват литературных произведений в «Библиотеке» поистине глобален. По времени она начинается самым древним, четырехтысячелетней давности, эпосом «Гильгамеш» и доходит буквально до наших дней.

Конечно, не все переводы в этой «Библиотеке» сделаны на одинаково высоком уровне, но откровением для читателя стала и «Махабхарата» в переводе Семена Липкина, и тома, посвященные прозе и поэзии Востока, и книга поэзии Ренессанса, и том поэзии Японии — издание, счастливо дополненное двухтомной антологией японской поэзии, вышедшей недавно в прекрасных переводах Веры Марковой, Анны Глускиной и других. Надо назвать замечательные работы Льва Гинзбурга, открывшего всесоюзному читателю и неповторимую поэзию германского барокко и величие эшенбаховского «Парцифалья», и труды Николая Любимова, создавшего новые переводы Сервантеса, Рабле и Боккаччо, которые дали почувствовать нам красочность и богатство этих шедевров, ранее обедненных переводом.

Немало поработали в последние годы и переводчики в союзных республиках. На Украине Борис Тэн, хорошо передавший величие «Одиссеи», закончил перевод «Илиады». Последней работой Леонида Первомайского был блестяще воссозданный по-украински Вийон. Над старыми таджикско-иранскими поэтами, над стихами поэтов Советского Таджикистана, над рубаи Омара Хайяма прекрасно потрудился Василь Мысык. «Божественная комедия» — вся — переведена на украинский язык Евгением Дробязко. Белорусский читатель получил «Гайавату» Лонгфелло в певучем переводе Аркадия Кулешова. В Литве за перевод великой трилогии Данте получил Государственную премию республики Алексис Хургинас. В Узбекистане Данте переведен Абдуллой Ариповым, в Казахстане — Мукагали Макатаевым. В Литве вышел перевод «Калевалы», замечательно сделанный Юстинасом Марцинкявичюсом. Подъем переводческой деятельности явно ощущается

в Грузии, где только что издан «Гильгамеш», переведенный с аккадского Зурабом Кикнадзе, Вийон в переводе Давида Цередиани, Паскаль и Флобер в переводе Бачана Брегдадзе. А как восхищают всех нас труды Ахмеда Джамиля в Азербайджане и Эркина Вахидова в Узбекистане, давших своим народам первый перевод гётевского «Фауста». И можно ли не порадоваться тому, что таджик впервые на родном языке читает Сервантеса и Шарля Де Костера в переводах С. Улугзаде! И не отметить такие события, как белорусский перевод «Короля Лира», сделанный Юрием Гавруком, или выход в Эстонии семи томов Шекспира, переведенных Леннартом-Георгом Мери и Харальдом Раяметсом, или подготовленное в Грузии полное собрание сочинений великого англичанина?

Особо хочется обратить внимание на переводы из литератур Южной Америки, переживающих сейчас пору расцвета, и молодых литератур Африки, все более и более переходящих на родные языки, на переводы современной литературы Индии и Японии.

Известно, какой интерес у советского читателя вызвали книги Габриэля Гарсиа Маркеса, Карлоса Фуэнтеса, М. А. Астуриаса, Хулио Кортасара. Сердца миллионов людей глубоко тронула пламенная поэзия Пабло Неруды. Мы полюбили и стихи Хосе Марти, Николаса Гильена, Рубена Дарио, Габриэлы Мистраль, Гонзага. С большим интересом встретили читатели романы японцев Кобо Абэ, Ясунари Кавабата, Кэндзабуро Оэ и индийца Кришана Чандара. О переводах японской поэзии я уже упоминал. В Советском Союзе заботливо переводятся и издаются Цюй Юань, Ду Фу, Ли Бо, Бо Цзюй-и, Цао Чжи, Лу Синь.

Надо ли говорить, что в потоке нынешней буржуазной модернистской литературы, загрязненной эгоизмом, порнографией, психопатологическими казусами, чело-веконенавистничеством, безысходным пессимизмом да и неофашистским ницшеанством, нелегко выловить действительно ценные, талантливые произведения. Я имею в виду буржуазный лагерь, которому в каждой стране противостоят писатели прогрессивные, чуждые антикоммунистическому психозу, дальновидные, связанные с жизнью и борьбой народа, писатели, героическим авангардом которых являются коммунисты. Они наши братья по делу и духу, мы их любим, знаем, переводим.

Вместе с тем мы стремимся — а это отвечает и интересам наших читателей — знать творчество современных западноевропейских, американских, японских, индийских писателей, своеобразно и ярко отражающих историю, реальную действительность, внутреннюю жизнь человека. Их книги часто очень сложны по форме, предельно изысканны по стилю и языку, иногда просто трудно понимаемы. Это заставляет нас с особой благодарностью вспомнить о работе переводчиков и среди них назвать Евгению Калашникову, Наталию Волжину, Соломона Апта, Риту Райт-Ковалеву, Марию Лорие, Георгия Брейтбурда и многих других, благодаря которым многонациональный советский читатель узнал и оценил творчество Фолкнера и Томаса Манна, Хемингуэя и Павезе, Ивлина Во и Арагона, Макса Фриша и Олдриджа. Большая армия квалифицированных переводчиков трудится в союзных республиках над произведениями современных писателей капиталистических стран: на Украине — Евгений Попович, Виталий Коротич, Иван Драч, Виктор Коптилов, Михайло Москаленко, Юрий Покальчук, Мар Пинчевский, в Грузии — Реваз Тварадзе, в Латвии — Анна Бауга, в Эстонии — Лейли Каск и другие. И кадры таких переводчиков все растут.

Невозможно перечислить все действительно выдающиеся, вышедшие у нас в последнее время книги европейских и американских писателей. Достаточно сказать, что с 1971 года в Советском Союзе выходит каждый год около пятисот книг американских, английских и французских писателей. И не десятки, а сотни произведений зарубежных авторов миллионы советских людей читают в популярных журналах «Иностранная литература» и «Всесвіт», в альманахах, издаваемых в Грузии, Белоруссии, Латвии, Молдавии.

На Берлинской конференции коммунистических и рабочих партий Европы в 1976 году Леонид Ильич Брежнев говорил о вопросах культурного обмена: «Мы в Советском Союзе считаем важным, чтобы наши люди больше знали о прошлом и настоящем других народов, глубже знали их культуру, умели уважать исторический опыт и достижения других стран». Такова линия всех социалистических стран.

В 1977 году в Советском Союзе выйдет более полутора тысяч произведений иностранных авторов, общим тиражом около

шестидесять миллионов. В шесть-семь раз больше издаем мы книг английских и французских писателей, чем в Англии и Франции — книг советских авторов. И после этого находятся люди в Соединенных Штатах Америки, Франции, ФРГ, Англии, которые смеют утверждать, что мы нарушаем дух Хельсинкских соглашений! А как же назвать книгоиздательскую политику в буржуазных странах, где книги советских писателей выходят редко, а вот писания изменников, клеветующих на свою родину, издаются охотно и щедро? Именно такая издательская политика и является действительным нарушением Хельсинкских соглашений, является попыткой загрязнить и взбаламутить атмосферу мирной разрядки. Если же кто-нибудь из буржуазных идеологов думает, что их вопли о «закрытом обществе» смогут открыть наши двери для книг, восхваляющих войну, насилие, расизм, человеконенавистничество, то они глубоко ошибаются. В современной идеологической борьбе социалистическое мировоззрение завоевывает сознание все больших и больших масс. Оно торжествует в странах социализма, оно проявляется в творчестве честных, передовых писателей, живущих в условиях капитализма. А для таких книг наши двери широко открыты. Эти книги мы переводим и будем переводить. Их у нас читают миллионы. Советский народ — великий читатель. Его потребность в литературе, круг культурных интересов непрерывно и быстро растет. Это определяет и перспективы переводческого дела в многонациональной нашей стране.

Советские писатели-переводчики принимают всю ответственность, значительность, весь нынешний размах и широкие горизонты своего творческого труда. Как бы много ни было ими уже сделано, значительно больше и лучше еще надо сделать, более взыскательно и принципиально отбирать книги для перевода, более тщательно и усердно над ними трудиться, более квалифицированно их редактировать и издавать.

Не секрет, что порою переводятся книги незначительные, случайные, не отражающие успехов той или иной литературы. Издается немало переводов серых, обесценивающих оригинал, компрометирующих его. Бывает, что издательства поручают переводы людям, от которых заведомо трудно ожидать хорошего качества работы.

Овладевая искусством перевода, мы должны бороться и с бескрылым буквализмом и с переводческим своеволием, граничащим с неуважением к автору. Нужна резкая критика наших недостатков, нужно постоянно быть на страже этических и эстетических принципов советской школы художественного перевода.

Не случайно переводческие вопросы и проблемы заняли столь значительное место в работе VI съезда писателей СССР. О переводе особо говорилось в отчетном докладе правления Союза писателей СССР. «Необходимо,— сказал докладчик Георгий Марков,— всеми мерами поднимать значение переводческой работы, отвечать за нее не формально, а по существу, как за дело, от которого во многом зависят судьба нашей советской культуры, интернациональная духовная жизнь нашего советского общества».

Интересной и полезной была работа съездовской комиссии, обсуждавшей вопрос: процессы взаимообогащения литератур советских народов и проблемы художественного перевода. Ораторов особенно волновала проблема повышения качества художественного перевода. В выступлениях приводились примеры некачественного отбора произведений для перевода и недобросовестного перевода, подчеркивалась ответственность труда переводчика на нынешнем этапе, когда взаимообогащение братских литератур идет вглубь и интен-

сивность его во многом зависит от успехов переводческого дела. Поэтому необходимо — и это записано в резолюции VI съезда писателей СССР — развивать всестороннее изучение этих вопросов, разработать и осуществить мероприятия по дальнейшему улучшению переводческой деятельности, подготовки кадров переводчиков, по развитию теории перевода.

Совет по художественному переводу правления Союза писателей СССР за последние годы провел немалую работу по координации разноязычной переводческой деятельности советских писателей. Ряд всесоюзных и международных республиканских и региональных встреч, конференций, совещаний способствовал сплочению переводческих сил, осознанию коллегиальности, единства целей и задач. В будущем нашему совету предстоит много забот и беспокойств. И это хорошо. Наше дело важное, но и трудное, славное, но и сложное.

Планы будущего, планы коммунизма вдохновляют и объединяют все советские народы в нерушимое, единое, многонациональное целое. Писатели-переводчики вносят в это единство свой посильный вклад. Они призваны осуществить ленинский завет о том, что коммунистом можно стать, лишь овладев и постигнув все ценное и лучшее, созданное человечеством. Пусть же их труд будет достоин бессмертного ленинского завета!



АНДРЕЙ НУЙКИН



МУЗЫ И ИНТЕЛЛЕКТ

Иезадолго до смерти Василий Шукшин в разговоре об искусстве признался: «В жизни — с возрастом — начинаешь понимать силу человека постоянно думающего. Это огромная сила, покоряющая. Все гибнет: молодость, обаяние, страсти — все стареет и разрушается. Мысль не гибнет, и прекрасен человек, который несет ее через жизнь».

Сейчас, в век НТР, «спрос» на знания и мысль быстро повышается. Везде. В художественной литературе тоже. Думается, не случайно в печати последних лет и с трибуны VI съезда писателей СССР остро ставился вопрос об интеллектуальном уровне литературы, о необходимости глубокого приобщения писателей и критиков к таким наукам, как философия, психология, социология и т. д.

Далеко не всеми это «веяние века» воспринимается правильно. Одни по старинке продолжают смотреть свысока на всякого рода философствование, убежденные, что «внутреннему чутью» знания только в помеху, другие, наоборот, слишком торопливо и без должного достоинства идут «на выучку» к науке.

Поток героев, разводящих «глубокую философию на мелком месте», грозит перелестнуть через все дамбы.

«Мы все чего-то ищем. Это наша коллективная ошибка, а самое главное удовольствие — терять», — глубокомысленно изрекает персонаж одного далеко не бездарного фильма. Эффектно звучит, не правда ли? Но почему же все-таки терять — это удовольствие, да еще «самое главное»? Кого терять, что терять? Вещи, время, друзей? Нелепость какая-то и безответственность мысли.

Такого рода доморощенные откровения героев и авторов можно было бы перечис-

лять до бесконечности. Но если бы речь шла только об отдельных фразах!

Взаимоотношение писателей с философией, логическим анализом, логикой куда сложнее и тотальнее. Достаточно часто и с полным основанием мы говорим ведь об авторской философии, философии произведения и т. д. Тут мы касаемся не частных, легко поддающихся редакторской корректировке сторон художественного творчества, а сути, смысла его.

Сразу оговорюсь, речь пойдет в статье не о так называемой интеллектуальной литературе, не о «философской лирике» или «философских романах», которые представляют особый, специфический случай взаимоотношения искусства с эрудицией и интеллектом, а о самой обычной художественной литературе.

Объективность критика состоит вовсе не в том, чтобы уметь увидеть в произведении все его плюсы и минусы. Она в его умении понять, почувствовать объективный смысл произведения, его эстетическую идею, которую в значительной мере можно отождествить с философией произведения. Любое произведение — это целостный организм, направленный акт. Оценка отдельных его сторон и качеств в отрыве от нацеленности общего смысла — занятие абсурдное, то, что само по себе плюс, может в этой системе стать минусом, и наоборот. Хорошее качество меткость, не так ли? Ну а если стреляют в ваших друзей? Талантливость при отстаивании вредных идей из добра превращается в зло. Сочные детали, «не работающие» на основную мысль, только отвлекают, и чем они ярче при этом, тем хуже.

А ведь бывает и так, что анализ художественного произведения походит на своего рода инвентаризацию достоинств и недо-

статков, общая же оценка выводится в зависимости от того, чего больше.

Поучительна в этом отношении история критической «одиссеи» повести В. Лихоносова «Люблю тебя светло». Не буду называть имена, но напомню, что одни критики выразили резко отрицательное отношение к этому произведению, а другие, отмечая частные неудачи в трактовке некоторых персонажей, признали повесть явлением, весьма хвалили ее за острую постановку «проблемы совести», за задушевность, за поэтическое восприятие родины, истории, за неприязнь к суетному, бездуховному, разделили «пафос писателя, его устремленность, его любовь»...

Но вот что хочется сказать по этому поводу. Если бы в искусстве словесные декларации автора всегда были адекватны смыслу его произведений, то критическая оценка была бы едва ли не самым простым на свете делом. Увы, выявление объективно заключенной в художественной ткани философии требует и способностей, и усилий, и методологической вооруженности.

У меня не вызывает никакого сомнения, что если без предвзятости, путем выявления не декларируемых, а реально отстаиваемых автором ценностей добаться до объективного смысла повести «Люблю тебя светло», то общая ее оценка с неизбежностью окажется достаточно единой. При этом сразу оговорюсь, что речь идет не об анализе творчества В. Лихоносова в его целостности. Писатель он, бесспорно, способный и не однозначный — меняющийся от произведения к произведению, ищущий свою точку зрения, свою «меру вещей». Речь идет локально о повести «Люблю тебя светло».

Произведение это не только «исповедальное», но я бы даже сказал — проповедническое. С поистине Аввакумовой страстью обрушивается ее лирический герой (литератор по профессии) на пороки, столь распространенные среди его коллег по перу, — на бездуховность, суетность, погоню за пустой славой и корыстью, угодливость перед сильными мира сего и неряшливую развязность по отношению к «избранникам божьим», патриархам духовности.

Столь яростная устремленность к вечному и великому обещает многое, важно только разобраться, что именно вкладывается в эти слова автором.

Бесчисленной толпе «угодливых и откор-
мленных», толпе «мальчиков клубного та-

ланта», лихо умеющих «сосать» водку, снобов, которые, «одурев от тщеславия, солнце хотели заменить клизмой с розовым лекарством», в повести противопоставлен узкий круг избранных людей с высокими духовными идеалами, «не от мира сего»: Ярослав Юрьевич, Костя и их скромный ученик — лирический герой. Что же проповедуют учителя и ученик, как, во имя чего живут? Разобраться в этом нелегко, поскольку между словами и жизнью героев повести обнаруживаются некоторые расхождения. «Человек из легенды» Ярослав Юрьевич, к примеру, резко осуждает Есенина за «кабатчину». «С молодости так застонать, заплакать и износиться — не понимаю», — говорит он. Но несколькими страницами раньше описывается образ жизни самого «любимого мастера».

«И когда ты в носках перестанешь ходить по комнате, стыд-срам, носки дырявые, брюки неглаженные, пуговички на рубашке нет... спать не даешь, грязь носишь, комнату не проветриваешь, громко разговариваешь... Конечно, где тебе помнить — сколько вышил: поллитрой не обошлось», — укоряет «великого писателя» его «няня».

«Ты меня уважаешь?» — отвечает «великий писатель».

Это дома. А вот «божий избранник» в Доме литераторов:

«Ярослав! — кричали со всех сторон, подходили, и он, растрепанный, громкий, поднимался и целовал ни за что какого-нибудь борова, уделял ему место за столиком, вынимал скомканные в горсть красные бумажки и бежал заказывать водку и закуску...»

Это относительно «кабатчины». Теперь о слезливости. В лирическую минуточку Ярослав Юрьевич вспомнил, как он с компанией близких по духу людей возвращался ночью из Муранова — от Тютчева — и как вся эта компания «не сговариваясь» расплакалась, начав вспоминать строчку за строчкой «отчужден». «А я, понимаешь, не мог заплакать, потому что уже плакал много-много раз до этого и часто жил с этим...»

Но лирический герой просит не быть слишком строгим к избранникам за непоследовательность — их, как и Есенина в свое время, сбивают с толку всякие «ученые разбойники», связывая коварными «манифестами» и отвлекающими от «древнего благочестия» соблазнами. Поневоле приходится пить им, целовать красавиц, быть не-

ряшливыми («Талантливые люди... они же все простецкие в быту люди, у них всегда, извини меня, ширинка расстегнута»). Это все наносное — от дурных влияний. Избранники и в столь трудных условиях умеют сохранить главное — бога в душе, чувство Правды, верность Истине и «настоящей Руси». Заканчивается горестный рассказ о Есенине, которого «охмурили» в столице ученые злодеи, точным указанием адреса Правды: «А Русь жила, и жив был русский ум, и в лугах-то и ютилась правда!»

Эта вот тема Древней благочестивой Руси, лугов ее, банек проходит через всю повесть. Четко формулирует ее лирический герой в самом конце: «Да лучше мы век будем сдавать бутылки из-под кефира, но зато в редкие свидания мы потянемся пешком в Верею, в Боровск, вдоль Протвы-реки, любуясь старой русской окраиной и чистыми детскими лицами, опять жалея об одном, о том, что мало отпустил бог таланта, чтобы с древней широтой и удалостью воспеть то, чему мы молились».

Вроде бы докопались мы до корня, нашли, что же дорого и свято лирическому герою, что, по его понятиям, в жизни настоящее, а что мишура. Но удовлетворения нет. Что-то в этих ответах не соответствует внутреннему пафосу повести. Что? Тут полезно разобраться поглубже. Ну хорошо, Русь — это величественно, чистые детские лица — это здорово, но чего герой наш для них хочет? О чем его молитвы? Во имя чего готов всю жизнь сдавать бутылки из-под кефира? Дети, чьими чистыми лицами так приятно любоваться на фоне старых окраин, через несколько лет детьми перестанут быть. Кем они станут, чем заполнится их жизнь — «муравьиными заботами», погоней за благополучием? Сколько из них при этом может превратиться в «ученых разбойников», «снобов» «без бога в душе», «мальчиков клубного таланта», «угодливых и откормленных»? Ведь не спасти их ни молитвами, ни пешеходными прогулками в Верею и вдоль Протвы-реки, что-то надо предложить покапитальнее. Или для лобования и воспевания новые детишки с чистыми лицами подрастут — а эти, бог с ними, пускай из клуба в клуб шастают, окурками пепельницы наполняют? Но если так, то настолько ли уж дороги лирическому герою все те объекты, которыми он не устает умиляться?

Люблю тебя светло... Это может относиться и к Есенину и к Руси. Ими вроде

бы лирический герой живет и дышит. Но что нового открыл нам в Руси, пусть даже старой, «былинной», его любящий взгляд? На что заставил нас автор взглянуть иначе, глубже, светлее? Ничего. Ни на что. То же самое и относительно Есенина. Право же, кроме сомнительных рассуждений об интеллигентах-совратителях да нескольких интимных деталей, ничего нового о Есенине из повести, посвященной Есенину, так и невозможно почерпнуть. Как-то так получается, что, начав разговор о Есенине, лирический герой каждый раз переводит его на себя. И уж тут ему дорога малейшая деталь! Очень подробно и значительно, к примеру, повествуется о том, как тетя Ньюша много лет берегла его (лирического героя) чернильницу, и про многое другое: «Вот здесь я стоял прошлый раз (десять лет назад! — А. Н.). Посреди улицы, в тумане, в полночь. Вон там, в бедном ларьке, я покупал селедку и бутылку водки, чтоб попрощаться с хозяевами...» Ни единой есенинской строчки, гуляя ночами по есенинским лугам, герой не вспоминает, ему не до этого — он сосредоточен на том, как он возвышен и значителен оттого, что любит все великое, вечное (в том числе и поэзию Есенина)... Неожиданно отчетливо видишь — и до Ярослава Юрьевича с Костей, и до «великих сынов» прошлого, и до бога, и до всего прочего лирическому герою не так уж много дела. С первой строки до последней занят он только самим собой, своими возвышенными мыслями, своей тонкой, неординарной душой, своей верностью высоким идеалам. Бог же, Ярослав Юрьевич, тетя Ньюша нужны только для того, чтобы оттенить эти качества.

Умиление — одна из наименее продуктивных в искусстве эмоций. Но тут мы имеем нечто совсем уж необычное — умиление не объектами внешнего мира, а умиление своим умилением.

Но вернемся к Руси. Если бы Правду о ней надо было на лугах отыскивать, чего бы проще. Луга для всех зеленые и шелковистые. Но Русь (поскольку уж речь идет о древней Руси) испокон веку кому была матерью, кому мачехой. Какая же Русь из этих двух именуется в повести «настоящей»? Не ясно.

Не просто и с богом. Сам я убежденный атеист, но знаю достаточно серьезных людей, которые надеются вывести с помощью религии человечество из всех тупи-

ков, найти «нетленный» смысл жизни. Для чего нужен бог лирическому герою повести? Чтобы сделать более многозначительным свой духовный кураж?

Философия — наука особая. Когда она не плод сытого умствования в период послеобеденного кейфа, а итог настоящих поисков ответов на «вечные» вопросы человеческого бытия, то одним умом в философии не обойтись. Нужны высокие эмоции, нужно напряжение души, жажда идеала. Однако и без серьезной системной аналитической работы философии тоже нет. Философия выковывает мировоззрение, а мир — слишком сложное, диалектическое единство, и не разобраться в нем между делом, походя, при помощи доморощенных методик. Философия там только и начинается, где кончаются эти самые доморощенность, эмпиризм, клочковатость знаний и произвол субъективных мнений. Нравится или не нравится кому бы то ни было, к примеру, диалектика, а без нее пытаться разобраться в сложных социальных явлениях — все равно что на танк с каменным топором бросаться.

В «Литературную газету» однажды пришло толстое письмо на двадцати восьми тетрадных страницах, в котором Лермонтов обвинялся в научном невежестве. «Тыбя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края», — обещает Демон Тамаре. Но ведь «эфира как физической реальности в природе нет, — возражает автор письма, — а Тамара не выдержала бы ледящего чудовищного холода, царящего в мировом пространстве, то есть температуры порядка 264° С».

Не совершаем ли мы чего-то подобного, требуя от поэтов научного кругозора, логики, философской глубины? Все-таки недаром говорится, что у художественного познания сущность не логическая, а эстетическая. Или в век НТР граница между наукой и искусством начала исчезать? Нет вроде бы, и наука по-прежнему остается наукой и искусство искусством. Граница между ними вполне надежна, просто мы ищем ее иногда не там где нужно.

«Что такое мысль в поэзии? — задавал вопрос В. Г. Белинский. — Для удовлетворительного ответа на этот вопрос должно решить сперва, что такое чувство»¹.

Еще определеннее характеризовал специ-

фику искусства Л. Толстой: «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их»².

Такого рода высказывания всегда воспринимались как следствие узкого понимания специфики искусства. И возникала странная ситуация. Льва Толстого, одного из самых интеллектуальных художников мира, журили за абсолютизацию эмоций и недооценку интеллекта в искусстве! Для оправдания подобной «несерьезности» Толстого ссылались на его непоследовательность — то он чувства превозносит, то столь же пылко знания, мысль. Что делать — художникам свойственно увлекаться! Действительно, у Л. Толстого есть и такие вот высказывания: «...для того, чтобы художник мог видеть новое, ему нужно смотреть и думать, не заниматься в жизни пустяками, которые мешают внимательно глядеться и вдумываться в явления жизни...», «...ни невежественный, ни себялюбивый человек не может быть значительным художником»³.

Стоит ли, на самом деле, принимать всерьез столь взаимоисключающие высказывания? Стоит. В нашей эстетике вошли в моду всякого рода «диалектические единства». Эстетическое, со значительным видом сообщают нам, — это «диалектическое единство» субъективного и объективного, природного и социального. Стиль — это «неповторимый сплав» метода и художественной индивидуальности. Художественный образ — это «диалектическое единство» эмоционального и интеллектуального, ценностного и познавательного и т. д. и т. п.

Такого рода «диалектика» очень удобна, она неуязвима. Любую мысль, любое утверждение можно подвергнуть сомнению, оспорить, но когда есть фраза, но нет мысли, оппонент бессилен. Бессилен, потому что не за что уцепиться мысли, когда имеешь дело с псевдодиалектикой, создающей иллюзию проникновения в динамику явления, а на самом деле лишь затемняющей суть вопроса. Диалектика начинается с

² «Лев Толстой об искусстве и литературе». М. «Советский писатель». 1958, т. 1, стр. 124.

³ Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 224, 435—436.

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. М. Изд-во АН СССР, 1953, т. 1, стр. 365.

раскрытия реального взаимоотношения противоположностей, составляющих «единство», с выявления смысла и механизмов этого взаимодействия. У каждого явления они свои, особые. Где нет выявления этих индивидуальных особенностей «диалектического единства», там нет и познания.

Противоречивы высказывания Льва Толстого оттого, что он пытался выявить эти действующие «механизмы», и он гениально уловил многое, осознал особую роль и логики и эмоций в искусстве по сравнению с наукой, вплотную подошел к определению смысла художественного познания. Его противоречия как раз диалектические, плодотворные.

Чувства действительно играют в искусстве роль исключительную. Во многих случаях они вообще единственная реальность, единственное «содержание». Без них, вне взаимодействия с ними ни один другой компонент самостоятельно существовать в искусстве не может. Ведь смысл и специфика искусства не в объективном, научном познании, не в понимании, а в духовно-эмоциональной оценке, в «заражении» авторским отношением к миру и его явлениям.

В «Преступлении и наказании» Достоевский занимается отнюдь не теоретическим анализом волновавших его социальных, нравственных, психологических проблем и явлений. Он, в общем-то, их «только» оценивает. В чем состоит художественное исследование образа Раскольникова, к примеру? В анатомии психологических особенностей его характера? Нет, Раскольников Достоевского интересует не как натуралиста. Через этот образ раскрывается надуманность, нечеловечность всякого рода теорий «сильной личности», поэтизирующих наподобие Ницше свободу воли, волю к власти, первобытную витальную силу и т. д. Разоблачению этой ложной философии, этой системы взглядов и нравственной позиции подчинен, собственно говоря, весь сюжет, вся система образов, приемов, художественных средств, даже язык романа. Можно ли, спрашивается, братья за роман, рассматривающий систему взглядов, не разобравшись в самих взглядах, в самой системе? Нет, разумеется. Но и это не все.

Ницшеанские идеи не случайный каприз интеллекта, а вполне закономерный тип заблуждения, так сказать, «этапная болезнь» человечества, ложная идея, которая рано

или поздно, но, наверное, должна возникнуть и быть отвергнутой в ходе поисков ответа на вопросы: что такое человек, каков смысл его бытия, что такое свобода, совесть, добро, любовь, идеал, счастье? Ложную эту концепцию человечество обязано выявить, подвергнуть анализу, исчерпать, довести до логического завершения, убедительно раскрывающего ее ложность и вредность. Значит, осознать, понять ее в изолированности нельзя, нужно ее видеть на общем фоне философских, социально-нравственных исканий... Вот что требуется от художника «всего-навсего», чтобы «чисто эстетически» исследовать образ Раскольникова.

При обобщенном эстетическом подходе можно сказать, что писатель, пишущий роман или эпопею, делает со своим материалом то же, что скульптор, который лепит из кусочка глины пастушка на комод, но слишком уж у них разные объекты оценки!

Браться за эпопеи никто не обязывает. Писатель волен лепить и пастушков (средствами литературы). Тогда спрос к его интеллекту, его знаниям, его теоретическому кругозору резко снизится, но и значимость его творчества соответственно.

Из-за реальных особенностей эстетической деятельности (ее внелогичности) в искусстве издавна утвердился культ таланта и мастерства, к которым в наших условиях часто добавляют «знание жизни», подразумевая под ним, увы, почему-то не глубину проникновения в законы бытия, не понимание важнейших проблем социальной жизни, не широту кругозора, а в первую очередь эмпирическую приобщенность к реальным фактам, событиям, количество запасенного впрок «подножного корма» «живых наблюдений» и «неповторимых деталей». Не ставя под сомнение важность ни того, ни другого, хочется подчеркнуть следующее.

Талант Пушкина сомнений ни у кого еще не вызывал, но стоит задуматься, каков был бы его «кпд», не будь поэт европейски образованным человеком, пристально следившим за развитием научной, политической, философской мысли во всем мире, все знавшим и все так глубоко, так по-человечески понимавшим. Стоит еще раз вспомнить и то, что в своих требованиях к драматическому писателю на первое место он ставил философию, государственные мысли историка. А насчет поэзии, ко-

торая должна быть «глуповатой»... Вот что, с точки зрения А. Карамзина, отличает молодого поэта Пушкина от зрелого: «Вообще в его поэзии сделалась большая перемена, прежде главные достоинства его были удивительная легкость, воображение, роскошь выражений и бесконечное изящество, соединенное с большим чувством и жаром души; в последних же произведениях его поражает особенно могучая зрелость таланта; сила выражений и обилие великих, глубоких мыслей, высказанных с прекрасной, свойственной ему простотою; читая их, поневоле дрожь пробегает и на каждом стихе задумываешься и чуешь гения». Можно сказать, что в этих словах подчеркнута грань, которая отделяет талант от гения в поэзии. Как видим, не «глуповатость» рождает гения. Даже в поэзии.

Конечно, абстрактная, «профессорская» философия не способна оплодотворить художественное творчество, но великие идеалы, высокий уровень духовных (нравственно-эстетических, социально-идеологических) исканий без широкого кругозора, глубокого интеллекта и вкуса к аналитической работе.

В связи с этим стоит задуматься еще раз над писательской судьбой В. Шукшина. Что повернуло к нему читательские сердца, сделало его заметным явлением на фоне всего современного искусства? Яркие новые характеры вошли с ним в литературу? Новую меру живости, новую степень свободы по отношению к жизненному материалу и языку принес он? Все это, бесспорно, сыграло свою благотворную роль, но я бы выделил все-таки не это.

В. Шукшин — художник явно не философского, а артистического, поэтического склада, движимый не столько рассудком, сколько непосредственными порывами души, симпатиями и антипатиями. Почему же мы его сейчас вспомнили?

В короткой, но очень содержательной вступительной статье к двухтомнику В. Шукшина Сергей Залыгин подчеркнул в писателе прежде всего вот что:

«Шукшин принадлежал русскому искусству в той его традиции, в силу которой художник не то чтобы уничтожал себя, но не замечал себя самого перед лицом проблемы, которую он поднимал в своем произведении, перед лицом того предмета, который становился для него предметом искусства. В этой традиции все то, о чем говорит искусство — то есть вся жизнь в са-

мых различных ее проявлениях, — гораздо выше самого искусства...»⁴.

Далее С. Залыгин отмечает, что именно такого рода художники, не заботящиеся ни о себе, ни об искусстве, а повернутые всецело лицом к жизни, и создают «непрезойденные образцы формы и стиля», входят в историю человеческой культуры как звезды первой величины.

Читая романы и рассказы «сугубо эмоционального» писателя В. Шукшина, поражаешься, как много его герои говорят о смысле жизни, как упорно ищут его. Для одних, правда, эти поиски выливаются в смертельную борьбу за всеобщее счастье, всемирное равенство и справедливость (Стенька Разин), для других — в безнадежные похмельные попытки отыскать в своей жизни хоть крупицу высокого смысла, красоты, праздничности...

«...наелся, что дальше? — спрашивает с мукой Иван, длиннорукий худой парень с морщинистым лицом.— Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает. Я не могу только на один желудок работать» («В профиль и анфас»).

Глубокой ночью будит жену председатель колхоза Матвей Рязанцев, чтобы спросить: «У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь? Не важно».

Алена, конечно, подозревает, не хлебнула ли, часом, лишнего ее уважаемый супруг. Нет. И не факты биографии жены его волнуют, а другое: «Есть ли вообще она, любовь? Настоящая» («Думы»).

Томится мелкий хапуга Тимофей Худяков. Всю жизнь гордился тем, что «умеет жить»: дом какой отгрохал! Все есть в доме, детей в институтах выучил. А вдруг затосковал, вторую бы жизнь подарил ему кто — чтоб иначе прожить, не так, а настоящему. Как именно? Не знает Тимофей, но не так бездарно, как эту, первую («Билетик на второй сеанс»).

А вот прямое авторское размышление в рассказе «Дядя Ермолай»: «...стою над могилкой, думаю. И дума моя о нем простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею со всеми своими институтами и книжками. Например: что, был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или

⁴ Василий Шукшин. Избранные произведения в двух томах. М. «Молодая гвардия». 1978, т. 1, стр 5—6.

не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Все не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только, когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

Не философского склада писатель В. Шукшин, но вот к каким проблемам приводит с неизбежностью искусство, если художник не носится, по словам Белинского, «как курица с яйцом, с своими прекрасными чувствами, до которых никому нет дела»⁵, а обращен к миру, его болям и радостям. Стоит вспомнить, что вопрос о смысле жизни — один из важнейших и труднейших философских вопросов.

Иными словами, нравственные, эстетические, духовные искания высокого уровня с неизбежностью выводят на философию. Если хотите, здесь где-то проходит граница между подлинным профессионализмом и дилетантизмом в искусстве. Влюбленная женщина, как известно, может чувствовать сильнее и глубже, чем поэт, воспевающий любовь. И разница между ними, наверное, не только в том, что поэт умеет сделать свои чувства достоянием других, объективировать, а влюбленная женщина обречена носить их в глубине сердца. Чувства и духовные искания художника — не чувства частного человека с их определенной случайностью, капризностью, безоглядностью (безответственностью?). Как частное лицо поэт может все это себе позволить — и случайные предпочтения, и экстравагантность вкуса, и уступку моде, уступку минуте... Содержание же поэзии его не должны предопределять ни мода, ни прератности индивидуальной судьбы, ни причуды, я уж не говорю о погоне за успехом.

В быту, в повседневной жизни мы зачастую худо-бедно, но можем обойтись доморощенной мудростью, рожденным «под настроение» убеждением. Философия же начинается только на определенном уровне включенности в общечеловеческие искания ответов на «главные» вопросы бытия. Игнорирование накопленных фактов, нелегко обретенной мыслительной культуры, безразличие к духовным исканиям человечества, непонимание хотя бы основных

закономерностей подобных исканий — это все и есть чистейшей воды непрофессионализм, дилетантизм для художника.

Перебрав в уме имена великих писателей прошлого, нетрудно убедиться, что наивысших взлетов в художественном творчестве можно достигнуть лишь при наличии серьезной философской культуры, приближающей поэта или писателя по силе и пытливости ума, по широте эрудиции и многогранности интересов к великим мыслителям-ученым.

Само по себе это не открытие. По крайней мере если говорить о традиции русской классической литературы, то издавна понятие «литературная среда» включало в себя интерес к философии, знание ее, участие в диспутах по самым актуальным ее проблемам.

Опыт лучших советских писателей подтверждает важность и плодотворность дружбы с философией. Вспомните хотя бы поэмы и поздние стихи А. Твардовского, где простота и отточенность слова так гармонично сочетались с глубиной мысли и высотой духовных критериев. Радует все большая зрелость и осмысленность таланта таких, например, писателей, как В. Астафьев, В. Распутин. Но одновременно нельзя не отметить, что у некоторой части писателей несколько разладились контакты с философией. В чем-то виновна и сама современная философия, крайне «факультативно» касающаяся проблем человеческой духовности.

Есть, в частности, и такие писатели, что негибимо убеждены в полной ненужности для их практики эстетической теории «было бы вот тут да вот тут не пусто» (постукивание по груди и по лбу). Такая иллюзия только еще раз демонстрирует теоретическую неподготовленность, не больше. И тут и там, конечно, полезно, чтоб что-то было. Но для успеха сражения, как известно, надо, чтобы каждый солдат понимал свой маневр. Солдат! А ведь в искусстве ниже полковника званий никто себе не присваивает. Иллюзии, что искусство само по себе, а теория искусства сама по себе, что теория может даже «сковать» свободу и талант, возникают именно у тех художников, которые всегда покорно подчиняются общепринятым в данное время теориям. Новаторы же в искусстве очень быстро убеждаются, насколько жестки и обязательны эстетические каноны и как **жизненно важно их развлекать.**

⁵ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. М. Изд-во АН СССР. 1955, т. IX, стр. 40.

Если бы все в литературе упиралось только в талант — о чем было бы говорить? Есть он — радуйся, нет — пусть неудачник плачет. Но в литературе даже при больших способностях слишком многое зависит от общей культуры, интеллекта, знаний, уровня духовных исканий. А это все можно нажить, обрести, развить. Вот почему вдвойне важны исследования о взаимоотношении литературы с другими видами искусств, с наукой, философией.

Все эти разговоры приобретают тем больший смысл и убедительность, что литература обогатилась недавно произведением, являющимся наглядным примером того, как много могут дать писателю в его творчестве философия, социология, мыслительная культура и знания. Я имею в виду «Комиссию» Сергея Залыгина.

Писателей иногда делают на две группы: идущих в своем художественном творчестве прежде всего «от ума» и ведомых интуицией, чутьем, писательским талантом. О Сергее Залыгине никак не скажешь, что он писатель умозрительный, рассудочный. Можно было бы привести сколько угодно примеров, демонстрирующих его художническое чутье, вкус, артистизм.

Приглядитесь к языку романа. В нем и в помине нет той школярской многословной безликой правильности или, положим, утрированной многокрасочности, которые встречаются даже у литераторов, не лишенных способностей. Лаконизм, точная мера стилизации (под время и среду), приподнимающая над обыденностью «платоновская» неправильность фраз и незатертость слов — все это приметы мастера.

А возьмите крестьянский быт, мужицкую психику. Можно сто книг на эту тему законспектировать, можно всю жизнь провести в деревне, а не понять их, не уловить сути, не заметить тонких нюансов. Тут надо в «душу влезть», изнутри логику поступков и реакций ощутить. Именно это демонстрирует нам писатель чуть не на каждой странице.

Вот один штрих. Красавец был пес у Устинова — коричневая, блестящая шуба с белой рубашечкой вокруг шеи, да и умен был Барин очень, и хозяину предан... Однако случилось, поглядывая на Барина, прикидывал Устинов: «А не пустить ли эту шубку вместе с воротничком и с белой рубашечкой на рукавицы и на шапку?» По нынешним, городским нравственным законам ужасный злодей Устинов и преда-

тель — верного друга готов в рукавицы обрывать! Лиши Залыгин Устинова такого рода «злодейств» — получился бы ангел из него, а не живой сын своего мужицкого сословия.

В печати уже отмечали тонкие пейзажные зарисовки, проходящие через весь роман, но мне особенно хочется подчеркнуть описания животных, я бы даже сказал — образы животных.

Поистине поразительна яркость и точность каждой из характеристик: «Для свиных, когда кто-нибудь ест, а она нет, она только глядит, как едят другие, — это такая напасть, что хуже и не бывает! Это для нее горе, отчаяние, позор и срам... А пожирать что-нибудь, чавкать и глотать ей все равно что птице летать... Она так и жрет — раз чавкнет и раз хрюкнет, еще раз чавкнет — и взвизгнет, чавкнет в третий раз и зарычит — от удовольствия!», «Вот стоит овца в хлевушке, быстро-быстро жует, топливо, будто в последний раз в жизни, мнет и грызет зубками сено... Вот она стоит и вздрагивает, и ждет и ждет — чего бы испугаться? От какого бы страха кинуться на стенку, удариться о нее и прижаться к ней дрожа?»

Тут мало говорить просто о наблюдательности и образности языка — чтобы так увидеть и почувствовать всех этих овечек, кур, лошадей, надо, наверное, чтобы несколько поколений твоих предков жили с ними бок о бок, прикладывая к уходу за ними и руки и душу...

Но, приведя отдельные свидетельства бесспорного живописного таланта С. Залыгина, позволю утверждать, что все-таки он художник прежде всего интеллектуальный. Трудно найти в современной литературе писателя, у которого склад ума был бы столь же аналитичным, исследовательским, который мог бы в одно небольшое по объему произведение органично (не в ущерб художественности!) включить множество серьезнейших проблем теоретического характера, художественный успех которого настолько бы зависел от меры интеллектуального проникновения в суть того, о чем он собирается писать.

«Комиссия» — еще одно тому подтверждение.

Не пытаясь дать целостный анализ романа, останавливаясь на некоторых его аспектах, имеющих прямое отношение к теме статьи.

Читая такие произведения, как «Комиссия», начинаешь понимать, насколько надеели нам умничающие герои и как хочется общаться с умными.

Поразительное дело — в романе С. Залыгина почти все умны. Разве уж совсем эпизодические некоторые персонажи вроде милиционера Пилипенкова или начальника отряда карателей с его коллегой господином Тимошеком откровенно недалеки. Даже презираемый всем обществом Игнашка Игнатов способен сказать что-то, над чем интересно задуматься.

Вслушайтесь, какими мускулистами, глупоками словами открывает работу Лесной Комиссии в самом начале романа Петр Калашников, «коопмужик», на какие проблемы замахивается, чем озабочен!

«Три, а может, и меньше годов назад нам было странно, что мы, мужики, должны сами делать для себя хотя лесной, хотя и другой какой-то закон. Но после всех уже происшедших революционных пожаров нам вовсе наоборот странно: как это мы, крестьянство, приучены были в веках кормить-поить, одевать-обувать, обеспечивать собственным трудом и гужевой повинностью все человечество, а сами кое-как жили и существовали, потому что закон нашей жизни и нашего существования — это было вовсе не наше дело, нам близко подойти к тому, кто его делает, не позволялось? Но подумать серьезно, вот хотя бы так, как я лично не один год над предметом думал, какая же и где она, справедливость, ежели я живу, а закон моей жизни мне нисколько не принадлежит, ежели моя жизнь — это одно, а ее закон — это совсем другое? То есть хотя и живу я под законом, но лишь под ним, а более — никак. Я уже от рождения поставлен тем самым на одну досточку с преступником, поскольку у преступника никто может и не спрашивать: нравится ли ему закон либо нет, человеческий он или бесчеловечный?..»

Особое место в этом ряду умных, ищущих Закон жизни и Правду героев занимает, конечно, Николай Устинов, совесть Лебяжки, философ-самоучка с беленьким «любопытствующим» хохолком на голове.

Галерея мужиков-правдолюбцев, искателей смысла жизни, которым до всего есть дело, все любопытно, обогатилась образом принципиально нового качества. По традиции «правдолюбцами» чаще всего были страдалцы, неудачники, люди «не от мира

сего», вроде «великого писателя» Ярослава Юрьевича — о боге со слезой поговорить любили, а ширинку при этом застегнуть забывали, всечеловеческой жизнью увлекались, а свою собственную и жизнь близких людей мало-мальски организовать не умели. Залыгин не очень расположен к таким созидателям абстрактной жизни. «...вы нонче трех слов не скажете, чтобы жизнь так ли, эдак ли не помянуть, а жить не умеете», — укоряет мужиков «лучший человек» села Иван Иванович. «Очень просто: кто сам не умеет жить, тот и рвется изо всех сил учить жизни всех людей», — размышляет Устинов. И это далеко не случайные для романа повторы.

Устинов «в дураках ходить не привык, не умел». Он прочно стоит на земле, твердо знает свое место на ней: землешапец, кормилец. Никакой другой доли для себя он не хочет, никакими рублями и легкой работой его не соблазнить. И за свою жизнь, за все, что в ней происходит, он ни на кого ответственность не перекаладывает. Пока он есть — жена его унижена никем (и им самим) не будет, внуки по миру не пойдут, корова Святка без сена не останется. И при этом ему все важно, все интересно: и как теодолит устроен, и какие общие законы мирозданием управляют, и как людям сообща по правде жить научиться. Рассуждения его о мироздании, о Правде, справедливости, смысле жизни и интересны и убедительны, хотя нигде он не выходит из своей роли — роли «простого» грамотного мужика-книжечка.

Немало мыслителей пыталось вывести философию жизни прямо «из земли», из быта и труда землешапца и кормильца нашего. Славянофилы, мужиковствующие толстовцы, почвенники... Вполне очевидно, было в этих попытках и свое рациональное зерно, но в окончательных формулировках все как-то несерьезно выглядело. Не над землей человека поднимали «мужиковствующие», а к земле его обратно гнули.

Не убеждали их рассуждения, а раздражали. Получалось: надень только лапти, помахай литовкой, чтобы рубаха от пота к спине прилипла, — и все интеллигентские умствования смысла потеряют, нимб над лысиной твоей трудовой воссияет.

Но разве в самом по себе труде дело? Приписывание труду сверхъестественной творческой силы Маркс в «Критике Готтской программы» прямо адресовал буржуазии, у которой есть очень серьезные осно-

вания для фетишизации труда. То же можно сказать и о мужицкой исконной «коллективности», совместных поисках Правды. «Тут,— писал Ленин о крестьянском быте и крестьянской психике,— выступают уже в чистом виде реакционные черты мелкого производителя, его забитость, заставляющая его верить в то, что ему навеки суждена «святая обязанность» быть конягой; его «завещанный от отцов и дедов» сервиллизм; его привязанность к отдельному крохотному хозяйству, боязнь потерять которое вынуждает его отказаться даже от всякой мысли о «справедливом вознаграждении» и выступать врагом всякой «агитации»...»⁶.

Да и бесчисленные факты самой жизни убедительно демонстрировали, что в мужицкой жизни, как и в любой другой, есть все: правда и ложь, разумность и глупость, красота и грязь... Поэтизировать ее в целом, без разбору — значит, уравнивать все это между собой.

Но вот перед нами Николай Устинов — мужик до мозга костей, нет для него ничего выше и святее хлебопашества, и философия его, нет, не рабочая, не интеллигентская — мужицья. Однако мало сказать, что она не раздражает, — она убеждает, покоряет, захватывает. Почему же? Да потому прежде всего, что поэтизирует он в мужицкой жизни не все подряд, а с большим и умным разбором, отстаивая то, что всем нужно, всем интересно, для всех правильно. В этом отношении философия Устинова — философия не столько мужика, сколько хозяина своей жизни. Веселый и безответственный зять Шурка Устинову просто непонятен. «Ты ведь какой веселый: ребятишек одного за другим на свет ладишь, а ладить им жизнь — тебя нету! А я этак не умею — чтобы меня не было, когда я детям и внукам нужен! Раз я им нужен, значит, я есть, и вот он я! Я у них в крепостничестве нахожусь. А когда так — неизбежно думаю: как будет? И через год, и через два, и далее — как?» Сколько человеку земли надо?.. Для смерти — три аршина за глаза. А для жизни — целиком Землю нужно. Каждому! Всей жизни человек должен быть хозяин, иначе он вообще никакой не хозяин, а пассажир какой-то.

Кроме мужикопоклонников, существуют и мужикоборцы. Был такой и в Лебяжке — Горячкин Мишка, сапожник, мужичонка

рябой, суетливый и золотушный. Напившись, он бегал по деревне и грозил: «У-у-убью! По-о-ожгу! Дайте малый строк — всем поломаю шеи-то, хозяева! У-у-у, хадь! Черви земляные! Вцепились, ровно хадь, в почву, сосете из ее, а я вот не дам вам сосать, кровопийцам! Рассчитаюсь с вами! По всей форме и справедливости!» Для Мишки «хозяин» слово ругательное, а ведь и революция-то наша для того была, чтобы сделать трудящегося хозяином, хозяином своей судьбы, своей жизни. А хозяину все надо знать, все интересно. Но только и знаниям своим человек должен быть хозяин, чтобы не они его вели, им управляли, а он ими. Это важнейший момент философии, основанной на «природном резоне». Те люди, которые про других все хорошо знают, как им и зачем жить, а свою жизнь живут кое-как, вызывают при этом настороженность. «Устинову это бесконечное знание не подходило, он к нему с недоверием относился, точно не зная в чем, но в чем-то его подозревая. Когда человек и то, и другое, и третье знает — Устинов мог и позавидовать, но всему своя мера, нет ничего на свете, в чем не может быть перебора. А перебор и неувязка в таком деле — очень может быть плохая. Вдруг человек додумается и дознается до чего-нибудь нечеловеческого? До того, что его не человеком сделает? Надо от напасти себя уберегать! Об Устинове говорили — он знающий мужик и умный. Но о себе Устинов знал такую хитрость: то ли от матери, то ли от отца, то ли от самой природы был он приучен слушаться наиглавнейшего разума, который сама природа и есть!»

Устиновские рассуждения о природном разуме и природном законе кое-кто из критиков определил как пантеистические. Но, по-моему, пантеизм тут только кажущийся. Суть философии Устинова, как и полагается у мужика, очень земная и практическая. В то время, когда рушатся буквально все устоявшиеся представления и жизненные ориентиры, особенно важно найти что-то надежное, что-то незыблемое. Где и как? Людям верить рискованно стало — об одном и том же прямо противоположное говорят, жить друг друга учат, да уже не по букварям, а с оружием в руках. К богу обратиться? Но напрямую с ним Устинову беседовать не доводилось, а те, кто от его лица жизни учит, доверия вовсе не внушают. Зато с природой Устинов каж-

⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 421.

дый день общается. И природа его хорошо понимала, и он очень уважал ее закон, простой и обязательный: «Наступает в природе весна, и умный ты или глупый, добрый либо злой, доволен жизнью либо проклинаешь ее, а только запрягай коней и паши! Настала осень — и снова определена тебе жизнь, что делать, о чем заботиться. Вот это разум так разум, не чета твоему собственному! И так — во всем!»

Не ради пустого умствования, а уж тем более не ради оригинальничанья придумывает Николай свою теорию «круглешков и палочек». По сути дела, теория эта очень интересная, хотя и своеобразная попытка уловить и выразить диалектику — всеобщую связь и иерархию явлений. Смысл и направление движения каждого предмета и явления можно понять тогда лишь, когда уловишь его связь с более широкими явлениями. Каждый круг как бы по другому, более широкому кругу катится, и этот более широкий прямой линией ему кажется, однако любая линия замкнуться стремится, а тогда она сама частью чего-то большего предстанет... И так до бога, который и лика потому не имеет, что он все в себя вбирает. Чтобы человек себя, свою жизнь и назначение понял, ему тоже надо не из себя только исходить, а найти те более широкие круги, которые его движение направляют. Вот о справедливости все без устали твердят. И Круглов Прокопий, мироед, про нее говорит, и Калашников Петр, который о всеобщем благополучии печется, и Горячкин Мишка искоренить всех мужиков мечтает ради «справедливости» же. Ненадежный ориентир получается — и так его можно повернуть и совсем наоборот. А согласно устиновской философии, не справедливость, которая среди людей только проявлять себя может, главное, а Правда. Правда выше и незыблемее — она для всего мироздания. И справедливость человеческая на нее, Правду, должна опираться, из нее вытекать, чтобы ясность и прочность обрести.

Человек не просто существо само по себе, само для себя. Тогда он бред и нелепость. Он часть всеобщего движения, в котором для него и смысл и реальная реальность. Потому обязательно человеку понять — что это за всеобщее движение, от чего, к чему и для чего? Только как часть общего движения каждый для природы значение обретает, и только согласовав свои желания, планы и мечты с этим природным

движением, можно прочной справедливости, порядка и покоя достигнуть. Попробуешь не считаться с более широким кругом, частью которого ты являешься, — и все твои хитроумие окажется бессильным перед мощными законами самой жизни. Чего же из пахты масло сбивать! Напрямую из самой жизни надо Правду извлекать, а не из ума. То, что только из ума, не больно надежно, суеты в нем много и пустого томления духа.

Ученая, «профессорская» философия зачастую крутится в своем колесе из абстракций не связанная никакими приводными ремнями с реальной жизнью ее сочинителей, с их личным поведением. Мужичку Устинову такая философия вовсе не нужна. Вы поглядите, как напрямую его умо-заклучения о мировой диалектике руководят его поступками, как хорошо с ними согласуются и какую оптимальную позицию во всех жизненных коллизиях обеспечивают! Вот об этой не случайной, а глубоко осмысленной и закономерной «оптимальности» хочется поговорить особо.

Лев Толстой зло издевался над теми художниками, которые бездумно шли за своим живописным уменьем: «Идет мужик — опишут мужика, лежит свинья — ее опишут и т. д. Но разве это искусство?»⁷. Роман «Комиссия» мог бы служить примером глубокой осмысленности каждого художественного шага. По моим впечатлениям, в этом произведении нет ни одного даже самого «проходного» персонажа, который был бы введен «просто так» — ради щегольства сочными деталями, ради новизны типажа или колоритности.

Автор не скрывает, что он влюблен в своего героя, в его нравственную и социальную позицию, но он не играет в поддавки, не становится слепым и глухим ко всем прочим позициям. С поистине научной добросовестностью и без всякой предвзятости рассматривает он другие жизненные философии, социальные и нравственные взгляды, честно воздавая должное каждому, в каждом находя свой резон, свою человеческую правду. У Залыгина не так, что один прав всегда и во всем (заведомо прав!), а другие своими заблуждениями только оттеняют его величие. В романе правда и резон каждого рассматриваются и подаются в полный голос. Более того, за-

⁷ «Литературное наследство». 1939. т. 37-38, стр. 422.

частую в определенном отношении они оказываются даже сильнее правды Устинова.

Ближе всех к позиции главного героя стоит руководитель Лесной Комиссии Петр Калашников. Калашников — грамотный мужик, стремящийся во всем поступать по совести, мечтатель. Он весь в такой вот своей реплике:

«Ох, мужики, до чего же охота справедливости! — громко, но не тяжело вздыхал Калашников. — Ну, нету терпения, как охота ее, как истосковался-измечтался по ей весь народ!» Туда, к будущей справедливости, он весь и устремлен: «...мы на века хотим сделать между собою равенство и братство! То есть пойти путем кооперации...»

Как видим, мечты и восторженность Калашникова связаны с очень серьезной, реальной идеей социального переустройства общества. Ленин говорил в 1923 году: «При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве». Однако не случайно Ленин сразу же добавлял: «Но это условие полного кооперирования включает в себя такую культурность крестьянства (именно крестьянства, как громадной массы), что это полное кооперирование невозможно без целой культурной революции»⁸.

Не в том упрек Калашникову, конечно, что он не с культурной революции начинал, а в том, что, увлекаясь одной хотя бы и самой правильной идеей, все прочее нельзя забывать и недооценивать. Опыт кооперации ведь и до революции у сибирских мужиков был неплохой, да вот беда — нельзя в одном селе социализм и справедливость построить, хоть ангелов вместо мужиков там посели, если в других селах и в государстве в целом нет их, справедливости и социализма. Сибирская кооперация начала было масло и хлеб мужички в Китае на мануфактуру, иголки и керосин обменивать, да проворовалась сразу. Мужикам же, пайщикам, объяснили: шли эшелоны с добром из Харбина, но разграбили их по дороге.

В таких условиях любая наилучшая идея очень просто может жульничеством обернуться. В таких условиях куда резоннее оказывается философия старой сельской общинности, носителем которой предстает Саморуков, ловко научившийся где хитростью, где наглостью, где придуриванием

отстаивать интересы своего села перед лицом как всякого рода вышестоящего начальства, так и других сел, других общин. Вполне оправдывался тут его принцип, противопоставленный идее всеобщего кооперирования, выходящего своими механизмами за пределы села: «На своего жителя своему же сходу и жалобу можно принести, а на Харбин кому пожалуешься?»

Устинов лишен такой, как у Калашникова и Саморукова, цельности позиции, вроде бы как «безыдейнее», беспринципнее. То он к одному из них присоединяется, то другого поддержит. Для теоретика социального переустройства общества недооценка ведущих идей, за которыми будущее, — серьезный порок. Но Устинов не теоретик. Если речь идет об обществе в целом, конкретными детишками и внуками конкретного Устинова не только можно, но и следует пренебречь, иначе запугаешься в безвыходных противоречиях. Устинов же себе общетеоретического подхода к жизни позволить никак не может. Когда-то там еще культурная революция (дай ей бог здоровья!) завершится, когда-то мужики найдут реальные механизмы, позволяющие контролировать свое кооперативное хозяйство и за околицей их деревни, а они, дети и внуки, знай себе растут, «требуют быть сытыми, одетыми, обутыми, в школу с тетрадкой и с чернилкой желают бегать». В такой ситуации опираться можно лишь на то, в чем абсолютно уверен, что сам поправить в силах, если промашку дашь. Поэтому в вопросе о кардинальном переустройстве всего общества Устинов склонен осторожной и выверенной столетиями тактики Ивана Ивановича придерживаться. Но ловчить по отношению к соседям не хочет, тут старый опыт ему уже не подходит (вспомните хотя бы сочувствие порубщикам-степнякам).

Вот и получается: есть вроде бы у Калашникова перед Устиновым серьезные преимущества, но на поверку жизнью во всем многообразии ее одновременных требований узкой все-таки его правда получается. Не случайно, так уверенно и правильно все трактуя в речах и официальных документах, Калашников в решении реальных, жизненно важных для работы Комиссии вопросов сплошь и рядом пасует, робеет, стесняется вроде бы даже. В итоге всю власть в Комиссии очень быстро забрал в свои руки Дерябин. А ведь Дерябин, если брать самые общие столь доро-

⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 376.

гие для Калашникова идеалы добра, гуманизма, равенства, справедливости,— прямой его антагонист. Для него и кооперация и сама Комиссия Лесная — все игрушки. И революция, по его суждению, не для какой-то там справедливости производилась, но для собственной своей победы. «А победа когда будет? Когда революция перво-наперво будет любыми средствами заботиться о себе и даже перешагивать через любые блага, хотя бы и народные». И на фронте Дерябин вроде совсем недолго пробыл, и грамота у него не ахти, и порядка в доме его, на пашне его никогда не было, а быстро он научился командовать и людские судьбы без колебаний решать. Все он знал твердо — когда в лошадей стрелять, когда в людей, кого в первую очередь уничтожить, кого во вторую. И что поразительно — прав ведь в конечном для романного сюжета счете он оказался, Дерябин. Перед лицом колчаковских карателей одна только вооруженная сила, воинская организованность и решительность обрели реальный вес, а все эти бессонные споры о правде, равенстве и мирном согласии вроде бы во вред пошли только — демобилизовали, дезориентировали. Вспомнили, поди, члены Комиссии, лежа под шомполами, слова Дерябина: «Нынче надо заниматься оружием, а больше — ничем».

Что и говорить, если бы речь шла только о захвате власти, верной оказалась бы жестокая воинская логика Дерябина. Ну а для чего ее брать-то, эту власть? Разве для того только, чтобы счеты свести с захребетниками? Есть у Дерябина основания ненавидеть жизнь, ее подлое устройство. Не простой жадой власти продиктована его программа. Искренне кипит он и негодует: «Я и сам-то не хочу при такой отвратительной жизни жить! Это же — надсмешка все над тем, что в действительности должно быть! Не жизнь, а похабная надпись на заборе! Дерьмо вонючее! Обман из обманов!.. Кудеяр — тот мальчишка передо мною сопливый, вот он кто! Конец света призывать! Так это же — пустяки! Это — по-бабьи жалостливо! Не-ет, тут сперва надо покуражиться над всем, что есть на свете! Как все, что есть на свете, веками издевалось и куражилось над человеком, так, настало время, человеку надобно отнестися ко всей жизни, ко всему свету!.. Надо все переделать наново, не так, как было, ну, а ежели обратно ничего не выйдет — обломки пустить под откос!»

И опять получается — есть вроде бы у Дерябина свой резон, своя правота по сравнению с Устиновым, но какая же она узкая! И опасная. Правота его недолгая, всего на час, да час-то этот особый — к власти ведущий прочной, вооруженной. А потом что? Кураж? Хоть как, лишь бы не так, как было? С такой «позитивной» программой действительно все можно до обломков довести.

Да и в чисто военном отношении правота Дерябина во многом кажущаяся. Первый удар в сражении много значит, чего там говорить. Калашников с Устиновым, если посмотреть на примере Лебяжки, вроде бы позволили Колчаку нанести этот первый удар, выгоду ему тактическую подарили. Однако конечный-то исход гражданской войны решил «второй» удар, который нанесли люди не воинственные, мирные люди, такие, как Устинов. Когда поняли они, что пашни свои, жизнь детей своих, Правду свою и достоинство без оружия не отстоять. И убедил их в этом Колчак своим «первым» ударом, тоже думавший, что раз война, то все решает чисто военная премудрость.

И у Зинаиды, так яростно борющейся за свою любовь, счастье, тоже своя немалая человеческая правда. Любовь, любовь, любовь... Кто спорит, в самых основах человеческого естества эта Правда заложена. Что за жизнь без любви? Только опять же получается, нельзя в человеческой жизни что-то одно выделить, хотя бы наиважнейшее, а на остальное рукой махнуть. Не привыкли мы ни в литературе, ни в быту уважать людей расчетливых в любви — тут нам бесшабашность вынь да положи, безоглядность, страсть неумемную. Но... будто бы можно «научиться любить», не научившись жить! Будто бы можно стать в одной сфере благородным рыцарем и хозяином судьбы, а в другой в то же время подлости производить и рабом оставаться.

Наверное, многим Устинов скучным рационалистом кажется, когда он Зинаиде мораль правильную читает в ответ на ее страстные признания. Наверное, действительно в умение любить он ущербность по сравнению с ней проявляет, но если их жизненные позиции в целом сравнить, то опять же она ребенок, а он богатырь, который не может себе позволить в догоняшки поиграть — мир на нем держится и некому его передать на временное сохранение. «Ты мне счастья желаешь? Обман!

Обман, и все тут! Какое мне будет счастье, когда я малых младенцев, ровно Каин, предаю?» — укоряет Зинаиду Устинов. Рассудочно это слишком? Может быть. Но не случайно, поди, Зинаида все-таки к нему всю жизнь тянется, а не к Гришке Сухих, например, который ради страстей адских и дом свой дотла сжечь может и товарищей поубивать. Не может позволить Устинов, чтобы ненависть им владела, но и чтобы любовь его поводырем стала, тоже позволить он не может — ответственность у него слишком высокая. Но без этого не было бы ведь и надежности его человеческой, к которой все так тянутся вокруг. Потому что если без любви счастья людям нет, то без надежности вообще жить невозможно.

И какой образ в романе ни возьми — при всей его живописной полноценности, — предстает он как итог глубокого всестороннего осмысления определенной концепции смысла человеческой жизни, социально-нравственной позиции.

Вот «мужицкий офицер» Родион Гаврилович Смирновский — само воплощение чести, достоинства, славы воинской и героизма. Можно не сомневаться — не только он бесчестного чего не совершит, но и не потерпит в Других, жизни своей не пощадит, на защиту встанет униженного достоинства. Устинов достоинство высоко ставит, но не настолько. Надо будет ради Детей, ради общества — смолчит, стерпит, на компромисс пойдет. Плохо это? Не столь красиво? Конечно. Но посмотрите, каков итог самопожертвования и героизма Смирновского — вся Комиссия из-за него преждевременную смерть приняла, общественное дело огромной важности под удар поставлено... Есть, стало быть, в жизни что-то куда более важное, чем красота, честь и достоинство наше личное.

Вот и Кирилла Панкратова возьмите. Сколько поэм, стихов и рассказов создано во славу таких вот ничего, кроме красоты, не видящих умельцев-виругозов, созидателей и поэтов... Как соль земли их порой подают. Дескать, среди всеобщего безобразия красоту, а стало быть, и все человеческое в человеке блюдут. Красоту — может быть. А вдумайся — поделом Зинаида мужа своего тихо презирает. И мужики не по эстетической глухоте только как на блаженного на него глядят. Жена, как вол, всю мужицкую работу одна тянет, кругом братоубийство закипает, а ему нет ничего важнее крыльца резного небывалой краси-

вости. Крыльцо его, может, действительно через пятьсот лет потомкам радость доставлять будет, а Зинаидин труд голодные детишки без последствий на простое свое существование израсходуют. Но потомки потомками, а крыльцо при всей своей красоте — дерево бесчувственное, не больше. Тут же рядом с тобой любимый вроде бы человек от непосильного труда изводится... Нет, что-то слишком узкое и убогое стоит за Кирилловой правдой. Опять же Правда Устинова несравненно человечнее и богаче оказывается.

Стоит подчеркнуть, что «оптимальность» философии Устинова отнюдь не механическая оптимальность всякой срединности. Нет, и красота его трогает глубоко (особенно живая, природная), и любить он умеет сильно, и упоение ненависти ему доступно и все остальное прочее. Но как хозяин жизни и своей судьбы он сам себе определяет пределы, сознательно формирует свою Правду, в которую в гармоничных пропорциях (не вообще, а для реальных условий его жизни) входят поэзия и твердый расчет, знания и совесть, верность старому и готовность смело пойти навстречу новому (если оно разумно), достоинство и готовность пренебречь собой ради общих интересов.

Временами образ Устинова, как мне представляется, вырастает до символа всего крестьянства, не теряя при этом своей земной плоти. И вот еще что думается. Можно было бы перечислить немало больших писателей, которые, постулируя на словах учбу у народа, на деле за философию народа выдают свою философию жизни. Устинов — конечно же, как и любой образ в искусстве — порождение автора, и бессмысленно в этом отношении вести дебаты, были ли, могли ли быть в те годы такие вот в точности Устиновы. Если и были, то потенциально, не осознавая себя и окружающую жизнь так, как осознает их Устинов в романе. Для такого осознания нужен весь опыт прошедшей с той поры истории. Смешно и нелепо требовать от автора, чтобы он для «исторической достоверности» забыл все то, что произошло после смерти Устинова. Все характеристики в романе просвечены этим более поздним опытом жизни. Не случайно мы поразительно четко можем «предсказать», кто из персонажей как поведет себя, допустим, в период гражданской войны, в период коллективизации и т. д. Но это лишь подключение сегодняш-

него залыгинского понимания той жизни, а не искажение ее достоверности. И философия Устинова, хотя она осознана и сформулирована Залыгиным, это по-настоящему народная, крестьянская, мужицкая философия, открытая, почувствованная, уловленная Залыгиным, а не навязываемая им народу. По глубине, точности формулировок и системности это, конечно, философия искушенного в мышлении человека, интеллигента, а по содержательной своей наполненности, по предлагаемой системе ценностей, по стилю мышления, по фактуре, на которой она строится, по неприязни к схоластике, позы, красивости, по недоверчивости к «признанным авторитетам», по вере в «саму жизнь», в реальную, повседневную практику в противовес умственным хитросплетениям это все народное, мужицкое. Настоящее народное, а не псевдо. И заметьте — все очень русское и тоже без псевдо.

Устиновская философия, опирающаяся на незабываемый природный указ, конечно же, во многих отношениях с позиций профессиональной философии выглядит уязвимой и наивной. Но если бы позволяли размеры статьи, то легко было бы раскрыть на материале, сколько мудрого, оптимального можно извлечь из «наивной» устиновской философии, чтобы прояснить для себя многие и донныне жизненно важные проблемы. Такие, как природа и человек, утилитаризм и нравственность в подходе к «братьям нашим меньшим», централизация и народное самоуправление, дух и тело, религия и нравственность, принципы и тактика в политике, здравый смысл и научное знание, правомочность пессимизма в истории, насилие и прогресс, свобода и долг, научная организация земледелия и любовь к природе... По всем этим проблемам (список далеко не полный) в романе высказаны в той или иной форме очень толковые, глубоко продуманные и достойные осмысления даже профессионалов-философов соображения.

В искусстве часто бывают спорными

сравнительные оценки с позиций «лучше — хуже». Смотря ведь с какими критериями подходить. Но то, что новый роман Сергея Залыгина «Комиссия» — пример гармонического сочетания высокой художественности и глубокой интеллектуальности, сомнению не подлежит.

Разговор о роли интеллекта, знаний, широкой философской культуры в художественном творчестве не мной начат и не этой статьей завершится. Это тема для длительного коллективного разговора. Правильно разобраться в ней к тому же можно, только включив ее в систему широкого эстетического знания, связав с такими темами, как природа художественного познания, особенности языка искусства по сравнению с понятийным, мера осознанности в процессе художественного творчества, «шкала интеллектуальности» разных видов и жанров искусства, знания, логика и идеология в системе мировоззрения писателя... Осветить проблему во всех этих связях мы не имели возможности, поэтому необходимо сделать в заключение несколько оговорок.

Сила воздействия произведения искусства, глубина его идейности предопределяются, разумеется, не только знаниями и интеллектом художника. Тут многое зависит к тому же от вида искусства, жанра, темы... Да и само понятие глубины в искусстве не идентично с философичностью. Философичность художника и его приближенность к науке философии тоже далеко не одно и то же.

Однако при всей полифоничности, неоднозначности художественного творчества и специфичности эстетического познания ни на миг нельзя забывать об обязательности, важности, продуктивности интеллекта, логики, широкой эрудиции и культуры для любого художника.

Скромной целью данной статьи и являлось напомнить об этой бесспорной в целом, но не учитывающейся сплошь и рядом в своих конкретных проявлениях истине.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Трефилова. Правила игры.— Винтор Бонов. «Во славу ее и в защиту».— Г. Соловьев. Пафос поэтического творчества.— Н. Абалкин. Книга актера.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Виноградов. Что и как читал Ленин.— Ю. Амиантов. «Согласовать свою жизнь со своими убеждениями».— В. Кирсанов. Приглашение к размышлению.

Литература и искусство

ПРАВИЛА ИГРЫ

Вячеслав Усов. Белый гребень. Повесть. «Звезда», 1976, № 1.

Семимильными шагами прогресса давно уж никого не удивить. Год от года умнеют машины. ЭВМ новых поколений характеризуют высокие степени утонченности. Одно это, да и многое другое не может не сказаться на человеке.

Элементам психологизма и рефлексии не чужд ныне ни администратор-управленец, ни заядлый технократ. Переключая разговор в конкретно-литературную область, заметим, что стремление обосновать свою линию поведения увесистым теоретическим аргументом отличает экспериментаторов Д. Константиновского («Следовательно, существу») от «искателей» известной книги Д. Гранина, производственников И. Герасимова от их предшественников из романов С. Снегова, растущего Чешкова из популярной пьесы И. Дворецкого от маститого Чинкова из романа О. Куваева «Территория», не говоря уж о молодых мыслителях В. Лама («Итог всей жизни») или Г. Панджикидзе («Камень чистой воды»).

Плеяда героев-аналитиков, идущих на смену беззаветным энтузиастам «дела, которому они служат» (припомним романы Г. Николаевой, Ю. Германа, В. Пановой), настойчиво пополняется в произведениях сверстников НТР — тех прозаиков и дра-

матургов, за кем преимущества высокого специального образования, начитанность, поучительные опыты ближайших литературных предшественников, а в качестве определяющего исторического фактора — тридцать лет мирного развития страны. Недавний пример — повесть В. Усова «Белый гребень», дебют писателя в этом жанре. В ней словно заложена память ряда этапов, уже пройденных нашей «производственной» прозой, память, обязывающая продолжателей отсекал отжившее, продвигаться далее, превращать все новые феномены действительности в элемент содержательности произведения.

Одно из важных свойств специалиста любого рода действующие лица повести В. Усова обозначают понятием «знать правила игры» («Он голову в петлю не совал. Но и умел гнуть свое» — говорится об одном герое). Можно сказать, что и самому автору свойственно это знание «правил». «Белый гребень» информационно содержателен и если не открывает нового качества «производственной» прозы, то демонстрирует ее сегодняшний возросший уровень.

В. Усов умело вводит нас в курс происходящего, эпизод за эпизодом выстраива-

ет четкий каркас произведения, вместившего более тридцати характерных человеческих фигур. Компактность и энергичский ритм повести достигаются суровым пространственно-временным ограничением ее действия, использованием ассоциаций, аллюзий, интригующих умолчаний и способностью заключать явления в краткие образно-словесные формулы часто ироничного или саркастического характера — черта многих авторов, тяготеющих к научному складу мышления (припомним стилистическую манеру Д. Гранина или И. Грековой). Такова, например, портретная характеристика бригадира дорожных рабочих в тундре с его повадками бывшего местного начальника, со «стальными глазами» и лицом, которое, по уверению геологов, «хорошо вписывается в гаечный ключ».

Благодаря этому недлинная история утверждения проекта в одном из институтов, преломленная через восприятие главного героя, тридцатилетнего ленинградского инженера Игоря Барскова, дает нам возможность увидеть механизм сложной системы делопроизводства и принятия решений, вникнуть в сплетение человеческих интересов и стремлений, войти в рабочий обиход большого учреждения.

Хронологические рамки повести (осенне-зимний сезон) определяются длительностью промежуточного этапа биографии героя, только что перешедшего из Торфяного института в Гипродор с сознательной целью добиться повышения по службе и включенного в комиссию по приемке проекта новой северной трассы. Как пишет автор, «Игорь не был карьеристом. Но...». За этим «но» предыстория его прежней работы, лаконично представленной как восьмилетнее прозябание «на ста рублях в месяц», благоприятное, хотя и обзывающее стечение семейных обстоятельств (получена кооперативная квартира, жена, временно уехавшая к родне, ждет первенца) и, наконец, энергия, долго копившаяся в пору вынужденного профессионального застоя.

Игорь связывает свои виды на будущее с проблемой Обхода: лежащие на пути трассы Черные Бугры предполагалось обойти из-за опасности подтаиванья мерзлоты. Но, по заключению специалиста-консультанта Ляхова, опирающегося на гипотетические предположения и скрупулезные расчеты своей только что завершенной докторской диссертации, такой опасности нет, дорогостоящий Обход не нужен. Между

тем коллектив института живет в предчувствии сдачи готового проекта и получения солидной премии. Барскову приходится проявить настойчивость, смекалку, интуицию и дипломатические способности, чтобы найти выводу Ляхова экспериментальное подтверждение и склонить руководство к решению переделать проект. Институтский план срывается, надолго отодвигая премиальные перспективы. Но дорога станет короче, а это экономит 40 миллионов государственных денег. И, не скроем, помогает Игорю «спрямить» также путь своего восхождения по служебной лестнице, достигнуть «новой высотной отметки» начальника геологической партии.

То есть мы застаем в произведении момент старта будущего производственного руководителя среднего звена, вникаем в мотивы и стимулы его действий, наблюдаем за развитием его характера, за модификацией его этических представлений и влиянием тех искушений, которые неизбежны на избранном им пути.

У Игоря Николаевича проявляется вскоре примечательная особенность: он становится как-то особенно привержен к слову деловой: «люди дела», «деловая страсть», «деловая судьба», «деловой город Москва». При этом самым желанным состоянием героя остается состояние устойчивости, срединности. А наиболее назойливое из всех его новых ощущений — ощущение кому-то или чему-то чинимого неудобства, что само по себе не уникально в любой сфере деятельности, если она включает работу с людьми и связана с принятием ответственных решений. Правда, деликатные психоаналитические поползновения Игоря Барскова не слишком вяжутся с прочими качествами его уравновешенной натуры, лишенной «излишнего любопытства к собственной душевной жизни». Может быть, обуза некой двойственности характера навязана ему отчасти автором, который избрал его своим доверенным лицом.

Отношения между повествователем и главным персонажем в «Белом гребне» вообще достаточно тонки, трудно сказать наверное, где именно точки зрения того и другого несколько расходятся или, напротив, полностью совпадают, — явление, впрочем, не редкое в современной прозе, когда она сталкивается с неопределившимися фигурами в неоднозначных ситуациях, писатель воздерживается тогда от прямого и окончательного суда над героем.

Но как бы ни оценивал автор поступки и помыслы Игоря Барскова, сколь бы тщательно ни укрывался за его фигурой, твердая воля рассказчика действительно удерживает наше внимание на моментах психологически-щепетильных: здесь ему удается уловить существо некоторых жизненных противоречий.

Вот на первых страницах повести новый член комиссии шагает по тундре и замечает под ногами дрожащие «на сентябрьском ветру анемичные стебли пушицы, такие живые и большие с виду, что на них было гадко ступать». Это мимолетное наблюдение поражает впечатлением чего-то живого и больного, на что приходится ступать, а ступать — гадко. Нечто подобное герой переживает многократно: когда слушает «стыдный и завлекающий» разговор Ляхова, заинтересованного в защите диссертации, о прямой выгоде для Игоря предпочтенью нового вариант трассы, не вникая в суть дела; и когда затем, Уже будучи сторонником спрямления Обхода, сочиняет по поручению руководства официальное письмо, ставящее выводы Ляхова, а тем самым и его научную работу под сомнение; и когда видит себя способным во исполнение намеченных планов принести в жертву «благополучие своей и любой чужой семьи», равно как и душевный покой Вероники Лосевой, вдовы прежнего начальника партии, решавшего ту же инженерную задачу.

Игорь Барсков достаточно хладнокровен и напорист, чтобы не отступать от задуманного; совпадение личной пользы и пользы огромного предприятия вдохновляет его и как будто бы оправдывает. Но деловые стимулы и соображения, которые вселяют в него «холодную страсть» и «утреннюю ясность», то и дело перебиваются сердечными укоризнами. Образ анемичного растения, истребляемого с отвращением к нему и к себе в силу «осознанной необходимости», сопровождает героя как тень на протяжении всей повести, словно знаменуя вторжение непредвиденных, но человечески значимых начал в неуклонную поступательность рациональных Игоревых планов.

Да, многое изменилось в жизни и многое открылось литературе с тех пор, когда нам легко было отдать свое неделимое сочувствие отважному, бескорыстному новатору-одиночке, который в «индустриальных балладах» выходил на неравный бой с каким-нибудь заскорузлым чинушей. В таких

обстоятельствах наш Игорь, пожалуй, ступавался бы: жертвенный героизм совсем не его стихия, хотя он и способен к известной степени риска.

Проблема Обхода мобилизует Барскова и как специалиста и как личность, подчиняя в нем все вплоть до флирта и подсознательных влечений. Но и самая напряженная работа на пределе усилий не привела бы его к удаче, если бы непременно ее условиями не оказались также: а) решительность и опыт заказчика (строительный трест Барабанова); б) добросовестность и квалификация большого коллектива проектировщиков; в) научная доскональность доцента Ляхова; г) увлеченность симпатизирующих коллег и союзников героя. Более того, недавнее прошлое большой народнохозяйственной проблемы освоения тундры уводит Игоря к изысканиям и прозрениям его предшественника Виктора Лосева, уже гипотетически осмыслившего для себя связь загадки Черных Бугров с их отгадкой — Белым Гребнем. В свою очередь, за Белым Гребнем разворачивается иная даль. Неведомый инженер еще в довоенные времена, когда тачками и лопатами ссыпалась здесь в гряду дресва и галька, поставил эксперимент, столь необходимый теперь Гипродору; индивидуальный поиск Барскова завершил предприятие конца 30-х годов.

«Белый гребень» — одно из свидетельств того, как заметно расширяется и обогащается ныне основа апробированных в литературе конфликтов новаторства и консерватизма, осложняемая еще и тем, что не только «ретрограды», но и «прогрессисты» более не имеют заведомых прав собственности ни на истину, ни на добродетель, ни на расположение окружающих. Устало-печальный геолог Эйриш или даже косноязычный перестраховщик Тюкин в повести В. Усова человечески привлекательней радикального Ляхова. Да и Барсков: не известно еще, куда он повернет из своего межумья и как в решающий момент поступит. «Суровый Дант» поостерегся бы, пожалуй, возводить его в почетный райский сонм честолобивых деятелей и этак вечность-другую попридержал бы сначала в горнилах своего чистилища.

Но есть в повести фигура, получившая гораздо более определенное авторское освещение, — машинистка Тонечка. Деловая оценка «этой тихой идиотки», как называет ее старший экономист Кагнер, находится

в полном соответствии с антипатией, испытываемой к ней Игорем. Его раздражает, что он почему-то чувствует необходимость лебезить перед ней, раздражает ее пыльная «Олимпия» (не то что «нежная» «Эрика» в канцелярии!), толщина ее ног, рылеющее лицо, влажные пальцы (не то что сухие руки элегантного директора!). И она еще смеет становиться у него на дороге, произносить филиппики в адрес «деятелей с третьего этажа, ставящих под удар проект и институтскую премию», агитировать местком, в состав которого входит!

Завоеывая сторонников среди коллег и руководителей, Игорь Барсков проявляет достаточную гибкость и самообладание. Ни один из уровней иерархической пирамиды — от ближайших склонов, где обретаются «работяги» — специалисты, главбухи, завгруппами, завотделами, вплоть до «высотной отметки» управляющего трестом — не вызывает в нем сильных отрицательных эмоций. Их внезапная вспышка здесь, в примитивном, казалось бы, рабочем отношении «Барсков — Тонечка», многое проясняет в Игоре и для него самого и для нас.

Что такое была бы Тонечка со своей «тупой девической задумчивостью», неприличными опечатками и жалкими потугами на профсоюзное лидерство, если бы она не превратилась в восприятии Барскова в олицетворение вслэшеского противодействия и служебной нерадивости, с которыми ему приходилось сталкиваться в работе разных гипродоровских отделов, если бы в Тонечкиной «жирной фигурке» не «сосредоточилась та сила, которая снизу препятствовала деловому, математически справедливому решению вопроса»?

Один из выразительных эпизодов повести — скрытое наблюдение Игоря, руководимого безотчетным желанием в чем-то уличить Тонечку, за ее мимикой и хаотическими эволюциями в толпе тех, кто осаждают прилавки универсама. Презрение к суетности мелочных потребительских фантазий маленькой, увядающей в своем закутке девушки-машинистки неожиданно сменяется в нем недоуменной жалостью. Игоря осеняет, что зависимость между вождельным лосьоном, «пробивающим брешь» в месячном Тонечкином бюджете, и спрямлением дорогостоящего Обхода обратная: воодушевляющая героя переделка проекта лишает его поднадзорную предвкушаемых премиальных радостей, сводя к то-

му же на нет уже проделанную ею работу. «Мне легко рассуждать, — соображает герой. — И Кагнеру легко. А Тонечке?» Нечто подобное этому великодушному озарению посещает его и во время разговора с хигроватым завхозом Иванюком («А вам, — уличающе говорит тот, — лишь бы себя выставить перед начальством...»). Тут-то мысли Игоря на некоторое время перестают «парить в высших сферах, где решались миллионные дела».

Старший экономист Кагнер имел обыкновение «в минуты расстройств проверять по счетной линейке таблицу умножения». Но в чрезмерном волнении он перегибал линейку, и тогда выходило, что дважды два — четыре с хвостиком. Тонечка — «хвостик» Обхода. За ней — незаинтересованный, невовлеченный исполнитель, которому Игоревы новация пока что выходит боком, но избавиться от которого — вот в чем завкавка героя — ему не дамо. За Тонечкой — инерция, на какое-то время создавшая в отделах Гипродора психологический климат неприятия новшества, способная порождать акты микросопротивления самой идее спрямления трассы. Так, совсем не безобидным оказалось вполне «деловое» и все же анархичное поведение ценного специалиста Федора Лугового, его коммерческая оголтелость, погоня за честным и все же рваческим рабочим рублем. Если во исполнение своего замысла Игорь, по его собственному признанию, потенциально готов поставить на карту «благополучие своей и любой чужой семьи» (вся его семья пока что он сам и его жена Леля), то Федор, у которого трое детей, готов, со своей стороны, это благополучие любой ценой отстаивать. В аналогичных условиях далеко зашедшего несходства интересов, обостренного личными качествами характера Федора Лугового, исполнявшего тогда обязанности начальника партии, стала возможна гибель геолога Лосева в тундре.

И еще одно: за всем тем округлым, частным, маленьким и даже жалостным, что связано с Тонечкой и что контрастирует в сознании героя с угловатым, сухим, масштабным, «кагнеровским» (вроде того как ничтожная пачка помятых наличных купюр — с безналичным банковским množеством), — за этим весь внеарбочий, семейно-бытовой, женско-детский мир повести, не позволяющий «заглушить, задавить» его, но и не вписывающийся в «логически рассчитанную систему».

Выступая для Игоря в качестве подсобного и, к его досаде, недостаточно хорошо работающего средства, Тонечка и Вероника, «девочки из планового» и «женщины из проектного», вездеходчик Миша, и некогда оступившийся в жизни шурфовик Генка, и множество других людей не составляют ли в то же время конечного адреса открытий, усовершенствований, «спрямлений» и так далее? Однако сугубо специальная задача рьяного поборника «экономичности» может в его профессиональном сознании мистифицировать отношение «средство — цель», поменять их местами. Первый же практический успех «окрыляет» Игоря Барскова таким образом, что мерилом человеческой ценности начинает все более выступать он сам, универсализируя свои вполне умеренные данные и преображая изъяны в достоинства.

Известная нечувствительность к разнообразию впечатлений жизни («буферный слой»), некоторая эстетическая и эмоциональная глухота, пока еще удачно скрываемая от собственной жены, оборачивается в его глазах преимуществом по сравнению с непосредственностью и открытостью Генки, обостренной восприимчивостью бывшего филолога Бориса Лугового, нервной тонкостью Лели, обаятельной мягкостью Вероники и так далее, потому что все эти прекрасные сами по себе качества, с точки зрения самоусовершенствующегося службиста, нечто вроде лишней клади в рюкзаке альпиниста-верхолаза.

Герой придирчиво замечает и сосчитывает каждую гримаску, выбоинку, «ниточку-морщинку» встреченной молодой женщины, но, пожалуй, более всего любит секретаршей и референтом директора, его «министром», престарелой Анной Андрияновной. Он прямо-таки смакует ее физические недостатки: фигура ее — кособока, руки — уродливы, лицо — лошадиное, голос — скрипучий, грудь — плоская, щеки — цвета балтийского неба и она, конечно, «не способна смутить ничей покой». За то и даны ей «ценой потери» деловитость, ум, находчивость, собранность. Он остроумно диагностирует ее уродство как вид производственного травматизма. Оставим в покое эту манеру мыслить: можно ли требовать души от самоуспокоенного рассузда? Но разве не ищет он внешних оправдательных аналогий собственным малым и большим утратам, самоограничению, компромиссам, а заодно и своей готовности к искорене-

нию разного рода психологических «пушищ»?

Здесь выявляется и один из наиболее интимных планов повести. Он еще раз демонстрирует, в частности, какие опасно-разоблачительные возможности таит в себе хоть и отягченная в нашем восприятии многими литературными примерами, но не ставшая оттого менее жизненной ситуация рандеву. Ядовитая и несколько циническая рефлексия героя еле-еле маскирует некрасивую, какую-то ущербно-декадентскую позу, которую ему приходится принять в истории с Вероникой, потянувшейся к нему вдовой Виктора Лосева. Оставаясь как будто в границах порядочности, насколько он все же не бескорыстен и далек от эталонов мужественного поведения; насколько человечески богаче переживания, сомнения, метания нелегко начинающего заново свою биографию молодого рабочего Генки на протяжении его «романа» с женщиной старше него и тоже хватившей в жизни немало лиха. То внешнее, что в свое время бросилось Генке в глаза при встрече с плановиком Этолиным — «гад на лапах», — выплывает в Игоре откуда-то изнутри, из духовного ядра: виляющая, расчетливая уклончивость.

Такова оборотная сторона «лабильности» человеческого сознания, психологическая предпосылка укоренения сугубо прагматических склонностей героя, если он жестко ориентирован лишь на утилитарные стороны организационно-экономической деятельности — на выгоду и полезность.

Развязка повести «Белый гребень» закономерна, в соответствии с духом времени завершает все производственные перипетии эффектным выигрышем «партии прогресса»: доцент становится доктором наук, молодой руководитель получает новое ответственное задание, а главное — дорога будет строиться, и строиться по улучшенному, удешевленному проекту.

Но загнанные в повести коллизии социально-нравственного характера преодолеваются в границах ее воображаемой реальности лишь частично или чисто риторически: открытость финала обращает читателя от книги к жизни, к ежедневно и ежечасно происходящим процессам творения новых форм человеческих отношений.

Достоверно представив один из распространенных типов вершителей научно-технической революции, автор дал нам повод

Домотканой, пропитанной потом столетий
рубахой
ты к телу прилип.

(Перевел И. Иванов)

В стихах чешских и словацких поэтов нередко обнаруживаешь то явные, то скрытые реминисценции из русской классики, отголоски мыслей корифеев поэзии других славянских народов. Так, в стихотворении «Вереск» классика чешской поэзии Станислава Костки Неймана, умершего в 1947 году, останавливают внимание строки:

А молодняк на лесных участках
Встал по-мужски над землей сырой.
Пусть быстролетные ветры мчатся,
Пусть наступает ненастье часто,
Он, юный лес, сам себе герой.

Вот он возрос молодой дубравой,
Вызов и гордую стать хранит,
Словно сошелся на «ты» со славой —
Вот, мол, какой я большой и braveый,
Дайте лишь сроки — упрусь в зенит.

(Перевел С. Смирнов)

Так развивается и творчески преломляется бессмертное пушкинское: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

В стихотворении «Поэзия» Станислав Костка Нейман завещал своим братьям-поэтам:

В земном обретает свою человечность
Поэзия;
Чем глубже в сердцах, тем безбрежней,
как Млечность,
Поэзия.

(Перевел С. Смирнов)

Эту мысль развивает другой чешский поэт, Франтишек Бранислав. Поэт, прибегающий к метафорической параллели «поэт-землекоп»:

Мне лучших чувств познать не доведется,
чем испытал я при рытье колодца
в земле своей родной.
Казалось, будто ищешь: в своем сердце
на самом дне, к извечной правде дверцу,
чтоб ей служить одной.

(Перевел В. Честной)

Разговор о глубине поэзии, о связи с родной землей, о верности ей проходит через всю чешскую и словацкую поэзию. Очень сильно эта тема звучала, например, у поэта с мировым именем Витезслава Незвала:

Есть редкостней места и краше. может
статься.
чем Свратки берега, не буду отрицать,

но родной ни с кем не стал бы я
меняться.
Есть редкостней места и краше. может
статься,
но здесь моя земля, моя родная мать.

(Перевел Б. Пастернак)

Любовь к родной земле одушевляла партизанское движение против фашизма, которое достигло высшей точки в Словацком национальном восстании 1944 года. О нем писали Андрей Плавка и Владимир Райсел, Ян Поничан и Штефания Партошова. Нельзя без доступающего к горлу волнения читать строки партизанки Штефании Партошовой:

В стихах те годы, как умею, славлю,
но, подвиг их возвышенно любя,
я строчкою им славы не прибавлю —
они давно прославили себя.

Что плач стихотворенья моего?
Какая б в нем ни заключалась сила,
оно не скажет более того,
что говорят нам братские могилы.

(Перевел В. Фирсов)

Эти стихи звучат как клятва, как вздох на могиле, как завещание живущим — помнить о войне, беречь мир.

Штефании Партошовой вторит активный участник Словацкого национального восстания, руководитель Союза писателей Словакии Андрей Плавка:

Живу своей жизнью
неподалеку от вас
и часто сюда прихожу,
чтобы с глазу на глаз
побеседовать с вами.
И тоже робею,
влюбленный в земную жизнь,
чьи корни
вы прахом своим питаете.
И мне вы даруете слово
во славу ее
и в защиту.

(Перевел И. Иванов)

Яркие строки о Словацком восстании написал чешский поэт Йозеф Рыбак:

В сожженной деревне
каратели,
бледные, как стена мазанки.

Отчаянно стучат зубы у пишущих
машин,
когда диктуют приказ об аресте
всех лесов
на нашей земле.

А в горах высоко,
от вершины к вершине несется:
«Эх, было нас одиннадцать,
стало нас тридцать».

(Перевел М. Шаповалов)

Спустя годы и годы после победы война «не отпускала» от себя поэтов, заставляя их оглядываться на ту трагическую пору, вспоминать злодеяния фашистов. Великолепно передает это состояние тревожной оглядки из глубины мирной жизни на войну словацкий поэт Павол Горов в стихотворении «Тихая ночь над морем»:

Такой закат, как будто я в поэме,
не созданной еще никем на свете.
Чуть плещет море. Спать в такое время
ложатся мои дети.

Волна устало бакены колышет.
И вот уже дозором по планете
проходит ночь. А море мерно дышит,
уснув, как мои дети.

Но — чу! — ты слышишь? Там, где
у причала
лишь тишина играла на кларнете,
во тьме тревожно чайка закричала,
как вскрикивают дети.

И в сердце снова хлынуло смятенье
(опять передо мной кошмары эти),
скорее прочь, навязчивые тени!
Ведь в этом доме — дети!
(Перевела В. Каменская)

В 1950 году Витезслав Незвал написал знаменитую «Песнь мира», которая облетела весь земной шар. Сегодня мирную жизнь Чехословакии талантливо воспевают многие поэты. Среди них особо хотелось бы выделить чеха Йозефа Кайнара. Он славит труд шахтеров, высокое горение их душ:

Жизнь нелегка. Она под землю входит
не для того, чтоб дуть в кларнет.
Да, жизнь горька. Она под землю входит,
где нот не разглядеть, где их и нет.

Но ты — шахтер. Тебе достало сил:
ты горечь одиночества разбил,

и, славя жизнь, твой гимн, лучист и
громок,
летит из потемок.

(Перевел В. Корчагин)

В стихотворении «Мать» Й. Кайнар создает образ труженицы, которая, несмотря на пережитые ею невзгоды, не утратила вкуса к жизни и готова не покладая рук трудиться, дабы мир становился краше. Убедительности этого образа немало способствует удачно найденная Й. Кайнаром форма разговорного стиха.

Романтической приподнятостью поэтической речи отличается Мирослав Флориан. Строки его стихов при внутренней их патетичности окрашены улыбкой старого сказочника:

На чашах соцветий деревья взвешивают
и перемешивают
зори, закаты, балеты дождей,
чтоб сделать из этого яблоко или сливу.

(Перевел И. Иванов)

Улыбка, мажорность тона, столь укрепившиеся в чешской и словацкой поэзии после победы и утверждения социалистической Чехословакии, особенно характерны для стихов Павла Койша, Мирослава Валека, Войтеха Мигалика, Юлиуса Ленко, Иржи Тауфера, Ивана Скалы, Яна Пиларжа.

Невозможно процитировать все, что понравилось в книге. Общее ощущение от прочитанной антологии хорошее. Она содействует делу сближения наших литератур, приобщит к чешской и словацкой поэзии читателей Советского Союза, будет содействовать дружбе двух социалистических стран, у которых одна цель — к о м м у н и з м!

Виктор БОКОВ.



ПАФОС ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Н. К. Гей. *Художественность литературы. Поэтика. Стилль. М. «Наука». 1975. 471 стр.*

Есть в малой — человеческой — вселенной два несоизмеримых и все же тесно связанных друг с другом мира: мир поэтического слова в самом широком смысле и мир бесчисленных теорий, построений и размышлений о сущности художественной литературы. Один мир — как пестрая бескрайняя степь вся в цветах и травах, вечная весна; другой — дремучий лес с вековыми дубами и кедрами, медвежьими берлогами, болотами и бочагами, с непроходи-

мой чащей. Попробуйте продрасть сквозь такой лес к ликующей опушке, чтобы можно было, приложив козырьком ладонь к глазам, обозреть степную ширь и двинуться в поэтическую беспредельность... Вот такую нелегкую задачу и взял на себя Н. К. Гей в недавно вышедшей книге о художественности литературы: сквозь теоретические чащи ведет он читателя к живому пониманию поэзии. Последуем и мы за ходом его мысли с самого начала.

Прокладывая свой путь, Н. К. Гей прежде всего в принципе отвергает редуцирование художественной литературы — Гегелем до идеи, Тэнном до факта, Фрейдом до либидо, Юнгом до архетипа, а далее до формальной структуры, до символа, до знака, до голой информации... Пафос его исследования — единство, но не органическое (он отвергает эту распространенную метафору), а в точном значении художественное — художественный синтез.

Подходя с этой точки зрения к слову в поэтическом контексте, Н. К. Гей обнаруживает в нем не просто знак с тем или иным значением, а образ реальности, обладающей объемом, цветом, вкусом, запахом и звуком. Такой образ совершенно не улавливается так называемой атомарной поэтикой; его не схватывает и кибернетический принцип, по существу безразличный к конкретным качествам вещей.

Единицей художественной цельности может быть поэтому не слово (само по себе оно несет только абстрактное, зафиксированное словарями значение), а все произведение в единстве содержания и формы; язык же в нем — как вещество всей конструкции, содержащей и отражение предмета и выражение авторского к нему отношения.

В художественном целом каждый компонент, в том числе и слово, превращается в нечто неузнаваемое. Как в скульптуре нет мраморных или деревянных волос, а мрамор или дерево стали волосами, так и в поэзии язык стал веществом тяжелым, плотным, наполненным жизнью, он не терпит пустоты. Поэтичность, значит, не в подборе метафор или «эмоциональных» слов, а в наполненности слова жизнью и отношением к ней художника, метафоры же и эпитеты могут только, если они даны кстати, служить воплощению полноты жизни. И так с каждым элементом произведения: он превращается в нечто иное, его уподобление предмету выражается в «разуподоблении» его, а то и другое подчинено общему процессу рождения и жизни поэтического целого.

Поэтическое слово, следовательно, не описывает, а вызывает представление о предмете, образ предмета, а образ создается в противоречиях сходства и несходства, облика и смысла, изображения и выражения. Знак статичен; художественный образ — весь в движении этих противоречий, в нем всегда содержится не только

изображение, но и смысл, в нем есть доля условности, в нем скрыто иносказание: он показывая говорит и говоря показывает и тем достигает объемности и выводит к целому — произведению.

Произведение же как целое нельзя измерить какой-либо формулой, скажем результатом отношения меры его упорядоченности к мере его сложности, как предлагал Г. Д. Биркгоф: счетчики художественности невозможны уже потому, что количественному измерению художественность не поддается. Она не абстрактная художественность вообще, а всегда определенная неповторимая художественная концепция, имеющая свои собственные прямые и обратные связи между своими частями и компонентами, свою индивидуальную организацию словесного материала, отвечающую целостности данного смысла.

Художественность есть совершенство, замкнутость данной художественной концепции в произведении, а в то же время разомкнутость в жизнь — художественная правда. Искусство не копия действительности, но оно сохраняет сходство с ней, верность ей, бережет истину, оно исследование человека и жизни, моделирование логики вероятного в них, создаваемое и средствами невероятного, фантастического, а не только жизнеподобного. Сущность искусства, писал Л. Н. Толстой, «состоит в том, чтобы представить самых разнообразных по характерам и положениям людей и выдвинуть перед ними, поставить их всех в необходимость решения жизненного, не решенного еще людьми вопроса и заставить их действовать, посмотреть, чтобы узнать, как решится этот вопрос». Эти приведенные Н. К. Геом слова писателя великолепно суммируют его рассуждения по затронутым проблемам.

Явление, мы знаем из философии, существенно, а сущность — является, то и другое — процессы, и Н. К. Гей переходит к исследованию процессов преобразования жизненной правды в художественную. Сначала он рассматривает возникновение поэтического времени и поэтического пространства и обнаруживает их несовпадение с реальными формами существования материи. Затем анализируется концепция произведения, прежде всего взаимодействие факта и идеи, в ходе которого возникает их синтез — поэтическая идея, обладающая непосредственной очевидностью и многомерностью, недоступными логиче-

ской мысли, однозначной и требующей доказательств. Поэтическая идея проверяется в разворачивании самого произведения, в процессе своего формирования — то и другое и составляет ее жизнь, хотя эта жизнь в произведениях различных художественных направлений может быть очень разной. Логика жизни, таким образом, переходит в художественную логику, а система образов становится художественной концепцией жизни, ее отображением, осмыслением, испытанием и выявлением ее потенциальных возможностей.

Насколько это сложный по существу и результатам процесс, говорят многочисленные случаи несовпадения логики жизни, художественной концепции и прямых высказываний писателя. И здесь, желая понять этот сложный процесс, нельзя не обратить внимания на своеобразие поэтического мышления, которое все направлено к человеку и человеческому в нем — к тому, что не может быть уловлено другими способами постижения. Художник всегда говорит о человеке, ведет спор за человека в своем герое, за человеческое в общественных отношениях, и это-то и составляет сущность поэтической концепции, определяет ее динамическую интеграцию. Отсюда следует у Н. К. Гея двусторонний подход к проблемам художественного метода и стиля — и со стороны познавательной и со стороны оценочной, или, как сказано в книге, аксиологической.

Сущность искусства заключена в его гуманистическом начале. Но гуманизм искусства неотделим от вклада искусства в познание и освоение мира, он сам выражается в художественном открытии. Свообразие такого соединения определяет художественные методы и стили данной эпохи, а также и соотношение между типологическими и индивидуальными особенностями тех и других.

Единство данного художественного метода развивается в многообразии его стилистических решений, позволяющих охватить жизнь со всех сторон, доступных этому методу. Отсюда ценностная соотносимость разных творческих методов и стилей, их эстетическая и художественная неравнозначность. Каждый художественный метод занимает свое историческое место в реальном развитии искусства и оставляет для будущих эпох им достигнутую долю абсолютной художественной ценности. Вопрос о прогрессе в искусстве решается в книге

Н. К. Гея достаточно гибко для того, чтобы убедительно объяснить обращение писателя к давнему, даже забытому художественному опыту, казалось бы, чуждому ему, но неожиданно открывающему новые возможности в художественной системе этого писателя. Лев Толстой, как показано в книге, в своем развивающемся реализме трансформирует опыт сентиментализма и романтизма.

Ценностная неравнозначность художественных методов возникает еще и из различий в их пафосе, который может быть либо жизнеутверждающим, либо жизнеотрицающим. Жизнеутверждающий пафос характерен для развивающегося искусства, для его взлетов и расцветов. Жизнеотрицающий пафос определяет художественные методы, в которых эстетически выражается упадок искусства и его общественной ценности. «Попробуем сказать так, — пишет Н. К. Гей, — передовое искусство всегда было смелым и одухотворенным поиском человеческого счастья». Отрицание жизни приводит искусство к утрате его гуманистической сущности, а с этим и творческой силы и жизненной полнокровности. Линия жизнеутверждающего искусства находит свое естественное завершение в пафосе социалистического реализма — в его идейной направленности, в его художественных открытиях, в воплощении им идеала прекрасного общества.

В стиле произведения в не меньшей степени выражается ценностная сторона искусства слова. «...стиль — это тоже позиция, художественная позиция писателя в искусстве и в общественной жизни, в борьбе идей, в столкновении художественных концепций и взаимодействии подлинных гуманистических ценностей», — так заключает Н. К. Гей анализ понятия стиля, ведущийся на сопоставлении двух выдающихся произведений — «Старик и море» Э. Хемингуэя и «Судьба человека» М. Шолохова.

Завершая книгу, Н. К. Гей стремится обрисовать феномен искусства.

Искусство нельзя свести к функции художественного познания, хотя и несомненна принципиальная общность научного и художественного познания объективной истины. Красота и истина несоизмеримы. Художественный образ обладает универсальной целостностью, отличающейся от целостности кибернетической системы, которая сводится к исчислимой информации. Художествен-

ный образ неисчерпаем и тем подобен жизни; он индивидуален; то и другое составляет секрет художественности, напоминающий тайну жизни. Искусство, как и жизнь, ускользает от системного анализа, от формалистического вычленения «приемов» и т. п. Неповторимость, целостность и содержательность произведения оказываются его осуществленной эстетической реальностью, принципиально своеобразной, не похожей на другие системы, поддающиеся рассечению и анализу.

Таков очень бегло и неполно обозначенный нами ход мысли Н. К. Гея в его большом исследовании, таков пафос его исследования.

Теперь спросим себя: выводит ли нас автор из теоретических дебрей в сияющее царство Поэзии? Но тут нам слышится голос заинтересованного читателя:

— Вы это серьезно полагаете, что все литературные теории — это дремучие чащи и только один Н. К. Гей расчищает путь?!

Конечно нет, спешим успокоить мы этот ревнивый голос. Всякое сравнение хромает, хромает и наше сравнение теории поэзии с дремучим лесом. Но, во-первых, нами упомянуты и мощные столпы теории, а не только дремучие чащи. Во-вторых, согласитесь: слишком многое похоже на бочаги и заросли, нередко попадаетея и осиновый кол вместо цветущей яблони или хотя бы рябины. Самое же главное в том, что историю будет интересовать не «личностная», как теперь выражаются, сторона дела, а элементарно научная: правильность пути, достижение истины.

И если обратиться к этой научной сути дела, то Н. К. Гей в рецензируемой книге, по нашему мнению, идет по правильному пути, к тому же нисколько не претендуя на первооткрывательство. Даже напротив — он, как нам кажется, слишком много захватил из теоретического леса сухих сучьев, затруднивших движение его мысли.

В наше время во многих исследованиях пробивает себе дорогу новаторская идея, которая состоит в том, что поэзия в широком смысле, искусство вообще — это целостное в своей особенности явление общественного сознания. Так его и надо исследовать — как целостное в особенных отношениях к источникам формы и материала, к определяющему характер его развития предмету, ко всеобщим, пронизывающим всю сферу общественного сознания социальным отношениям, наконец, как осо-

бенное целостное воздействие на воспринимающего субъекта, благодаря чему, собственно, искусство и нельзя заменить ничем другим. Каждая сторона этой целостности искусства должна быть изучена с точки зрения ее происхождения из простейших всеобщих предпосылок, как, например, язык поэзии в его особенностях — из самого обычного разговорного языка и его ответвлений, а художественный образ — из образа создаваемой трудом вещи. Только тогда будет ясной та особенность каждой стороны искусства, благодаря которой она сохраняет связи с породившим ее внешним миром, поднимается на новую ступень сложности в каждом единичном произведении и возвращается обогащенной в духовный мир человека. Искусство — это многогранное отражение жизни человека, построенное всегда из простейших и существеннейших элементов этой жизни и обращенных к человеку как целостной индивидуальности. Искусство — уникальный и необходимый синтетический вид духовных общественных отношений, а не совокупность вещей, именуемых произведениями. Искусство — движущийся от создателя к читателю, зрителю, слушателю духовный поток, а не поток инвариантной информации и тем более не мертвая «система», построенная по рецептам и потому доступная всевозможным «срезам». Поэзия живет в душах людей, а не на книжных полках — там она только пребывает до времени, до своей вдохновенной жизни в воображении читателя.

Вот если со стороны такого представления об искусстве подойти к книге Н. К. Гея, обнаруживаются не только достоинства, которые мы старались передать, излагая ее содержание, но и нерешенные проблемы, а также и издержки.

Н. К. Гей традиционно исходит в своих рассуждениях из сравнений конкретности искусства с абстрактностью науки. В своих лежащих на поверхности пределах это, разумеется, оправданно. Но как-то незаметно наука в полном объеме этого понятия на страницах книги уступает место представлениям формальной логики, ее требованию строгой однозначности (инвариантности) терминологии. Сама по себе эта бурно развивающаяся область логики не претендует на всеобщую истинность и довольствуется пределами своей применимости. Когда же мы этот формально-логический инструмент познания с его абстрактными правилами

вольно или невольно принимаем за науку и научную методологию во всем их объеме, мы совершаем большую ошибку. Научные понятия не менее конкретны, чем художественные образы, но конкретность их разная, вот в чем дело. Научное понятие есть синтез многих простых определений и отношений (Маркс), оно отражает сложную систему данного явления и немислимо без анализа происхождения этой системы из простых отношений. Об этом необходимо сказать здесь потому, что только таким и может быть научное понятие искусства.

Мысль в книге Н. К. Гей не доведена до научной конкретности, она в значительной мере остается абстрактной и потому неопределенной, зыбкой, утрачивает аналитичность и движется на уровне описания, подчас, впрочем, очень меткого и свежего. Отвергая всякие псевдонаучные пути, Н. К. Гей поэтому все же останавливается перед секретом художественности, напоминаям ему тайну жизни.

Известно, что тайна жизни теперь начинает уступать науке, которая идет именно путем последовательного синтеза, воссоздания живого целого из результатов анализа, находящихся на границе жизни. Секрет же художественности практически открывается каждым, кто ее достигает; рассказы самих художников об этом секрете представляют собою, в сущности, интуитивную теорию искусства.

С некоторых пор само выражение «интуитивная теория» стало символом ненаучности, чуть ли не своего рода алхимии. Но интуиция (не божественное или самовлюбленное наитие, а именно интуиция, воспитанная сотнями тысяч лет практики) редко обманывала человека. Наука в конце концов находит рациональные основы интуитивных представлений и решений, истинность которых вряд ли стоит подвергать сомнению, раз они служат нам верой и правдой. Это не значит, что нам остается лишь систематизировать свидетельства художников, а значит, что теоретическое понятие искусства во всей его сложности и объеме не должно расходиться с этой практикой и ее свидетельствами.

Н. К. Гей не прошел мимо художнического опыта, но и не включил его в свое систематическое исследование. Например, из-за этого, нам кажется, выпало из книги соотношение поэтического языка с живым обиходным, народным — все внимание ис-

следователя сосредоточилось на сравнении с обескровленным языком формально-логического ряда. Из-за этого же труд художника, процесс созидания им произведения, само произведение как продукт труда, продукт, обладающий своими особенностями, — все это тоже осталось вне внимания исследователя. В результате на страницах книги постоянно смешиваются широкие эстетические явления с явлениями художественными, принадлежащими собственно искусству, не проведена ощутимая граница и не выявлена взаимосвязь между реальным образом создаваемой вещи и художественным образом как формой искусства. Совершенно также не выделен четко главный предмет искусства — человек, неизменно составляющий центр всех «интуитивных» свидетельств художника; не намечены идеологические следствия этого средоточия искусства на человеке, хотя на многих страницах и говорится о гуманистической сущности художественной литературы.

Наконец, последнее соображение, относящееся, как и все другие, не столько к книге Н. К. Гей, сколько ко всему нашему литературоведению. В книге постоянно мелькают термины, перенесенные из научного лексикона в сферу искусства и приложенные к нему в сопровождении оговорочных эпитетов. Это система образа, «прямые» и «обратные» связи в произведении, поэтическая мысль, художественный эксперимент, идея характера, динамическая интеграция смысла, аксиологический аспект метода и стиля, конструкция и концепция в слове и т. д. и т. п. — мы выписали только в оглавлении фигурирующие слова, которым автор, очевидно, придает терминологическое значение; некоторые из других мы привели в нашем изложении содержания книги. Если отбросить очевидные излишества, то само обильное перенесение относящейся к науке терминологии в теорию искусства свидетельствует о неразработанности последней. Наука об искусстве должна строго отобрать из имеющихся терминов такие, которые точно соответствуют своему предмету, а недостающие возникнут из исследования и естественно войдут в обиход. Не надо бы забывать и некоторые старые неплохие слова, например воображение, фантазию, творческую интуицию. Нашествие в теорию искусства чуж-

дых ей терминов создает неотвязное впечатление, что перед нами не самостоятельная, мощная, широко разветвленная, живая и вечная форма общественного сознания, а всего лишь некая серая тень могучей Науки. Это, конечно, заведомо не так, этого никто сказать не хочет.

Книга Н. К. Гея не принадлежит к тем, которые легко читаются. Она среди тех, которые рождают размышления,— вот ее рекомендация думающему читателю.

Г. СОЛОВЬЕВ.



КНИГА АКТЕРА

Михаил Ульянов. *Моя профессия*. М. «Молодая гвардия». 1975. 256 стр.

По-разному пишутся книги — легко и трудно, в обстоятельствах то благоприятных, то наисложнейших. Читатель о том чаще всего ничего не знает. Но, взявшись за книгу, он может все же представить себе обстановку, в которой пребывал автор, склонившись над страницами рукописи...

О книге актера Михаила Ульянова «Моя профессия» можно было бы сказать, что написана она в короткие передышки между боями — за овладение ролью, за достойное ее воплощение на сцене или на экране. Теми тяжельми, изнурительными, почти непрерывными боями, которые и составляют сущность актерской профессии. На страницах рецензируемой книги она предстает как профессия сражающегося бойца, смело идущего в разведку.

Вот Михаил Ульянов получает роль председателя колхоза Егора Трубникова — героя будущего фильма «Председатель». Актер ликует! «Я получил грандиозную, интереснейшую роль», «такая роль встречается, может быть, один раз в жизни».

С такой богатейшей ролью актер подошел к самому порогу заветного актерского счастья. Но как долго оно не давалось ему в руки. «Меня весь год тревожила одна и та же мысль — как сыграть Егора, как к нему найти ключи?» Актер уже релетирует, снимается, просматривает первые отснятые кадры будущего фильма, но сражение за роль, поиски ключа к роли продолжают с неослабевающим напряжением. «Меня охватывает отчаяние. Я недотягиваю роль, а что делать — не знаю». Мучительное это состояние держит актера словно в плену — и на съемочной площадке, и дома, и на улице, и в театре, и... в базарной сутолоке. «Сегодня на базаре,— записывает он в свой рабочий дневник,— вроде нашел «Трубникова», но глаза потухшие»... Актер всюду ищет и нигде не находит глаз своего героя — «острых, цепких, вьедливых». А ему нужны эти трубниковские глаза, трубников-

ское лицо, одежда, манеры, чтобы потом, на экране, «совершенно не чувствовалось актера».

Через несколько дней в дневнике появится новая, казалось бы, странная запись: «Почти на грани нахальства надо играть эту роль. А где его взять, когда сплошные сомнения, сомнения, сомнения...»

Напряженный поиск не ослабевал в течение всего года...

Но как ни трудна была эта битва за роль Егора Трубникова, автор, рассказывая позже о своей книге, искренне признавался:

— Легче сыграть роль председателя, чем написать книгу.

Конечно же, писать книги — не актерское это дело, может сказать актер. А вышло так, что и в этом непривычном для него деле прекрасно оказалась художническая одаренность М. Ульянова. Перед своим читателем начинающий театральный литератор предстает интересным и умным, предельно искренним, беспокойно-пытливым собеседником, озабоченным судьбами театра, совершенствованием своего наитруднейшего актерского дела. Границы его повествования простерты от Сибири до Москвы: от древнего сибирского городка Тара, что расположен на берегу Иртыша, где прошло детство будущего актера, до столичной вахтанговской сцены, до конца определившей его судьбу в искусстве.

Чем же примечательна и интересна рекомендуемая читателю книга актера? Главное в ней — ясность позиции художника. Позиция эта завоевана им не сразу. Постепенно завоевывалась и упрочилась она сначала под воздействием учителей-воспитателей, пользовавшихся глубоко уважительным отношением пытливого ученика, а потом и в процессе самостоятельного осмысления собственного сценического опыта, поучительных уроков жизни.

Гражданская, эстетическая позиция

М. Ульянова многое объясняет в его искусстве. Это искусство остросовременного актера, способного жить на сцене и на экране большими, волнующими интересами времени. Современный склад по-граждански страстного художнического мышления актера — вот что стало первейшим условием, твердой основой широчайшего признания его таланта. Он пришел к глубокому пониманию главного: талант важен не сам по себе, он важен своей живейшей сопричастностью ко времени, к жизни общества, способностью выражать общенародные интересы.

И все же в профессии своей М. Ульянов не только современен, а и традиционен. В творчестве он убежденно следует нестареющим традициям национальной художественной культуры. Для него отрешение от родных традиций, завещанных великими мастерами прошлого, не может служить признаком новаторства. Пренебрежение к наследию только обедняет актера. Ему важно сказать и себе и другим: «Мы иногда очень легко отказываемся от некоторых добрых традиций и даже клеймим их, потому что они слишком обременяют нас, заставляют нас быть более сдержанными, рассудительными. Они нам мешают не потому, что они плохи, а потому, что они требуют нашего внимания, напряжения, усилия. А нам не хочется. Ведь проще сказать, что это плохо, вредно, и вся недолга».

В действительном живительном слиянии традиций и новаторства и обрел М. Ульянов силу своего дарования. Актер приемлет то новое, что исходит из положительного опыта, накопленного выдающимися театральными предшественниками, и в утверждении нового, современного не поддается пагубным влияниям надуманной моды то на «интеллектуального актера», то на некий все нивелирующий «современный исполнительский стиль».

Размышляя о сущности актерской профессии в современном ее понимании, Михаил Ульянов не мог не вспомнить прежнего расчленения сценического искусства на две противостоящие школы — на «школу представления» и «школу переживания». Для сегодняшней сцены такое расчленение кажется ему давно уже отжившим, архаичным. В наше время, полагает автор, нельзя быть большим мастером, не будучи при этом «актером техники» и «актером нутра». Тут нет у него стремления механически соединить одно с другим. Переживание ак-

тера волнует и трогает зрительный зал, когда оно художественно представлено, выражено, когда найдена для него законченная сценическая форма. Идеалом тут служат «работы, настоянные на сердце»..

Это эстетическая сторона актерской профессии. Но есть еще и другая, к тому же наиважнейшая ее грань — этическая. Та грань, что становится существенным составным элементом самого понятия сценического мастерства.

Этика актера начинается для М. Ульянова с благодарного, признательного отношения к своим учителям, воспитателям, мудрым театральным наставникам. Среди них на первом плане видишь поэта, романтика, рыцаря театра, искуснейшего, чудесного его мастера Рубена Николаевича Симонова. Именно в симоновской школе более четверти века назад начиналось сценическое формирование так много обещавшего таланта молодого актера-сибиряка. В этой школе его дарование обретало силу, энергию движения, веру в собственные возможности. Уроки, преподанные некогда мастером, остаются памятными уроками на всю жизнь.

В уроках Симонова, в неповторимом его искусстве многое трогало признательного ученика... Вот в роли Доменико Сориано в спектакле «Филумена Мартурано» Р. Симонов пылливо всматривался в молодые лица трех сыновей Филумены, пытаясь угадать, кто же из них является его сыном... Могли думать тогда блистательный исполнитель роли Сориано, встречаясь глазами с молодым М. Ульяновым, что именно в немто и обретет он одного из своих самых верных, самых преданных театральных сыновей!.. «Сын» с любовью вспоминает об «отце»: «Симоновский Доменико Сориано вошел в историю Вахтанговского театра как одна из совершеннейших актерских работ. А в жизни молодых актеров (а мы тогда были молоды, когда играли сыновей Филумены) это была еще и та путеводная звезда, и та сверкающая вершина, которая манит, зовет к себе и не дает сбиться на окольные тропочки».

Этика актера, может быть, обаятельнее всего заявляет о себе в характере отношения к своим сотоварищам по сцене, в способности и умении ценить другие таланты, радоваться успеху товарища. Михаил Ульянов обладает этим счастливым нравственным даром. Подтверждением тому могут служить добрые строки книги, обращенные

к Евгению Симонову, Николаю Гриценко, Юрию Яковлеву, Михаилу Дадько, Ларисе Пашковой и, конечно же, к Юлии Борисовой. Прекрасной актрисе посвящены в книге яркие страницы, наполненные чувством товарищеского восхищения. «Мы боимся,— признается автор,— говорить высокие слова о своих товарищах, которые своей жизнью, своим непрестанным влиянием на тебя делают и твою жизнь интереснее и глубже». Но от этой боязни высоких слов не остается и следа, когда они помогают постичь природу редкостного таланта актрисы, неповторимое обаяние ее личности. О Юлии Борисовой еще много будет написано. И, думается, для пишущих о ней послужат своеобразным ориентиром проникновенные ульяновские строки.

И еще одно существенное положение этического кодекса актера: отношение к своему театру, солдатская верность его знамени. Михаил Ульянов — истинный вахтан-

говец. Он, конечно же, понимает, что, кроме его театра, есть у нас и другие не менее интересные сценические коллективы. И все же вахтанговский для него был и остается лучшим. «Вся моя жизнь связана с ним и без него для меня уже невымыслима».

Не все бесспорно в книге актера, в книге о его профессии, «прекрасной и многими не понимаемой, удивительной, трудной до жестокости, но и приносящей ее служителям и зрителям ни с чем не сравнимое волнение». И никак не случайно он заключает книгу многозначимой фразой: «Это не бесспорное, но мое». Мое!.. Тем-то, думается, интересен и познавателен первый (не считая статей) литературный опыт Михаила Ульянова, что в опыте этом полно раскрывается перед читателем «мое» автора — внутренний мир, сама личность большого нашего актера, заслужившего признание миллионов зрителей.

Н. АБАЛКИН.



Политика и наука

ЧТО И КАК ЧИТАЛ ЛЕНИН

Ю. П. Шарапов. Ленин как читатель. М. Политиздат. 1976. 208 стр.

Раскрыть тему «Ленин-читатель» — это значит показать, какое огромное место занимала книга в жизни и деятельности, в творческой лаборатории вождя революции и величайшего мыслителя. Книжки, журналы, газеты служили Владимиру Ильичу не только источником знаний, накопленных человечеством, они не только приносили ему самую разнообразную информацию и доставляли эстетическое наслаждение, но прежде всего были оружием в борьбе за интересы рабочего класса, за социализм, за дальнейшее обогащение и чистоту марксизма.

Тысячи печатных страниц прочитывал, изучал, осмысливал Ленин, прежде чем начать писать книгу или статью, излагать и отстаивать свою точку зрения. Владимир Ильич, подчеркивает Ю. Шарапов, следовал здесь одному из главных принципов творческой деятельности основоположников научного коммунизма, сформулированному Ф. Энгельсом в письме К. Марксу от 3 апреля 1851 года: «...пока у тебя останется непрочитанной хотя бы одна книга, кото-

рую ты считаешь важной, ты не возьмешь за перо»¹.

В указателях литературы к томам Полного собрания сочинений В. И. Ленина значится свыше 16 тысяч книг, брошюр, статей, периодических изданий, документов, писем на русском и иностранных языках, использованных Владимиром Ильичем в своих трудах. Н. К. Крупская писала, что Ленин «знал иностранные языки и прочел на них массу книг... А не читая книг, не читая иностранных газет и журналов, Ильич не мог бы вести той работы, которую он вел, не было бы у него тех знаний, которыми он был так прекрасно вооружен». Например, только в работе «Развитие капитализма в России» Ленин упоминает и цитирует более 500 печатных источников. Касаясь планов работы над этим произведением, Владимир Ильич отмечал в письме А. К. Чеботаревой от 2 января 1896 года: «Книг нужно много... Список книг разделен на 2 части, на которые делится и мое со-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 27, стр. 212.

чение: А.— Общая теоретическая часть. Она требует меньше книг... В.— Применение теоретических положений к данным русским. Эта часть требует очень многих книг². А ленинские «Тетради по империализму» содержат выписки из 148 книг (106 немецких, 23 французских, 17 английских и 2 в русском переводе) и 232 статей (206 немецких, 13 французских и 13 английских), помещенных в 49 различных периодических изданиях...

Автор сознает, что дать всестороннее и полное представление об орбите ленинского чтения в течение всей его жизни в одной книге невозможно, и стремится сосредоточить внимание главным образом на послеоктябрьском периоде. В эти годы чтение у Владимира Ильича выступает прежде всего как занятие, насущно необходимое для руководства Коммунистической партией и Советским государством. Его читательские интересы в это время определялись задачами творческой разработки марксизма, актуальными вопросами партийного, государственного, военного и хозяйственного строительства.

Ленинский интерес к книге всегда был предельно конкретен. На каждом новом этапе существования Республики Советов он диктовался сложившейся обстановкой, потребностью переживаемого момента. Прочитанное, изученное помогло Владимиру Ильичу в эти годы создать основополагающие труды, обобщившие первый опыт социалистического строительства, открывшие новый этап развития международного коммунистического и рабочего движения.

Безграничность интересов Ленина-читателя автор раскрывает в первой главе «Всеобъемлющий круг», рассказывающей о составе библиотеки Владимира Ильича в Кремле. В этом книжном собрании широко представлены труды Маркса и Энгельса, многочисленные работы по российскому и международному коммунистическому и рабочему движению, по вопросам политики, различным отраслям экономики, науки, культуры. Вместе с ними в книжных шкафах в кабинете и квартире Владимира Ильича располагались произведения многих отечественных и зарубежных писателей и поэтов. Свыше 8,5 тысячи книг и других печатных изданий насчитывает эта библиотека. Однако и это огромное книжное собрание не может полностью охарактеризо-

вать круг ленинского чтения. Владимир Ильич в процессе работы просматривал немалое количество книг, брошюр, но не все из них оставлял в своей библиотеке. Часть литературы после ознакомления он просил отослать в другие книгохранилища и, наоборот, часто запрашивал на время работы многие книги из библиотек Социалистической академии, Коминтерна, Академии наук, библиотеки Румянцевского музея.

Ленин уже смолоду приучил себя быть в курсе книжных новинок. Автор приводит многочисленные ленинские письма и записки, воспоминания родных и соратников Владимира Ильича, свидетельствующие о его неустанном стремлении расширить и углубить свои знания, о его органической потребности следить за новейшей литературой, чтобы возможно полнее, до мельчайших деталей знать обстановку и в любом вопросе сразу же добираться до самой сути, до его практического решения. Вот только два из множества приведенных в книге примеров. В 1918 году вышла в свет книга Н. А. Орлова «Продовольственная работа Советской власти». Ленин внимательно прочитал ее. 12 ноября на заседании Совнаркома член коллегии Наркомпрода А. И. Свидерский обратился к Владимиру Ильичу с запиской, в которой, в частности, спрашивал: «Говорят, что Вы недовольны выпущенной Компродом книгой Орлова. Так ли это?» Ленинский ответ гласил: «Напротив, очень доволен и крайне зол на Вас, что Вы **вовремя** этой книги и **ее корректур** мне не дали, о книге не кричали»³. Читая с карандашом в руках бюллетени комиссии ГОЭЛРО, Ленин не только выявил недостатки ее работы, но и дал четкие указания ее руководителю Г. М. Кржижановскому. 26 сентября 1920 года Владимир Ильич написал ему: «...до сих пор в целых пяти №№ «Бюллетеня» мы имеем только «схемы» и «планы» галекше, а близкого нет.

Чего именно (**точно**) не хватает для **«ускорения пуска в ход существующих электрических станций»?**

В этом гвоздь. А об этом ни слова.

Чего не хватает? Рабочих? Квалифицированных рабочих? Машин? Металла? Топлива? Чего другого?»⁴.

Так хорошо известные, опубликованные ленинские документы предстают перед на-

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 15—16.

³ «Правда», 6 ноября 1973 года.

⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 289—290.

ми еще одной гранью, характеризуя Ленина как читателя.

Всю жизнь труды Маркса и Энгельса были настольными книгами Владимира Ильича. О том, как он изучал литературное наследие основоположников научного коммунизма, ответы на какие животрепещущие вопросы российской действительности, революционного рабочего движения искал он в их трудах, рассказывается в главе «Советуясь с Марксом». Н. К. Крупская вспоминает: «Для Ленина учение Маркса было не догмой, а руководством к действию. У него раз сорвалось такое выражение: «Кто хочет посоветоваться с Марксом...» Выражение очень характерное. Сам он постоянно «советовался» с Марксом. В самые трудные, переломные моменты революции он брался вновь за перечитывание Маркса. Зайдешь к нему, бывало, в кабинет: кругом все волнуются, а Ильич читает Маркса и с трудом, бывало, отрывается от него».

В библиотеке Ленина в Кремле большое количество книг Маркса и Энгельса на русском и иностранных языках. Важнейшие труды собраны в различных изданиях и разных переводах. Особенно бережно хранил он тома «Капитала» К. Маркса на немецком и русском языках, повсюду возил их с собой. Они побывали с Владимиром Ильичем в ссылке и эмиграции, а позднее встали на полку его библиотеки в Кремле. Многочисленные пометки на их страницах, сделанные разными по цвету карандашами и чернилами, свидетельствуют о том, что Ленин постоянно обращался к ним. В ленинских произведениях содержится около 300 ссылок на «Капитал». А всего в трудах, вошедших в Полное собрание сочинений, упоминается 143 работы Маркса и Энгельса, 172 их письма.

Ю. Шарапов подробно рассказывает об огромном интересе, который Ленин проявил к письмам основоположников марксизма. Над четырьмя томами переписки Маркса и Энгельса, изданными в 1913 году, он работал несколько месяцев, результатом чего явился конспект этой переписки, с которым Владимир Ильич не расставался долгие годы.

Ленин внимательно следил за всеми новыми публикациями произведений и эпистолярного наследия Маркса и Энгельса, стремился сделать их труды достоянием всех советских людей. С этой целью в декабре 1920 года в Москве был создан первый в мире музей по марксизму, а 11 ян-

варя 1921 года по инициативе Ленина Оргбюро ЦК партии приняло постановление о переименовании музея в Институт К. Маркса и Ф. Энгельса⁵. 2 февраля Владимир Ильич направил директору института два письма, ставших программой деятельности этого научного учреждения. В одном из них Ленин спрашивал, есть ли в библиотеке института «коллекция всех писем Маркса и Энгельса из газет? и из отдельных журналов?.. Есть ли каталог всех писем Маркса и Энгельса?..». А в конце письма, исходя, вероятно, уже из своих читательских интересов, спрашивал: «Нельзя ли мне его взглянуть на недельку, т. е. каталог?»⁶. В другом письме он формулирует как одну из основных для института следующую задачу: «Есть ли надежда собрать нам в Москве все опубликованное Марксом и Энгельсом?»⁷.

В своей работе Ленин широко опирался также на собственные более ранние произведения. Об этом повествуется в главе «Ленин читает Ленина». Н. К. Крупская в статье «К вопросу о ленинском методе научной работы» писала: «Перечитывал он и свои статьи, делал и на них заметки и то, что навело на какую-нибудь новую мысль, тоже подчеркивал и страницу помечал на обложке».

Возвращение к ранее написанным трудам диктовалось для Владимира Ильича потребностями новой обстановки, новыми задачами, встающими перед Коммунистической партией и Советским государством. Ю. Шарапов иллюстрирует это, в частности, примером использования Лениным в брошюре «О продовольственном налоге» (апрель 1921 года) своей статьи «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» (май 1918 года).

Важнейшее место в поистине необъятной теоретической и практической деятельности Владимира Ильича занимало чтение газет. Пресса была для него источником наиболее свежей информации о событиях у нас в стране и во всем мире. Ежедневно он прочитывал, просматривал десятки различных газет. Раскрыть эту тему сколько-

⁵ В 1931 году Институт К. Маркса и Ф. Энгельса и Институт В. И. Ленина объединились в Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б) (ныне Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).

⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 52, стр. 63.

⁷ Там же, стр. 64.

нибудь полно в одной главе, которая называется «По газетным страницам», по существу, невозможно, и поэтому автор ограничивается рассказом о том, как Ленин после Октябрьской революции читал газеты «Правда», «Известия» и «Экономическая жизнь».

Факты, почерпнутые из газет, нередко служили Владимиру Ильичу толчком для написания статьи или брошюры. Так, в свою работу «Великий почин» он включил статью «Работа по-революционному (Коммунистическая суббота)», напечатанную в «Правде» 17 мая 1919 года. «Эта статья так важна, что мы воспроизведем ее полностью»⁸, — писал Ленин. Таким образом, рядовой газетный отчет о первых коммунистических субботниках послужил непосредственной причиной создания замечательного ленинского произведения.

Крайне важными и ответственными были в те годы выступления «Правды» по вопросам идеологии и культуры. Прочитав в номере газеты от 27 сентября 1922 года статью председателя Пролеткульта В. Ф. Плетнева «На идеологическом фронте», Владимир Ильич сразу же заявил о принципиальном несогласии с ней: «Ну зачем печатать глупости под видом важничашающего всеми учеными и модными словами фельетона⁹ Плетнева? Отметил 2 глупости и поставил ряд знаков вопроса...»¹⁰. Над заголовком статьи в своем экземпляре газеты Ленин сделал надпись «Сохранить», а его пометки на полях «Архифальшь», «Вот каша-то!», «Вздор», «Уф!», «Ха-ха» красноречиво свидетельствуют об отношении Владимира Ильича к ее содержанию.

Ленин прекрасно знал и любил художественную литературу — отечественную и мировую, часто цитировал в работах и выступлениях русских писателей, охотно пользовался литературными образами и меткими выражениями в борьбе с идейными противниками. В главе «Великая сила» раскрывается место и роль художественной литературы в жизни и деятельности Ленина. «Ильич не меньше моего читал классиков, — писала Н. К. Крупская, — не только читал, но и перечитывал не раз Тургенева, например. Я привезла с собой

в Сибирь Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Владимир Ильич положил их около своей кровати, рядом с Гегелем, и перечитывал их по вечерам вновь и вновь. Больше всего он любил Пушкина».

«Ленин любил поэзию, он очень любил Пушкина и читал его с громадным удовольствием...» — вспоминал Н. Л. Мещеряков. Эти свидетельства дополнил А. В. Луначарский, писавший о Ленине: «...вкусы его были очень определены. Он любил русских классиков, любил реализм в литературе...»

7 статей написал Ленин о Льве Толстом. Кроме того, в 35 других ленинских произведениях запечатлены те или иные оценки творчества писателя. В 14 работах Владимир Ильич цитирует Толстого. Лев Толстой велик, отмечал Ленин, в силу того, что «...сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе»¹¹.

Через всю жизнь пронес Владимир Ильич пламенную любовь к Чернышевскому. «...каждый раз, когда он говорил о Чернышевском, его речь вспыхивала страстностью», — рассказывает Надежда Константиновна.

Один из любимейших писателей Ленина — Салтыков-Щедрин. Сатирические образы Балалайкина, Угрюм-Бурчеева и, конечно, Иудушки Головлева часто встречаются на страницах ленинских работ. Образ Иудушки Головлева использован Лениным для разоблачения двуличия врагов во многих его книгах и статьях начиная с 90-х годов прошлого века и вплоть до 1918 года.

Из писателей-современников Владимир Ильич особенно любил А. П. Чехова.

Долголетняя трогательная дружба связывала Ленина с Горьким. Ленин ценил литературный стиль Горького, его язык. Поэтому, высказывая свои соображения о необходимости издания нового словаря литературного языка, Владимир Ильич в 1920 году определил его границы: «...от Пушкина до Горького»¹².

Однако, как справедливо отмечает Ю. Шаратов, пока еще трудно с достаточной полнотой охарактеризовать место художественной литературы, особенно зарубежной, в жизни и деятельности Ленина.

⁸ Там же, т. 39, стр. 6.

⁹ Фельетоном в то время называлась подвальная статья в газете.

¹⁰ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 291.

¹¹ Там же, т. 20, стр. 19.

¹² Там же, т. 51, стр. 122.

Эта проблема требует дальнейшего пристального внимания исследователей.

Владимира Ильича живо интересовала западная политическая литература, книги, выходящие из-под пера врагов. «Как часто я заставал его изучающим и комментирующим какую-нибудь опубликованную белыми в Берлине, Париже или Токио книгу», — вспоминает Анри Гильбо. К сожалению, раскрывая этот сюжет, автор не использовал некоторые ленинские документы, ярко показывающие, какое огромное значение придавал Владимир Ильич регулярному получению изданий из-за рубежа. Так, отвечая на вопрос секретаря о характере литературы, необходимой для покупки за границей, Ленин 2 января 1920 года указал: «На всех языках книги и брошюры полностью левосоциалистического и коммунистического направления и важнейшие об итогах войны, экономике, политике и т. п. Равно: художественные произведения о войне»¹³. Владимир Ильич специально просил М. М. Литвинова наладить присылку в Советскую Россию из-за границы необходимой литературы. 4 января 1920 года Владимир Ильич написал Г. В. Чичерину: «Получив от него (М. М. Литвинова.—Л. В.) кучку брошюр и газет, я крайне разочарован. Подбор донельзя случайный и небрежный... Надо добиться (и от Литвинова и всех членов РКП за границей...), чтобы были *наняты* прикосновенные к литературе люди в каждой стране... с *обязанностью* собирать по 4—5 экземпляров каждой социалистической и анархистской и коммунистической брошюры и книги, каждой резолюции, всех отчетов и протоколов о съездах и т. д. и т. п. на всех языках... Жалеть на это деньги глупо...»¹⁴

Книги были постоянными спутниками Ленина на протяжении всей его жизни. В годы учебы, в первый период своей революционной деятельности, в тюрьме и ссылке Владимир Ильич пользовался книгами из многих библиотек Симбирска и Казани, Самары и Петербурга, Москвы и Красноярска. В эмиграции он занимался в крупнейших книгохранилищах Лондона и Парижа, Женевы и Берна, Цюриха и Мюнхена, Стокгольма и Копенгагена. Об этом расска-

зывается в главе «В библиотеках России и других стран».

«Он умел не только читать книги. Он умел изучать их». Так кратко и очень точно охарактеризовала стиль работы Ленина-читателя М. И. Ульянова. Манере ленинского чтения автор посвятил заключительную главу книги «Читать надо уметь». В. Д. Бонч-Бруевич, изо дня в день встречавшийся с Лениным в течение первых трех лет после Октябрьской революции, свидетельствует: «Читал Владимир Ильич совершенно по-особому. Когда я видел читающего Ленина, мне казалось, что он не прочитывает строку за строкой, а смотрит страницу за страницей и быстро усваивает все поразительно глубоко и точно: через некоторое время он цитировал на память отдельные фразы и абзацы, как будто бы он долго и специально изучал только что прочитанное. Именно это и дало возможность Владимиру Ильичу прочесть такое громадное количество книг и статей, которому нельзя не изумиться».

«Колоссальная сосредоточенность» — так, отвечая на анкету Института мозга в 1935 году, определила Н. К. Крупская одну из характернейших черт Владимира Ильича, которая, по мнению Ю. Шарапова, имеет прямое отношение к процессу ленинского чтения.

Ленина отличала исключительно высокая культура чтения. Сказывалась она прежде всего в постоянной библиографической вооруженности, в умении выбрать нужные книги. В главе раскрывается и этот аспект образа Ленина-читателя.

Книга «Ленин как читатель» не свободна от недостатков. Имеются они, в частности, в ее структуре. Вряд ли можно признать оправданным, например, выделение глав «Когда бойцы становятся летописцами» и «Книги имеют свою судьбу» в качестве самостоятельных. В первой из них речь идет о книгах, написанных некоторыми членами партии и подаренных Владимиру Ильичу, а во второй — буквально о нескольких книгах, на которые Ленин обратил особое внимание. Но ведь и в других главах есть немало подобных сюжетов, и, на наш взгляд, не было никаких оснований выделять разговор об этой литературе в отдельные главы. Менее полно, чем это заслуживает, автор рассказывает о книгах, преподнесенных Ленину партийными, советскими и хозяйственными учреждениями и организациями, видными деятелями ли-

¹³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 110.

¹⁴ Там же, стр. 110—111.

тературы и искусства, в том числе зарубежными. Раскрытие этой темы еще ярче характеризовало бы ту безграничную любовь и уважение, которыми пользовался Владимир Ильич.

Но отмеченные недостатки несколько не снижают ценности новой книги о В. И. Ленине, с ней с интересом и пользой познакомятся советские читатели.

Л. ВИНОГРАДОВ.



«СОГЛАСОВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ СО СВОИМИ УБЕЖДЕНИЯМИ»

И. Ф. Арманд. Статьи, речи, письма. М. Политиздат. 1975. 287 стр.

Велик интерес советского читателя к личности и деятельности замечательной большевички Инессы Федоровны Арманд. Причиной тому многолетняя, самоотверженная работа «товарища Инессы» в рядах ленинской партии, ее яркая, незаурядная индивидуальность, сложная, драматическая судьба революционерки, безвременно погибшей в годы гражданской войны.

Длительное время в эмиграции И. Ф. Арманд работала в тесном контакте с В. И. Лениным и под его непосредственным руководством. Сохранились и опубликованы около 100 писем В. И. Ленина, адресованных ей, главным образом за 1914—1917 годы, в которых затрагиваются важнейшие вопросы политики и тактики партии, международного рабочего движения, марксистской теории, в частности проблемы коммунистической морали, даются советы, указания, многочисленные поручения. Ленинские письма к Арманд отличаются особенной доверительностью и откровенностью. «Инесса стала близким нам человеком», — отмечала Н. К. Крупская, рассказывая о большой дружбе ее и В. И. Ленина с И. Ф. Арманд.

С выходом в свет рецензируемой книги читатель впервые получает в собранном виде основную часть публицистического и некоторую часть эпистолярного наследия И. Ф. Арманд. Большинство статей и докладов Инессы, включенных в нее, до сих пор были известны лишь по первым публикациям в большевистской печати и с того времени не воспроизводились. Из 49 писем впервые публикуется 16, в том числе два письма известному голландскому революционеру Давиду Вайнкопу и ряд очень интересных писем дочери Инне Александровне Арманд.

Первые статьи Инессы Федоровны появились в 1914 году в легальном большевистском журнале «Работница», в то время служившем важнейшим инструментом идейного и организующего воздействия партии на женский пролетариат России. Вме-

сте с Н. К. Крупской, А. И. Ульяновой-Елизаровой и Л. Н. Сталь она входила в редакцию «Работницы». Вчитываясь сейчас в ее сдержанные, порой даже несколько суховатые строки, мы не можем не отметить умения автора четко и в то же время доступно освещать многие неясные для рабочих-читательниц вопросы.

В ее статьях, написанных в 1917 году, явственно ощущается школа ленинского интернационализма, глубокая убежденность в верности ленинского анализа обстановки и лозунгов революции. Впервые публикуемая по рукописи статья «Кто будет платить за войну?» развивает идеи знаменитой ленинской работы «Письма из далека» (в частности, письма 4-го). Вместе с другими большевиками Инесса выступала с решительным разоблачением грязной клеветы против партии и В. И. Ленина. «Тов. Ленин уже около 25 лет находится во главе нашей партии, — писала она, — и все время являлся самым последовательным и самым самоотверженным борцом за рабочее дело. К тому же он является крупнейшей теоретической и политической силой. Вот за все это и ненавидят его и русская и международная буржуазия».

Статьи и доклады 1919—1920 годов свидетельствуют о том, что голос И. Ф. Арманд становился все более авторитетным в движении работниц. Являясь первым заведующим отдела по работе среди женщин ЦК РКП(б), созданного в сентябре 1919 года, Инесса все время находилась в гуще пролетарских масс, чувствовала и знала их настроения, нужды. Постоянно выступая в печати, И. Ф. Арманд способствовала мобилизации энергии женщин-работниц для активной поддержки советской власти и участия в работе ее органов, в борьбе с контрреволюцией, в организации производства, помощи деревне и Красной Армии, привлечению работниц в ряды партии. Большое внимание Инесса уделяла

проблемам любви, семьи и брака. Пропагандируя и разъясняя воззрения Маркса и Энгельса по этим вопросам, она настойчиво стремилась связать их с повседневной жизнью, наметить, как практически реализовать теоретические предначертания основоположников научного коммунизма. Выводы Инессы, как правило, отличаются большой трезвостью, глубоким пониманием трудности перестройки семейно-бытовых отношений, достижения действительного равноправия женщин. «Политическое и семейное равенство,— пишет Инесса,— явление сложное, которое вовсе не исчерпывается формальным его признанием законами данного государства, и оно становится действительным, живым только в том случае, если оно проникает во все наши жизненные устои, во все повседневные навыки».

В эти же годы в деятельности и выступлениях Инессы Федоровны усиливается международный аспект. Уже до революции ей приходилось неоднократно по поручению В. И. Ленина и ЦК РСДРП поддерживать контакты с деятелями международного социалистического движения, представлять большевиков на международных совещаниях и съездах ряда партий. Глубокая убежденность в правоте ленинской партийной линии и умение отстаивать свое мнение в полемике, прекрасное знание языков, личное обаяние, выдержка и такт позволяли ей с успехом выполнять эти сложные задачи. В 1919—1920 годы И. Ф. Арманда принимает деятельное участие в формирующемся международном женском коммунистическом движении. Она стремится осмыслить историю этого движения, в частности работу большевиков среди женского пролетариата России (статья «Работницы в Интернационале»), информирует советских женщин о первых шагах женского коммунистического движения на Западе. В то же время на страницах интернациональной коммунистической печати она рассказывает о достижениях советской власти в хозяйственном строительстве, о новом положении женщины в Советской России.

Статьи и выступления Инессы представляют значительный интерес, без них, по существу, невозможно глубокое изучение истории идейно-воспитательной и организаторской деятельности нашей партии среди трудящихся-женщин.

И все же именно личные письма Инессы дают нам возможность в наибольшей степени приблизиться к ней, стать сопричаст-

ным движениям ее души, понять ее характер. В них раскрывается внутренний мир Инессы, основанный на удивительном сплаве марксистского революционного мирозерцания и мужества борца, живого и острого ума, темперамента, беззаветной любви, тонкого вкуса и чувства прекрасного. Особенно драматический отгенок в жизни Инессы, матери пятерых детей, порой приобретал вопрос о сочетании личного, семейного и общественного, участия в революционной борьбе. «И кто из нас стоит перед этой тяжелой дилеммой»,— писала она друзьям. Письма убедительно показывают, что революция стала не только важнейшим делом ее жизни, но и неотъемлемой, определяющей чертой ее духовного и эмоционального бытия.

С присущей ей наблюдательностью и темпераментом она рассказывает о революционных событиях 1905 года в Москве, о нерешительности и дряблости либералов, размышляет о воспитании революционного характера и мировоззрения, о новой морали. Инесса выражает глубокую веру в рабочий класс, восхищается его поведением осенью 1905 года: «А как великолепно держались рабочие! Какие они герои; какая сила и величие в этой стройно, дружно борющейся массе. Едва ли в истории была когда-либо более великолепная, более величественная борьба!» В близости к рабочим Инесса видит одну из важнейших причин своей идейной стойкости в годы реакции, своего иммунитета к влиянию ревизионистских и реакционных воззрений.

В переписке Инесса встает перед нами как человек творческий, прямо и непредвзято глядящий на мир, способный смело идти наперекор установившейся, отжившей традиции. Однако при этом она всегда настойчиво ставила перед собой вопрос: «Во имя чего?» «Я конечно страшно стою за оригинальность мысли, за «переоценку всех ценностей»,— писала она В. Е. Арманду,— но с тем условием, чтобы действительно создавались новые ценности». Инесса высказывала твердое убеждение, что буржуазная идеология «уже новых ценностей не создаст» и «только новаторы пролетарской идеологии действительно переоценивают все ценности».

Инесса (и это хорошо ощущается в ее переписке) всем своим существом воспринимала прекрасное в жизни и в искусстве. Приобщенность к прекрасному, способность к поэтическому восприятию мира была для

нее одним из источников душевных сил, человечности. Письмо В. Е. Арманду (ноябрь 1908 года) о посещении Третьяковской галереи показывает, как чутка была Инесса к новому в искусстве. Ей особенно понравились «Вихрь» Малявина и «Демон» Врубеля. «...они такие противоположные!» — восклицает Инесса. Особенно созвучна ей была картина Малявина, в которой «столько красок, столько движения, бодрости, удали». В то же время, потрясенная Врубелем, она записывает: «...демон — воплощенное отчаяние, отчаяние бессмертного, для которого нет выхода, нет даже смерти! И тут только ясно понимаешь, как могло бы быть ужасно, если бы были бессмертными, — становится понятен ужас бессмертия».

Ее живо волнуют споры некоторых теоретиков символизма о будущем искусства. Четко определяя их философское кредо («...все они кантианцы, только на разный манер»), Инесса тонко улавливает в них наиболее плодотворную, жизненную тенденцию, представленную Брюсовым.

Каждое прикосновение к искусству вызывает в Инессе богатую гамму впечатлений. Но передача их была бы далеко не полной (а может быть, и вовсе невозможной), если бы не была согрета и опосредована глубоким чувством любви, искренней сердечной привязанности.

Любовь, личное счастье были поистине выстраданы Инессой. Принципиальное решение ею дилеммы «личное — общественное» в пользу последнего отнюдь не означало отказа от борьбы за личное, скорее наоборот, и мы убеждаемся в этом, читая письма. Приход в революционное движение сопровождался резкой переменой в ее судьбе, разрывом с привычной средой. Она расстается с первым мужем, А. Е. Армандом, отцом ее пятерых детей, и становится женой его брата В. Е. Арманда. Их связывало не только глубокое чувство, но и идейная близость. В. Е. Арманд последовал за Инессой в мезенскую ссылку. В 1909 году он скончался от туберкулеза, обострившегося на Севере. В этой драматической ситуации ее участники проявили подлинную человечность, бережное отношение друг к другу. (К сожалению, эти обстоятельства биографии И. Ф. Арманда недостаточно освещены в комментариях, что затрудняет понимание некоторых писем.)

Будучи долгие годы оторвана от детей, Инесса Федоровна стремилась возможно шире использовать переписку для общения с ними. Она вкладывает в эти письма всю свою душевную щедрость, жизненный опыт, все богатство внутреннего мира, глубокое понимание с помощью чисто материнской интуиции душевных порывов и настроений дочери. Инесса обсуждает с дочерью многие сложные вопросы, отчего письма зачастую превращаются в своеобразные, удивительно содержательные нравственно-психологические, педагогические этюды. Она радуется, что дочь, следуя ее примеру, вступает на революционный путь, принимает ее мирозерцание, но хорошо понимает сложности этого процесса, сомнения и тревоги молодой девушки. Ободряя ее, Инесса советует не смущаться тем, что вначале это происходит не в результате глубокого обдумывания, «а так, по невольному влечению» (это вообще свойственно ранней молодости). Но затем, настаивает И. Ф. Арманд, должна быть работа сознательного выбора, куда обязательно входит критическое сравнение.

Инесса разговаривает с дочерью прямо, мужественно, откровенно, не вуалируя и не обходя острых вопросов, но вместе с тем ясно ощущая тот предел чувственной, интеллектуальной нагрузки, жизненных впечатлений, который может выдержать сильный, но еще недостаточно сформировавшийся характер.

Заключающие сборник письма к Инне (1918—1920) — это уже письма единомышленнику; товарищу по партии. Проникновенно рассказывает И. Ф. Арманд о настроениях в партии и народе после покушения на В. И. Ленина. «Это событие... как-то еще крепче и теснее сплотило нас, а что касается Ленина, то мне кажется, что и мы все и сами массы еще лучше поняли, как он нам дорог и как он необходим для дела революции, мы все лучше, чем когда-либо, поняли, какое великое значение он имел для нее...»

Рецензируемый сборник дает читателю возможность составить достаточно полное представление о различных гранях жизни и деятельности Инессы Федоровны Арманда. Этому способствует и краткий биографический очерк, написанный дочерью, ныне покойной Инной Александровной Арманда.

Ю. АМИАНТОВ.

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Борис Кузнецов. Путешествие через эпохи. Мемуары графа Калиостро и записки его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками. М. «Молодая гвардия». 1975. 190 стр.

Человек, долго и углубленно занимающийся историческими исследованиями, вполне закономерно приходит к такому положению вещей, когда люди прошлого как бы материализуются в его сознании и становятся не просто объектами изучения, а людьми. Живыми были для Тынянова современники Пушкина. Как тонко подметил Корней Чуковский, они были для него не исторические персонажи, но Николай Филиппычи, Алексей Феофилактычи, Кондратии Федоровичи. Живым был и сам Пушкин для Ахматовой. В таком живом общении с прошлым не только залог бессмертия былых поколений, но в определенной степени также и морально-этическое оправдание нашего собственного бытия, а может быть, и нашего бессмертия.

Несомненно также, что каждая эпоха имеет свою точку зрения на «вечные» мировые проблемы, ставит присущие только ей акценты в вопросах и ответах, которые не совпадают с точками зрения и акцентами других эпох. Поэтому общение с мыслителями прошлого, ретроспективная оценка их устремлений и идеалов становятся неотъемлемой частью процесса познания.

Именно такому общению с мыслителями прошлого и посвящена книга Б. Кузнецова «Путешествие через эпохи», являющаяся итогом многолетних работ автора по истории науки и культуры. Сошлемся на такие его книги, как «Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна» (1963), «Разум и бытие» (1972), «История философии для физиков и математиков» (1974), «Ценность познания» (1975).

Жанр новой книги Б. Кузнецова необычен. Это ясно видно уже из названий глав, из которых приведем некоторые: «О достоверности этих мемуаров», «О чем думают химеры Нотр-Дам?», «Улыбка Моны Лизы», «Разговоры в Принстоне о машине времени», «„Моцарт и Сальери“ и путешествие из Болдина (1830) в Вену (1791) и обратно», «Франческа да Римини», «Джузеппе Бальзамо и проблема необратимости времени», «Кубок Оберона», «Дифференциализм», «Поэзия познания», «До свидания, до следующего тысячелетия!... Обсуждение важных проблем науки, философии и творчества автор осуществляет в форме

свободных и раскованных бесед с мыслителями прошлого, облекая повествование в ткань романтической сказки о машине времени, движущейся сквозь эпохи. Серьезность рассматриваемых проблем вовсе не исключает возможности подробного эксперимента. «Сейчас нам особенно близка в культурном прошлом человечества проходящая через его историю сквозная струя живой, неудовлетворенной ищущей мысли», — пишет Б. Кузнецов. Автор убежден, что читателя, «нашего современника, свидетеля беспрецедентно быстрых перемен и участника их реализации, влечет к себе вечно юная романтика беспокойной творческой мысли. Ему недостаточно книг, в которых кристаллизуются ее итоги и результаты, он хочет живого общения с прошлым, живого диалога...». Впрочем, автор тут же разъясняет, что машина времени — это всего лишь литературный прием, синоним исторического исследования, но изложение построено таким образом, что каждый может воспринимать его как ему больше нравится — как романтическую историю или рациональные рассуждения.

Первая же глава «О достоверности этих мемуаров» вводит нас в рассмотрение одной из важных проблем науки — проблемы достоверного. Б. Кузнецов не стремится дать ее исчерпывающее решение, он лишь указывает на некоторые существенные аспекты вопроса и приглашает читателя к размышлению. Особенно важной нам кажется эта проблема применительно к истории: что и в какой степени можно считать достоверным в ней? Ведь в своих попытках воссоздать прошлое историк в очень значительной степени вынужден опираться на субъективные свидетельства, поскольку объекта исследования к моменту исследования уже не существует. Автор предлагает применить в качестве критериев достоверности исторической реконструкции те самые критерии, которым, по мнению Эйнштейна, должна удовлетворять истинная научная теория. Речь идет о «внутреннем совершенстве» — логической стройности и изяществе теории и ее «внешнем оправдании» — эмпирическом подтверждении. Но, к сожалению (а может быть, к счастью!), история не математическая наука, и подоб-

ные критерии не могут быть применены в ней непосредственно, в лоб. Эти оценки могут быть применены только косвенно, в процессе поиска связей, раскрывающих преемственность и единство творческой мысли в различных сферах человеческой деятельности в различные века. Поэтому поиски таких связей или инвариантов познания становятся одной из главных тем книги.

Вспомним, например, известное высказывание Эйнштейна: «Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс!» Здесь для нас важнее всего сопоставление творчества писателя и творчества математика как факторов, оказывающих одинаково сильное воздействие на исследовательскую деятельность ученого. Следовательно, в творчестве людей столь различных профессий содержится нечто общее, что сохраняется при переходе от философско-гуманитарной к естественнонаучной сфере, оно и будет в данном случае инвариантом познания.

Автор ищет эти общие принципы познания прежде всего в критические моменты развития научной и философской мысли. Именно ломка старых представлений о мироздании и переход к новым, отказ от традиционных взглядов, а вместе с тем и внутренняя связь, устанавливаемая этим переходом, определяет время и место остановок машины времени, а также и персонажи, с которыми автор ведет диалог. С этих позиций рассматривается античная культура, которая важна для нас не столько как «система канонов и нормативов, а как первая смена канонов, как замена канонов традиции канонами разума». Аристотель, с которым беседует автор, — это не традиционный авторитет, каким он стал для последующего тысячелетия, но первооткрыватель для своего времени. Эта черта роднит его с «героями и еретиками» других времен: номиналистами, поэтами и художниками средневековья, гениями Возрождения, Галилеем и Ньютоном — создателями новой науки и, наконец, с Эйнштейном. Все они словно в карнавальной шествии проходят перед нами по страницам книги. Несомненно определенная близость книги к карнавальному жанру в том смысле, который вкладывал в этот термин М. Бахтин. Карнавальный жанр как прием, где сама форма повествования несколько «снижена», понадобился автору для того, чтобы обрести большую свободу ассоциативного мышле-

ния, за кажущейся несерьезностью высказывать глубокие мысли.

Кстати, одна из глав — «О чем думают химеры Нотр-Дам?» — содержит попытку связать с помощью этой концепции средневековые и наше время, найти, как уже говорилось, некие общие принципы научного и художественного творчества, инварианты культуры. Автор видит их в своеобразных аналогах эпикуровых *κλίμαται* — спонтанных отклонений атомов от путей, предписанных законами природы. Для готики, по его мнению, такими отклонениями являются химеры, а для современной физики — соотношение неопределенностей Гейзенберга. Может быть, такое сопоставление выглядит несколько произвольным, хотя Б. Кузнецову нельзя отказать в находчивости и изяществе при отставивании таких параллелей. Однако здесь важен и другой аспект проблемы, на котором сейчас остановлюсь.

Кажется, все согласны с тем, что все явления науки, искусства и общественной мысли данной эпохи как-то связаны между собой и содержат нечто общее. С другой стороны, нетрудно проследить линии преемственности внутри какой-либо отдельной области человеческой культуры на протяжении ряда эпох. Но если мы стоим перед необходимостью выявить то общее, что содержится в разных сторонах культурного наследия одной цивилизации, а тем более разных цивилизаций, то, как правило, сталкиваемся с серьезными трудностями. Эти трудности связаны в первую очередь с различиями в их языке, то есть в способе выражения творческой мысли. Это различие стало особенно ощутимым в наше время, когда наука выработала достаточно сложный и недоступный для других областей творчества язык. Следовательно, поиски общих начал должны вестись среди каких-то иных, глубинных структур и характеристик, какими могут служить, например, стиль творчества или стиль мышления. И тут мы снова согласимся с тем, что каждой эпохе присущи некие общие черты стиля, точно так же как каждому художнику и ученому. Однако стиль и другие подобные категории являются слишком неопределенными. Это и плохо и хорошо. Хорошо — потому что помогает сближать разнородные вещи, плохо — потому что в оперировании с такими понятиями трудно достичь объективности. Но всякая попытка такого анализа вызывает безусловный интерес, и это полностью относится к книге Б. Кузнецова.

Проблемы творчества, соотношения индивидуального и целого, науки и поэзии — вот темы бесед автора с Пушкиным, Моцартом и Сальери, с которыми он делится мыслями, вызванными чтением пушкинской пьесы. Собственно, слово «беседы» в данном случае можно было бы взять в кавычки, автор излагает «только собственные соображения о музыке и «алгебре», навеянные комментариями поэта к его произведению». Но не это главное. Нам важно, какие мысли у автора вызывает чтение пушкинской поэмы, важен ответ, который автор вкладывает в уста Пушкина, короче, нам важно авторское понимание пушкинского замысла и авторская аргументация. Вот, например, как трактует Б. Кузнецов проблему «Моцарта и Сальери»: «В сущности, Моцарт своим творчеством и своим отношением к творчеству не отрицает «алгебру». Он отрицает ее деспотическую власть над музыкой. Он защищает право на slipshod, на неожиданный, не вытекающий из «алгебры» поворот мелодии. В музыке Моцарта каждый аккорд не растворен в целом, он живет, он индивидуален, он воплощает целое, он подобен мгновению, содержащему всю симфонию, и он может стать переходом к новому целому и к новой «алгебре»...»

В своей книге Б. Кузнецов широко пользуется аналогиями между наукой и искусством. Так, он вкладывает в уста Френсиса Бэкона аналогию между античными героями и физикой Аристотеля — античные герои подобны телам физики и космологии Аристотеля: они стремятся к своим естественным местам, и смысл того, что происходит в мире, сводится к восстановлению нарушенного космического равновесия, к возвращению тел на их естественные места, после того как насильственные движения удалили их оттуда. Эти рассуждения Бэкона служат основой для дальнейшего диалога между автором и великим мыслителем XVII века, в процессе которого выявляются связи между морально-философскими идеалами и физическими представлениями о мире на примере творчества Шекспира. Герои Шекспира уже не могут быть сопоставлены с античными персонажами: их поведение уже не диктуется предопределением, традиционной категоричностью, а вытекает из сугубо личных мыслей и убеждений, представлений о добре и зле. Это, говорит Б. Кузнецов, «происходит в эпоху, когда рушится аристотелевская статическая кар-

тина бытия, когда ее сменяет идея динамической гармонии, когда абсолютное пространство Аристотелевой физики сменяется относительным пространством классической механики».

Этот пример наглядно характеризует метод исследования автора и вместе с тем стиль изложения. В процессе мысленного диалога он задает вопросы философам, поэтам и ученым прошлого, пытается выяснить (уже с вершины науки нашего века), какие ответы они могли бы дать, если реконструировать их отношение к проблеме. Я говорил уже, что такой прием — обычная процедура исследовательской работы историка. Б. Кузнецов лишь делает этот процесс явным, и диалог, следовательно, превращается из мысленного в реальный.

Итак, стиль мышления. Путешествуя через эпохи, мы видим его эволюцию, выражающуюся во все растущей динамичности и пластичности. Динамичность вообще является для автора одной из наиболее важных категорий, с помощью которой он рассматривает проблему бытия. Именно в движении осуществляется связь между прошлым и настоящим, которая математически выражается в одном из основных понятий дифференциального исчисления — понятии предела. Рассмотрению этого вопроса посвящена глава «Дифференциализм», одна из центральных в книге.

Ощущение бесконечности, существующей в данной точке, — диалектический парадокс универсальности движения, по мнению Б. Кузнецова, — находит себе аналог в не менее парадоксальном утверждении, что и бессмертие заключено в каждом проходящем мгновении. Невольно вспоминаются строки Пастернака:

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены...

Бессмертие заключено в сопричастности к бесконечному многообразию мыслей, дел и судеб, которое и составляет нашу культуру, нашу цивилизацию. Каждый раз, каждое мгновение, когда человек словом или делом проявляет себя в творчестве, когда он так или иначе связан с другими людьми, он приобщается к бессмертию человечества. Эта мысль является одной из ключевых для книги Б. Кузнецова, а различные ее аспекты обуславливают сюжетные ходы большинства глав книги. «...меня интересовала бесконечность, — пишет автор, — воплощенная в здесь — теперь, в данное мгнове-

ние, то локальное бессмертие, о котором говорил Фейербах («В каждое мгновение ты выпиваешь чашу бессмертия, которая наполняется вновь, как кубок Оберона»)). И уже обращая свою мысль к современности, Б. Кузнецов заключает: «Романтика науки XX века — а романтика — это приобщение к бесконечности — во многом состоит в ощущении векового, практически бесконечного характера тех новых направлений, которые возникают в ее рамках».

Автор не случайно говорит здесь о XX веке. История — это связь времен и основа прогнозов на будущее. По мнению Б. Кузнецова, беспрецедентный динамизм современной эпохи дает возможность историку (в данном случае уже футурологу) делать долгосрочные прогнозы относительно будущего научного преобразования мира. Основа таких прогнозов лежит в глубоком и всестороннем изучении научно-технических и культурных достижений, взаимосвязей идей, развивавшихся на протяжении многих веков и составивших фундамент современной цивилизации. Поэтому книга Б. Кузнецова — это не только экскурсия в прошлое, но одновременно и попытка разглядеть будущее, когда «стихийные и слепые законы бытия уступают место гармонии индивидуума и общества».

Проблема текущего и бесконечного, индивидуального и общего позволяет автору высказать интересные мысли о ценности познания, науки и технического прогресса. Различие языка научного и художественного творчества, с одной стороны, а с другой — все больший отход от принципов традиционной логики в фундаментальных областях самой науки в нашу эпоху обуславливают здесь поиски новых критериев ценности — тех критериев «внутреннего совершенства», о которых говорил Эйнштейн. Б. Кузнецов ищет их среди эстетических и нравственных принципов, которые сегодня, по его мнению, могут претендовать на большую, чем принято считать, универсальность. Косвенное свидетельство этого факта сегодня можно видеть во все усиливающейся тенденции к тому, что действительно великие ученые, открывшие новые пути в науке, являются людьми высоких морально-этических принципов (Эйнштейн, Бор, Вернадский, Н. Вавилов, Л. Полинг и другие). С подобных же позиций рассматрива-

ется и роль личности в истории, которая, выражаясь словами автора, очень велика, но пропорциональна близости стремлений этой личности к тем явлениям эпохи, которым принадлежит будущее. Ясно, что выразителем таких стремлений может быть только яркая индивидуальность, творчество которой единственно и неповторимо, но именно в силу этого результаты его творчества выходят за границы индивидуального и включаются в систему критериев эпохи. Вспомним в связи с этим слова Спинозы, которыми заканчивается «Этика»: «Все прекрасное столь же трудно, сколь оно редко». Красота как свойство индивидуальности, неповторимости, редкости становится одним из существенных компонентов критерия ценности в истории культуры, причем в применении к научным теориям красота выражает не только изящество логической структуры, но и нечто большее, несводимое к логике. Гейне в книге Б. Кузнецова так говорит об этом: «...нет эстетического эффекта без интеллектуального, нет красоты без истины...». «...выход из личного во внеличное, из локального в бесконечное, — продолжает автор, — и есть триумф индивидуального. И может быть, улыбка Моны Лизы — это улыбка красоты, адресованная всем попыткам ее истолкования; всем попыткам исключить из познания интуицию, вдохновение, эмоции. Может быть, улыбка Джоконды — это констатация несводимости красоты к логике. Может быть, в этом — определение красоты...»

Такое понимание прекрасного, включаемого в систему критериев ценности познания мира, означает для историка необходимость исследования различных сторон психологии научного творчества. Вопреки мнению Гаусса, который считал, что наука — это формулировка теоремы и ее последующее доказательство, Б. Кузнецов рассматривает науку как непрерывно развивающийся результат человеческого общения, и именно это делает ее предметом изучения историка.

И наконец, еще раз о жанре. Книга Б. Кузнецова — это рассказ, разговор с персонажами и одновременно разговор с читателем. И что важнее всего — приглашение к размышлению.

В. КИРСАНОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ



СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ. В сентябре и в апреле... М. «Молодая гвардия». 1975. 112 стр.

Книга «В сентябре и в апреле...». Все в ней смешалось: дороги к большим стройкам и жажда покоя, нежность к земле и жестокость охотника, поэзия и проза. Вот они, рядом:

Не губи последнего болота,
загнанного волка пощади,
чтобы на земле осталось что-то,
от чего щемит в моей груди.

А через несколько страниц, увлеченный охотой, поэт противоречит самому себе:

Помню все — чуть схватившийся лед
на окраинах Черной Протоки,
помню селезня, сбитого влет,
трепетавшего в желтой осоке.

Но без таких противоречий нет ни жизни, ни поэта.

В этом коротком отклике на книгу Станислава Куняева я с радостью привожу характерные для него строки, полные воздуха истинной поэзии:

По брюхо в травах и цветах
они вдоль берега бродили
с цветочной пылью на губах
и снеговую воду пили.

(«Карабахская хроника»)

Истины ради обратим внимание и на холостые обороты:

На все недоставало сил,
но я фортуне благодарен,
что здравый смысл меня хранил —
горжусь, что был рационален!

Читатель сам разберется, где поэзия, где проза, «где боль, где поза», как сказал Куняев в своей другой книге, а эта, новая, уязвимая в частностях, местами написанная поспешно, в целом слаженная и крепкая, фактически предлагает нам разные варианты одного широкого раздумья, размышления, рассуждения... Удача — раздумье, неудача — рассуждение.

Но и удача и неудача — живое дело! В одном потоке сегодня, вчера и завтра России. Ее новые и старые гены, ее контрасты, тайны земли и души.

В книге много стихов, написанных Куняевым в геологических экспедициях. Три сезона он работал с геологами Памира — и ког-

да-то в юности и совсем недавно, будучи уже немолодым человеком и поэтом известным. И вечный бой... За что? За любовь к жизни. Геолог ищет природные богатства, поэт — духовные. Оба они слушают глубину родной земли. Дело нелегкое, без гарантий, но подчиненное высокой идее.

Такова и книга с ее прекрасными поэмами-хрониками, особенно «Карабахской», свободно текущей, полной неожиданных мыслей, снеговой воды и цветочной пыли на губах лошадей.

Помню, в дикие горы поднялись мы на этих лошадях и жили там — выше селений и ниже орлов. Мокрые по пояс, бродили по альпийским лугам, окружающим родниковое озеро, и тайно мучались от невозможности поделиться с кем-нибудь великолепием окружающей нас природы, странными чувствами и мыслями, обостренными на высоте. Потом мы спустились в долину, но высота осталась — в поэме Станислава Куняева, украшающей его книгу.

Игорь Шкляревский.



ГЕННАДИЙ ПАЦИЕНКО. Высокий день. Повесть и рассказы. М. «Современник». 1976. 191 стр.

«В прозе Геннадия Пациенко пленяет лиризм и живописание авторской речи, умная значительность, тонкость и богатство красок — качества, присущие лучшим произведениям современной молодой русской прозы» — так пишет Василь Быков в предисловии к книге «Высокий день».

Геннадий Пациенко по складу своего дарования, несомненно, новеллист, притом лирический. И повесть, давшая сборнику название, как и рассказы, свидетельствует именно о лирическом начале в творчестве писателя: развернутое автором повествование о труде, нелегких испытаниях, выпавших на долю молодого токаря Родиона Ракитина, выглядит как цепь новелл...

Для Г. Пациенко не так важно действие сюжетное, как внутреннее. Его рассказы редко насыщены драматическими, острыми событиями, в них преобладает драматизм человеческого переживания, прослеженного в подробностях и богатого оттенками.

Герои этих рассказов, такие, как Агапов

(«Снега за окнами»), Марковцев («В августовскую ночь»), умеют среди жизненных сложностей не растратить ясность мироощущения, не очерстветь, стать внутренне богаче.

Тема верности человека самому себе неотрывна у Г. Пациенко от темы верности долгу, общественному призванию. Наглядное тому подтверждение — история молодого специалиста Святослава («Лекарство Дорог»). Назначенный по окончании медицинского института главным врачом сельской больницы, он круто берется за дело, борется с рутинной и все помыслы, труды и дни отдает тому, чтобы в деревне был построен новый больничный корпус и чтобы сельчане поверили ему, человеку нездешнему, но полному желания трудиться вместе с ними.

В рассказе «На исходе лета» особенно отчетливо умение автора изображать мир многомерно, объемно. В чем-то рассказ напоминает шукшинскую прозу (скорее тематикой, мотивами, нежели стилистикой). Свежесть и даже парадоксальность ситуаций этого рассказа свидетельствуют о пути автора от новелл-зарисовок к сюжету развернутому, богатому действием. Страницы, посвященные душевным метаниям Степки, работающего в ремонтных мастерских и надумавшего «дать деру» из деревни, исполнены большой художественной правды. И то, как в беде выручили Степку люди, тоже рассказано автором убедительно и трогательно. Автор не пишет прямо о том, что Степка остается в деревне, но красноречиво заключительная деталь: парень принимает-ся допиливать поверженную старую сухую ветлу, «освобождая дорогу, что вела на большак за деревню»...

Столь приметливый в наблюдениях над изменчивым внутренним миром людей, Г. Пациенко умеет любовно изобразить и природу озерного белорусского края (хорошо как сказано: «...желтела стерня медовыми сотами»!).

Такого рода художественные подробности весьма характерны для письма талантливого новеллиста.

Эдуард Корпачев.



ДМ. МОЛДАВСКИЙ. Александр Прокофьев. Биография писателя. Ленинград. «Просвещение». 1975. 160 стр.

ДМИТРИЙ МОЛДАВСКИЙ. От Невы во все стороны света. М. «Современник». 1975. 255 стр.

Наш сегодняшний читатель с обостренным интересом относится к документальным материалам, воспоминаниям и критическим работам, посвященным зачинателям советской литературы. К числу таких работ принадлежит книга ленинградского критика Молдавского об Александре Прокофьеве.

Дм. Молдавский многие годы был знаком с поэтом, вместе с ним работал над переводами песен народов Прибалтики и литов-

ских дайн, дружил с ним до последних дней его жизни. Отсюда особая, «личная» окрашенность его критико-биографического очерка. Отсюда образная стереоскопичность и живость облика поэта, воссозданного на страницах книги. Дм. Молдавский проследживает творческую судьбу Прокофьева на разных ее этапах: первые годы жизни в Петрограде, героическое время гражданской войны, испытания Великой Отечественной войны, наконец, тот особенный взлет, которым были отмечены последние годы в поэзии Александра Прокофьева.

Дм. Молдавский совершенно справедливо видит в поэзии Александра Прокофьева органическое слияние народности, тесно связанной с фольклорной традицией, и высоко-го революционного пафоса.

Читая книгу Дм. Молдавского, понимаешь, как естественно присущи этой поэтической личности озорство и задор частушечной припевки, раздумчивая, широкая напевность лирических строк, эпическая торжественность и высокий накал публицистической поэзии.

Дм. Молдавскому принадлежит множество статей о творчестве поэта. Книга «Александр Прокофьев. Биография поэта» вышла к юбилею поэта, ко дню, когда ему исполнилось бы семьдесят пять лет, она обобщила все ранее написанное Дм. Молдавским о нем и поможет советскому читателю — и прежде всего молодежи, к которой она обращена, — лучше понять большого, глубоко народного поэта.

«Писатель без фольклора — это то же, что охотник без пороха», — говорил Михаил Пришвин. «Охотникам с порохом» посвящен ряд критико-биографических очерков, вошедших в сборник Дм. Молдавского «От Невы во все стороны света». Рассказывая о многих лично знакомых ему ленинградцах, критик, неизменно верный себе, рассматривает творчество земляков именно в связи с фольклором.

В работах некоторых западных ученых сквозит скептическое отношение к культуре Древней Руси. Они признают высокие художественные достоинства древнерусской архитектуры и живописи и явно недооценивают те духовные богатства, которые заключены в нашем фольклоре и самой ранней нашей литературе. В большом очерке об академике Д. С. Лихачеве, литературоведе и историке культуры, Дм. Молдавский раскрывает значение трудов ученого, который, опираясь на достижения своих предшественников, построил ряд оригинальных концепций, показал художественную ценность древнерусских летописей и органическую связь их и такого замечательного литературного памятника конца XII века, как «Слово о полку Игореве», с фольклором.

Очень интересен фольклорный, так сказать, угол зрения, под которым Дм. Молдавский рассматривает творчество крупного и своеобразного писателя Михаила Зощенко. Критик останавливается прежде всего на его ранних произведениях, особое внимание обращает на «Рассказы Назара Ильи-

ча господина Синебрюхова» и, анализируя тонко стилизованную речь сатирического героя, обнаруживает ее связь с языком произведений, занимающих промежуточное место между фольклором и литературой, например с языком лубочных повестей о Бове или Петре Златых Ключах.

Удивительное явление некой обратной связи — когда произведения писателя становятся подлинно народными и органично входят в фольклор, в частности Востока, — Дм. Молдавский исследует в главе о Леониде Соловьеве, создателе повести о Ходже Насреддине. Естественно связан с проблемами фольклора и очерк о Константине Коничеве, писателе и краеведе, историке и этнографе, отличном знатоке родного Севера и собирателе его фольклора.

Из очерков Дм. Молдавского читатель узнает и о том, что притягательную силу частушки испытывали даже такие не «фольклорные» поэты, как Всеволод Рождественский и Ольга Берггольц.

Дм. Молдавский написал о разных людях, ленинградских литераторах, но в каждом из них он видит и доказывает своими литературоведческими исследованиями своеобразие творческого лица, и это объединяет его книги «Александр Прокофьев. Биография писателя» и «От Невы во все стороны света», заставляя еще раз с благодарностью подумать о тех, кто создает нашу духовную культуру.

М. Васькевич.



НИКОЛАЙ АТАРОВ, МАГДАЛИНА ДАЛЬЦЕВА. Опоясан мечом. Повесть о Джузеппе Гарибальди. Серия «Пламенные революционеры». М. Политиздат. 1976. 560 стр.

Интерес к историческому повествованию возрос в последние годы необычайно (тем досаднее, к слову сказать, прекращение «Библиотеки исторического романа» издательством «Художественная литература»). Свидетельство тому успех серии «Пламенные революционеры», выпускаемой Политиздатом. Очередная книга этой серии — историческая повесть Н. Атарова и М. Дальцевой о Гарибальди, легендарном полководце, живом символе революционной Италии.

Книга емкая и щедрая. В ней все одето плотью. Герои ее — люди живые. Читатель ощущает неповторимость их характеров, атмосферу времени, в котором они живут, запахи земли, по которой ходят. Все осязаемо и зримо. Авторы позволяют своим героям заблуждаться, быть пристрастными, а порой даже и не очень последовательными. То есть при всей глубине уважения авторов к героям в книге нет того ложного пиетета перед историческими личностями, который способен превратить их живой облик в тусклую тень.

Наибольшая удача, на мой взгляд, выпала авторам в обрисовке главных героев книги — самого Гарибальди и удивительной его спутницы Аниты. На характер Гарибальди

прекрасно «работает» и вся «обстановочная» часть книги — колоритные картины быта и описания природы. Обилие подробностей и реалий не заслоняет главного. Мало того, в стиглевой структуре романа они необходимы: они помогают раскрывать широту могучей гарибальдиевской натуры. Авторы книги о Гарибальди чутко уловили дух времени, к которому относится повествование, — бурливый, часто своевольный, не укладывающийся в рамки той или иной готовой схемы. Мне книга дорога прежде всего этим достоверным воспроизведением атмосферы времени, яркой лепкой центрального характера.

Весьма эффектным выглядит в книге противопоставление стихийного бунтарского «низа» в лице гарибальдийца, легендарного Рисорджименто и «верха» в лице Кавура, расчетливого, циничного и эгоистичного. Но тут я посетовал бы не столько даже на некоторую прямолинейность такого противопоставления, его литературную заданность, сколько на схематизм в самой обрисовке Кавура. И дело не в том, что мне Кавур представляется все же личностью посложнее и покрупнее изображенной в романе. Гарибальди, Анита и, в сущности, все их окружение написаны сочно, живописно. А вот на Кавура словно бы не хватило красок и он нарисован пером. Пером острым, но как бы даже еще и в другой манере — более условной и гротескной.

Графичнее (и тоже заданнее!) получился и Мадзини. В роман он вошел, можно сказать, готовым. Оттого и следить за ним не так интересно, как за Гарибальди или Анитой. Чем-то он напомнил мне итальянскую «маску». Впрочем, на правильности своего отношения к такому художественному решению не настаиваю.

«Опоясан мечом» — книга интересная. Полагаю, что ее ждет читательский успех.

Н. Томашевский.



ЖОРЖ СИМЕНОН. И все-таки орешник зеленеет. Перевод с французского. М. «Прогресс». 1975. 639 стр.

Книги французского писателя Жоржа Сименона у нас в стране охотно читают. Шесть одноименных его произведений, изданных с 1960 по 1975 год, вышли общим тиражом 1 570 тысяч экземпляров. Выпущенный издательством «Прогресс» новый сборник произведений Сименона «И все-таки орешник зеленеет» включает в себя как романы с участием комиссара Мегрэ, так и социально-психологические романы.

Романы с участием комиссара Мегрэ давно уже полюбили читатели. Их герой воспринимается иными читателями как живой человек: в литературном архиве Сименона хранится множество писем, адресованных Мегрэ, к которому обращаются за помощью и просят совета. Цикл «Мегрэ» стал органической частью творчества Сименона. В 50-х годах Сименон говорил: «Прошло бо-

лее сорока лет, как в мою жизнь вошел комиссар Мегрэ. Оба мы за это время порядком изменились, но неизменным остается мое к нему уважение, и в романах, где действует Мегрэ, я ставлю порой более сложные проблемы, чем в своих социально-психологических романах. Опыт и мудрость Мегрэ помогают мне разрешать их и делать доступными для читателей разных стран и разного культурного уровня».

В «Записках Мегрэ» Сименон более подробно, чем прежде, знакомит читателя с биографией комиссара полиции, рассказывает о жизни Мегрэ, о первой его встрече с мадам Мегрэ, подробно описывает начало работы в полиции, очень дотошно останавливает внимание читателей на методе тщательного психологического изучения характеров, среды, обстановки, которым пользуется комиссар.

С социально-психологическими романами Сименона произошла странная вещь: они прошли во Франции почти незамеченными и не стали сколь-либо существенным явлением в современном литературном процессе. И это при их огромном количестве: 134 романа! Не привело к желаемому результату и искусственное их возвышение, исходившее в свое время от Андре Жида, который заявлял: «Сименон сегодня наш самый крупный романист». А в одном из писем Сименону он писал: «Вам сопутствует ложная репутация (как Бодлеру или Шопену), и нет ничего более трудного, чем заставить публику отказаться от первого поспешного суждения. Суть моей работы в том, чтобы показать и доказать, насколько вы значительнее, чем обычно думают». А. Жид, однако, так ничего и не доказал, оставив незаконченной начатую работу о Сименоне. Но опасаться Сименону нужно не того, что его «приписали» к детективному жанру, ибо в основе своей детектив и искусство вовсе не антиподы; опасность для него, пожалуй, в другом — в облегченности подхода к тем проблемам, которые он ставит в «трудных» романах.

Роман «Братья Рико», включенный в сборник, по мнению его составителя, социально-психологический. В этом произведении мы встречаемся с явлением, присущим американскому обществу, — засильем гангстеризма. Случай, описанный в книге, довольно типичен. Трое братьев Рико, итальянцы по происхождению, попал в Америку и не найдя работы, встали на путь преступлений, превратившись постепенно в самых настоящих гангстеров, а когда один из них решает порвать с преступным миром и становится опасным для остальных бандитов, его убийство поручается одному из братьев. Убийство брата братом Сименон объясняет социальными условиями, существующими в Америке. Все так. Но при этом должны быть убедительными и психологические мотивировки поступка. Они в романе весьма приблизительны.

Психологическая неубедительность — главный недостаток и романа («И все-таки орешник зеленеет», сам тон которого грешит сентиментальностью).

Хотя писатель отдает предпочтение своим социально-психологическим романам перед романами цикла Мегрэ, согласиться с ним в этом трудно. Есть одно очень любопытное высказывание Сименона: «Для меня романы о нем (комиссаре Мегрэ) то же, что для художника эскиз с натуры. Для меня Мегрэ — нечто вроде наброска. Композитор, устав от симфоний, отдыхает, сочиняя песни. Так достигается большая свежесть, больший оптимизм, легкость». В своем образном сравнении Сименон, может быть и не подозревая того, дал оценку не столько романам цикла Мегрэ, сколько всему своему творчеству, умолчав лишь об одном: есть композиторы, а значит, и писатели, которые, как бы они ни старались, не в состоянии написать настоящую, полноценную симфонию, они так и остаются песенниками.

Так вот, если у Сименона романы цикла Мегрэ — песня, а его «трудные романы» — симфония, то нужно без оговорок признать, что песня писателя удалась, а что касается симфоний, то они пока еще не зазвучали, но делать какие-либо окончательные выводы еще рано, ибо лучший и самый верный судья в этом — время, а оно еще не сказало своего последнего слова.

Николай Сафонов.



САМЫЙ НЕОБХОДИМЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ. Очерки писателей о профтехучилищах страны. М. «Молодая гвардия». 1976. 256 стр.

Эта содержательная, хорошо оформленная книга вводит нас в жизнь и быт, мечты и думы молодого поколения рабочего класса, которое готовится вступить в сферу производства в самые ближайшие годы. Как сообщает в интервью, открывающем книгу, председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию А. А. Булгаков, в нашей стране насчитывается сейчас 6356 профтехучилищ, где готовятся работники 1100 специальностей... Многие из молодых людей получают при этом и полное среднее образование. Таким образом, прежде всего отсюда идут ростки нового пополнения наших фабрик и заводов, строек и совхозов, предприятий бытового обслуживания... И от того, как будет подготовлена эта молодая смена коммунистического труда, зависит процветание всего нашего общества, в котором рабочий класс играет ведущую роль.

Люди индустриального, строительного, аграрного производства уже давно стали героями нашей прозы, драматургии и публицистики. К сожалению, совсем не повезло в этом отношении тем, кто только что вступает на трудовой путь и переживает сложный, нередко противоречивый процесс нравственного формирования в качестве рабочего человека. А между тем именно здесь заключаются истоки становления характера, начало начал трудовой психологии, первые достижения истинных моральных ценностей

и зародыш верного построения взаимоотношений в коллективе. Заглянуть в этот мир, не прибегая ни к темным окулярам, ни к розовым иллюзиям, и правдиво рассказать о нем — почетная творческая задача. И хорошо, что авторы рецензируемого сборника средствами очерка и публицистики взялись за ее решение. Мне этот опыт представляется удачным.

Трудно, конечно, предположить, что в одной книге можно поведать хотя бы о нескольких десятках профессий из тех 1100, которые были упомянуты выше. И все же читатель почувствует, как молодежь выбирает ту или иную специальность и в чем ее своеобразие, которое так или иначе вступает во взаимодействие с личностью. Тут есть своя избирательность, предназначение и во многом призвание. Дело, которому ты собираешься служить всю жизнь, надо полюбить! Увы, любовь эта не всегда приходит «с первого взгляда», она завладевает молодым работником постепенно, но подчас настолько прочно, что расставание с ней для многих уже немислимо. Порой встречается и психологическая несовместимость личности с профессией. Возникают по этому поводу и драматические коллизии, от которых, впрочем, не застрахован и зрелый человек, но острота проблемы выбора ощущается, понятно, более всего в начале трудового пути.

В очерке Николая Григорьева «Десятка» мы видим растерянного и опечаленного вчерашнего восьмиклассника Ивана Белкина на пороге ленинградского профессионально-технического училища № 10. Не по душе ему каменные ступеньки крыльца. А ведь здесь, как говорит мама, Ваня «должен начать новую жизнь». Отчаянно потянул на себя парень тугую дверь и, мучимый сомнениями, переступил порог. Медленно постигал молодой человек тайны монтажа радиоэлектронной аппаратуры. Правда, орудовать паяльником он научился еще в школьные годы, но тут все оказалось намного сложнее и в то же время намного интереснее. Мастер производственного обучения Ольга Федоровна нашла тропинку к сердцу бывшего троечника. Автор внимательно прослеживает эволюцию неустановившегося еще характера будущего радиотехника. Но еще больше и, пожалуй, ярче рассказано о том, как идет возрастание подлинно человеческого в человеке. Производственное начало в нем тесно переплетается с нравственным. Разглядеть и показать сложный механизм этого сцепления и взаимодействия нелегко. Вот ученики получают заказ от завода. Теперь их труд войдет уже в готовую продукцию, которая поступит на рынок, должна понравиться людям, верно служить им. Возникает ответственность за свою работу и сознание важности собственных усилий не только и не столько для себя — для общества. Нет, это уже не обязанность, а увлеченность. Вернее, и то и другое, сплавленное воедино. И понимаешь радость молодого рабочего, когда заводской контролер ОТК, проверив транзистор, дает ему высокую оценку. Теперь уже любовь к труду

получает реальные, осязаемые очертания, она выражается не в усвоении назиданий и сентенций — она в глубине души, откуда это чувство не языком вырешь...

Мы видим, как полюбили свою работу и овладели ею в совершенстве молодые машинисты электровозов (Всеволод Привальский, «Там, где сходятся рельсы...»), повара и кондитеры (Лидия Либединская, «Вечный пыл, горячее стремление...»), прядильщицы и ткачихи (Владимир Приходько, «Джакши — по-киргизски «хорошо»), трактористы и комбайнеры (Валентин Глущенко, «Сапожок — город механизаторов»), портные и швеи (Евгений Ратнер, «Письмо Регины») и представители многих других профессий. А рядом с ними авторы сборника справедливо показывают людей, без которых было бы немислимо становление молодой поросли рабочего класса. Как уже догадывается читатель, речь идет о мастерах, наставниках, воспитателях. Именно в их упорном, кропотливом труде реализуется плодотворная идея преемственности поколений советского общества. Кристаллизация созидательного опыта, связь времен ярко выступают в образах таких героев, как уже упомянутая выше Ольга Федоровна, как экскаваторщик Виктор Сотниченко у Юрия Васильева («Так и будет...»), как многие другие в очерках Льва Давыдова («Живое пламя»), Анатолия Маркуши («Харьковская мозаика»). Воспоминания о том, как закладывался фундамент социалистической индустрии в 30-е годы, органически вписываются в переживания и настроения сегодняшних продолжателей великого дела. Так протягивается нить от первых «фезеушников», от героического труда-подвига военных лет к нынешнему молодому человеку, который становится «самым необходимым человеком на земле», как назвал А. М. Горький рабочих людей.

Мне кажется очень актуальной и ценной мысль, сквозящая почти в каждой очерке, мысль о том, что в эпоху научно-технического и социального прогресса в нашей стране профессиональная подготовка молодежи неразрывна с идейно-нравственным совершенствованием личности. Не только в очерке Рудольфа Бершадского «Есть училище в Бобруйске», в котором рассказывается об обучении художественным ремеслам, но и в очерках о будущих приборостроителях, слесарях-наладчиках, часовщиках, горнопроходчиках авторы размышляют о формировании высоких моральных принципов жизни и труда, об интеллектуальном развитии, об эстетическом воспитании. Широка кругозора ныне неотделима от мастерства, и в типе рабочего развитого социалистического общества проглядывают черты гармонической личности. О том, как закладываются основы этого процесса и как он протекает на практике, и рассказывает современная книга «Самый необходимый человек на земле».

Григорий Бровмаз.

ЕГОР ЯКОВЛЕВ. Встречи за горизонтом. М. «Молодая гвардия». 1976. 175 стр.

«Мне хочется рассказать о различных поколениях советских людей, о тех, кто был первым, и о тех, кто продолжает начатое...» — так начинает свою книгу писатель-публицист Е. Яковлев. Советский человек, его характер и идеалы, формирование личности и нравственные критерии — вот проблемы, которые он рассматривает на страницах книги.

«Великим продолжением» назвал автор своего современника. И, поясняя эту мысль, продолжает: «...сегодня мы видим, как в поступках, суждениях, образе жизни людей социализма, коммунистов на родине Ленина и во многих других странах находят продолжение его черты, его нравственный облик».

«Биографическое в нем, интимное в нем тоже имеет огромную, общечеловеческую ценность», — писал о В. И. Ленине А. В. Луначарский. В очерке «Штрихи к портрету» автор, как бы развивая эти слова Луначарского, останавливается на многих ярких событиях жизни и деятельности Владимира Ильича, отчего дорогой нам образ становится еще богаче и многограннее.

«...24 октября 1917 года Владимир Ильич ушел в Смольный». Всем известен этот факт, но всегда ли мы вдумываемся в истинный смысл этих слов, догадываемся, какое мужество и бесстрашие скрываются за ними? Автор, помогая нам как бы психологически реконструировать события тех дней, рассказывает, как Ленин, несмотря на все уговоры, покинул конспиративную квартиру, оставив на столе записку: «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил». Ушел заgrimированный, с чужими документами в кармане, через весь город, кишачий патрулями, на каждом шагу подвергая себя смертельной опасности, чтобы успеть туда, где решалась судьба революции.

А вот рассказ о коменданте санатория Горки, который спалил дерево в парке и был за это наказан Лениным. На первый взгляд может удивлять, почему Ленина так взволновал столь незначительный эпизод. Но все дело в том, что Ленин видел каждое дерево, как и каждого человека, предельно конкретно и дорожил ими, он понимал, что в большом нет и не может быть мелочей.

Один из героев очерка «Взрыв», комендант третьего подрайона революционной охраны Петрограда Рудольф Карлович Лепник, погиб в 1919 году в свои неполные двадцать семь лет от взрыва бомбы замедленного действия, которую он отважно вынес на руках из здания городского водопровода. А его помощник Василий Николаевич Афа-

насов, человек, которому в то время были даны «особые полномочия», легко и без сожаления расстался с ними, когда отпала необходимость, проработав всю жизнь скромным бухгалтером.

В очерке «Скажите, по ком звонит колокол?» перед нами встает образ легендарного «товарища Хаджи», одного из руководителей диверсионных отрядов испанских республиканских партизан в фашистском тылу, человека отчаянной храбрости и жесткой прямоты. Именно от него Хемингуэй узнал о многих эпизодах работы подрывников, с большой художественной силой воспроизведенных в романе «По ком звонит колокол». Беседы автора со своим героем генерал-полковником Мамсуровым, воспоминания об Испании придают очерку особенную взволнованность и рельефность.

Хронологически главное действующее лицо очерка «Директор, с которым я бы хотел работать» Сергей Леонович Туманян — наш современник. Директор Ереванского химкомбината, Герой Социалистического Труда, кандидат технических наук. Руководитель, основной чертой стили работы которого стали научность и компетентность, максимальная требовательность к себе и к другим. Но как близок он по своим идеалам и поступкам к тем, кто стоял у истоков «великого продолжения». «Суть Туманяна в том, что он партии в каждом поступке, в самой работе, в существовании дела, которым всегда занят». Так говорит секретарь парткома. Научность для Туманяна — вовсе не беспристрастность ЭВМ, а высокая принципиальность, которую он постоянно проявляет, например, в истории с внедрением наирита.

Подросток в мире взрослых... Тема, к которой автор подходит исподволь, предварительно познакомив с людьми, достойными всеобщего подражания. И, может быть, поэтому следующая глава называется «След человека».

Многие, очевидно, обратили внимание: малыш, идя по дорожке, стремится ступить ногой в след взрослого. Поступок еще не полностью осознанный, но вполне закономерный: «...в жизни взрослых ребенку что-то сразу понятно, а многое откладывается в его памяти, словно зарубки. Они будут расшифрованы позже, когда подросший человек сможет осмыслить, что означали для его родителей те или другие события».

Рецензируемая книга — раздумье автора над ушедшим и грядущим. Все главы ее имеют логическое продолжение в следующей, кроме последней, которая еще не закончена, поскольку посвящена юношам и девушкам, входящим в жизнь.

М. Коротков.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Уроки Коммуны.— Памяти Коммуны. 15 стр. Цена 3 к.

Г. В. Александров. Эпоха и кино. 287 стр. Цена 86 к.

Документы и материалы советско-индийской встречи на высшем уровне. 48 стр. Цена 7 к.

В. Н. Орел. Всемирный Совет Мира. 79 стр. Цена 19 к.

Социалистический образ жизни и современная идеологическая борьба. 350 стр. Цена 1 р. 41 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

О. Гончар. Бригантна. Повесть. Перевод с украинского. 263 стр. Цена 54 к.

И. Зверев. В двух километрах от Счастья. Рассказы, повести и очерки. 496 стр. Цена 95 к.

Д. Инрами. Двенадцать ворот Бухары. Трилогия. Книга 1. Доля огня. Роман. Перевод с таджикского. 432 стр. Цена 87 к.

Ф. Кнорре. Весенняя путевка. Повести и рассказы. 639 стр. Цена 1 р. 43 к.

Л. Озеров. Мастерство и волшебство. Книга статей. Издание 2-е, дополненное. 503 стр. Цена 1 р. 29 к.

А. Петров. Социалистический реализм в художественной литературе. Очерк. 216 стр. Цена 33 к.

А. Твардовский. Из лирики этих лет. Стихи. («Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР») 95 стр. Цена 42 к.

В. Шефнер. Имя для птицы. Повести. 431 стр. Цена 92 к.

А. Яшин. Из трех книг. Совесть. — Воском по земле.— День творенья. Стихи. 335 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ветер и птица. Африканская народная поэзия. Перевод с английского и французского. 213 стр. Цена 1 р. 24 к.

А. Звонак. С вами и наедине. Стихотворения разных лет. Перевод с белорусского. Предисловие П. Вровки. 207 стр. Цена 55 к.

Народные русские сказки. Из сборника А. Н. Афанасьева. 574 стр. Цена 1 р. 11 к.

А. Пузинов. Портреты французских писателей.— Жизнь Золта. 524 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. Семпер. Избранное. Перевод с эстонского. 645 стр. Цена 1 р. 53 к.

А. Фет. Стихотворения. Предисловие Е. Винокурова. 238 стр. Цена 19 к.

Хлеб прежде всего. Сборник рассказов. Перевод с турецкого. 271 стр. Цена 80 к.

И. Шихлы. Буйная Кура. Роман. Перевод с азербайджанского. 365 стр. Цена 84 к.

Эса де Кейрош. Новеллы. Перевод с португальского. 302 стр. Цена 74 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Праздники, обряды, традиции. Сборник статей и очерков. 127 стр. Цена 22 к.

Приключения. 1976. Сборник. Составитель А. Кузнецов. 479 стр. Цена 99 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Ардамацкий. Я 11—17.— Ответная операция. Повести. 302 стр. Цена 61 к.

Г. Борян. Дороги. Стихи. 16 стр. Цена 27 к.

С. Булайич. Ребята с Вербной реки. Повесть. Перевод с сербскохорватского Н. Лебедевой. 127 стр. Цена 40 к.

А. Коротков. Поверженный ангел. Исторический роман. 239 стр. Цена 68 к.

Дей Льюис. Происшествие в Оттербери. Повесть. Перевод с английского. 127 стр. Цена 35 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Андреев. Невидимый маяк. Рассказы и повести. («Новинки «Современника») 208 стр. Цена 53 к.

Ю. Кузнецов. Край света — за первым углом. Стихи и поэмы. 142 стр. Цена 50 к.

А. Ливанов. Начало времени. Лирическая повесть. («Новинки «Современника») 221 стр. Цена 56 к.

В. Поволяев. Семеро отцов. Повесть и рассказы. Вступительная статья В. Кожевникова. («Новинки «Современника») 222 стр. Цена 51 к.

В. Солоухин. Слово живое и мертвое. («О времени и о себе») 333 стр. Цена 98 к.

В. Цыбин. Бессонница сердца. Стихи и поэмы. («Виблютена поэзии «Россия») 253 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Чивилихин. По городам и весям. Путешествия в природу. 367 стр. Цена 79 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Богданов. Весеннее право. Стихи. Предисловие В. Солоухина. Южно-Сахалинск. Дальневосточное книжное издательство. Сахалинское отделение. 120 стр. Цена 35 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103806. Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 24/VIII 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 5/X 1976 г.
Формат бумаги 70×108/16. 23,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 09209 Тираж 168.000 экз. Заказ 2756.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 05266.

Цена 70 коп.

70636